# Василий ЛИВАНОВ

Василий Суриков

Фаина Раневская

Борис Пастернак

## Люди и куклы

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Василий Борисович Ливанов — не только великий актер, но и очень талантливый писатель. В книгу вошли его лучшие произведения, повести и мемуары о самых выдающихся людях нашей культуры — от Бориса Пастернака до Фаины Раневской.


- Василий Борисович Ливанов
  - Повести
    - Ночная «Стрела»
    - Богатство военного атташе
      - Пролог
      - I
      - II
      - III
      - IV
      - V
      - VI
      - VII
      - VIII
      - IX
      - X
      - XI
      - XII
      - XIII
      - XIV
      - XV
      - XVI
      - XVII
      - XVIII
      - XIX
      - XX
      - XXI
      - XXII
      - XXIII
      - XXIV
      - XXV
      - XXVI
      - XXVII
      - Эпилог
    - Иван, себя не помнящий (случаи из жизни одного кинолюба)
      - От автора

- Случай первый
- Случай второй
- Случай третий
- Случай четвертый
- Случай пятый
- Случай шестой
- Случай седьмой
- Случай восьмой
- Случай девятый
- Случай десятый
- Случай одиннадцатый
- Случай двенадцатый
- Случай тринадцатый
- Случай четырнадцатый
- Случай пятнадцатый, пока последний

○ Рассказы
- Рюмка коньяку
- Здравствуй, папа!
- Друг человека
- За компанию
- Не в лесу живем
- Любовь зла
- Белая ворона
- Наш друг Шерлок Холмс

○ Воспоминания и впечатления
- Гори, гори, моя звезда (Евгений Урбанский)
- Михаил Константинович
- Встреча с Раневской
- Рина
- О Мартинсоне
- Люди и куклы
- Виташа
- Саввина тройка
- Слово о Сурикове
- Пират Форта Боярд, или что осталось за кадром
- Юмор Бориса Ливанова
- Осколки киномолвы

○ Невыдуманный Борис Пастернак
- Пролог
- Гамлет
- Борис Леонидович
- Пастернак и Маяковский
- «Бедный Боря!»
- Эпилог

- Пьесы для драматического театра
  - Мой любимый клоун
    - Действующие лица
    - Акт первый
      - Картина первая
      - Картина вторая
      - Картина третья
      - Картина четвертая
      - Картина пятая
    - Акт второй
      -
      - Картина шестая
      - Картина седьмая
      - Картина восьмая
      - Картина девятая
  - Исполнитель
    - Действующие лица
    - Пролог
    - Акт первый
      - Картина первая
      - Интермедия первая
      - Картина вторая
      - Интермедия вторая
      - Картина третья
      - Интермедия третья
      - Картина четвертая
    - Акт второй
      - Картина пятая
      - Интермедия четвертая
      - Картина шестая
      - Интермедия пятая
      - Картина седьмая
      - Интермедия шестая
      - Картина восьмая
    - эпилог
  - Елена — имя женское
    - Действующие лица
    - Акт первый
      - Картина первая
      - Картина вторая
      - Картина третья
      - Картина четвертая
      - Картина пятая
    - Акт второй

- Картина шестая
- Картина седьмая
- Картина восьмая
- Картина девятая
- Картина десятая

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32

# Василий Борисович Ливанов
# Люди и куклы

# Повести

# Ночная «Стрела»

*Стрела состоит из трех частей:*
*наконечника, древка и оперения.*

*(Из Энциклопедии)*

В дороге вы встречаете случайных попутчиков, иногда близких вам по профессии или восприятию жизни. Такие встречи бывают интересны и даже полезны, но — знаю об этом по опыту — как правило, никогда не повторяются.

Я с удовольствием отдал двум героям повести случаи из моей студенческой и профессиональной театральной жизни. Историю странной любви третьего героя мне когда-то рассказал Владимир Иванович Москвин — мой старший друг и учитель по театральному институту. Эту любовь он пережил сам.

Женский портрет, открывающий повествование, нарисован мной в год окончания Художественной школы. Сейчас мне кажется, что образ позировавшей для портрета женщины, имени которой я не знаю, сродни образу лирической героини моей дорожной повести.

С той недавней поры, как Петя Баташов начал ездить в ночных поездах, ему стало казаться, что эта решающая всю его жизнь встреча, предчувствие которой тревожило и занимало его последнее время, что встреча эта должна случиться именно в поезде. И обязательно в скором поезде Москва — Ленинград, в одном из темно-красных вагонов с широкими желтыми полосами на боках. Даже буквы, налепленные на каждый вагон поверх окон с желтыми занавесками, крупные буквы, из которых складывалось название поезда «Красная стрела», представлялись Пете таинственными знаками, скрытый смысл которых ему одному предстояло вскоре разгадать.

«Красная стрела» подается к перрону за час до отправления, и Петя всякий раз стремился занять свое место пораньше. Он нарочно медленно брел вдоль вагонов, внимательно вглядываясь в женские лица.

И с замиранием сердца толкал тугую дверь купе. Конечно, Петя был уверен, что его странное предчувствие воплотится в молодую женщину, одиноко присевшую на нижнюю полку.

Петя даже отчетливо представлял себе, как она, эта женщина, поднимет на него удивленные, чуть испуганные его неожиданным появлением глаза.

Но, кроме этого взгляда, Петя решительно ничего не мог

вообразить. Он даже не представлял себе, как будет выглядеть эта женщина, какой у нее рост, голос, цвет волос и глаз.

Иногда Пете казалось, что на ней должно быть синее в крупный белый горошек платье. Но и это смутное видение еще больше размывало реальный образ.

И сейчас, толкнув дверь купе, Петя остался досадно разочарован. На нижней полке одиноко сидел костлявый старик, он взглянул на Петю строгими белесоватыми глазами. Петя запоздало поздоровался:

— Здравствуйте! — и сорвался с буквы «а» на фистулу.

Старик поспешно и подчеркнуто почтительно склонил гладко причесанную седую голову. Петя заподозрил в этой поспешности и почтительности насмешливое к нему, Пете, отношение.

Петя задвинул за собой дверь и украдкой посмотрелся в зеркало. Из зеркала на Петю глянуло хорошо знакомое лицо очень молодого человека.

А старик поднялся и теперь стоял в тесном проходе, между спальными полками, на целую голову возвышаясь над Петей.

— Простите, молодой человек, — сказал старик таким густым басом, что Петя невольно вздрогнул. — Я, очевидно, занял ваше место. Мое — вот. — И, протянув длинную руку, Петин дорожный сосед похлопал ладонью по ворсистому ромбу красного с белыми разводами одеяла, выступающего из конверта чистейшей простыни на одной из верхних полок.

— Нет, ничего, что вы, сидите, пожалуйста.

Петя сверился по билету. Старик действительно занимал его место.

— Благодарю вас, — низкой октавой отозвался старик, снова усаживаясь. — Давайте знакомиться. Меня зовут Василий Васильевич.

Петя присел напротив и буркнул:

— Петя.

— Петя, — повторил старик. — Очень приятно. Тогда я вам неверно представился. Вася. Просто Вася.

— Ну, что вы… — глупо возразил Петя. — Я ведь… Ведь вы… — И, чувствуя, как заполыхали от смущения уши, поправился: — Петр Артемьевич.

— Сердечно тронут. — Старик кивнул еще раз. — Чай будете пить, Петр Артемьевич?

Петя не успел ответить. Дверь в купе отъехала в сторону, милое женское лицо прижалось щекой к косяку и оглядело Петю и Василия Васильевича быстрыми темными глазами.

«*Она*!» — пронеслось в Петином померкшем сознании.

— Макс! — громко окликнула кого-то женщина. — А у тебя

очень симпатичные соседи. — И засмеялась.

Рядом, в тесном проеме двери, уже стоял боком коренастый усатый мужчина с красным обветренным лицом.

— Значит, опять удача, Лизон, — отозвался он резким веселым голосом и, даже не взглянув на своих будущих спутников, бросил через плечо: — Сюда, дамы и господа! — И, совсем загородив проход, стал сдирать со своего короткого сильного тела скрипящую куртку.

— Можно? — Темноглазая Лизон присела рядом с Петей.

От блестящих ее волос пахло крепкими сладкими духами.

Воротник замшевого пальто был небрежно приподнят и задевал краем розовую мочку уха с тяжелой золотой серьгой.

«Нет, не *она*», — сам не зная почему, решил Петя и с облегчением стал рассматривать наполнявших купе людей.

Макс и с ним двое мужчин, один лысоватый, другой в очках, усаживались напротив, оттеснив Василия Васильевича к самому окну, к желтой занавеске.

К Лизон подсела немолодая полная блондинка. Еще одна женщина, высокая и тонкая, в рыжем лисьем малахае, низко надвинутом на глаза, осталась стоять в дверях.

— Ася, садись, ну садись сюда, — зазывала ее блондинка.

— Садись, Ася! — крикнул тот, которого назвали Максом. — Займи свое место под солнцем.

— Под полкой, под полкой, — поправил Макса лысоватый.

— Вы иссякли, Пороховщиков, — оборвала Ася лысоватого и обратилась к Василию Васильевичу: — Извините нас, пожалуйста. У Фалеева, — она кивнула малахаем в сторону Макса, — сегодня день рождения.

— У Максика праздник! — взвизгнула блондинка.

— Примите наши поздравления, — словно в колокол ударил Василий Васильевич.

— Вот это да! — восхитилась Лизон.

Все рассмеялись.

— Вы стаканчики просили? — Проводница стала передавать в купе пустые чайные стаканы в подстаканниках.

Пете и Василию Васильевичу тоже всучили по стакану.

— Только не задерживайтесь, товарищи провожающие, — попросила проводница.

— Провожающие, не забудьте взять вещи отъезжающих, — сказал иссякший Пороховщиков.

Ася безнадежно махнула в его сторону рукой в тугой черной перчатке.

Хлопнуло шампанское.

— Меня не облейте, меня не облейте! — пищала блондинка.

— За мою женушку! — провозгласил Фалеев, чокнулся с Лизон, а за ним все остальные потянулись чокаться.

Сделалось душно, шумно и тесно.

— А кто шоколад увел, господа? — допытывался Фалеев. — Было же три плитки.

— Шоколад съела Ася! — выкрикнул Пороховщиков.

— Боже мой, — вздохнула Ася.

Пороховщиков вдруг выхватил стакан у молчаливого мужчины в очках, вытянул вперед обе руки и так замер, закрыв глаза. Все стихли и с веселым удивлением смотрели на него.

— За Асю!.. — сказал Пороховщиков, не открывая глаз. — За Асю, которую я очень люблю. — И выпил оба стакана один за другим.

— Браво! — сказал Фалеев.

Блондинка визгливо смеялась.

— Это лучшая ваша шутка, Пороховщиков, — грустно произнесла Ася. — Лучшая ваша шутка. Самая лучшая. Поздравляю.

«Нет, и это не она, — подумал Петя про Асю. — Ее тут вообще нет».

Из-за Асиного плеча возникло испуганное лицо проводницы.

— Ну что ж вы, товарищи, радио не слышите?

Гости Фалеева неловко затолкались в купе.

— Где моя сумочка, Лизон? Сумочка моя где? — верещала блондинка.

— Отправляем!!! — донесся отчаянный крик проводницы.

Компания затопотала по вагону.

Фалеев раздвинул желтые занавески — и вот они, провожающие, в раме окна, как на групповом снимке.

Поезд дернулся, и гости стали уплывать за раму, что-то крича и размахивая руками. Одна Лизон некоторое время еще бежала по перрону, посылая воздушные поцелуи. Но вскоре и она отстала.

Состав набирал ход. Фалеев поправил занавеску и сел рядом с Василием Васильевичем.

— Вот за границей, — сказал Фалеев, — все экспрессы идут абсолютно бесшумно. А у нас… Такое впечатление, что под вагон пустое ведро подвешивают, как под телегу.

Василий Васильевич усмехнулся.

— Нет, серьезно. Вы послушайте! — и Фалеев выставил перед соседями крепкий указательный палец, требуя тишины.

Под вагоном что-то утробно погромыхивало.

— Действительно, похоже, — согласился Василий Васильевич.

— Нет, очень, очень похоже на ведро, — горячо поддержал

Фалеева Петя. — Я раньше не замечал.

— А ведь мы с вами знакомы, — Фалеев в упор разглядывал Василия Васильевича. — Вы Бучинский?

— Совершенно верно.

— Вы меня должны вспомнить: Максим Фалеев. Я был на режиссерской практике у… — Фалеев назвал фамилию маститого кинорежиссера. — Фильм «Битва». Вы тогда ставили там конные стычки.

Густые пегие брови старика взлетели на лоб, затем спрыгнули к длинной переносице, стянув лоб глубокой поперечной морщиной, и медленно расползлись по местам.

— Кажется, припоминаю, — прогудел Василий Васильевич. — Очень приятно. — И протянул Фалееву большую белую руку, которую тот быстро схватил и с усилием тиснул короткими крепкими пальцами.

— И мне приятно. Вы на меня тогда сильное впечатление произвели. В седле сидите как бог. Простите… э-э…

— Василий Васильевич, — ревниво подсказал Петя.

— …а сколько вам лет? — ловко обойдя Петину подсказку, спросил Фалеев.

— С вашего позволения, семьдесят шесть.

Фалеев присвистнул и провел ладонью по жесткой щетке своих волос от затылка к носу.

— Ну, вы боец!

Василий Васильевич улыбался, блеклые глаза его светло поблескивали.

— Вон зубы какие, точно у волка, — почему-то обиженно констатировал Фалеев.

— Это что! — пробасил старик. — Вы бы посмотрели, какие еще у меня дома лежат!

Вошла проводница удостовериться, что все уплатили за постели.

— Значит, одно местечко у вас свободно, — и оглядела верхнюю, аккуратно застеленную ничью полку.

Собрала пустые стаканы и пообещала принести чаю покрепче.

Петя решил не обижаться, что его не включают в беседу. Конечно же Максим Фалеев — это тот самый режиссер кино, многосерийные ленты которого Петя неоднократно смотрел по телевизору. А Василий Васильевич… Уж не тот ли это В. Бучинский, автор тоненькой книжечки «Искусство кинотрюка», которую Петя как-то пролистывал в театральной библиотеке? Книжечка была издана ох как давно, и Петя никак не предполагал, что ее автор — живой человек.

Теперь Петю больше всего заботил вопрос о том, чтобы с

достоинством занять свое место «под полкой», как выразился иссякший Пороховщиков.

Известный кинорежиссер, старый мастер кинотрюка — и он, Петя Баташов, теперь актер кино. Пусть никому еще не известный, но кто знает? Кино — это такая штука…

Петя встал в проходе якобы для того, чтобы снять с верхней полки свою спортивную сумку, а на самом деле, чтобы еще раз проверить свой внешний вид в зеркале. Клетчатая рубашка, из воротника торчит не очень могучая шея. Уши оттопыренные, красные. Ни тебе кожаного пиджака, ни баса — ничего артистического.

Петя сел на место и с нарочито озабоченным видом стал рыться в сумке, приведя в полнейший беспорядок две пары носков, галстук, рубашку и кулек с домашними сдобами, заботливо уложенные мамиными руками.

На столике в купе появился чай и брикетики сахара в синих обертках.

Фалеев сунул короткую руку в задний карман брюк и поставил на столик плоскую стеклянную фляжку.

— Финь-шампань не по мне, — заявил Фалеев. — Это вот мужской напиток. Как-никак у меня сегодня день рождения.

— Однако без закуски… — Василий Васильевич смотрел на коньячную флягу с сомнением.

— У меня есть! — закричал Петя, поспешно высвобождая из сумки кулек со сдобами. — Мама напекла…

— Опять удача. — Фалеев по-хозяйски заглянул в пакет. — Ваша мама — просто чудо!

— Она у меня ничего, — сказал Петя голосом еще более низким, чем у Бучинского. — Всегда мне что-нибудь даст… на съемку. — И Петя задохнулся.

Фалеев скручивал металлическую пробку уверенной рукой.

— Вы снимаетесь в кино?

— Да, на «Ленфильме», — отдышавшись, отвечал Петя уже своим голосом, стараясь не спешить. — Играю солдата. Новобранца. Главная роль.

— У кого?

Петя назвал режиссера.

— А-а-а…

Пробка никак не давалась.

— Я в прошлом году окончил училище при Нашем театре, — заторопился Петя. — И был принят в театр. Но ничего там за целый год не сыграл. Ничего.

— Как, совсем ничего? — спросил Бучинский.

— Нет, кое-что. Играл труп.

— Кого?!

— Роль трупа. Труп сына героини. Мама два раза ходила смотреть. Честное слово!

Фалеев фыркнул по-кошачьи и повалился на Василия Васильевича, который, прикрыв лицо широкой своей ладонью, затрясся в беззвучном смехе.

— Не верите? — заволновался Петя. — Меня выносили на куске холстины четыре актера. Но после они подали жалобу в дирекцию, чтобы труп заменили. Он, то есть я, тяжелый, а они все пожилые.

Фалеев перестал крутить пробку и уставился в Петино пылающее румянцем лицо округлившимися веселыми глазками.

— Пощадите, голубчик, — рыдающим басом попросил Василий Васильевич.

— Нет, правда! Одноактная пьеса Брехта…

— Хватит! — простонал Фалеев. Он поднялся и крепко растер ладонями багровое свое лицо. — Как вас зовут?

— Петр Артемьевич! — объявил Бучинский.

— Баташов, — добавил Петя.

— Вам надо в комедиях играть. — Фалеев свернул пробку.

— Мне в чай, немного, — подсказал Василий Васильевич, когда Фалеев разливал коньяк.

— Поздравляю вас обоих с моим днем рождения.

Пете уже приходилось пить коньяк, но маленькой рюмочкой. А здесь золотистая плотная жидкость слегка подрагивала в тонком стекле, наполняя стакан почти до половины.

«Держись, Баташов», — сам себе приказал Петя и, чокнувшись со своими спутниками, разом опрокинул коньяк в широко открытый рот.

— Ну кто же так коньяк пьет, молодой человек! — услышал Петя укоризненный бас Бучинского. — Это же благородный напиток, его муссировать надо. — Василий Васильевич выставил вперед губы и задвигал худыми щеками, показывая, как именно муссируют. — По глоточку, по глоточку, а вы, будто кашалот, — ам!

В животе у Пети кто-то маленький и энергичный стал быстро-быстро растапливать печку. И от приятного жара этой печки Петя почувствовал необыкновенную расслабленность в душе и в теле. Петя подумал, что это, может быть, даже очень хорошо, что он опять не встретил сегодня ее, а вот сидит, как равный, с этими симпатичными людьми, такими милыми, необычайно славными, с Василием Васильевичем и Марк… Макс… Максимом Фалеевым, да!

«Ты опьянел», — подумал за Петю кто-то другой,

посторонний.

«Ну и что?» — нахально ответил Петя этому постороннему.

— Знаете, — сказал Петя, влюбленно оглядывая своих спутников, — давайте не спать всю ночь. Пусть эта встреча запомнится нам на всю жизнь.

— Круто! — Фалеев скосил глаза на Бучинского.

— Я согласен, — отозвался Василий Васильевич. — По-моему, замечательно придумано!

— Тогда — вперед! — подытожил Фалеев и впился в мамину сдобу.

— А сейчас в театре что-нибудь играете? — прихлебывая чай, спросил Бучинский.

— Я из театра ушел. Совсем.

— И не жалеете?

— Нет. — Петя бодливо затряс головой. — Нет. Не жалею. Знаете, у нас в училище преподавал профессор Сурмилов. Сам я у него не учился, но всегда жалел, что не попал к нему на курс. Вы же, конечно, знаете, какой он прекрасный артист, один из основателей Нашего театра. Ну, вот. Его ученики перед всеми нос задирают: мы — сурмиловцы! Из моего выпуска в театр приняли пятерых: четырех ребят и одну девушку. Она как-то сразу от нас откололась, у нее в театре были свои интересы. А мы четверо держались все вместе. И сидели в одной грим-уборной, на самой верхотуре под крышей. Первый сезон в театре, да еще в Нашем. Знаете, волнения, сомнения. Роль получил только один наш товарищ. Он, счастливчик, нас утешал, как умел: «Это, — говорит, — случайность, что именно мне дали, просто внешние данные подошли. Скоро и вы, ребята, заиграете хорошие роли». Мы, конечно, верили и надеялись. И вдруг однажды в антракте он вбегает в нашу грим-уборную, глаза сияют, рот до ушей.

— Ребята, — говорит, — нас всех приглашает Сурмилов к себе на дачу!

Мы друг друга каждый день разыгрывали и сначала ему не поверили. Но он, наш товарищ, на колени перед нами встал.

— Хотите, — говорит, — поклянусь!

Мы друг друга хорошо знали и видим — правда. Но почему вдруг Сурмилов нас приглашает? Почему?

— Мы, — сказал Славка (это счастливчик), — не учились у Сурмилова, но стали актерами Нашего театра. И старик, наверное, хочет с нами поближе познакомиться. Ободрить нас, поговорить об искусстве Нашего театра, может быть, сказать нам, дуракам, что-то важное, сокровенное… Поэтому и приглашает нас всех на дачу. Там природа, зима, тишина.

Завтра в театре — выходной день. Завтра в восемь часов утра

сам Сурмилов будет ждать нас, четверых молодых актеров, на пригородной платформе Ярославского вокзала. И сам введет нас в свой дом.

После спектакля мы закрылись в грим-уборной и долго совещались. Одеться решили парадно ради такого торжественного дня. У Юры, оказалось, нет подходящих туфель, а у Женьки вообще никакого пиджака. Славка выручит Женьку пиджаком, а туфли Юра «одолжит» в костюмерной театра. Белые рубашки и галстуки есть у всех.

Дома я просмотрел свою библиотечку театральной литературы: на всякий случай. Каждые полчаса вскакивал и хватался за будильник: боялся проспать. И вот темным снежным московским утром мы четверо, чисто выбритые, в белых рубахах и начищенных туфлях, видим, как из снежной завесы вылепляется перед нами невысокая фигура прославленного артиста и педагога. Заснеженные воротник и шапка, знакомое и такое издали любимое лицо в сети мелких морщинок, насмешливые цепкие глаза.

— Здравствуйте, юноши, — произносит он своим характерным каркающим голосом. И жестом фокусника разворачивает перед нами веер билетов на электричку.

Мы садимся в вагон и едем. Едем к нему. Он не глядит на нас. Смотрит в окно, где проносятся, постепенно высветляясь, зимние подмосковные пейзажи, молчит и думает о чем-то своем. Неужели эти думы скоро, может быть, станут и нашими думами?

Молча, вереницей идем за ним от станции по узкой скользкой тропинке, протоптанной в глубоком снегу. Дачный поселок. Верхушки редких сосен уже четко вырисовываются на совсем посветлевшем небе. Сурмилов снимает замок с калитки в высоком сером заборе, и мы видим в глубине заснеженного сада старый деревянный дом с узким крыльцом и застекленными террасами.

— Молодежь, — обращается к нам Сурмилов, поднимаясь на крыльцо, — я буду растапливать печь, а вы пока сами согревайтесь: да вот хоть дорожки расчистите. Лопаты за углом, у сарая.

Мы, конечно, успели промерзнуть в своих начищенных туфельках. Быстро разбираем широкие лопаты, и пошла потеха. Расчистили дорожку от крыльца до калитки, потом вокруг дома, потом от дома к сараю.

А из трубы уже сладко тянет смоляным дымком.

Женька говорит:

— И мы подымим. Перекур!

Смотрим, туфли наши и брюки до колен промокли. Но разве

в этом дело!

— Молодцы! — Сурмилов стоит на крыльце в цигейковой безрукавке, высоких валенках и улыбается нам своей знаменитой сурмиловской улыбкой. — Устали, юноши?

Мы хором: «Нет!!!»

— А ну-ка, там, за сараем, бревнышки, топор и пила. Нет ничего здоровее, чем работа на свежем воздухе, молодежь!

Уже стало смеркаться, когда Женька бросил топор и красными, распухшими пальцами достал из пачки последнюю сигарету. Спички никак не зажигались. Женька швырнул коробок в снег:

— Отсырели… — и выругался.

— Кушать подано! — раздался знакомый каркающий голос, и мы вошли в дом.

Большая печь полыхала жаром. На узком столе стояли четыре эмалированные кружки. Около каждой лежал кусок хлеба, накрытый сырным квадратиком. Сурмилов широким жестом пригласил нас к столу. Сам сел в торце, тихонько постукивая морщинистыми пальцами по доске. И молчал. И молчал. И молчал!

Мы прихлебывали жидкий остывший чай и боялись взглянуть друг на друга. Допили, поставили кружки.

— А, вот еще! — Сурмилов поднялся. — Совсем забыл!

Он прошел в угол горницы, нагнулся, подцепил кольцо, вбитое в половицу, поднял тяжелую крышку. Свежо и пьяно запахло антоновкой. Сурмилов, кланяясь в подпол, долго выбирал и, вернувшись к столу, положил перед каждым по твердому зеленому яблочку. Мы не поблагодарили и до яблок не дотронулись.

Это смешно, наверное, но мы все еще ждали. И даже когда он запирал дом, мы ждали, и когда возвращались в сумерках на станцию, молча ехали в Москву в электричке, и на вокзале, когда он сказал: «Приятных снов, юноши…»

Петя замолчал. Он скручивал угол салфетки на столике, разматывал и снова скручивал.

Большая рука Василия Васильевича накрыла Петину руку.

— Василь Василич, — сказал Петя. — Василь Василич! Мы с ребятами никогда не напоминаем друг другу этот случай. Не знаю, почему я вдруг вам, сейчас…

Фалеев потянулся к висящей у двери куртке. Достал из бокового кармана изящную трубку с прямым мундштуком и круглую жестяную коробочку раскрашенную по крышке сине-красной шотландской клеткой.

Деловито и сосредоточенно набил увесистый чубук, уминая

табак крепким маленьким мизинцем с отросшим ногтем, чиркнул зажигалкой, торопливо несколько раз затянулся, выпустил облачко дыма и спросил:

— Мне, как новорожденному, можно покурить здесь? Или позвольте выйти вон?

— Дымите, — разрешил Бучинский. — Что за мужская компания без табака?

— Очень вкусно пахнет, — заметил Петя, потянув носом.

— Еще бы. Ведь это «Клан» — лучший трубочный табак. В Лондоне брал самолично.

С видом знатока Петя поинтересовался:

— Вы его с чем-нибудь смешиваете?

— Смешивать, Петруша, ничего ни с чем никогда не надо. Я предпочитаю отделять. Работу от отдыха, хобби от заработка, жену от любовницы. В этом, по-моему, состоит профессионализм в жизни и в искусстве. А вы согласны, Василий Васильевич?

— Не зна-аю, — протянул Бучинский. — Не знаю… В живописи, насколько мне известно, смешивают краски, чтобы добиться колорита — единственного, неповторимого. И, заметьте себе, неплохие профессионалы получались… А в жизни… Не знаю… — Старик вдруг лукаво улыбнулся. — Вот вы, например, омлет захотите съесть. Вы что же, сначала чашку молока выпьете, потом проглотите два яйца, а потом ложку соли? Как же тут не смешивать?

Петя рассмеялся, а Фалеев поперхнулся дымом и стал по-детски тереть глаз кулаком.

— Я, наверное, все-таки смешиваю, — сказал Василий Васильевич, — вот коньяк в чай попросил налить. Путать не надо коньяк с чаем, а смешивать… отчего же. Впрочем, я в этих делах не профессионал.

— Кстати, о профессионализме и коньяке… — Фалеев откинулся к стенке, лицо его ушло в тень. — Я ведь тоже начинал как театральный актер. Да, Петруша. Из Харькова по распределению попал в степной городишко районного значения. Театральное помещение там существовало еще до революции, но пустовало. В зале иногда кино крутили на передвижке, а в фойе танцы-шманцы под аккордеон. Освоение целины все это изменило. Надо подымать культуру на местах! Объявился режиссер — молодой, энергичный, — собрал труппу: частично театральных волков из провинции, частично выпускников разных школ. Я попал в театр, когда они уже разыгрались вовсю. В день моего приезда исполнитель роли второго лакея в инсценировке по известной повести Горького вдруг заболевает. И срочно вводят меня. С одной репетиции. В первом акте я проношу через сцену

поднос с двумя бокалами. Во втором меня вообще нет, а в третьем — кульминация роли. Один из эпизодических купцов подходит к буфетной стойке, за которой я торчу, а я должен, угодливо улыбаясь, налить ему рюмку коньяку. После чего мой партнер отходит с рюмкой на авансцену, произносит свою единственную фразу: «Знаем мы этих Маякиных» — и выпивает коньяк до дна.

— Не верю! — кричит на репетиции главреж из темного зала. — До дна! Именно до дна! И многозначительней, гораздо многозначительней! Теперь верю!

Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Это всем маленьким актерам известно. Я приходил в театр за два часа до спектакля и искал себе грим. Загримировавшись, я выхаживал по гримерной, пробуя разные походки. Я честно работал над образом второго лакея. И публика оценила мои усилия. Мой проход с двумя бокалами стал вызывать «оживление в зале». Значит, я хорошо усвоил школу. Но я не был профессионалом.

— Одеяло на себя тянешь? — спросили меня лакеи первый и третий.

На следующем спектакле они со мной не поздоровались.

Я тщательно готовил свой реквизит. На буфетной стойке расставлял бутылки из-под шампанского. Горлышки были забиты замшелыми пробками, и в бутылках просматривалась какая-то жидкость. Говорили, что эти бутылки сохранились в реквизите еще с дореволюционных времен, когда в театре гастролировали приезжие труппы. Кроме этих бутылок, стойку украшали слюдяные бутафорские фужеры, картонные тарелки и хилая оловянная вилка.

Бутылку со свежезаваренным чаем, изображавшим коньяк, и граненую стеклянную рюмочку я прятал под стойкой отдельно. Каждый спектакль мой партнер — опытный театральный волчище — направлялся к стойке, путаясь в огромной бороде. Я извлекал бутылку и наполнял чаем рюмочку. Партнер брал рюмочку, отходил на авансцену, говорил: «Знаем мы этих Маякиных» — и осушал рюмку до дна, очень многозначительно.

И вот на очередном спектакле я сунулся под стойку за приготовленным реквизитом, а там — пусто! Ни рюмочки, ни бутылки с чаем. Никаким гримом и никакой походкой не восполнишь эту утрату!

А борода моего партнера уже надвигалась на меня. Надо было принимать решение мгновенно, как в воздушном бою. Я схватил со стойки бутыль из-под шампанского. Чем открыть? Оловянная вилка свернулась в штопор. Но замшелая пробка, пискнув, поддалась и провалилась в горлышко.

О! Чудовищное зловоние ударило в ноздри, остановило

дыхание. Я нагнул бутылку над слюдяным фужером. Что такое? Из бутылки ничего не полилось. Но я же своими глазами видел, что она почти полная! И тут в бутылке раздалось какое-то ворчание, бутылка дернулась у меня в руке, и что-то зеленое, как мне со страху показалось — живое, выскочило в фужер, и вдогонку густая зловонная жидкость, спазматически низвергаясь, наполнила слюду до краев.

На глазах моего партнера выступили слезы.

— Что же ты делаешь, с-сукин ты сын, что ж это ты делаешь? — шептал он сквозь бороду.

Дрожащей рукой я протянул ему полный до краев фужер.

И он взял. Взял и пошел на авансцену, неся фужер в вытянутой руке, как флаг.

— Знаем мы этих Маякиных! — бодро выкрикнул партнер, замолчал, подумал… и выпил фужер до дна.

Глаза его засветились неземным огнем. Он еще немного постоял на авансцене неподвижно, потом смял фужер в кулаке, бросил себе под ноги, подхватил обеими руками огромную свою бороду и стал запихивать ее себе в рот.

Так с бородой во рту он ушел со сцены, задирая ноги, будто подымался по крутой лестнице.

Когда занавес упал, я бросился в актерское фойе. Мой партнер яростно отмахивался сорванной бородой от обступивших его актеров.

— Руки прочь! — кричал он на уборщицу, срочно прибывшую с ведром и тряпкой. — Не сметь убирать! Пусть все видят! Тридцать лет на сцене — кругом завистники! Сопляка подговорили! Он хотел меня отравить!

Мой партнер был настоящим профессионалом.

Мне влепили строгий выговор «за нарушение творческой дисциплины» и не дали роль в очередной пьесе. Лакеи первый и третий со мной опять здоровались.

Свободными вечерами на меня находила тоска. Чтобы как-то развеять ее, я бродил по городу. Темно, холодно, фонари глядели тускло. Несколько светлее было на «пятачке» у единственного в городе ресторана, где над входом дрожала сизая неоновая надпись «Иртыш». Зайти в ресторан я не мог. Как говорил мой сосед по общежитию: «Во-вторых, у меня нет денег».

Неизвестно, как бы сложилась моя дальнейшая жизнь, если бы не ничтожный на первый взгляд случай.

Как-то я проходил мимо ресторана, был уже поздний час — открылась парадная дверь, и швейцар вытолкнул на широкие ступеньки какую-то подвыпившую фигуру, выбросил вслед шапку, и стеклянная дверь со звоном захлопнулась. Фигура подобрала

шапку и стала громко стучать в закрытую дверь. Я остановился и стал смотреть от нечего делать. Фигура стучала настойчиво. Вдруг дверь распахнулась, и швейцар, ловко повернув фигуру за плечи, дал ей пинок под зад.

Фигура слетела со ступенек и воткнулась в сугроб. Шапка опять упала.

Швейцар застыл в дверях. Поза его не предвещала ничего хорошего.

Фигура выбралась из сугроба, отряхнулась, подобрала упавшую шапку и, назидательно подняв палец, обращаясь к швейцару, четко произнесла:

— И всегда буду стремиться!

После чего, нахлобучив шапку, гордо удалилась в темноту.

Я пошел к себе в общежитие и все повторял: «И всегда буду стремиться».

Вскоре получаю письмо от одного ленинградского приятеля: в Ленинграде открывается набор на высшие курсы режиссеров кино.

«И всегда буду стремиться».

Мне выслали нужные книги, программу поступления, и я засел за подготовку.

— И вот, — Фалеев осклабился, выставил широкую грудь и раскинул в стороны руки характерным жестом индийского божка, — могу всех вас пригласить в ресторан «Иртыш».

— Мы стоим, — заглянув за желтые занавески, удивился Петя.

— Это, по-видимому, Бологое. — Бучинский поднялся и, отодвинув зеркальную дверь, вышел из купе. Вслед за ним потянулись серые нити табачного дыма.

Петя тоже выбрался в коридор. Длинный ряд лампочек светился вполнакала. Петя попытался открыть окно. Оно не поддавалось.

— Дайте-ка. — Фалеев отодвинул Петю плечом, ухватился за металлические скобы оконной рамы и потянул с таким усилием, что суставы пальцев побелели. Рама медленно поползла вниз.

Дохнуло сырым холодом.

В призрачном тумане угадывался край перрона, за ним темный провал рельсовых путей, и еще дальше и выше над провалом расплывались станционные огни.

Там, за туманом, Пете вдруг вообразились суровые северные страны, где на жесткой, промерзшей земле стынут между редкими соснами крутые каменные глыбы-валуны, где из низких бревенчатых, крытых красной черепицей домиков выходят в этот предрассветный туман высоченные голубоглазые блондины с

колючими рыжими бородами, раскуривают на сыром ветру трубки — табак «Клан», ни с чем не смешанный, — и враскачку, потому что все они моряки, направляются к темным прибрежным скалам, к фиордам, — и смотрят оттуда вдаль, в море, северное конечно.

Блондины дымят трубками, друг с другом не разговаривают — все они очень молчаливые, — пока кто-нибудь не спеша не освободит рот от теплой трубки и не промолвит басом: «Грумант» (это такой остров), — тогда все сурово закивают головами и…

Где-то за станцией испуганным птичьим голосом крикнула паровозная сирена. И сразу же близко, совсем рядом, зашаркали и застучали шаги.

По перрону, вдоль вагонов, тесно друг к другу двигались какие-то люди. Подпрыгивая и дрожа, приближался свет карманного фонарика.

Мимо окон, тяжело ступая, в ногу прошли санитары с носилками. Женщина в халате и в белой шапочке — наверное, врач, — нагибаясь к носилкам, торопливо поправляла на ходу темное с белыми разводами одеяло, кого-то укутывала.

За носилками шагал бригадир поезда, светя фонариком. Черная с золотом форменная фуражка и золотое шитье петлиц придавали процессии странную торжественность.

Потом туман вобрал в себя санитаров с носилками, белый халат врача, фуражку бригадира, и свет карманного фонарика смешался со станционными огнями. Поезд тронулся.

Хлопнув дверью, из тамбура вошла проводница.

— На шесть минут задержались, — объявила она, ни к кому в особенности не обращаясь, и вздохнула.

— Что там стряслось? — поинтересовался Фалеев.

— Не знаю. «Неотложка». Сняли человека с поезда. — И, посмотрев на часы, велела: — Окно закройте. Вы мне пассажиров простудите.

Петя вернулся в купе. Аккуратный ромб красного с белыми разводами одеяла смотрел из нетронутого конверта чистейшей простыни на не занятой никем верхней полке. В углу, за несмятой подушкой, прижалась неясная тень.

У Пети на душе стало тревожно. Может быть, она должна была занимать это место и опоздала. «А вдруг с нею что-нибудь случилось? — подумал Петя. — Что-нибудь нехорошее». И сам себе удивился: черт знает какая ерунда лезет в голову.

— Я вот, — Фалеев зевнул, — я вот никогда ничем не болел.

— А я очень даже болел, — живо отозвался Петя. — А вы, Василий Васильевич?

— Я однажды болел смертельно. Было это давно…

Происхожу я, осмелюсь доложить, из семьи военного.

Отец мой — кадровый русский офицер, кавалерист.

Погиб осенью четырнадцатого года в Галиции. Матушка моя, безумно любившая отца, вдруг через год выходит замуж за выслужившегося в офицеры вольноопределяющегося. Из лавочников. Да-с. С отчимом мы сразу не сошлись. Не знаю и по сей день, что решило дело: молодой мой гамлетизм или… Не знаю. Но кончилось тем, что он поднял на меня руку. И вот двенадцати лет от роду я ушел из дома и зажил самостоятельно. Заметьте себе, без всяких средств к существованию. Бродяжничал, побирался, даже подворовывал, что греха таить. Потом попал посудомойкой на богатый речной пароход, добрался до Москвы.

И здесь повезло: взяли конюшенным мальчиком к одной выжившей из ума купчихе.

Короче говоря, очнулся я от своей мальчишеской гордыни бойцом Первой Особой кавдивизии в Казахстане. «Даешь, Васька Бучинский!»

В решающем сражении с басмачами Ибрагим-бека был тяжело ранен. Год провалялся по госпиталям, из армии меня списали.

И снова я в Москве. Пошел в Замоскворечье взглянуть на купчихин особняк. Цел. Купчихи и след простыл, конюшни сгорели, а в особняке общежитие. То есть, попросту говоря, занимай любую свободную комнату, воюй с крысами, чтоб тебя самого не сожрали, и живи как умеешь.

А как жить, когда без лошади я не человек?

Ходила в наше общежитие к дядюшке своему, подслеповатому зловредному старикашке, племянница, весьма симпатичная девица. Подкармливала дядюшку. Ну, и познакомились. Звали девицу Нина Михайловна. Была она рукодельницей, а значит, по возможностям того времени, модницей. Носила самодельную шляпку зеленого сукна — не иначе как с ломберного стола от дядюшки — и платье из старой выцветшей гардины, расшитой цветными квадратами и треугольниками.

По женской своей склонности Нина Михайловна сильно преувеличивала мои красноармейские заслуги и, видя мое нищенское существование, горячо взялась мне помочь.

Состояла она при специальной организации для общения с иностранцами — переводчицей. Английский знала, французский.

И вдруг приносит она мне известие, что открывается на Беговой конный манеж. Господам дипломатам европейским на досуге желательно верхом покататься. Требуется берейтор, то есть тренер.

Как-то даже и не верилось. Да еще паек дадут: хлеб, вобла,

пшено… табак!

Меня оформили. Еще по штату полагался конюх, но такого пока не нашлось. Я оказался в единственном числе. И швец, и жнец, и на дуде игрец.

Конский состав был случайный и для верховой конюшни более чем странный: два строевых дончака, оба мерины, беззубый першерон и рысистая кобылка орловских кровей, серая в яблоках, нарядная и не худоконная. Видно, реквизированная у кого-нибудь из московских «лихачей».

Был октябрь, холод в манеже, доложу вам, могильный. Всеми правдами и неправдами, чудом просто, я добыл фураж, амуницию, поставил три буржуйки, натаскал дровишек, отремонтировал, как мог, денники.

С этими заботами я совсем перебрался в манеж. Ко мне приблудился лохматый, похожий на тощего медвежонка пес. Мы с ним спали на сеннике и по ночам грели друг дружку.

На пшено из своего пайка я выменял пару поношенных сапог — левый жал немилосердно.

Теперь я считал себя готовым к приему гостей.

Нину Михайловну я после вступления своего в должность не видел. Рассчитывал поблагодарить ее в день открытия манежа. Накануне я не спал всю ночь. При свете коптилки латал свои невообразимые портки. А как только забрезжилось, натопил докрасна все три буржуйки, побрился в осколок зеркала, вынес стул на середину манежа, сел и стал ждать.

Открытие было назначено на восемь утра, а часов у меня, сами понимаете, не было.

Короче говоря, просыпаюсь оттого, что кто-то энергично трясет меня за плечо. Передо мной — Нина Михайловна, а с ней рослая какая-то дама, иностранка. По виду то ли шведка, то ли норвежка — словом, скандинавская внешность.

Обе смеются, а Мишка — пес мой — лает на обеих женщин неистово.

Нина Михайловна представила меня иностранке и назвала ее. Фамилия длинная и для русского рта абсолютно несъедобная. Хорошо, думаю, мне запоминать незачем.

Пока Нина Михайловна щебетала, я рассмотрел гостью. Молодая, лет двадцати, женщина, высокая, широкоплечая, в талии тонкая. На коротко остриженных светлых волосах кожаное кепи жокейского типа, щегольские бриджи с кожаными леями, сапожки. Лицо безбровое, с неярким румянцем, свежее и чистое.

Я спросил, знакома ли она с верховой ездой. Нина Михайловна перевела, что да. И снова защебетала с иностранкой.

Через полчаса примерно Нина Михайловна правильно

угадала, что сегодня никто больше не придет, — мороз. Я подседлал дончака и вывел на манеж.

Иностранка умело собрала повод и легко перенесла через седло длинную, обтянутую штаниной ногу.

Ездила она недолго, но с видимым удовольствием. Остановил я ее только раз, проверить подпружные ремни. Когда, подойдя, поднял к ней взгляд, увидел снизу округлую линию подбородка, широкий вырез ноздрей и по-детски припухший рот с выступающей вперед верхней губой.

Сама Нина Михайловна наотрез отказалась учиться верховой езде. Все это время просидела у печки, налаживала дружбу с недоверчивым моим Мишкой.

В дальнейшем гостей у меня было немного, а постоянно ходила только первая эта иностранка. Дважды сопровождал ее какой-то тепло укутанный господин. Стоял, опершись на ветхий барьер, покуривал из длиннющего мундштука, наблюдал.

Она полюбила ездить на орловской кобыле, и Нина Михайловна переводила мне, что гостье нравится эта лошадь: рысь ее плавная, враскачку.

К Новому году мне выдали полушубок, и я считал себя самым счастливым человеком на свете. В конце февраля студеная, малоснежная зима пошла на убыль. Потянуло сырым, прачечным каким-то теплом, что по московским приметам означает скорый приход весны. Кони по ночам шумно втягивали ноздрями воздух, отфыркивались, беспокоились. Кобылка вертелась в деннике, постукивая в деревянные переборки, заливисто ржала.

Мишка, сукин сын, пропадал весь день по оттаявшим помойкам. Приходил мокрый, грязный по брюхо, забивая благородные конюшенные запахи тошнотворной смесью псиного духа и помойной вони. Я наконец восстал против его вкусов, сгреб его, устроил ему собачью баню, израсходовав чуть не весь запас мыла, и посадил на привязь. В отместку мне он скулил и подвывал всю ночь.

Утром я поднялся со своего ложа из сена, налитый сонной слабостью, с тяжелой головной болью. Задал лошадям корм. Смотрел, как они окунают морды в ясли и жуют, жуют. И вдруг почувствовал отвращение. На Мишку с его мытыми лохмами вообще глядеть не мог — мутило. Надел бесценный полушубок, вышел на воздух.

Раннее утро, а уже жарко. Расстегнул полушубок. Шел куда глаза глядят. Ни о чем не думал.

Навстречу в проулок из-за угла со стороны Тверской выехал конный разъезд.

Вразнобой хлопают копыта по грязи, колышутся пики.

Впереди кто-то в серой длиннополой шинели. Ближе, ближе передний всадник. Фуражка с белым пятном кокарды, худое, небритое, бездонно усталое лицо. Отец? О господи! Ведь он же убит где-то там, в проклятой Галиции. Ах, все равно теперь.

Я побежал за лошадью, кричу: «Отец! Это я, я, Васька! Отец, я здесь!»

Но разъезд проскакал мимо. Я хочу догнать их — и не могу. Ноги по колено в зыбучем песке. Следы копыт перед глазами застилает песчаная наволока. Раскаленные песчинки колют щеки, лоб, скрипят на зубах. Как хочется пить! Кругом никого, я один. Но ведь кто-то подносит к моему рту холодную кружку. Я хватаю зубами скользкий жестяной край, тяну ледяную горькую воду.

«Подымите его!» — командует чей-то голос.

Это Женька, мой комбриг. Это наши. Наверное, я ранен. Но товарищи меня не бросят. Я плачу от радости. Сквозь слезы я вижу тесное городское небо и мокрое брюхо черной тучи, нависшее над желобом крыши. «Ага, — понимаю я, — это для меня. Сейчас из этой тучи польет дождь, я буду пить, пить, пить — бесконечно».

Туча опускается все ниже, ниже, накрывает меня, душная, как пуховик. А желоб крыши — это, оказывается, вовсе не желоб. Это я сам. Как я раньше не догадывался, что Бучинский — значит «желоб». Это смешно. И я слышу свой громкий смех.

И вдруг ужас охватывает меня. Ведь она не может полюбить желоб. Она такая прекрасная. Я вижу ее всю, как тогда, при первом знакомстве. Всю ее высокую, статную фигуру, тень от козырька на безбровом чистом лице с округлым подбородком и неяркими полными губами. Замирая душой, смотрю в ее глаза, тихие, тайные.

Она молчит и улыбается мне. У нее в углах губ веселые морщинки и розоватое пятно родинки в уголке глаза.

Как я люблю эту родинку, эти глаза, эти светлые яркие волосы, как я люблю эту женщину, ее — мою любимую, имя которой я почему-то не знаю.

Но я узнаю, я угадаю ее имя, и тогда… тогда…

Пришел я в себя в палате городской больницы. Был поздний вечер. Горела обернутая газетой тусклая лампочка.

От старухи-сиделки узнал, что меня подобрали на улице три недели назад. Брюшной тиф. Врачи думали, что я не выживу. В бреду, по словам старухи, я разговаривал с какой-то женщиной, рассказывал свою жизнь, плакал, смеялся.

— Как я ее называл? — спросил я сиделку.

— Не помню, миленький, — отвечала она, — может, и называл по имени, но не запомнила я. Любишь ты ее, как душу,

через это и живой теперь…

Ночью, когда больница затихла, я поднялся с койки. Коленка стучала о коленку. Голова кружилась. Кое-как задрапировав одеялом казенные кальсоны, в растоптанных войлочных туфлях, пошел отыскивать выход. У дверей меня поймала сиделка. Я был так беспомощен, что, запротестуй она, я бы не смог оказать сопротивление.

— К ней идешь? — спросила старуха.

Я молчал.

— Погоди, дурной. — Она проверила замок на двери и ушла.

Я думал — за врачом. Но старуха вернулась, принесла какие-то опорки и байковый халат.

— После возвернешь, — сказала она, — все возвернешь, а то меня тут подчистую разбумажат.

Помогла мне одеться и открыла дверь. Так, серой байковой тенью, держась за стены домов и задыхаясь от слабости, я шел. Куда? В общежитие. Искать Нину Михайловну.

Без нее моя любовь была немая.

Уже светало, когда я вскарабкался по крыльцу и постучал в комнату ее дядюшки.

— Кто? — спросили из-за двери, и я узнал голос Нины Михайловны.

Я назвался. Дверь распахнулась. Я упал в темноту, в объятия Нины Михайловны.

— Василий Васильевич, Васенька, живой, — повторяла Нина Михайловна и вдруг заплакала.

Я тоже плакал от слабости и не мог выговорить ни слова. Дядюшка зажег свечу. Нина Михайловна вскрикнула и отшатнулась от меня.

— Халат на мне, — забормотал я. — Простите, я в больничном.

— При чем тут халат? Судя по вашей бороде, господин Бучинский, вы давно не любовались на себя в зеркало. — Дядюшка подтолкнул меня к разбитому трюмо и поднял свечу.

Бородатый скелет в сером балахоне таращился на меня из зеркала. Почему-то больше всего меня поразили огромные мои оттопыренные уши.

Потом за столом я жадно ел, а Нина Михайловна сидела напротив и торопливо рассказывала, как она перепугалась, когда я внезапно исчез, что думала и гадала о моем исчезновении, сколько слез пролила в отчаянные минуты и как не переставала надеяться.

Разыскать меня оказалось невозможным: мои документы остались в манеже, а то, что я внезапно тяжело заболел, никому

не пришло в голову. Меня искали по моргам, но не додумались заглянуть в больницу.

— Вы выглядели таким крепким! — подытожила Нина Михайловна.

Таясь, я спросил, что в манеже.

— Не волнуйтесь, туда нашли конюха. — Нина Михайловна вдруг рассмеялась. — Получается комический парадокс!

Ведь иностранцам объявили, что вы больны. Соврали правду. Все перестали ходить, — сердце у меня екнуло, — кроме, представьте… — И я снова услышал длинную ее фамилию, теперь прозвучавшую музыкой.

Она дважды, нет, трижды ходила с Ниной Михайловной без меня в манеж, сама подседлывала кобылу и гоняла ее кругами, вскачь.

— Лошадь делалась вся в этой… в пене. Потом, вообразите, попросила меня написать ей ваше имя на бумажке латинскими буквами. Ах, какая же я дура! — Нина Михайловна вскочила из-за стола, выдвинула ящик комода и суетливо порылась в нем. — Вот! — В руках у нее оказался узкий синий конверт. — Это она передала для вас. И, представьте, запечатала. Очень невежливо! Я бы все равно не стала читать, — сказала Нина Михайловна, покраснела и передала конверт мне.

Сердце колотилось так сильно, что я боялся, не слышно ли это Нине Михайловне. Надорвав конверт, я вытянул вчетверо сложенный листок и развернул. Буквы чужого языка косо бежали по бумаге, цепляясь друг за друга. Я молча протянул письмо Нине Михайловне.

— «Василий, — прочла Нина Михайловна. — Василий. Я уезжаю из России навсегда. Это придает мне сил признаться: я люблю тебя. Нам не суждено быть вместе. Я замужем. Мой муж — мой друг с детских лет. Я ничего не скрыла от него и умолила увезти меня. Прости, любовь моя. Прощай. Да хранит Бог нас обоих. Не забывай меня. Эва-Кристина».

Так я узнал ее имя.

Ложка в пустом стакане Бучинского тихонько вызванивала.

— Василий Васильевич, — набравшись храбрости, строго спросил Петя, — вы женаты?

— Дорогой мой! — Бучинский вынул ложку и положил рядом со стаканом. — Я уже год и четыре месяца как прадед.

Петя смутился.

— Вашу жену зовут Нина Михайловна? — Это спросил Фалеев.

— Нет. Ольга Сергеевна. — Бучинский засмеялся. — Ну-с, молодые люди, по коням!

Петя категорически настоял, чтобы Василий Васильевич остался на его месте, внизу, а сам лихо запрыгнул на верхнюю полку.

Он быстро разделся, переложил подушку от окна к противоположной стенке, лег и стал смотреть, как Фалеев, сопя, стаскивает со своей широкой спины свитер и никак не может высвободить голову из узкого ворота. Наконец Фалеев улегся, снял часы и, взглянув на циферблат, заметил:

— Два часа осталось поспать, — и отвернулся лицом к стенке.

Колеса монотонно стучали на стыках рельсов, будто твердили одно и то же, одно и то же… И Петя незаметно для себя уснул.

Он не слышал, как в купе постучалась проводница, как его будили, как по радио передавали новости дня, а потом простуженный голос объявил: «Наш скорый поезд “Красная стрела” прибывает в город-герой Ленинград», — и зазвучал марш.

Петя проснулся, когда состав уже стоял у перрона. Купе заливал яркий утренний свет. Бучинского в купе не было. Фалеев, с заспанным, припухшим лицом, готовый к выходу, возился с непослушным замочком своего «кейса».

Снаружи в окно постучали, и Петя увидел женщину, чем-то неуловимо похожую на Лизон, только помоложе, в таком же замшевом пальто, и почему-то бросилось в глаза, что серьги у нее не массивные, а просто два маленьких золотых шарика.

Женщина улыбалась Фалееву и как-то неуверенно махала рукой, приветствуя.

— Проснулся? — буркнул Фалеев, перехватив Петин взгляд. — Ну, пока. — И, щелкнув замочками, Максим Фалеев стремительно вышел из купе.

Петя видел в окно, как он подошел к молодой женщине, крепко взял ее под руку и увел.

Петя потер пальцами глаза, спрыгнул с полки, торопливо оделся. Порывшись в карманах, прибавил монетку к мелочи, оставленной возле пустых чайных стаканов, распрощался в коридоре с озабоченной проводницей и вышел на перрон.

Ему показалось, что в конце перрона, у входа в здание вокзала, он заметил над негустой толпой седую голову Бучинского. Петя побежал догонять Василия Васильевича, стараясь не потерять из виду седую голову над толпой. Только на Невском проспекте, лавируя между прохожими, Петя настиг Бучинского. Но это оказался вовсе не Бучинский, а какой-то высокий, совсем незнакомый старик.

А Василий Васильевич томился в это время в билетном зале у касс предварительной продажи. Перед ним в той же очереди

стояла девушка в светлом коротком плаще, из-под которого свободно спадала синяя в крупный белый горошек юбка.

# Богатство военного атташе

*Человеку, как и березе,*
*легче расти на родной земле,*
*и величайшим несчастьем для него*
*является потеря им корней*
*на своей родине…*

*А. Игнатьев*

Повесть начинает моя давняя фотопроба на роль графа Кромова, которого я мечтал сыграть в кино. Но, к сожалению, бдительные советские кинередакторы посчитали, что незачем прославлять на экране царского офицера, пусть даже и патриота России.

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Я стал заметно старше моего героя, но все еще надеюсь увидеть его на экране, теперь уже в исполнении другого актера.

## Пролог

Пыльные, рыжие, выжженные солнцем сопки тянулись до самого горизонта. Гул беспорядочной орудийной стрельбы висел над этим безрадостным пейзажем. Измученный конь, масть которого невозможно было определить под густым слоем желтой пыли с проступающими темными пятнами пота, едва передвигал ноги, перебираясь с сопки на сопку. На коне сидели два молодых офицера. Их лица, одежда, сапоги тоже были густо запылены.

Временами на пути попадались тела убитых, присыпанные пылью, облепленные мухами.

Конь шарахался в сторону, грязная пена падала с повода. Передний всадник в фуражке поминутно останавливал коня и прислушивался к то приближающейся, то удаляющейся канонаде.

Второй сидел за седлом, обхватив своего товарища за пояс. Фуражки на нем не было, голова была обвязана широкой полоской бинта, на которую спадали пропыленные кудрявые волосы.

Первого молодого офицера звали граф Алексей Кромов, второго — Вадим Горчаков.

— Мы сбились с дороги, — сказал Кромов, — по-моему, наши где-то левее.

— Учти, фронт наш уже давно сломан, — отозвался Горчаков.

Кромов тронул коня. В клубах пыли конь стал спускаться по склону.

— Вот, допрыгались… мукденские стратеги, — сквозь зубы цедил Горчаков, — сукины дети…

Из-за сопки вышел пеший. Он размеренно шагал навстречу всадникам, полы длинной шинели пылили по дороге. Вот он поравнялся с конем: жилистый, бородатый, боевые медали побрякивают в такт шагам. В руке, как посох, винтовка, на штык которой насажено два каравая хлеба. Солдат не глядел на офицеров и так прошагал бы мимо, если бы Кромов не окликнул:

— Куда идешь, служивый?

Бородач остановился. На запыленном лице светло и остро смотрели слегка прищуренные глаза.

— Домой иду, ваше благородие! В Тамбовскую губернию. Так что полк наш совсем разбили, я вот и решил, что пора кончать. — И зашагал дальше.

Горчаков провожал его взглядом, потом рванул кобуру, путаясь в револьверном шнуре. Кромов, крутанувшись в седле, поймал его руку.

Несколько секунд они пристально смотрели друг другу в глаза. Вдруг Горчаков часто заморгал, губы его покривились.

— Он ненавидит нас… — прерывающимся голосом твердил Горчаков. — Ненавидит… ненавидит… В чем мы виноваты перед ним, Алеша?.. Скажи… скажи…

Кромов, придерживая коня, глядел вслед бородачу.

Солдат размеренно шагал, пока совсем не пропал среди сопок.

## I
## Июль 1909 года. Генерал Томилин

За письменным столом, заваленным бумагами и картонными папками, сидел пожилой грузный мужчина с круглой седой головой, остриженной ежиком, в усах с подусниками «а-ля Скобелев». Алексей Кромов помещался в кресле для посетителей.

Уходящий с должности генерал Томилин сдавал дела вновь назначенному военному атташе России во Франции полковнику графу Кромову.

— Ну, вот… кажется, всё, — задумчиво протянул генерал. — Официальную передачу должностных бумаг можно считать законченной.

Томилин стал собирать листы и раскладывать их в папки.

— Позвольте, я вам помогу, ваше высокопревосходительство!

— Благодарю. Я все уложу сам, в последний раз. Чтобы вы

чего-нибудь не напутали с самого начала. Вам еще с этими бумагами придется повозиться. Еще надоест. — Генерал неторопливо завязывал цветные тесемочки на папках. — А передоверить никому нельзя: личный архив военного атташе. Головой за него отвечаете, голубчик.

Томилин улыбнулся в усы.

От нечего делать Кромов в который уже раз оглядел кабинет военного представителя России в Париже: комнату, где ему предстояло провести не один год.

Письменный стол, три кресла: одно для хозяина, два для посетителей, шкаф, большой металлический сейф — вот и все, что составляло убранство этого кабинета. Еще был камин у дальней стены от окна.

«Надо будет стол поближе к окну передвинуть, — подумал Кромов, — и кресла поставить как-нибудь по-другому, без казенной образцовости…» Словно угадав его мысли, Томилин весело пробасил:

— Вы, полагаю, захотите мебель переставить по-своему. Но предупреждаю: от окна дует неимоверно, у камина зимой угореть недолго. А кресла стоят именно так, как удобно посетителям.

Кромов расхохотался.

Стопка папок на столе росла.

— Скажите, Алексей Алексеевич, как долго приказ о вашем назначении во Францию был на высочайшем утверждении?

— Более года, ваше высокопревосходительство.

— Оставим официальный тон. Называйте меня запросто, по-домашнему. Мы с вашим батюшкой всю Русско-турецкую кампанию… Я вас еще ребенком помню.

— Хорошо, Аристарх Павлович.

— Да. Значит, более года, говорите. А знаете, почему так долго? Государю, полагаю, напомнили старую историю. Ведь батюшка ваш в свое время прямо высказал Александру Третьему свой взгляд на европейскую политику России. А царь ему на следующий день прислал собственноручную записку: «Взвесив нашу утреннюю беседу я пришел к убеждению, что вместе мы служить России не можем. Александр». Вот так у нас бросаются честными патриотами, а потом любят за голову хвататься: «Людей нет!» — Генерал открыл сейф и стал укладывать туда пухлые папки. — Да… «Умом Россию не понять…» Мне во многих кампаниях довелось участвовать: за веру, царя и Отечество — ура! А русским себя до кончиков ногтей ощутил только на Шипке…

Генерал закончил с бумагами, достал из сейфа вороненой стали револьвер, бережно провел по нему ладонью:

— Именной. Сам Скобелев вручал перед солдатским строем. Царство ему небесное. Были когда-то и мы рысаками… — И опустил оружие в карман мешковатых штатских брюк. Захлопнул тяжелую дверцу сейфа, протянул ключи Алексею Алексеевичу. — Не дай бог потерять. — Обвел глазами комнату. — Ну, кажется, всё. В должность рекомендую являться в полной форме, при орденах. Это подтягивает сотрудников. Имеете боевые награды?

— Да, ваше… Аристарх Павлович.

— Прекрасно. В остальных случаях, если официально не предусмотрено, советую — в штатском. Высока честь носить мундир боевого русского офицера, так чтоб в чужих глазах не примелькался.

Томилин достал часы-брегет, нажал пружину:

— Так… Я уже, а вы еще не в должности. Имеем право, как два штатских господина, распить бутылку шампанского. Принимаете приглашение старого парижанина?

…Они сидели за столиком в маленьком уютном кафе на Итальянском бульваре.

— Я искренне любил вашего батюшку, — говорил Томилин, — знаю, как болезненно переживал граф Алексей Васильевич свою раннюю, вынужденную отставку. Знаю, что умер непримиренный… Чувствую по отношению к вам как бы отеческий долг.

Гарсон подал шампанское, наполнил бокалы.

— Я давно приметил это кафе, — продолжал Томилин. — Малолюдное, наши, русские, сюда не заглядывают. За границей двум русским людям для откровенного разговора лучше встречаться подальше от соотечественников. У нас в военной миссии, да и в посольстве все наушничают, доносят, подсиживают друг друга. Трудно постичь, отчего мы, русские, за границей один другого едим поедом. Все наши хорошие черты — напоказ иностранцам, а вся гадость — между собой. Поварившься в этом бульоне, и сам становишься ни то ни се. Послужите здесь с мое, сами убедитесь. Старайтесь, голубчик, любовь к Отечеству незапятнанной вынести из этой грязи. Да. Вот вы сейчас думаете: брюзжит старик, кокетничает цинизмом, а сам — полный генерал, награжден орденом и лентой Белого орла. А почему, позвольте вас спросить? А потому, что я в должности соблюдал доброе старое правило: дела не делай, от дела не бегай. Упаси вас бог инициативничать, изменять существующие порядки. Помните печальный пример отца вашего. Россия стоит беспорядком. Только терпение истинно. Только терпение. Иногда тяжело, конечно. Душа болит.

Генерал задумался, ушел в себя. Маленькие его глаза

расширились и напряженно вглядывались во что-то далекое-далекое.

Со стороны бульваров ударила музыка духового оркестра. Выбрасывая ноги в парадном шаге, за оркестром промаршировал взвод солдат. Впереди дирижер ритмично подбрасывал высокий полосатый жезл, увенчанный конским хвостом.

— Неужели снова станем воевать, Аристарх Павлович? — спросил Кромов.

— Неизбежно. Все в этом мире стало продаваться и покупаться. Да. Большие деньги правят людьми. А большие деньги — это большая война.

Подошел гарсон. Томилин расплатился. Они поднялись из-за стола.

— Спасибо вам, Аристарх Павлович.

— Не за что. Дай бог, чтоб на пользу. Провожать меня завтра не приезжайте. Не люблю проводов.

Он перекрестил своего преемника, потом обнял и троекратно поцеловал.

— Прощайте, голубчик. Всего не переговоришь, не поминайте лихом. Старики болтливы. Ну, с Богом.

## II
## Январь 1910 года. По дороге из Жювези

По дороге из Жювези, маленького городка в окрестностях Парижа, катил закрытый автомобиль.

Прохожие попадались редко, хотя день выдался ясный, солнечный. Уже при въезде в город автомобиль обогнал группу велосипедистов, дружно накручивающих педали. Мелькнули лица мужчин, разрумяненные морозцем и скорой ездой. Один из них что-то весело крикнул вдогонку автомобилю, изо рта вместе с возгласом вырвалось облачко белого пара.

И снова пустая лента дороги со светлыми пригородными домиками за рядами ветел вдоль обочин. Теперь дорога шла по берегу Сены. Проехав немного по набережной, автомобиль повернул влево, на Национальный мост. Зимой оживленное движение по реке прекращалось.

Ярко раскрашенные лодки и барки с торчащими мачтами теснились у крайних быков моста, как диковинные стада.

Какой-то человек, в одной жилетке, с непокрытой седой головой, пробирался к берегу по лодочным скамейкам, бережно неся под мышкой пятнистую кошку. Отсюда, с моста, открывался вид на один из южных, рабочих районов Парижа — Таре, район вокзалов. Над фасадами небольших старых домов с зеленоватыми

ставнями возвышалась высвеченная солнцем, готически вытянутая колокольня церкви Нотр-Дам-де-ля-Таре.

Дальше просматривался купол собора Де-Грасе, и за этой панорамой в морозной дымке угадывался Большой город.

Автомобиль свернул направо и снова покатил по набережной.

У въезда на бульвар, прямо посреди мостовой, стояло такси с распахнутой дверцей, а возле — небольшая толпа.

Закрытый автомобиль поравнялся с такси и остановился.

Среди взволнованно переговаривающихся и жестикулирующих людей, по виду рабочих, в куртках и кепи, выделялась высокая женская фигура: маленькая меховая шляпа, вуаль, элегантная шубка, пышная муфта. Женщина заинтересованно разговаривала с кем-то, но со стороны, за спинами толпы, нельзя было рассмотреть ее собеседника. Видна была только рука в коричневой перчатке, сжимающая рукоятку руля над помятым велосипедным колесом.

— Наталья Владимировна! — окликнули из закрытого автомобиля.

Женщина обернулась.

Крупная сетка вуали не скрывала ее молодого, свежего лица с широко расставленными глазами.

Она сразу узнала голос звавшего ее, заулыбалась и быстро пошла к закрытому автомобилю.

Кромов, в наглухо застегнутом военном плаще и русской офицерской фуражке, шагнул навстречу ей с высокой подножки.

— Алексей Алексеевич… — Она протянула руку. Он быстро склонился к ее руке и встревоженно спросил:

— Что случилось?

— Ничего особенного, дорожное происшествие.

— Сломалось такси? Такое меццо-сопрано, как у вас, надо оберегать от простуды. Позвольте предложить вам мой автомобиль.

— Благодарю. Я сейчас не могу. — Наталья Владимировна оглянулась через плечо. — Представляете, какой-то тип обгонял наше такси на своем авто, наехал на велосипедиста и даже не остановился! Я все прекрасно видела! Велосипедист успел соскочить, но велосипед сильно пострадал. Велосипедист оказался наш, русский, представляете? Я ему сказала номер автомобиля, хочу быть свидетелем… Чему вы смеетесь, Алексей Алексеевич?

Она снова обернулась.

Толпа успела разойтись.

Около такси стояли только двое: какой-то смуглый человек в синей блузе и велосипедист.

Рука в коричневой перчатке по-прежнему крепко поддерживала за руль помятую машину. Велосипедист был одет, как одеваются все велосипедисты. Твидовый пиджак, брюки-гольф, заправленные в толстые шерстяные носки, грубые ботинки. Конец длинного шарфа переброшен через плечо. Кепи с широким козырьком, сдвинутое к затылку, открывало чистую и мощную линию высокого лба, рыжеватые усы и округлый подбородок смягчали резко выступающие скулы. На вид велосипедисту было лет сорок.

— Благодарю вас, — отчетливо выговорил он, обращаясь к Наталье Владимировне и неясно произнося букву «р».

— Вы не берете меня в свидетели? — Вопрос Натальи Владимировны прозвучал обиженно.

Велосипедист улыбнулся. Улыбка, открытая, простодушная, мгновенно изменила его лицо. Резкие, суровые линии округлились, от глаз разбежались веселые морщинки.

В его глазах, темных, жгучих, слегка раскосых, вспыхнул озорной огонек.

— Не обижайтесь, пожалуйста. Свидетелей у меня будет предостаточно.

— А как же вы… — Наталья Владимировна указала на помятый велосипед.

— Бог с ним, с велосипедом, — весело откликнулся велосипедист, — погода прекрасная. Это же прелесть для прогулки пешком!

Он притронулся рукой в коричневой перчатке к козырьку кепи, прощаясь.

Наталья Владимировна пересела в закрытый автомобиль.

Когда автомобиль обгонял рабочего в просторной синей блузе, который помогал велосипедисту везти помятую машину, то велосипедист, отвечая Наталье Владимировне, приветливо кивнул ей вслед.

Наталья Владимировна Тарханова — молодая русская актриса — сидела в закрытом автомобиле, откинувшись на упругую кожаную спинку сиденья. Кромов — рядом.

— Я ездила в Жювези смотреть авиаполеты. Это фантастика! Вы тоже ими интересуетесь, Алексей Алексеевич?

— Интересоваться новинками техники входит в обязанности военного атташе.

В окне автомобиля уже проплывали центральные улицы и площади города.

Потом велосипедист напишет сестре из Парижа: «Насчет велосипеда я думал было, что скоро получу вознаграждение, но дело затянулось. Сужусь. Надеюсь выиграть. Ехал я из Жювези, и

автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним (через адвоката). Ездить теперь все равно не стал бы: холодно (хотя зато хорошая зима, прелесть для прогулок пешком)».

И подпишется: «Твой В. У.». Владимир Ульянов [1].

## III
## Сентябрь 1914 года. Накануне

Мальчишка-газетчик метался между прохожими и выкрикивал:

— Последние новости! Последние новости! Доблестные французские войска нанесли сокрушительное поражение проклятым бошам на реке Марне! Русские прорвали фронт на юго-востоке. Последние новости!

Заметив среди прохожих русского офицера, мальчишка устремился к нему.

— Купите газету, мосье! — И вдруг заорал на всю улицу: — Да здравствуют наши русские союзники! Да здравствует Франция!

Прохожие стали останавливаться. Образовалась небольшая толпа.

Офицер, улыбаясь, протиснулся сквозь толпу и скрылся за дверью Русской военной миссии.

Пятеро русских и двое французов прилежно трудились за своими столами, когда офицер вошел в комнату.

Служащие представительства оторвались от дел и, разглядев полковничьи золотые погоны, встали по стойке «смирно».

— Здравствуйте. — Вошедший оглядывал стоящих за столами мужчин. — Садитесь, садитесь, господа.

Нарядный полковник остановил свой взгляд на широкоплечем блондине в унтер-офицерских погонах, явно выделяющемся строгой военной выправкой, и двинулся к его столу.

— Скажите, пожалуйста, полковник граф Кромов?.. — Рука, обтянутая белой замшевой перчаткой, повисла в воздухе в направлении к двери в кабинет атташе.

— Так точно, ваше высокоблагородие.

Полковник с улыбкой снова обратился к унтер-офицеру:

— Мне ваше лицо кажется знакомым…

— Так точно. Унтер-офицер ее императорского высочества Восьмого уланского Вознесенского полка — Полбышев!

— А… — протянул полковник приветливо, но сразу было ясно, что он так и не припомнил ничего. — Садитесь же,

господа, — повторил он и отошел от Полбышева.

Алексей Алексеевич Кромов, в наброшенной на плечи шубе, водил пальцем левой руки по бесконечной колонке цифр на листе бумаги, а правой щелкал костяшками больших канцелярских счетов. Он был настолько погружен в свое занятие за заваленным бумагами столом, что не заметил, как дверь в кабинет приоткрылась и заглянул нарядный полковник.

Кромов трудился, а гость рассматривал его, и по лицу гостя бродила улыбка.

Кромов поднял голову и сразу увидел гостя. И тогда гость тихонько запел:

Ласки не жди от далекой отчизны,
Слез за Мукден иль хвалы за Артур.
Встретят упреки тебя, укоризны,
Старый маньчжур, старый маньчжур.

Последние слова они пропели вместе, и гость ступил в кабинет. Крепко, дружески обнялись.

— Алексей, почти седой…

— Французы говорят: ничто так не старит, как годы. А мы говорим: седина в голову — бес в ребро.

— Ой ли? Что-то обстановка для беса самая плачевная. Кто бы мог подумать, что Алексей Кромов превратится в канцелярскую крысу.

— В седую канцелярскую крысу. А ты, Вадим, ничуть не изменился.

— Ты думаешь? Ну уж так и быть, у полковника Горчакова нет тайн от военного атташе.

И гость снял фуражку. Между взбитых кудрявых висков открылась лысина.

— Куда ж ты кудри дел? — Алексей Алексеевич в комическом ужасе всплеснул руками.

— Вот вились, вились и все вывелись. А ты что закутался, как эскимос?

— Мерзну!

— А камин на что?

— Дымит, черт. Мы уж не раз угорали.

— Ничего удивительного. Париж. Приедешь — угоришь.

— Угар — это ерунда. Сумасшедшие изобретатели замучили совсем. Сегодня один с утра явился с визитной карточкой от моей жены. Изобрел беспламенный порох. Представляешь? Высыпал мне на стол какую-то пакость и поджег. Уверял, что не загорится. Еле всем представительством потушили. Сколько раз просил Лиз

не посылать ко мне всяких идиотов!

— Мадам Кромова по-прежнему неотразима?

— Сам увидишь. Каким попутным ветром тебя к нам занесло?

— Это военная тайна.

— Значит, ты ко мне по делам.

— Да. Штаб Верховного командования…

— Пойдем поговорим. Я знаю одно подходящее местечко. Принимаешь приглашение старого парижанина?

…Они сидели в кафе на Итальянском бульваре, за тем же столиком.

— Когда началась эта всемирная бойня, я утешался тем, — волнуясь, признавался Алексей Алексеевич, — что если здесь, за границей, мне трудно, то хотя бы дома, в России, меня понимают.

— Нет, Алексей. — Горчаков быстро заговорил, понизив голос: — Прошлое позорное поражение их ничему не научило. Дальше парадных маневров в Красном Селе они не мыслят. А Распутин торгует Россией, как цыган на конской ярмарке.

— Если бы это не ты говорил, Вадим, я бы усомнился. Сердце отказывается верить. Неужели ни у кого недостанет мужества раскрыть глаза государю?

— Древние говорили, что если боги хотят наказать кого, то лишают разума. Государь слабоумен… России нужна твердая власть.

— Где же выход?

— Ты, Кромов, — наш, с тобой я могу быть откровенен. Необходим парламент, конечно под нашим контролем. У нас сильная партия, мы надеемся победить. Либеральные толстосумы тоже организовались в партию, но с ними можно поладить, если не захлестнет слева. Вся Россия теперь распалась на партии.

— Давно известно, где соберутся трое русских, сразу же возникают четыре политические партии.

## IV
## Октябрь 1917 года. Благотворительный концерт

Посол Временного правительства в Париже Маклаков устроил благотворительный концерт в здании посольства.

Была приглашена знаменитая в Париже русская певица Наталья Тарханова. Перед началом концерта дипломаты, их жены, приглашенная актриса, ее аккомпаниатор и два именитых французских гостя коротали время за беседой и коктейлями.

Кромов остановился у окна, отвел рукой складки шторы. Над ночным затемненным Парижем черным скелетом высилась громада Эйфелевой башни.

Внезапно вспыхнули лучи прожекторов. В их перекрестье повисла светло-желтая масса в форме толстой сигары.

— Смотрите — цеппелин! — Наталья Владимировна Тарханова придерживала рукой штору. — Неужели снова будут бросать бомбы?..

Из-за ее плеча выглядывал молодой дипломат, начальник протокола, которого здесь запросто звали «милый Жорж».

Цеппелин поплыл, стараясь выскользнуть из слепящих лучей, сопровождаемый белыми облачками разрывов шрапнели. Выскользнул. Прожекторы, пошарив в небе, погасли.

— Вы, граф, согласны с Мопассаном, что Эйфелева башня давит Париж своей пошлостью? — важно спросил «милый Жорж».

— Не согласен. Очень удачное сооружение для установки пулеметного гнезда против вот таких цеппелинов, — ответил Кромов.

Наталья Владимировна смеялась.

— Я забыл, что спрашиваю военного атташе, — пробормотал «милый Жорж» и отошел к гостям.

— Алексей Алексеевич! — Актриса смотрела на Кромова своими широко расставленными посерьезневшими глазами. — Жорж сейчас сказал мне под страшным секретом, что вы оставляете свою должность и возвращаетесь в Россию… Я… Я не хочу этому верить…

— Дамы и господа, — торжественно возгласил посол Маклаков, приняв от лакея бокал, — я рад, что наш благотворительный концерт в пользу вдов и сирот русских солдат, погибших при защите прекрасной Франции, проходит в дни, когда Временное правительство России, которое я имею честь представлять, призывает наш народ к войне до победного конца. — И, картинно отставив локоть, пригубил из бокала.

Гости последовали его примеру.

Кромов произнес, обращаясь ко всем:

— Вы не находите, господа, что в сочетании слов «Временное правительство» для русского уха есть что-то комическое?

Маклаков побагровел. Он пригладил на висках и без того заглаженные редкие волосы и сказал с наигранным упреком:

— Побойтесь Бога, Алексей Алексеевич! Мы не одни, здесь наши гости, союзники…

— Вы имеете в виду барона Манжена? — Кромов вежливо поклонился в сторону толстощекого немолодого французa с угольно-черными нафабренными усиками, который расположился в креслах рядом с женой Кромова, красавицей Елизаветой Витальевной. — Этот ваш гость не понимает по-русски. А мосье де Гринье — мой коллега по обеспечению союзных армий — по-

русски понимает и знает, что мы, русские, обычно засекречиваем то, о чем узнаем последними.

Худощавый, подтянутый де Гринье озорно улыбался Кромову.

— Тогда позвольте вас спросить, — Маклаков все еще старался сдержаться, ему с трудом это удавалось, — зачем вы все это говорите, для кого?

— Для вас, представителей Временного правительства в Париже. Мой предшественник, передавая дела, произнес напутствие. Чтобы служить России, сказал он, необходимо соблюдать только одно правило — ни в чем никогда не проявлять инициативы: «Дела не делай, от дела не бегай». А я сдуру этому напутствию не следовал. Господин Керенский настаивает на моей немедленной отставке с поста военного атташе. И тут же истерическая телеграмма: Керенский просит, умоляет меня не покидать пост во имя Родины. Вы думаете, что он оценил мою многолетнюю инициативу на этом посту? Нет. Просто ему доложили, что в заграничных банках двести пятьдесят миллионов золотом на русские военные заказы и эти деньги можно получить лишь за моей личной подписью. Господин Керенский с легким сердцем перечеркнет все мои усилия во имя России, как только получит всю сумму. Но для этого я должен быть убежден, что передаю военные кредиты в надежные, а не временные руки. А пока… — Кромов оглянулся.

На пустом светлом пространстве стены между ребристыми пилястрами проступал большой темный прямоугольник. Уродливый толстый крюк торчал над верхним краем темного пятна.

— А пока вы, господа, сняли портрет государя и не знаете, что повесить взамен.

— А что вы предлагаете, Алексей Алексеевич?

— Ну, хотя бы зеркало. Как-никак, господа, вы на сегодняшний день представители новой власти. Вот бы и отражались временами в зеркале.

— Это контрреволюция, — определил советник.

— У нас просто разное представление о революции, господин советник. — Кромов даже не удосужился повернуть голову в его сторону. — Мой отец говорил, что настоящая русская революция будет тогда, когда народ пойдет с топориками. А тогда, насколько я понимаю, никому из нас не поздоровится.

Если посол багровел, то советник побледнел.

— Вы играете с огнем, господин полковник.

— Мне не привыкать. Я — военный.

Посол счел нужным вмешаться:

— Вы сгущаете краски, граф. В России высоко ценят ваши

выдающиеся заслуги. Ваша честность…

Кромов не дал ему договорить:

— Неужели у нас уже пришли к такой катастрофе, что честность является заслугой?

— Господа! — Жена Кромова как бы нехотя поднялась, соболий палантин сполз в кресло, открыв покатые матовые плечи. — Господа, мы собрались слушать музыку, а ты, Алекс, вечно затеешь какие-то скучные споры. Я женщина, мне нет дела до вашей политики… Это невыносимо, в конце концов. Для женщины всегда прав тот, кто умеет ухаживать за ней, проявлять внимание. А русский он, француз, англичанин или… мне решительно все равно.

Мужчины рассмеялись, кое-кто из дам зааплодировал.

— Шарман, шарман!

— Русские мужчины так утомительны, — капризно пожаловалась она по-французски. И снова по-русски: — Одна мадемуазель Тарханова, кажется, слушала тебя, Алекс, и то из вежливости.

Наталья Владимировна смутилась.

— Может быть, не только из вежливости, — игриво предположил молодой начальник протокола. — Граф — красивый мужчина.

— Правда? — Мадам Кромова умело разыграла удивление. — Вот сразу заметно, милый Жорж, что вы мало разбираетесь в женской психологии. Впрочем, когда Алекс в военной форме, я ему многое прощаю…

В гостиную ступила новая фигура. Смокинг сидел на фигуре безупречно.

— Господин посол, — произнесла фигура бесцветным голосом, — прикажете начинать?

Все поднялись и двинулись к выходу.

На рояле — высокий бронзовый канделябр о шести свечах. Второй такой же поставили на пол, с краю маленькой эстрады, у ног певицы. Наталья Владимировна, опираясь правой рукой на крышку рояля, склонилась в поклоне. Небольшой зал, из которого сыпались аплодисменты, тонул в темноте. Наталья Владимировна выпрямилась, приготовилась. Она хорошо представляла себе, что очень эффектно выглядит в темном подсвете свечей, и порадовалась, что выбрала для концерта это красное бархатное платье.

Кто-то в темном зале кашлянул, наступила тишина.

Наталья Владимировна кивнула аккомпаниатору.

Утро туманное, утро седое…

Ослепленная светом свечей, она не видела, как между

стульями к послу пробрался безликий человек в смокинге и что-то шепнул на ухо. Посол пошептался с советником. Шепот зашелестел по рядам от кресла к креслу. Мужчины стали подниматься и покидать зал.

За ними потянулись дамы.

Зал быстро пустел.

Наталья Владимировна пела:

Вспомнишь и лица, давно позабытые…

Что за шум из зала?

Она продолжала петь, и вдруг рояль умолк. Аккомпаниатор, привстав над стулом, вглядывался в темноту зала. С грохотом что-то упало, наверное стул.

Наталья Владимировна шагнула к самому краю маленькой эстрады, загораживаясь ладонью от света свечей.

— Что происходит? — прекрасным голосом, каким пела, спросила она. — Дайте свет.

Шум стих. Люстра осветила зал. В боковых дверях мелькнул чей-то черный смокинг и исчез. Маленький зал был пуст. В центральном проходе лежал стул.

Почти в центре третьего ряда одиноко сидел Алексей Алексеевич Кромов.

— Что случилось? — Наталья Владимировна растерялась. — Пожар?

— Не пугайтесь, Наталья Владимировна, — ответил Кромов. — Пожар, но очень далеко. В России.

## V
## Ноябрь 1917 года. Полбышев

Полковник Алексей Алексеевич Кромов обычно являлся на службу раньше всех своих сотрудников, но в это осеннее ненастное утро он сильно запаздывал. Впрочем, его сотрудники, которые в этот час, как правило, уже трудились каждый за своим столом, перебрасываясь короткими репликами исключительно по делу, в это утро за свои рабочие места так и не сели.

Они сгрудились вокруг пожилого бухгалтера, который им что-то неутомимо объяснял, поминутно сдвигая на лоб очки в железной оправе и тыча пальцем в исписанный цифрами лист, который он держал перед своим носом.

Только один человек не участвовал в этом обсуждении. Человек этот был унтер-офицер Георгий Иванович Полбышев.

Нельзя сказать, чтоб его совсем не интересовало происходящее в комнате. Время от времени он поднимал свое курносое лицо от бумаг, которые прилежно просматривал, и

косился в сторону сотрудников, прислушиваясь к их разговору.

Тогда до него доносилось:

— В одном только Банк-де-Франс сто двадцать пять миллионов! С ума сойти! — вскрикивал штабс-капитан Шабашников, хватаясь за пушистую бородку. — Да это же…

— Господа, давайте споем, господа, — совсем некстати предлагал коллегам бравый поручик Чоб, который с утра где-то «клюкнул». — Что-нибудь трогательное…

На него зашикали — и снова совещаться:

— Ведь надо же решать, как преподнести…

И опять бухгалтер бубнил свое, тыча в цифры на листе.

Полбышев ерошил светлые, выгоревшие свои волосы и углублялся в дела.

— Хорошо, что его сиятельство штата не раздувал, а то бы… представляете? — таращил глазки прапорщик Кока Лещинский.

— Куда это французы сбежали? — пьяно недоумевал поручик.

— А при чем тут французы? Ихней доли тут нет, — категорически заявлял Шабашников.

И снова бухгалтер: «бу-бу-бу», «бу-бу-бу».

Полковник Кромов вошел в комнату внезапно. Сотрудники бросились по своим местам и вытянулись по стойке «смирно».

— Здравствуйте, господа. — Алексей Алексеевич снял шляпу.

Сотрудники впервые видели его в штатском: серое пальто с бархатным воротничком, брюки, ботинки.

— Здравия желаем, господин полковник, — нестройно ответили сотрудники.

— А почему наши французские коллеги отсутствуют? — осведомился атташе.

— Не могу знать, господин полковник. Не явились, — как старший среди сотрудников по чину, ответил штабс-капитан Шабашников.

— Не явились, — зачем-то повторил Кромов и посмотрел на подкладку своей шляпы, словно искал там ответ.

— Позвольте обратиться, ваше сиятельство. — Бухгалтер явно волновался, очки сползли на самый кончик носа.

— Обращайтесь… — Кромов продолжал разглядывать подкладку шляпы.

— Вы в штатском по каким-нибудь веским причинам или просто так?..

— По причинам. — Кромов высоко поднял голову и обвел взглядом своих сотрудников. — Сегодня, господа, официально подтверждено известие, что новое большевистское правительство России, разорвав союзнические обязательства, вышло из войны.

Отсутствие наших французских коллег показывает, что французское командование отозвало своих сотрудников. Для нас это означает, что мы больше не существуем как учреждение. Я не могу оставить своей должности военного атташе России, пока не буду знать, кому мне сдать дела и военные суммы. Прошу вас подготовить бумаги по своим отделам и передать мне в архив. Это займет у вас не больше часа. После можете считать себя свободными, господа, и действовать по своему усмотрению.

Алексей Алексеевич твердыми шагами пересек комнату и, переступая порог своего кабинета, обернулся. Будто хотел что-то сказать своим сотрудникам. Все стояли навытяжку, задержав дыхание. Им показалось, что в глазах Кромова блеснули слезы. Он молча шагнул в кабинет и притворил за собой дверь.

Сотрудники некоторое время еще стояли навытяжку и вдруг, словно очнувшись, дружно устремились к бухгалтерскому столу. Все, кроме Полбышева. Он опустился на стул и занялся бумагами.

Но дверь в кабинет, скрипнув, приоткрылась, и сотрудники снова замерли.

— Глеб Ипполитович, — обратился Кромов к бухгалтеру, — представьте мне общий итог, чтобы я мог выдать сотрудникам последнее жалованье.

Кромов плотно закрыл дверь в кабинет, подошел к камину, поворошил обгоревшие поленья. Вернулся к столу, стал быстро просматривать бумаги, раскладывая их на две стопки. Потом левую, большую, отнес к камину, уложил на дрова и зажег. Пламя вспыхнуло, сухие дрова занялись быстро.

Алексей Алексеевич пододвинул ногой стул к шкафу и стал просматривать бумаги в папках, которые он вытаскивал с полок и складывал на стул. В камин полетели новые кипы листов. Огонь разгорался, потрескивали дрова.

Кромов сидел у стола и курил. Дверцы шкафа были распахнуты, полки пусты. Перед ним на столе лежали всего две папки, туго перевязанные тесьмой. Камин догорал.

Вдруг Алексей Алексеевич торопливо загасил папиросу, подошел к сейфу, повернул ручку замка, потянул на себя дверцу.

Из глубины сейфа достал тяжелый, вороненой стали пистолет. Держа его в руке, провел ладонью вдоль ствола. Сел, не выпуская оружия, о чем-то глубоко задумался. Потом резко поднялся, отдернул занавеску на стене. Некоторое время, не двигаясь, разглядывал испещренную синими и красными линиями карту военных действий, положил на стол пистолет и сорвал карту со стены. Запихал ее в камин. Смотрел, как язычки пламени медленно выбиваются где-то в районе Карпатских гор.

В дверь деликатно постучали.

Стук повторился громче, настойчивей.

Дверь приоткрылась.

Кромов резко обернулся и встретился глазами с Полбышевым. Некоторое время они пристально смотрели друг на друга. Полбышев отвел глаза. Алексей Алексеевич проследил его взгляд. Полбышев заметил пистолет на столе.

— Простите, господин полковник, — сказал Полбышев хрипло, — тут техническая документация. — В руках у него была увесистая папка.

Он ступил в комнату и, прижавшись спиной к двери, затворил ее.

Кромов подошел и взял папку из рук Полбышева. Но тот не сразу ее выпустил. Глаза их встретились.

Пока Кромов увязывал папку с двумя оставшимися, Полбышев, нагнувшись над столом, прочел надпись на медной дощечке рукояти пистолета вслух:

— «Поручику Кромову Алексею Алексеевичу за храбрость, проявленную в деле под Ляояном». Разлюбили поручика Кромова, господин полковник? — спросил Полбышев.

— Глупости говоришь. — Алексей Алексеевич взял со стола пистолет, сунул в карман брюк, отвернулся к окну.

Полбышев не уходил.

— Иди, Георгий Иванович, — тихо попросил Кромов, не оборачиваясь.

Полбышев двинулся к двери. Его остановил голос Кромова:

— Отвоевались за веру, царя и Отечество. Кончено.

Лицо Полбышева стало суровым, жестким.

— Рано нам прощаться, Алексей Алексеевич. Что, немец Россию покорил или японец? Русские там. Русские. Такие же, как вы да я. А где наша не пропадала?

Он подождал ответа. Кромов молчал. Полбышев вышел.

Когда Полбышев вернулся в комнату сотрудников, бухгалтер Глеб Ипполитович спросил его:

— Вы ведь, Георгий Иванович, с господином полковником еще в Маньчжурскую кампанию вместе служили?

— Так точно, — ответил Полбышев. — Имел честь быть вестовым Алексея Алексеевича.

Сотрудники во главе с бухгалтером обступили Полбышева.

— Так как он отнесется к нашему предложению? — вкрадчиво спросил бухгалтер.

— Банковские суммы между нами поделить? — Полбышев почесал за ухом, наморщил лоб.

— Ведь нам отчитываться теперь не перед кем. — Бухгалтер потер очки и водрузил их на место. — Деньги, так сказать,

пропадут зря… Учитывая беспорочную службу, так сказать… Коллегиально, конфиденциально… совершенно секретно… А?

— Совершенно секретно, говорите? — Полбышев подкрутил усы. — Если вас интересует мое мнение, господа, то я вам так скажу: даже начинать такой разговор с господином полковником не советую! Его сиятельство человек, конечно, душевный, но…

— Плевать я хотел на тонкости, — прервал его штабс-капитан Шабашников. — Трибуналу теперь не предадут, кончился трибунал. На дуэль тоже не вызовет. Ну, накричит, в крайности. Решайтесь, господа.

— Если вы такой решительный, вы и доложите графу, — предложил Кока Лещинский. — А мы поддержим.

— Не в деньгах счастье, — радостно сообщил поручик Чоб.

— Нашел время нализаться, — огрызнулся Шабашников.

— Меня, господа, увольте. — Полбышев улыбнулся. — Вам больше достанется.

— Вы не шутите?

— Никак нет. — Полбышев нахмурился.

— Ну, я иду, господа. — Шабашников застегнулся на все пуговицы, одернул мундир.

— С Богом. — Глеб Ипполитович перекрестил штабс-капитана.

Шабашников подошел к двери в кабинет атташе, решительно постучал, вошел и притворил за собой дверь.

Сотрудники в комнате замерли, затаили дыхание. Но из-за массивной двери не долетал ни один звук.

Бухгалтер на цыпочках подкрался к двери и уже хотел приложиться к ней ухом, как створка раскрылась и штабс-капитан Шабашников возник на пороге. За ним виднелся Алексей Алексеевич, который держал его за шиворот. Так, за шиворот, Кромов стремительно проволок Шабашникова через всю комнату и, отворив ногой входную дверь, с силой толкнул в нее ретивого капитана. Тот полетел вниз, считая ступеньки.

Два французских офицера дружно расступились на лестнице, давая капитану дорогу.

Полковник Кромов стоял в распахнутых дверях. Французы отдали ему честь.

— Мосье Кромов! — четко доложил один из офицеров. — Господин полковник! Господин военный министр просит вас прибыть к нему на срочное совещание. Немедленно. Автомобиль у подъезда.

## VI
## Дружеское предложение

Военный министр поднялся из кресла, обошел свой внушительный письменный стол и, улыбаясь, протянув Кромову обе руки, двинулся ему навстречу.

— Здравствуйте, господин Кромов, — сказал министр. — Надеюсь, вы извинили мою настойчивость?

— Добрый день, господин министр.

Изящным жестом указав Кромову на кресло у стола, министр занял свое место.

— Надеюсь, очаровательная мадам Кромова здорова? Помнится, она говорила, что плохо переносит пасмурную погоду.

— Благодарю вас, господин министр. Погода в этом году действительно не из лучших.

— О да.

Помолчали.

— К сожалению, — сказал министр, — ничего нового о политической обстановке сообщить вам не могу. Ничего утешительного ни в настоящей ситуации, ни в прогнозах. Господин Кромов… — Министр замялся, подыскивая точные слова. — В течение последних лет мы встречались с вами как официальные лица. И должен заметить, что мне, как военному министру Франции, эти встречи всегда приносили глубокое деловое удовлетворение. И не только потому, что мы встречались как союзники. Вы меня понимаете?

— Надеюсь, что да, господин министр.

— Прекрасно! Теперь я хочу воспользоваться тем, что на вас нет военного мундира, и задать вам один вопрос, неофициальный. Вы разрешите?

— Сделайте одолжение, господин министр.

— Что вы собираетесь предпринять в ближайшем будущем? Вы лично, граф Кромов?

Министр откинулся на спинку кресла.

Алексей Алексеевич не сдержал тяжелого вздоха. Это не ускользнуло от внимания министра. Он тонко улыбнулся.

— Мне кажется, я понимаю ваше душевное состояние как военного человека и патриота, столько сил и способностей отдавшего ради победы общего нашего дела в эту кампанию, — мягко, с теплыми нотками в голосе сказал министр. — Скажите, вы намерены возвращаться в Россию?

— В ближайшем будущем, господин министр, это вряд ли возможно.

— Мы, французы, пережили не одну революцию. Может быть, именно этот солидный опыт, — продолжал министр, — дает мне сейчас моральное право принять участие в вашей судьбе. Вы начали свою службу в Париже в котором году?

— В девятьсот девятом.

— Восемь лет, восемь лет. Вы смело можете считать себя французом, граф. Более того — парижанином.

— Я польщен.

— Это не только мое мнение. Ваша многолетняя служба в Париже в качестве военного атташе недаром принесла вам высшую французскую военную награду — офицерский крест Почетного легиона. Так не льстят.

— Благодарю вас, господин министр.

— Друзья трудно приобретаются, граф, и их больно терять. Вы сейчас, без преувеличения, самый дорогой русский друг Франции. Мы не хотим, чтобы наша дружба, проверенная в боях, погибла по не зависящим от нас обстоятельствам.

Кромов посмотрел собеседнику прямо в лицо. Министр продолжал, улыбаясь:

— Я уполномочен французским правительством предложить вам, граф, мой полковник, перейти на службу во французскую армию. Это дружеское предложение и деловое. Ваши личные качества, ваш военный опыт дороги Франции, и, поверьте мне, мы сумеем оценить ваши достоинства.

Кромов сидел, глубоко задумавшись. Министр долго не прерывал молчания.

— Вы удивлены, мой генерал?

— Господин министр?

— Я не оговорился, французским правительством принято решение: в случае вашего согласия присвоить вам чин генерала французской армии. Одна ваша подпись, и вы приобретаете вторую родину, а Франция — рыцаря без страха и упрека.

Кромов и военный министр снова взглянули друг на друга. Министр перестал улыбаться и опустил глаза.

— Господин военный министр, — сказал Алексей Алексеевич. — Ваше предложение настолько неожиданно и серьезно, что я прошу дать мне время на достойный ответ.

Военный министр действительно неплохо узнал за эти годы русского полковника графа Кромова и понял, что разговор окончен.

Прощаясь, министр задержал руку Кромова в своей.

— Не забывайте, граф, — сказал министр, — что двери этого кабинета всегда открыты для вас.

## VII
## Апрель 1918 года. В Марсельском порту

Кромов широко шагал между горами грузов. Рядом с ним,

безуспешно пытаясь попасть в ногу, семенил толстенький человек с пачкой квитанций в руках. Алексей Алексеевич уверенно выбирал путь в лабиринте узких проходов. Спутник его бормотал на ходу:

— Я не представляю себе, мосье, как вы остановите работающую на полном ходу машину. Это не так-то просто. Грузы с русским казенным добром будут прибывать еще полгода, не меньше.

Они вышли на грузовой причал. Раскачивались стрелы подъемных кранов, скрипели лебедки, росли на глазах штабеля грузов — огромных мешков и ящиков, на которых чернели таинственные значки таможенных и фирменных маркировок. Шла разгрузка. Под высоким черным бортом транспортера суетились рабочие-грузчики, цепляя к стреле крана очередной ящик. Слышались голоса работающих, долетал чей-то смех.

— Как я буду ликвидировать дело — это моя забота, мосье Морешаль. — Кромов следил за разгрузкой. — Если вы считаете, что грузы будут идти полгода, я вам выплачу жалованье вперед за полгода. Продавать всё — решительно всё. Со складов, с причалов, а если транспорт еще в море — продавайте прямо в море. Деньги на мой счет в Банк-де-Франс. Какие вы хотите комиссионные?

— Э-э-э… мне кажется, что два процента, мосье…

— Будете получать пять.

— О мосье!

— При большой оптовой покупке уступайте не более одной трети.

— Я сделаю все, что в моих силах, мосье.

Кромов сунул руку за отворот пальто, вынул бумагу:

— Вот вам доверенность на право распродажи. Отныне вы, мосье Морешаль, — частное деловое лицо.

— Я оправдаю ваше доверие, мосье мой полковник. О господи! — Мосье Морешаль не мог удержать растерянную улыбку. — Кто бы мог подумать? Еще вчера…

— Алло, мосье Морешаль! — донеслось с транспорта.

Грузчики столпились у самого борта. Они были видны по пояс. Стрела с прицепленным к ней ящиком со скрежетом потянула груз на причал.

— Стой! Стой! — замахал руками один из рабочих. Ящик завис в воздухе. Грузчик крикнул:

— Мы знаем: мосье, который разговаривает с вами, — русский. Мы хотим его спросить.

— Спрашивайте, — отозвался Кромов.

— Что происходит у вас на родине, мосье? Мы тут спорим.

Симон говорит, что ваши русские рабочие…

— У меня нет никаких сведений о том, что происходит в России, — прервал грузчика Кромов. Но тот не унимался:

— А Симон — это наш товарищ Симон Дарье, — вот он, он говорит…

Мосье Морешаль вдруг пришел в ярость.

— Симон Дарье? — заорал он. — Почему остановили разгрузку? Опять этот Симон Дарье?! Я вас всех оштрафую!

И мосье Морешаль трусцой побежал по трапу. Ящик дернулся и со скрипом стал удаляться от борта.

## VIII
## Май 1918 года. Гости из России

Солнечные блики дрожат и вспыхивают на рябой под ветром поверхности пруда. Мальчик медленно входит в воду осторожно ступает, нащупывая дно ногой при каждом шаге. Оступился, передернул узкими плечами, поймал равновесие. Потом повернулся назад всем корпусом. Оказалось, что у мальчика связаны руки. Обращенные внутрь ладонями, они связаны в запястьях несколькими обводами матерчатого пояска. Вытянув вперед связанные руки, лег на воду и поплыл прочь от берега, энергично работая ногами, выбрасывая из воды руки с растопыренными пальцами. Вода захлестывает его, летят, сверкая, брызги.

Мальчик ничего не слышит, кроме плеска воды и своего учащенного дыхания. Впереди, за накатывающейся толщей воды, он видит белый дом с флигелем, часть колоннады и крыльца, у которого растут высокие кусты жасмина. Дыхание его учащается, становится хриплым. Вода закрывает белый дом, исказив пейзаж, как в кривом зеркале. Совсем закрыла.

Вот дом возник снова, на крыльце — высвеченная солнцем женская фигура в белом платье. Выбежала из дома еще одна женщина, потом маленький мальчик. Снова все исчезло, сквозь воду мутным пятном светит солнце.

И снова дом, какие-то люди бегут к воде, к нему, к пловцу. Впереди женщина в белом платье и белой косынке. Она далеко обогнала всех, подхваченный ее рукой край длинной юбки полощется на бегу…

— Алеша! — кричит женщина издали. — Алексей!..

— Алексей! — сказал голос Елизаветы Витальевны. — Да проснись же, Алекс…

Кромов лежал в гостиной на маленьком диване в неудобной, беспомощной позе. Он заснул одетый, успев снять только пиджак.

Проснулся, сел, провел ладонью по волосам, по лицу, с трудом приходя в себя.

— Прости, Лиз, — пробормотал он сонно, — мне сейчас приснилось…

— Я не умею угадывать сны. — Елизавета Витальевна была настроена решительно. — Но я хотела бы знать, правильно ли я поняла твой отказ от предложения военного министра?

— Отказ? Откуда ты узнала о моем отказе?

— К сожалению, не от тебя. Алекс, я тебя не понимаю. Я — твоя жена. Зачем ты сразу не доверился мне, почему я должна узнавать все от третьих лиц? Где мы теперь будем жить: в Америке? В Швейцарии? В Англии? Почему ты мне ничего не отвечаешь, Алекс?

Он внимательно изучал ее лицо, словно видел впервые.

— А почему ты думаешь, Лиз, что мы не можем остаться жить во Франции?

Она пожала плечами:

— Мне кажется, это неудобно. Ты уверен, что нас все поймут правильно? Французы — да, они практические люди. Но наши, русские… Русскими уже сейчас полон Париж, и я думаю, их здесь будет становиться все больше. Конечно, нам придется их поддерживать, тех, кто особенно нуждается, но зависть… Бог знает что начнут говорить, будут требовать у нас эти деньги. Нет, Алекс, во Франции оставаться невозможно, — заключила Елизавета Витальевна.

— Теперь я тебя не понимаю. — Он продолжал внимательно ее разглядывать. — Отказываюсь понимать…

— Я говорю о деньгах, которые теперь никому не принадлежат. Ведь получить их можешь только ты. Мосье Манжен сказал мне…

— Ах, мосье Манжен…

— Он наш друг, Алекс…

— Ваш друг, графиня.

— Ты ревнуешь? — Она кокетливо выпятила нижнюю губу. — Это так необычно… У меня гораздо больше оснований для ревности, однако я… Эта певичка… О! Какой грозный вид! Думаю, ты не станешь меня бить, как этого твоего офицерика?

В дверях появилась молоденькая горничная:

— Извините, к вам гости, мадам.

— Гости? — Елизавета Витальевна поправила прическу. — Так поздно? Мы никого не ждем… — И вопросительно взглянула на мужа.

— Скажите, что нас нет дома, — буркнул Кромов.

— Я могу сказать, мосье. Но это ваши мать и брат. Из России.

Софья Сергеевна Кромова, величественная седая старуха, сдерживая рыдания, раскрыла навстречу сыну объятия:

— Алеша, все погибло… Алеша…

Младший брат Алексея Алексеевича, Платон, смотрел виноватыми глазами. На его лице застыло удивленное выражение.

Потом они засиделись за столом допоздна. Брат Платон то и дело подливал себе вино в большой бокал зеленого стекла.

— Мне все еще кажется, что я плыву, — признался Платон, вытирая усы салфеткой и подкладывая себе новую порцию. — Это не приведи господь, как нас с мама трепало в открытом море. Шторм — десять баллов!

— Не слушай его, Алексей, — сказала старая графиня. — Он все время преувеличивает. Капитан говорил — четыре балла.

— Вы, мама, тоже мне говорили, что я преувеличиваю, когда я вам доложил, что мужики в Кромовке заняли весь наш дом. — И к брату Алексею: — Мне староста успел написать. Ты знаешь, кто теперь там всем заправляет у нас, в Кромовке? Артемка! Паршивец! Помнишь его?

— Подожди. Это кучерский сын, — сказал Алексей. — Рыжий?

— Именно, рыжий. — Платон подлил себе вина. — Вообрази только: сын нашего кучера — хозяин Кромовки, родового имения. Каково? — И удивленно поднял брови.

— Может быть, это ненадолго, — предположила Елизавета Витальевна.

— Ненадолго? Это вам так представляется здесь, в Париже. Помнишь, Алеша, отец наш говорил: вот когда народ пойдет с топориками…

— Это уже случалось в русской истории.

— Но чтобы армия была на стороне революции — так не было. Это, брат, не фунт шоколада. Я до сих пор не могу поверить, что мы здесь, у вас. Мне все это кажется сном. А помнишь, Алеша, как ты на спор переплывал пруд со связанными руками и чуть не утонул? Мне влетело, а тебе ничего не было. Мама тебя баловала.

— Опять преувеличение. Я Алешу никогда не баловала. Тебя баловала, ты — младший.

Алексей Алексеевич улыбнулся:

— А помнишь, как ты произносил: свекла и клюква? Получалось: клёкла и клюкла.

— Не помню.

— А я помню.

— Что ни говорите, а нет кухни лучше французской. — Софья

Сергеевна поднялась из-за стола. — Проводите меня, душечка, — попросила она Елизавету Витальевну, — а то я стоя усну.

Женщины ушли.

— Алексей, — сказал Платон, — я не хотел говорить при мама. В Петербурге, в Москве — повсюду аресты, расстрелы. Я как подумаю, что там у нас, в Кромовке, со мной что-то нехорошее делается, ей-богу… Что ты думаешь предпринять, когда вспыхнет гражданская война?

— А она вспыхнет?

— Фактически она уже началась. Я думаю, французы нас поддержат. И англичане.

— Интервенция? А чем будем расплачиваться?

— Россия велика… чем-то, конечно, придется поступиться… В одном я твердо убежден: или мы — или они. Третьего не дано.

## IX
## Июнь 1918 года. Разрыв с семьей

Софья Сергеевна Кромова водила Алексея Алексеевича и невестку по комнатам небольшой квартиры. Повсюду в беспорядке громоздились вещи, лежали распакованные чемоданы.

— Здесь будет гостиная, — сказала Софья Сергеевна. И к невестке: — Пойдемте, Лиз, я вам покажу, как я думаю обставить свою спальню.

Женщины вышли, оставив Алексея Алексеевича одного. Он подошел к столу, на котором были свалены фотографии в рамках, лежал толстый, в сафьяновом переплете семейный альбом.

Кромов открыл его с конца, стал перелистывать. Вот он сам в полевой форме поручика… Вот группа молодых прапорщиков в новых офицерских мундирах… опять он в кавалергардском крылатом шлеме…

…Вот белый дом с колоннадой, высокое крыльцо, кусты жасмина… Потом фотография молодой женщины в белом платье и белой косынке, а рядом с ней мальчик в матроске…

— Доброго здоровьица, Алексей Алексеевич, — прогудел глухой старческий голос.

Старик с ворохом белья в руках остановился в дверях. Совсем седые, закрывавшие пол-лица усы топорщились в улыбке.

— Федор! — воскликнул Кромов. — Как же я рад тебя видеть, старый!

Он обнял старика, который бочком прижался к нему, не выпуская своей ноши.

— А уж я-то как рад, ваше сиятельство, — загудел Федор. — Евдокия Кузьминична моя все, бывало, любовалась на вас.

Молодой, говорит, граф наш — голуба душа. Очень она вас обожала, покойница.

— Няня умерла? — У Алексея Алексеевича опустились руки. — Когда?

— Летошний год. Тихо так прибрал Господь.

— Что же мне ничего не написали?

— Где ж было писать, ваше сиятельство? Все кверху дном пошло. Ничего, скоро мы с ней свидимся, даст Бог.

— Что ты, Федор, зря Бога гневишь?

— Нет, Бога я уважаю. Он меня на трех войнах уберег. Только я — русский человек. Без ржаного хлеба долго не протяну… И какая здеся жизнь? Чужбина, известно, все чужое.

— Федор! — послышался голос Софьи Сергеевны.

Старик засеменил через комнату.

— Домой возвернетесь, так на могилку ее сходите. В церковной ограде погребли. Непременно сходите, ваше сиятельство. Очень она вас обожала.

— А если мне дома не бывать?

Но старик уже вышел из комнаты.

В этот вечер Вадим Горчаков был единственным гостем Кромовых. Кончили ужинать. Горничная убирала со стола. Подали кофе.

— Как видите, Вадим Петрович, — сказала старая графиня. — мы тут очень неплохо устроимся. И до Алеши совсем недалеко.

— Сегодня получено очень важное предписание Гран Кю Же. Просят меня освободить квартиру — отозвался Кромов.

— Почему? — Софья Сергеевна с недоумением смотрела на старшего сына. — Что это за Гран Кю Же?

— Главная французская штаб-квартира. Особняк я занимал как представитель союзной армии. Ну а теперь… — Алексей Алексеевич пожал плечами.

— Где же вы будете жить?

— Пока переберемся в какой-нибудь отель.

— С милым рай и в шалаше. — Елизавета Витальевна встала из-за стола и перешла в кресло в углу комнаты.

— Алексей, — проговорила старая графиня, — в последнее время от тебя слова не добьешься. Я хочу знать, как ты намерен дальше жить?

— У Алексея Алексеевича есть средства, — сказала из своего угла Елизавета Витальевна.

— Какие это средства по нынешним временам! — махнула рукой Софья Сергеевна.

— Большие. Очень большие. — Елизавета Витальевна точно рассчитала эффект. — Двести пятьдесят миллионов золотом.

Платон застыл с открытым ртом. Горчаков опустил глаза.

Старая графиня смотрела на старшего сына не мигая.

— Это правда, Алеша? — тихо спросила старая графиня.

— Почти правда. Правда, что двести пятьдесят миллионов, но неправда, что мои.

— Так чьи же? Объяснись.

— Да уж объяснись, пожалуйста. — Брат Платон обрел дар речи. — Такие деньги — не фунт шоколада.

Алексей встал, прошелся по столовой.

— Эти суммы, — начал он говорить с расстановкой, словно читал лекцию, — аккредитованы царским правительством на войну, на вооружение русской армии. Как военный атташе России во Франции, в союзной стране, я несу за них ответственность. Суммы эти распределены по различным банкам, в основном находятся в Банк-де-Франс. Я не стану вам объяснять, это долго и не нужно, каким образом сложилось так, что ни одного су нельзя получить без моей подписи. Вот и все.

Алексей сел и закурил.

— Так. Так. Так. — Платон старался осмыслить полученную информацию. — Государь отрекся. Временное правительство кануло в Лету. Так. Ты обязан отчитаться в этих суммах перед правительством Франции?

— Нет. Сам военный министр Франции подписал договор, по которому я единолично распоряжаюсь этими суммами. В то время это было выгодно французам, снимало с них всякие денежные обязательства.

— Так кому же они принадлежат?

— России.

Теперь поднялся Вадим Горчаков:

— Какой России? Той самой России, которую мы знали, любили, больше не существует. И ты это прекрасно понимаешь. Путь назад для нас отрезан. Мы не можем жить в раю для кучерских детей, жидов, дворников и кухарок. Да нам и не дадут там жить: нас там расстреляют, повесят только за то, что мы — это мы. Сегодня мы и нам подобные — все, что осталось от России. И если эти проклятые деньги принадлежат России — они принадлежат только нам.

— Нам! Мы! Нам!!! — Алексей вскочил. — Мы, Николай Второй!

— Замолчи! Ты присягал! Ты забыл про кавалергардский штандарт, перед которым мы приносили присягу, поклявшись защищать царя и Отечество до последней капли крови!

— Царя? Кто он теперь для нас?

Друзья встали друг против друга.

— Как бы мы судили солдата, покинувшего строй, да еще в бою? И что прикажешь думать о «первом солдате» Российской империи, покинувшем во время войны свой пост главнокомандующего, наплевав на то, что станет с русской армией? Уж на что жалкой фигурой казался мне всегда Павел Первый, но и тот нашел в себе мужество сказать в последнюю минуту своим убийцам, предлагавшим ему отречение: «Вы можете меня убить, но я все равно умру вашим императором».

Вадим закрыл руками лицо. Алексей закончил:

— Он сам освободил меня от присяги своим позорным отречением. А теперь ты хочешь, чтобы я бросился разворовывать солдатскую казну? Пусть этим занимается твой приятель, граф Бобринский.

— При чем тут Бобринский? — вступился Платон. — Не трогай его, он страдалец! Его большевики трижды арестовывали, реквизировали имущество. Оставили всего одну шубу.

— Всего одну шубу! Страдалец! Этот страдалец добился лично у государя подряда на партию патронов для русских винтовок. Сделал французам заказ по высочайшему повелению, через мою голову. Нажил миллионы. А патроны эти в русские ружья не лезли: калибр не подходил. Наши солдаты с его патронами в Галиции тысячами полегли. А он сам про это по всем парижским салонам рассказывал как о забавном конфузе, со смехом. В армии не знали, что это его, Бобринского, проделки, зато знали, что военный атташе в Париже я, полковник граф Кромов! Я его хотел здесь, в Париже, судить военным судом. Так он успел сбежать, подлец.

— Вот Артемка Рыжий его и повесит.

— И правильно сделает.

— И тебя рядом с ним.

— И поделом.

— И нас с мама! — заключил Платон.

Повисла тяжелая пауза.

— Но не все же так поступали, Алексей, — решилась вмешаться Софья Сергеевна.

— Не все. Все воевали без патронов, умирали, защищая Россию, чтоб благоденствовали Бобринский et cetera.

— Ах, вот ты как заговорил! — Вадим презрительно сощурился. — Ничего, новые народятся. Рабье племя плодовито.

— Один из таких рабов ради меня жизнью рисковал.

— Ну и получил за это унтер-офицера.

— Господин унтер-офицер! Господин полковник! Ваше высокоблагородие, ваше сиятельство! А мы испокон веку даже именами их не интересовались: человек, эй, человек! Это они —

эти человеки — без патриотической болтовни, без парадов и пустого бахвальства веками считали себя должниками России. А мы — самозваные кредиторы! Я всю жизнь гордился, что выполняю свой долг перед Отечеством. А на самом-то деле был убежден, что Отечество у меня в долгу. Недостаточно ценит мои заслуги, задерживает звания, не продвигает по службе. Весной в Баден-Бадене, летом в Ницце, зимой в Альпах. Не перевели деньги из России? Должны были прислать! Должны, должны. И выходит, вся Россия у меня в долгу.

— Ты что же, в революцию играешь?! Ты… — Горчаков задохнулся.

— Революция, Вадим, это, конечно, страшно. А слабоумный самодержец, а его жена, а вор Гришка Распутин, торгующий родиной, — это не страшно? Это безнадежно страшно. Еще тогда, на фронте, а потом здесь, в Париже, среди политиканов, спекулянтов на солдатской крови, барышников всех мастей и рангов я так изуверился в наших идеалах, что хоть пулю в лоб! А революция — это по крайней мере надежда на лучшее, Вадим. Я не знаю, куда приду, но от чего ушел навсегда, я знаю.

— Алексею Алексеевичу предлагался чин генерала французской армии, — сказала Елизавета Витальевна. — Он отказался. Если ваш сын думает, что я буду счастлива разделить его нищенское существование, — он ошибается.

— Глупости, — сказала Софья Сергеевна. — Вы венчаны.

— Православие хорошо в России. Во Франции главенствует Католическая церковь. Я в любом случае останусь христианкой.

Софья Сергеевна, всплеснув руками, повернулась к невестке, но Платон вдруг всхлипнул, как ребенок, забормотал сквозь слезы:

— Алеша, брат… Я ехал к тебе… надеялся… Что же это, Алеша? Одумайся, брат… Одумайся. Ну, хочешь… хочешь, я на колени перед тобой стану?..

Он сделал попытку сползти с кресла на пол. Софья Сергеевна удержала его.

— Довольно! — Она повернулась к Алексею. — Пока еще я глава семьи, и последнее слово останется за мной. В нашем роду никогда не было казнокрадов. Кромовы всегда верно служили России, и им не пристало носить французский мундир. В этом я признаю твою правоту, Алексей. Но идеалы, в которых ты разуверился, которые презираешь, — это мои идеалы. Мне семьдесят два года, и поздно в моем возрасте меняться. У меня есть моя правота, и я требую, чтобы ты признал ее! Я прожила жизнь и умру графиней Кромовой. Для меня в революции нет надежды. Если старая Россия обречена Богом умирать здесь, в

Париже, я хочу умереть вместе с ней. И ты не смеешь мне в этом мешать! — Последние слова она выкрикнула.

Горчаков стоял, отвернувшись к окну.

— Мама! — Платон протянул к ней руки.

— Помолчи! Самый трудный путь в жизни, Алексей, это путь к самому себе. Ты отвергаешь старую Россию, и она отвергнет тебя. Не жди от нее ни помощи, ни пощады… Ступай же. Ступай!

Кромов снял с вешалки пальто.

— Алексей! — Софья Сергеевна вошла в прихожую. Старое лицо ее было мертвенно-страшно. — Я все прощала твоему отцу, хотя никогда не понимала его мыслей… все вынесла: опалу, его ожесточение… Я любила его, терпеливо несла свой крест, оберегала вас, моих сыновей… Отец своей смертью освободил меня… И теперь ты, Алеша… Все снова… Я не могу… Не хочу… выше сил… Оставь нас… Прости. — Беззвучно шепча что-то сморщенными губами, она перекрестила сына, потянулась поцеловать его, но почему-то раздумала.

Он открыл дверь и вышел. Когда очень медленно спускался по лестнице, было слышно, как часы в доме бьют полночь.

## X
## Июнь 1918 года. Голубой конверт

Кромов в очередной раз возвращался с марсельского причала. Темнело. В узком проходе из-за пирамиды ящиков навстречу ему выступил человек — котелок, узкий черный сюртук, черный сложенный зонт с массивной ручкой, черный портфель.

— Господин Кромов? — спросил черный человек.

Алексей Алексеевич остановился:

— С кем имею честь?

— Вы меня не узнаете?

Незнакомец уперся в лицо Кромова выпуклыми черными глазами.

— Извините, нет. Мы с вами встречались в России?

— Нет, в Париже, я работал в управлении у Цитрона [2].

— У…?

— У Андре Ситроена. Мы с ним оба одесситы, земляки. Фирма «Ситроен» выполняла ваши военные заказы, вы несколько раз посещали наше парижское предприятие.

— Чем могу быть вам полезен сейчас?

— Вы облегчаете мою задачу. В данный момент я представляю интересы не «Ситроена», а другой фирмы.

Незнакомец щелкнул замочком портфеля, извлек голубой конверт.

— Вы деловой и опытный человек, господин Кромов! Крупное акционерное общество, которое я в данный момент представляю, надеется видеть вас в роли управляющего. Дело вам знакомое — распределение военных заказов. Контракт здесь, любые поправки внесете сами. Кроме того, здесь два оплаченных билета на теплоход «Королева Виктория» до Нью-Йорка. Там вас встретят и отвезут в ваш новый дом: Сан-Франциско, Альворадо-стрит, 116. Теплоход отплывает раз в две недели из Бордо.

Незнакомец протянул Кромову конверт. Алексей Алексеевич взял.

— Вам приходилось бывать во Фриско?

— Нет, — сказал Кромов, — но я знаю одну песенку:

Один молодой паренеки
Соскучился жить одиноки.
И вот в город Фриско
К податливым киско
Спешит на свидание он…

Незнакомец приподнял котелок и быстрыми шагами стал удаляться.

— Передайте мой привет господину Ситроену, — бросил вслед ему Кромов.

— К сожалению, это невозможно. Французское правительство отказало ему в кредитах, и он умирает от кровоизлияния в мозг! До встречи во Фриско!

Выйдя из здания вокзала в Париже, Кромов взял такси.

Машина проехала через ночной, освещенный яркими рекламами город, выехала на набережную и свернула в узкую улочку.

За низкими оградами светились окна особняков.

Машина затормозила у тротуара. Алексей Алексеевич зашагал вдоль оград. Остановился у ворот одного особняка. Дом был залит огнями.

Кромов отступил в густую тень дерева. Из дома до него долетели пассажи рояля. Голос, знакомый голос Натальи Владимировны запел по-русски: «Нет, не тебя так пылко я люблю…»

Алексей Алексеевич слушал.

Потом раздались аплодисменты. В освещенном окне задвигались силуэты людей.

Кромов вышел из-под дерева и поспешил к своему такси.

## XI
## Июль 1918 года. Продажа коня

В жокейской Парижского отделения «Жокей-клуба», где по стенам в строгом порядке были развешаны уздечки, шпоры, хлысты и седла, на табуретке сидел одетый по всей форме профессиональный жокей, платный сотрудник клуба — англичанин, — и натягивал сапог. Рядом стоял Кромов.

— А кто покупатель, Бен?

— Он не назвал себя. По обличью — французский офицер. — Жокей мучился с сапогом.

Сапог наконец сдался и налез на ногу. Жокей встал и притопнул.

Кромов достал часы, взглянул:

— Без двух минут десять. Пора, пошли.

Англичанин надел цилиндр.

Они вышли из жокейской — высокий, начавший полнеть Кромов и маленький сухощавый жокей, — миновали полутемный, идеально выметенный коридор конюшни, жокей толкнул калитку в сплошных деревянных воротах, и они шагнули через высокий порог на залитое слепящим солнечным светом скаковое поле.

Оба зажмурились от яркого света, и, едва глаза привыкли, Кромов увидел, что через скаковое поле к нему, стараясь не спешить, идет мужчина в форме французского офицера. Он показался Алексею Алексеевичу знакомым.

Да это же Петька Воронский! Петька, его однокашник по Пажескому корпусу, всего на год моложе. Почему он во французском мундире?

— Кромов! Алешка!

— Петька Воронский! Как прикажешь понимать сей маскарад?

Англичанин невозмутимо наблюдал встречу старых приятелей: объятия, похлопывание друг друга по спинам.

— Это, брат, не маскарад, — сказал Воронский, двигая полными красными губами. — Ты имеешь честь разговаривать с полковником французской армии.

— Вот как? — Выражение радости от встречи сбежало с лица Кромова. — Маньчжурскую кампанию ты начинал прапорщиком.

— А два года назад получил ротмистра. Ты знаешь, как туго у нас продвигаться по служебной лестнице. Французы сразу оценили меня — по достоинству.

И Петька Воронский подмигнул.

— Поздравляю. — Алексей Алексеевич перешел на французский язык.

— Благодарю. Ну, что же, покажешь своего бесценного жеребца? — Воронский продолжал говорить по-русски.

Кромов кивнул жокею. Англичанин поджал сухие губы и резко дважды свистнул.

Ворота конюшни распахнулись, и двое конюхов вывели на растяжках каракового англизированного жеребца, переливающегося на солнце, словно он был облит глазурью.

— О, хорош! — изумленно протянул Воронский, когда конюхи проводили жеребца перед ним.

Англичанин вскочил в седло, собрал повод. Конюхи разом отстегнули растяжки. Жеребец, сдерживаемый поводом, пошел по кругу упругой рысью.

— Какой шаг, какой шаг! — восхищался покупатель. — Красавец, что твой Нижинский!

Англичанин перевел коня в галоп. Жеребец пошел тротом, четко выбивая ритм сухими, сильными ногами. Мускулатура рельефно выступала под блестящей шерстью.

— Это верно, что ты собирался записать его на приз? — спросил Воронский.

— Верно, — отвечал Кромов. — Это не единственная глупость, которую я мог бы сделать во Франции.

Воронский весело расхохотался.

Теперь жокей пришпорил жеребца.

— Однако, — сказал покупатель и покрутил головой. — Однако!

Жокей остановил коня. Тот грыз трензель, нетерпеливо перебирал ногами. Казалось, двух кругов и не было пройдено.

— А каков он в конкуре? — спросил Воронский, ласково похлопывая жеребца по шее.

— Останешься доволен, — ответил Кромов.

— Сердце старого кавалериста не выдерживает! — воскликнул Воронский. — Я хочу сам попробовать. Где здесь можно переодеться?

…Жокей держал жеребца под уздцы. Воронский, переодетый в бриджи и сапоги, сидел в седле. Жокей и Кромов стояли в центре скакового круга, там, где на зеленом газоне были расставлены препятствия.

— Согласись, Алеша, — сказал Воронский, — в Пажеском корпусе я уступал тебе в полевой езде, но в конкуре мы были почти на равных.

Кромов подтвердил кивком головы. Воронский собрал повод, жокей отступил в сторону. Воронский картинно смотрелся в седле. Он сделал полукруг и послал коня на препятствие. Четкий глухой перестук копыт, и вдруг перед самым препятствием

жеребец присел на круп и вильнул в сторону.

— Анкор! — крикнул жокей. — Повторить!

Воронский снова сделал полукруг и выслал жеребца. Тот же результат. Всадник с трудом удержался в седле.

— Черт знает что, — сказал он, подъезжая. — Не надо было хвастаться.

Он соскочил с седла и передал коня жокею. Лицо Воронского взмокло, покраснело, он снял синюю французскую фуражку, ладонью вытер щеки и лоб.

— Я покупаю жеребца. Англичанин сказал мне цену. Деньги немалые, но конь того стоит.

— В ваших руках, мосье мой полковник, он приобретет еще большую цену.

— Ай-ай-ай, — сказал Воронский. — Это мне наука. Не надо было хвастаться. Скажи, Алексей, разве французское правительство не предлагало тебе перейти к ним на службу? Я слышал, что…

— Нет, и не предлагало, — прервал его Кромов.

— Хороши союзнички! Тебе — и не предлагало. Французы — легкомысленный народ!

— Мосье мой полковник очень строг к соотечественникам.

— К соотечественникам? Ах, да.

Кромов протянул руку:

— Жеребца оформишь через клуб. Прощай. — И зашагал через скаковое поле.

— Граф Кромов! — окликнул его Воронский.

Кромов остановился, обернулся. Воронский стоял, держась рукой за барьер, который он не сумел преодолеть.

— Алеша! — крикнул Воронский. — Ты все время говорил со мной по-французски. Отчего так?

— Из вежливости! — прокричал в ответ по-русски Алексей Алексеевич. — Просто я старался говорить с тобой на твоем родном языке. Прощай.

Петр Воронский долго смотрел вслед уходящему старому товарищу. Кромов так ни разу и не оглянулся.

## XII
## Август 1918 года. Букет для возлюбленной

Париж просыпается рано. Алексей Алексеевич медленно двигался в утренней деловой толпе. Август, но уже во всем чувствуется осень: в фасонах женских платьев, в ярких плакатах нового сезона на афишных столбах и особенно в названиях осенних цветов. Их продают на улицах из корзин, с тележек,

просто предлагают, держа охапку букетов в руках.

— Мосье, купите букетик для своей возлюбленной.

Кромов купил астры. Подошел к уличному зеркалу оглядел себя. Потрогал кончиками пальцев усы, поправил поля новой шляпы.

Из-за плеча в зеркале выплыло лицо Вадима Горчакова.

— «Стетсон» — модная шляпа, — сказал он. — Но я предпочитаю старую «барсолину». С годами приятно быть немного ретроградом.

Он положил руку на плечо Кромову. Так они стояли, глядя друг на друга в зеркале.

— Алексей, я был у твоих на днях. Мне сказали…

— Что мы разводимся с женой? Увы, да.

— И ты берешь весь позор на себя, как Каренин? Прости, что я вмешиваюсь, но я твой друг, я любил вас обоих… А то, что говорит твой брат Платон, это правда?

— Что именно?

— Что ты сильно «покраснел».

— Неправда.

— Я так и думал, что какое-то недоразумение. Значит, ты готов стать под наше знамя?

— Наше знамя?

— Знамя, на котором начертаны святые слова: за веру, царя и Отечество.

— А как же парламент, реформы? Ты же говорил…

— Не я один. Мы говорили, а они действовали. Лучше слабоумный царь, чем остроумный псарь. Ты знаешь, что эти сукины дети, твоя обожаемая солдатня, бросили оружие и разбежались по домам? А те, что остались, братались с немцами по всему фронту. Опозорили родину-мать! Войдем в Москву, перевешаем их, как стрельцов при Петре.

— Хотите родину-мать лечить кровавыми припарками? Только палачи — плохие доктора…

— Руки боитесь запачкать, ваше сиятельство?

— Нет. Боюсь запачкать святые слова: вера, Отечество…

Рука Горчакова соскользнула с плеча Алексея Алексеевича.

— Я запомню этот день, Алексей. Сегодня я похоронил друга.

Горчаков удалялся, раздвигая толпу.

— Вадим! — позвал Кромов.

Горчаков смешался с толпой.

Алексей Алексеевич постоял, глядя в зеркало, потом, протянув руку, прикрыл ладонью отражение своего лица и, круто повернувшись, решительным шагом направился к набережной. И здесь осень. Воздух над Сеной прохладный, горьковатый. Теперь

ему не терпелось ее видеть. Он почти бежал мимо зеленых лавочек букинистов. Застанет ли? Шаги гулко отдавались в пустой маленькой улочке, сплошь застроенной особняками. Как давно он здесь не был! А почему, собственно? Что его останавливало? Вот здесь она живет. Он толкнул граненые прутья металлической калитки, прошел по мощенной плитами дорожке к дому. Еще четыре ступеньки, и дернуть медную ручку звонка. И вдруг он замешкался.

Ведь у ворот ее дома, блестя никелем, стоял роскошный новый автомобиль. Такой автомобиль может принадлежать только очень богатому человеку. За рулем сидит шофер в фуражке, которая подошла бы и адмиралу. У нее гости, ранние гости. А скорее всего, ранний гость. Ничего удивительного: молодая красивая женщина, актриса.

Куда он так спешил, незваный? Скажет ей, как клоун в цирке, «Здравствуйте, вот и я!»? Нет, надо уходить.

И тут все разрешилось само собой.

Дверь распахнулась, и молодой человек в клетчатом пиджаке, с котелком и тросточкой в руках поспешно пробежал по дорожке и оказался в автомобиле.

А на пороге дома остановилась Наталья Владимировна Тарханова в белом домашнем платье, утренняя, свежая, гневная.

— Алексей Алексеевич, — сказала она, словно они и не расставались вовсе. — Вы видели когда-нибудь такого наглеца?! Он приехал дарить авто. Предлагает мне эту рухлядь. — Она указала на автомобиль, который успел отъехать от тротуара. — Совершенно ничего не смыслит в музыке и думает, что меня можно купить… Чему вы смеетесь, Алексей Алексеевич?

Он протянул ей цветы, она взяла букет обеими руками, сказала:

— Спасибо, чудесные! — и спрятала в цветах пылающее лицо.

Усадила его у низкого окна.

— Отсюда видно Сену и мост немножко.

— Наталья Владимировна, я пришел проститься. — Слова выговаривались сами собой, и только сейчас он осознал, что это именно так.

— Вы уезжаете? — Она растерялась.

— Не знаю. Во всяком случае, я больше не смогу видеть вас. Долго. Может быть, никогда.

Она отошла к окну, и он смотрел, чтобы навсегда запомнить эти собранные к затылку волосы, нежную линию шеи, опущенные плечи. Вдруг она резко обернулась. Лицо ее было решительно, глаза полны слез.

— Зачем вы так говорите со мной? — воскликнула она с

яростью. — Ведь мы любим друг друга, давно. И вы это прекрасно знаете! Боже мой, Кромов…

Ее слова стали доноситься до него словно откуда-то издалека.

— Это пытка! — выкрикнула она. — Мне все равно, что вы женаты! Все равно, вы понимаете? Вы хотели, чтобы я сказала вам первая? Я сказала. Вы довольны?

— Наталья Владимировна…

Он поймал ее пальцы, она вырвала руку.

— Я вам не говорила… никто не знает… Мой отец… Он души во мне не чаял, хотел, чтобы я ни в чем не нуждалась, верил в мой талант… Из сил выбивался, чтобы дать мне средства учиться… Он был мелким чиновником, сделал растрату. Я не хочу говорить, как я оказалась здесь, в Париже… Теперь знаменитая, сотни поклонников. Мне казалось, что вы догадываетесь о моем страхе, моем одиночестве. Все эти годы вы были для меня единственным… единственной связью с той Россией, которую я люблю, помню… которой живу… Почему вы не давали о себе знать так долго? Почему я должна довольствоваться отвратительными сплетнями о вас, чужой ложью? Говорят, что вы — большевистский агент… Это что, очень плохо? Я ничего не понимаю…

— Я не большевистский агент. Я не верноподданный государя. Я никто. Мосье Никто. Я потерял себя. Я себе омерзителен. Я люблю вас. Люблю, как никого никогда не любил и не полюблю. Но я не могу навязывать вам свои сомнения, свое ничтожество. Простите меня. Мне не надо было приходить к вам.

На улице Кромов остановился у мусорной урны. Достал голубой конверт, тот самый, с билетами до Сан-Франциско, чиркнул спичкой, поджег край, а когда пламя охватило бумагу, бросил конверт в урну.

## XIII
## Октябрь 1918 года. Папаша Ланглуа

Маленькие городки в окрестностях Парижа похожи один на другой. В центре мощеная небольшая площадь с клумбой, или фонтаном, или сделанной без претензий на высокое искусство аллегорической скульптурой, а то и памятником какому-нибудь из французских королей. Вокруг площади теснятся ратуша, церковь, дом мэра, один-два ресторанчика и магазины. Дальше — дома состоятельных жителей, торговые лавчонки. Еще дальше улицы уже не мостят, и люд живет небогатый. И уж совсем на краю городской жизни — дома огородников, тех, кто разводит

овощи и продает их на парижском рынке, носящем название Чрево Парижа.

Земли у огородников немного, но вся она тщательно возделана, имеются оранжереи, парники. Дома на участках строят с таким расчетом, чтоб побольше оставить места для огородов.

Пасмурным осенним днем на окраине маленького городка, на соседних, разгороженных низким забором участках трудились двое мужчин. Их согнутые фигуры с намокшими под моросящим дождем спинами медленно двигались вдоль зеленых рядов.

Один из огородников с трудом разогнулся, воткнул в землю саперную лопату, которой он окучивал кустики зелени, и огляделся.

Сосед его, которого он видел через редкий штакетник забора, продолжал упорно трудиться. Первый огородник решительно направился к забору. Он был небольшого роста, тощий, куртка свободно болталась на плечах. При ходьбе он заметно прихрамывал, сильно припадая на правую ногу. Подойдя, облокотился о перекладину, бодро произнес:

— Привет, мосье! По-моему, нам давно пора познакомиться. Сделайте перерыв — идите сюда.

Второй огородник распрямился и, отвечая на приветливый тон соседа, улыбнулся ему. Это был Алексей Алексеевич Кромов. Голова его казалась еще более поседевшей, может быть, потому, что кожа стала темной от загара. Небольшая окладистая борода и отросшие усы делали его лицо простодушным. Неловко переступая через грядки, он подошел, сохраняя на лице улыбку.

— Позвольте представиться. — Сосед Кромова протянул ему над перекладиной жилистую, коричневую от загара руку. — Майор Ланглуа. В отставке. Теперь просто папаша Ланглуа. — Он был заметно старше Алексея Алексеевича. — Командовал кавалерийской бригадой. Списали в связи с тяжелым ранением. В бедро. Ничего, я тоже успел крепко насолить бошам в двух атаках на Марне. Небось почесываются, вспоминая папашу Ланглуа!

Сухая темная кожа на его лице собралась в бесчисленные складки.

Кромов поспешно отряхнул перепачканные землей пальцы и крепко пожал протянутую руку соседа.

— Алекс.

— Вы купили этот участок или арендуете?

— Арендую.

— Я, признаться, исподтишка наблюдаю, как вы огородничаете. Вы в этом деле новичок?

— Да, вот решил попробовать.

— Всегда можете мной располагать. Вы француз?

— Нет.

— Выговор у вас как у истинного парижанина. Но не из немцев?

— Нет-нет. — Кромов рассмеялся.

— Были на фронте?

— Приходилось. Но я в основном работал в службе обеспечения. Я русский.

Майор в отставке Ланглуа, прищурившись, раскуривал коротенькую французскую трубку.

— Не курите?

— Составлю вам компанию. — Кромов достал сигареты, закурил.

— Значит, мы союзники? Это хорошо. Я однажды видел самого маршала Жоффра, правда издали. Он приезжал в расположение нашей части. И вот с ним был русский военный атташе, полковник. Этот русский бравировал своей храбростью. Шел по брустверу под обстрелом и не кланялся пулям.

— Господин полковник! — крикнул кто-то по-русски.

Кромов обернулся на голос. У калитки стоял человек под большим черным зонтом.

— Кого он зовет? — спросил у Кромова папаша Ланглуа.

— Господин полковник, ваше сиятельство! — снова позвал человек с зонтом.

— Это ко мне. Извините.

Кромов пошел открывать калитку. Пожилой бухгалтер Глеб Ипполитович смотрел на Кромова виноватыми глазами.

— Здравия желаю, ваше сиятельство…

— Глеб Ипполитович…

— Не извольте беспокоиться, Алексей Алексеевич, — забормотал бухгалтер. — Я тогда не по своей воле… Коллегиально, так сказать… Кто старое помянет… — Бухгалтер окончательно смешался.

— Входите же…

— Покорно благодарю.

Кромов повел нежданного гостя к дому. Тот семенил за своим бывшим начальником, предупредительно поднимая над ним зонт.

На пороге бухгалтер тщательно вытер ноги, сложил зонт и только тогда бочком ступил в комнату.

— Глеб Ипполитович, как вы устроились?

— Бог милует, Алексей Алексеевич, кости, так сказать, целы, а мясо нарастет. К французу на службу я не пошел.

— А предлагали?

— Имело место. Я ведь хорошо осведомлен по долгу службы, так сказать… Но ничего, кое-что скопил за годы беспорочной…

Нам с супругой пока хватало… Много ли двум пожилым людям надо…

Кромов усмехнулся, вспомнив про несостоявшийся дележ. Гость истолковал его улыбку по-своему.

— Я не одерживаться, ваше сиятельство, боже упаси… Сейчас вакансия открылась: проводником на фуникулер.

— Какой еще фуникулер?

— В Монте-Карло. Перл, так сказать, Средиземного моря. Жалованье удовлетворительное…

— Чем же я здесь могу вам помочь?

— Сию минуту. — Гость полез в нагрудный карман, извлек какую-то бумагу и зачитал вслух: — «Настоящая справка дана господину Антонову Г. И. в том, что он считается в бессрочном отпуске без сохранения содержания до прекращения в России незаконной революции». — Он протянул листок Кромову. — Не откажите подписать, господин полковник. — Глаза его за стеклами очков казались огромными.

## XIV
## Ноябрь 1918 года. Майор и полковник

На фасаде дома папаши Ланглуа развевался трехцветный французский флаг. Флаги были укреплены на всех домах городка. Франция отмечала день 11 ноября 1918 года — победный конец войны.

Кромов и папаша Ланглуа стояли рядом у ограды. Мужчины смотрели, как по улочке в сторону ратуши прошествовал местный оркестр. Звучала «Марсельеза». За оркестром бежали мальчишки, шла молодежь, старики. Кто-то из парней гордо выступал в военной форме. Цветы, шутки, улыбки. Папаша Ланглуа поминутно снимал форменную фуражку, отвечая на приветствие. «Мир! Победа!» — неслись крики.

— Жаль, что вы не француз, мосье Алекс, и не можете в полной мере разделить наш праздник.

Вдогонку веселой процессии провезли калеку на кресле-каталке. Он размахивал костылем.

— Да здравствует Франция! — кричал он хрипло. Глядя на калеку, папаша Ланглуа помрачнел.

— Помните, — сказал Кромов, — вы мне рассказывали про русского полковника, который шел по брустверу и не кланялся пулям?

— Конечно, помню.

— Этот полковник — я.

— Мой бог, значит, это были вы?..

Они молча курили. Издали доносилась музыка оркестра.

— Да, мой полковник, — сказал папаша Ланглуа, — за что мы так долго служили? Какую награду мы получили? Этот торжественный час победы мы проводим с вами здесь, вдали от боевых товарищей, ковыряясь в наших огородах. Бог простит меня, если я признаюсь вам: я иногда жалею, что не пал смертью храбрых за Францию. Тогда бы моя Мадлен получала пенсию побольше и могла бы поехать в горы лечиться. Этого требуют врачи.

## XV
## Июнь 1919 года. «Милый Жорж»

Уже начинало светать, когда Алексей Алексеевич подошел со своей тележкой к зеленому ряду. С фургонов, запряженных понурыми короткохвостыми лошадьми, заканчивали сгружать ящики и кули со снедью, протирали обитые жестью мокрые

прилавки, разворачивали и натягивали полосатые тенты над торговыми рядами. Люди перебрасывались короткими бойкими фразами, тут и там в серо-сиреневых сумерках вспыхивали огоньки сигарет. Компания богатых гуляк неверными шагами пробиралась через рынок. Странно было видеть черные смокинги и цилиндры мужчин, меховые накидки женщин между грудами красной моркови, ярко-зеленого салата, громадных оранжевых тыкв.

Чувствуя на себе любопытные, добродушно-насмешливые взгляды, женщины преувеличенно громко смеялись. Молодой франт в цилиндре обошел тележку Кромова, зацепил локтем корзину, обернувшись через плечо, бросил небрежно:

— Пардон.

И тут же остановился и уставился на Кромова бессмысленными пьяными глазами. Это был тот самый «милый Жорж», который подвизался в посольстве Временного правительства и «так мало разбирался в женской психологии» — по определению мадам Кромовой.

«Неужели узнает?» — подумал Кромов.

— Та-та-та, кого я вижу! — пьяно изумился Жорж — Граф Кромов!

Алексей Алексеевич молча смотрел на него.

— Понимаю, понимаю, — зашептал Жорж, нависая над тележкой, — борода, камуфляж — конспирация. Молчу, молчу! А я, знаете ли, уезжаю из Парижа… Замуж вышел… То есть женился! — Жорж пьяно расхохотался. — На американке. Американцы — деловой народ, богачи. Да и я не дурак. Продал им кое-какие посольские бумаженции — пустячок, а заплатили не считая. Угощаете? — Жорж взял с тележки редиску.

— Джорж! — позвала рослая блондинка непрошеного собеседника Алексея Алексеевича.

— Жена! — Жорж ткнул в ее сторону надкушенной редиской. — А видите, с ней рядом брюнеточка? — Жорж подмигнул. — Тоже моя… Думаете, я не поддерживаю ваше Белое движение? Уйму денег передавал! У меня всё есть… Всё решительно! Квартира в Нью-Йорке, в Калифорнии — вилла, автомобиль… лошадей завел… Я у них на хорошем счету: специалист по русскому вопросу… Устроился прекрасно. Ну, скажите, чего у меня еще нет?

— Совести. Совести у тебя нет. — Алексей Алексеевич толкнул Жоржа тележкой. — Пошел вон! — На рынке появились первые покупатели.

## XVI

## Апрель 1920 года. Вадим Горчаков

Алексей Алексеевич шел по тесно заставленной маленькими домишками улочке на самой окраине Парижа.

Грязно-розовый трехэтажный дом с потрескавшимися, давно не штукатуренными стенами, над входом грубо намалеванная вывеска: «Отель “Дофин”».

Кромов достал из кармана смятый конверт, вынул записку. Сверился с адресом.

По узкой железной лестнице, вспугнув двух кошек, поднялся на второй этаж. Полутемный коридор, обшарпанные двери с написанными желтой краской номерами. Из глубины коридора показалась женская фигура со сбитой набок высокой прической. Поравнявшись с женщиной, Кромов спросил:

— Извините, мадам, я ищу номер шестой…

— Мосье?

Женщина, придерживая на груди края широкой накидки, оперлась плечом о стену и рассмеялась. Она была пьяна.

Кромов пошел дальше, вглядываясь в номера на дверях. Вот он, шестой. Постучался.

— Войдите.

Маленькая комната, половину которой занимала широкая кровать со скомканным одеялом. Туалетный столик с круглым зеркалом. Еще кресло у окна, из которого навстречу Кромову поднялся какой-то человек. Против света Алексей Алексеевич не сразу узнал друга.

— Вадим?

— Алеша…

Они обнялись.

— Спасибо, что пришел, Алексей. Вот, садись сюда, в кресло. А я здесь устроюсь.

Горчаков сдвинул на подоконнике высокую, наполовину пустую бутыль, кулек с какой-то снедью. Сели.

— Угости папиросой. У меня, понимаешь… Только что докурил последнюю. А выйти купить — боялся с тобой разминуться. Все-таки надеялся, что придешь. Вот ты и пришел, Алексей.

Горчаков разминал сигарету, пальцы его подрагивали.

Алексей Алексеевич смотрел на друга и с трудом узнавал его. От прежнего щеголеватого полковника Горчакова не осталось и следа. Давно не бритые, худые щеки, расстегнутый ворот несвежей рубахи, истертая армейская кожанка на плечах внакидку.

— Сколько же мы не виделись, Вадим?

— Два года. Если быть совершенно точным: два года и три месяца. Ты хорошо выглядишь, Кромов. Борода тебе к лицу.

— А ты, Вадим…

— Меня не будем обсуждать. Вот видишь зеркало? Разбил бы, если б не дурная примета. Хороший табак, — сказал Горчаков, — крепкий. Это что за марка?

— «Житан».

— Да, «Житан»… Конечно. Я забыл. «Житан».

Опять помолчали.

— Да что же я? — засуетился вдруг Горчаков. — Давай выпьем за нашу встречу. Два года — это не фунт шоколада, как сказал бы твой брат Платон. Как он, кстати? В Париже? А может быть, в Лондоне? Или, как я, грешный…

— Платон в Париже. Сначала он прислал мне истерическое письмо, что запрещает являться на похороны матери. А не так давно приходил ко мне. Но не как брат к брату. Явился и в напыщенных выражениях объявил, что Союз пажей ее императорского величества постановил вычеркнуть мое имя из списков. Хорохорился, как индюк, а у самого губы трясутся…

— Вот черт! У меня только один стакан.

Горчаков старался не встречаться с Кромовым глазами.

— Прямо из бутылки пить не будем, не торжественно. Мы все-таки не на позициях. Ты мой гость, окажи честь. Прошу! — И протянул полный стакан. — За букет не отвечаю, но действует неотразимо.

— За тебя, Вадим. За нашу встречу. — Кромов выпил до дна.

— Ну, какова мерзость? — Горчаков хохотнул. — Ты, брат, в Париже еще такого не пробовал. А мне после сивухи в донских станицах и эта дрянь кажется нектаром. — И снова наполнил стакан.

— Ты был на Дону, у Деникина?

Горчаков стал медленно пить, запрокидывая голову. Поставил пустой стакан.

— А где, по-твоему, Алексей Кромов, я должен был быть эти два года? Я, полковник Горчаков, боевой офицер русской армии? Не все же такие умники, как ты или твой брат Платон. Или некоторые прочие… Да, я забыл произнести свой тост. За тебя, Кромов, за всех умников, кому своя шкура дороже России.

Кромов резко поднялся:

— Если ты через два года после разрыва наших отношений позвал меня, чтобы оскорбить, ты просчитался. Это говорю я, полковник граф Кромов, твой бывший боевой товарищ. Ты сейчас же принесешь извинения или я требую удовлетворения.

— Удовлетворения? Вот как? — Горчаков впервые взглянул

прямо в глаза Кромову. — Что ж… Где и когда пожелаете?

— Здесь и сейчас.

Горчаков смотрел в лицо Алексея Алексеевича широко открытыми глазами.

— Изволь… — Он встал, зачем-то застегнул ворот рубахи. — У тебя какое оружие?

— Я безоружен.

Горчаков подошел к постели, достал из-под подушки пистолет, проверил магазин, положил оружие на подоконник.

— Кинем жребий, чей выстрел первый. Кидай ты. У меня нет ни одной монетки.

Кромов достал монету.

— Орел, — сказал Горчаков.

Монетка, закрутившись, ударилась в потолок, подпрыгнула на полу и закатилась под кровать. Горчаков рывком сдвинул кровать. Монетка выпала на «орла».

— Твой выстрел. — Алексей Алексеевич встал в противоположный от окна угол, прижавшись к стене.

Горчаков поднял пистолет. Рука его заметно дрожала. Он опустил оружие:

— Ты смог бы убить меня, Алеша?

— Нет, не смог бы. А ты, Вадим?

Вадим Горчаков стоял в своем углу, опустив глаза, на его бледном лице проступил лихорадочный румянец.

— Я виноват перед тобой, Алеша. Прости меня. Когда я ехал на Дон, — говорил Горчаков, — я думал, да что я, все мы так думали: красные — грабители, убийцы, насильники. Они отвергли мораль, традиции, заповеди Господни. Разве это люди? Это звери… Значит, мы, белые, совсем другие, совсем «обратные». Белые убивают только в бою. Кто приколол раненого, кто убил пленного, кто грабит мирное население, тот лишен чести. Кто хочет мстить, тот заболел «красной падучей», такому не место среди нас. Белые не палачи, они воины, спасители России. Боже мой! Что из этого вышло! Никогда не забуду этого аристократического мальчика лет семнадцати-восемнадцати. На нем вдруг откуда-то новенький полушубок. Я его спрашиваю: «Стива, откуда это у вас?» А он: «От благодарного населения, конечно». И кругом все рассмеялись. Все!

Гвардейские офицеры, и молодые дамочки смольного воспитания, и такие же добровольцы, как этот Стива… Это же чудовищно! Им смешно, что этот мальчик, отпрыск тысячелетнего русского рода, еще не успев бестрепетно пролить кровь за Россию, стал грабить русский народ. И доказал, что паны только потому не убивали и не грабили, что были богаты. А как обеднели… «От

благодарного населения»! Они смеются над тем, что население теперь возненавидело этих потомков дворянских семей, давших в свое время Пушкина, Толстого… Белую идею мы сами опохабили, утопили в крови… Я еще не понимал этого, когда получил приказ контрразведки Добрармии пробраться в Москву к Брусилову.

— Генерал Брусилов в Москве, у большевиков?

— Да. Контрразведка получила сведения, что он тяжело ранен в ногу. Случайный выстрел трехдюймовки во время уличных боев. Он находился у себя дома, и вот — представляешь? — осколочное ранение. В трех войнах он уцелел, а тут… Какая странная судьба! Как я добирался до Москвы, не буду рассказывать. Добрался. Узнал, что генерал Брусилов находится в частном госпитале. Проник к нему. Он лежал, но чувствовал себя бодро. Сказал, что рана не так серьезна, что он нарочно не торопит врачей с заживлением, чтобы оставили в покое большевики и небольшевики. Я передал письмо, в котором генералу Брусилову предлагалось бежать на Дон с нашей помощью. Он прочел письмо, положил под подушку, и знаешь, что мне сказал? «Никуда не поеду. Пора нам забыть о трехцветном знамени и соединиться под красным». — Горчаков дернул шеей, словно его что-то душило. — Помнишь, Алеша, того солдата в Маньчжурии с караваем хлеба на штыке? Простит ли он нас когда-нибудь?

## XVII
## Июль 1920 года. Ни помощи, ни пощады

— Поручик Стенбок. Рад, что застал ваше сиятельство.

— Кто дал вам мой адрес?

— Господин полковник Горчаков. Он приказал мне немедленно доставить вас к нему.

— Откуда вы знаете полковника Горчакова?

— Мы вместе с Вадимом Петровичем эвакуировались из Одессы, когда красные взяли город…

— А почему немедленно? Что случилось?

— Не могу знать. Я выполняю поручение. Такси ждет у ратуши.

«Очень странно, — подумал Кромов. — Уж не тот ли, “от благодарного населения”, как его звали?» — припомнил Алексей Алексеевич рассказ друга.

Но лицо поручика, юное, по-девичьи нежное, с криво подстриженными усиками, располагало к доверию.

Пока Кромов одевался, молоденький поручик с любопытством разглядывал обстановку комнаты. Хозяин заметил

это и опрокинул стоящую на столе фотографию лицом вниз.

Кромов и поручик сидели в такси позади шофера.

Шофер запел тихонько. Сквозь шум мотора Алексей Алексеевич уловил знакомую мелодию, потом расслышал слова:

— …Ты у меня одна заветная… другой не будет никогда…

Поручик шепнул на ухо Кромову:

— Офицер, георгиевский кавалер. Делал попытку самоубийства: безденежье и прочее. Теперь работает в такси и помогает нам.

— Кому «нам»?

Поручик сделал вид, что не слышал вопроса.

У входа в отель «Дофин» Кромов вылез из такси.

— Шестой номер, — подсказал поручик, — я сейчас за вами.

Та же лестница, тот же полутемный коридор. Алексей Алексеевич постучался. Никто не ответил. Кромов толкнул дверь, вошел. В комнате никого. Вдруг кто-то захлопнул дверь за ним.

— Вадим, — Кромов дернул ручку, — что за глупые шутки?

— Полковник граф Кромов, — негромко сказал по-русски из-за двери низкий, тяжелый голос, — не пытайтесь выйти. Это в ваших же интересах. Выслушайте нас.

Алексей Алексеевич стоял у двери, прижавшись к стене, не зная, что предпринять.

Голос продолжал:

— Мы давно следим за каждым вашим шагом. И не доверяем вам. Поэтому не хотим, чтобы вы знали нас в лицо. Нам известно, что вы, отклонив все сделанные вам выгодные предложения, тем не менее самовольно сохранили за собой полномочия и архив военного атташе. Вы до сих пор используете ваши многолетние связи, чтобы аннулировать договоры по военным заказам с французскими фирмами. Нравится вам это или нет, но Россию здесь представляем мы. И мы добились у французского правительства ареста всех вверенных вам сумм военного кредита. Но вы упредили нас и успели перевести деньги на свой личный счет. Версия, что вы собираетесь беззаботно существовать на эти средства, отпадает. Из этих денег вы не истратили ни сантима. У вас какие-то другие цели. Допустим, что вы, не желая подвергать себя риску, рассчитываете передать средства законному правительству России, когда мы силой оружия покончим с большевиками. Но тогда непонятно, почему вы до сих пор не передали деньги Белому движению. Здесь нет логики. Или вы ждете нашего поражения, чтобы воспользоваться деньгами? Не дождетесь. Полковник Горчаков — ваш близкий друг. Он выполнял кое-какие наши поручения, был в красной Москве. Потом дезертировал из Добрармии. Не исключено, что в Москве

его завербовала большевистская ЧК. Он скрывался от нас и встречался в Париже только с вами. На вас падает тяжелое подозрение. Вы можете доказать свою лояльность, только передав нам архив, все договорные права и наличные средства. Этим вы сохраните не только свою жизнь, но обеспечите себе безбедное существование. Мы дадим вам твердые гарантии, и до конца ваших дней вам не придется торговать на рынке и позорить мундир русского офицера. В Крыму барон Врангель формирует новую армию. У вас есть еще время подумать, но не пробуйте увильнуть, вы не дождетесь от нас ни помощи, ни пощады. Условный знак для нас — трехцветный российский флажок в окне вашего жилища. И последнее. Полковник Горчаков покончил с собой. Вы меня слышите?

Кромов не ответил.

— Через пять минут можете выйти. Раньше не рекомендуем.

Алексей Алексеевич сполз по стене на пол. Он задыхался.

Потом вскочил, стал бешено барабанить кулаками в дверь.

Дверь распахнулась.

Женщина с высокой прической испуганно смотрела на него:

— Мосье?

Он промчался по коридору, по лестнице, выскочил на улицу Улица была пуста.

Дорога шла между двумя прудами, через плотину, усаженную редкими деревцами. Дождь, моросящий весь день, не прекратился и к вечеру. Наоборот — припустил сильнее. Вокруг, насколько хватало глаз, не было ни души.

Алексей Алексеевич шагал по плотине. По дороге к нему приблудился мокрый пес и теперь неотступно следовал за Кромовым. Человек останавливался, и пес останавливался, сохраняя небольшую безопасную дистанцию. Когда человек протягивал руку, пес отскакивал и ждал. Кромов продолжил путь, и пес снова брел за ним.

Алексей Алексеевич, обычно ступавший твердо, по-военному, теперь шел неуверенно. Он крепко выпил, ему хотелось с кем-нибудь поговорить по душам, услышать в ответ родную дружескую речь. Но, увы, это стало невозможным. И поэтому Кромов обрадовался обществу пса и хотел установить добрые отношения.

Так они вошли в городок и добрались до крыльца дома на огородном участке. Пес присел на дорожке и наблюдал, как Алексей Алексеевич отпирал нехитрый дверной замок.

— Пойдем, — позвал Кромов пса, — надо же обсушиться, привести в порядок амуницию.

Пес не шевельнулся, Кромов вошел в дом, оставив дверь

открытой. Зажег лампу. Пес медленно, осторожно взошел на крыльцо, двинулся дальше в комнату.

Кромов не обращал на него внимания. Сбросил промокшее пальто, шляпу, пиджак. Надел сухую куртку.

Вынул из кармана пальто бутылку арманьяка. Поставил на стол рюмку. Посмотрел на пса. Пес лег и положил морду на лапы. Кромов достал вторую рюмку и поставил на стол.

Прошел мимо пса, закрыл дверь.

Пес только ухом повел слегка.

Кромов вернулся к столу, отрезал кусок сыра, поманил собаку:

— Иди сюда.

Пес завилял хвостом и подошел.

— Садись. — Алексей Алексеевич похлопал по старому креслу.

Пес подумал и прыгнул в кресло. Кромов дал ему сыр. Пес мгновенно проглотил и облизнулся.

Алексей Алексеевич разделил сыр пополам и положил на стол перед псом, рядом с рюмкой. Пес деликатно взял, стал есть. Кромов наполнил рюмки.

— Будь здоров, — чокнулся с рюмкой на столе.

Пес смотрел на него, склонив голову набок.

— Не понимаешь. Извини. А вотр санте! — И выпил рюмку.

Протянул руку к фотографии, которую положил на стол, когда пришел поручик. Из рамки на него смотрела Наталья Владимировна Тарханова.

— Извините, — сказал ей Кромов, — я пьян. — И поставил фотографию на стол.

— Как тебя зовут? — спросил он.

Пес заерзал в кресле.

— У нас бы тебя назвали Полкан. Нет, для Полкана ты мелковат, а потом мы не можем быть с тобой в одном чине. А для Шарика ты тощий больно. Я тебя буду звать Дружок. Хорошо?

Кромов закурил и тяжело задумался.

— Полагаешь, я нейтрал? — с пьяной серьезностью Алексей Алексеевич спросил пса. — Ни богу свечка ни черту кочерга? Ошибаешься… Я всю жизнь презирал нейтралов! Так-то вот, Дружок мой лопоухий…

Лампа горела, хотя за окном уже было утро. Дождь кончился. Кромов спал, укрытый курткой. Пес пристроился в ногах кровати. Наталья Владимировна смотрела на них из рамки портрета.

## XVIII
## Наталья Владимировна

Наталья Владимировна держала в опущенных руках свой портрет и смотрела на спящего Кромова, в ногах которого пристроился вислоухий пес. Пес давно следил за ней одним глазом. Он видел, как она вошла, как взяла со стола портрет. Судя по ее уверенным, спокойным движениям, она имела на все это право, и пес на всякий случай слабо повиливал хвостом.

Алексей Алексеевич застонал, повернулся на спину и открыл глаза. Некоторое время он смотрел на Наталью Владимировну, потом закрыл глаза и отвернулся к стене. Пес спрыгнул с кровати.

Наталья Владимировна не знала, что подумать.

— Алексей Алексеевич, — страдальчески вздохнула она.

Кромов стремительно вскочил с кровати, словно его подбросило пружиной. Пес схоронился под стол и оттуда залаял.

Теперь Кромов смотрел на свою гостью, не понимая, снится это ему или нет.

Наталья Владимировна только сейчас подумала, что, возможно, поступила поспешно, появившись здесь. Она растерялась, но старалась совладать с собой, и голос ее потому прозвучал излишне сухо.

— Алексей Алексеевич, — сказала она. — Я съехала с квартиры и распродала все свои вещи. Оставила только самое необходимое.

Она пошла к выходу. Кромов, как лунатик, двинулся за ней.

Она распахнула дверь.

У калитки, занимая всю ширину улочки, возвышаясь чуть ли не вровень с его домиком, вытянувшись до участка папаши Ланглуа, стоял огромный фургон.

Рабочие вытаскивали из него белый рояль.

Приступ безудержного смеха бросил Кромова на перила крыльца. Слезы выступили на глазах.

Пес бешено лаял, прыгая вокруг них.

Кромов едва сладил с этим приступом, когда она спросила:

— Вы не прогоните меня?

Хохоча как сумасшедший, он опустился перед ней на колени.

## XIX
## Май 1923 года. У ворот Русского кладбища

Строгий православный крест, облицованный белым мрамором. Внизу, на табличке, выбита надпись: «Софья Сергеевна Кромова» — и даты рождения и смерти.

Алексей Алексеевич, положив цветы на перекладину креста, постоял, задумавшись. Потом медленно побрел по дорожкам кладбища, вглядываясь в надписи на надгробиях.

В сквозящих весенних ветках насаженного рядами кустарника на низком цоколе мелькнула фамилия: «Горчаков».

Сердце будто оборвалось. Глотая прохладный майский воздух, Кромов раздвинул ветви и шагнул к могиле.

«Горчаков Федор Федорович, профессор архитектуры». Буквы написаны славянской вязью.

Выйдя из ворот, Кромов надел шляпу и долго прикуривал, ломая спички и загораживая огонек от налетавшего ветра.

Сбоку от ворот, на дощатом прилавке под низким навесом, цветы. Продавец — плотный мужчина с красным обветренным лицом — неторопливо вяжет букетики. Рядом, прислоненные к стене, стоят венки.

Безлюдно.

Только вблизи прилавка, прямо на тротуаре, рядком расположились нищие. Шесть-семь жалких фигур, одетых в разноцветное тряпье.

Когда Кромов проходил мимо, продавец окликнул его:

— Мосье, позвольте прикурить…

Краснолицый раскурил обломок сигары, поворачивая в пальцах протянутую ему сигарету, и спросил:

— Мосье русский?

Алексей Алексеевич утвердительно кивнул.

— Только русские дают прикуривать вот так. — И для наглядности повторил движение Кромова. — Среди этих, — мотнул головой в сторону нищих, — тоже есть русские. Двое. Один, вон тот, скрюченный, если его разговорить, бывает презабавный. — И покрутил пальцем у виска.

Кромов остановился против указанного нищего. Тот, видно, дремал, опустив голову на грудь. Спина его угодливо сгорбилась, загорелая лысина с грязно-бурыми кудельками на висках блестела на солнце.

Алексей Алексеевич опустил несколько монет в стоящую перед калекой картонную коробочку. Сидевший рядом со спящим человек, кисти рук которого были обмотаны на удивление чистыми бинтами, стрельнув в Кромова круглыми, обезьяньими глазками, толкнул соседа локтем.

— Проснись, полковник, — наверное, это было прозвище калеки, — поблагодари мосье за щедрость.

Спящий помотал головой, нехотя поднял лицо.

В этот миг Алексей Алексеевич готов был поклясться, что с ним уже так было, что он много раз видел все это — серый прилавок с яркими пятнами цветов, залепленную солнечными бликами стену, ветви деревьев над ней и это лицо с напряженно-внимательными, пугающе бессмысленными глазами, с

незнакомым розовым шрамом, стекающим через переносицу в седоватую отросшую щетину бороды. Но где он мог это видеть? Как? Нет, нет, никогда…

— Вадим, — позвал Алексей Алексеевич и не услышал своего голоса.

Обезьяньи глазки соседа-нищего впились в Кромова со звериным любопытством.

— Мосье зовет тебя, — он снова толкнул Горчакова локтем, — ты знаешь этого господина, эй, полковник?

Горчаков отвел взгляд и нахмурился. Казалось, он что-то мучительно припоминает.

Алексей Алексеевич склонился, обхватив плечи друга, пытаясь поймать его взгляд.

— Вадим… Ты узнаешь меня? Это я, Алексей… Алексей Кромов… Ты видишь меня, Вадим?.. Это я… Алеша…

Кривая усмешка тронула губы Горчакова. Он глянул Алексею прямо в глаза:

— Зачем вы так говорите?.. Вы Нестеров? Я не знаю никакого Нестерова… Я хочу пообедать в Ростове. — И хрипло рассмеялся.

— Что он говорит, мосье? Что он говорит? — спросил человек с обезьяньими глазками.

— Пойдем отсюда, Вадим. Пойдем со мной.

Алексей Алексеевич подхватил Горчакова под мышки и пытался приподнять.

— Напрасно, напрасно стараетесь, — пробормотал Вадим и вдруг страшно, надрывно закричал: — Мне больно! Больно!

— Куда вы его тащите, мосье? — испуганно взвизгнул сосед-нищий.

Еще двое поспешно поднялись и подошли поближе.

— Эй, ты! Оставь его! Что он тебе сделал? — заорал краснолицый, выходя из-за прилавка.

— Пошел ты к черту! — крикнул Кромов краснолицему. — Это мой друг…

Горчаков, до этого расслабленный, тяжело повисший на руках, вдруг напрягся всем телом и, извернувшись, вцепился зубами в руку Кромова.

Алексей Алексеевич успел увидеть, как краснолицый, схватив обломок доски, выскочил из-за прилавка.

И тут жестокий удар обрушился сзади. Кромов устоял на ногах, но после второго удара в голову он упал и потерял сознание.

Алексей Алексеевич пришел в себя в полицейском участке. Старший из полицейских, без мундира, в рубахе, перекрещенной помочами, заканчивал перебинтовывать Кромову голову.

— Еще немного терпения, мосье. — Он, ловко разорвав бинт, затягивал аккуратный узелок. — И что вам за фантазия пришла связываться с этим дерьмом? Это уже не люди.

Полицейские переглянулись.

Старший выразительно пожал плечами.

## XX
## Июнь 1921 года. В монастыре

— …Ибо не станет вопрошать кощунственно: почему живу, Господи? — Старец закашлялся и, прижимая платок к губам, скользнул сердитым взглядом по лицу Кромова.

Алексей Алексеевич живо припомнил, с каким испугом всего час назад настоятель смотрел на безумные гримасы Вадима, и усмехнулся горько.

Они шли по монастырскому парку втроем: старый настоятель русского православного мужского монастыря, затерянного на юге Франции, Кромов и Наталья Владимировна.

Шли по узкой аллее между высокими старыми тополями, осыпающими их снежным пухом цветения.

— Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное, — продолжал старец, отдышавшись и уже не так сердито взглядывая на своих спутников. — Призреть убогого калеку есть не только святой долг наш, но и благо для монастыря.

Кромов теперь мучился сознанием, что не испытывает ни любви, ни сострадания к этому сумасшедшему калеке, а только жалость, брезгливую жалость. И это жестокое признание, которое он вдруг сделал самому себе, болезненно сжимало сердце стыдом и тоской.

«Это потому, — пытался утешиться Кромов, — что безумец этот не Вадим, которого я знал и любил… Я сделал все, что мог, для несчастного калеки. А Вадима Горчакова не существует, он умер… Нет, его убили. Они убили его, замучили, и я не помешал этому. Но я не мог! Почему? Может быть, я тоже умер? Кто я вообще такой, зачем живу? Кому я нужен? Наташе? Только Наташе? А если ее любовь — это тоже жалость?»

Он похолодел от этой мысли, испуганно взглянул на Наталью Владимировну. Она ответила вопросительным, встревоженным взглядом, взяла его под руку.

«Нет, Наташа понимает меня… У меня никого не осталось, кроме нее… еще Платон… “Союз пажей ее императорского величества”… клёкла и клюкла…»

Откуда-то впереди, из-за поворота аллеи, доносились звук пилы, однообразно сменяющиеся скрежетание и взвизг.

Настоятель подставил сухую ладонь, ловя тополиные пушинки.

— В смутные времена, когда люди теряют власть светскую и мирское богатство свое, идут они к нам, и входы наши открыты для них. И постигают, каждый по вере своей, заповедь Господнюю: «…не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут».

Звук пилы оборвался.

Старец закончил в наступившей тишине:

— «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Они вышли к повороту аллеи.

Двое монахов трудились у высохшего тополя. Двуручная пила уже въелась в толстенный, в полтора обхвата, ствол.

— Не дергай рукой, — наставлял немолодой монах своего напарника, — плавно выводи на себя пилу, плавно…

Напарник повел плечами, разминая натруженную спину в пропотевшем подряснике, стянул с головы черную шапочку и, отирая ею лицо, обернулся.

Рука со скомканной шапочкой остановилась. Какие-то секунды монах, замерев, глядел навстречу подходившим широко раскрытыми глазами. Потом отвернулся и взялся за работу.

И вновь заговорила пила.

В Париж возвращались поездом. Глядя в окно, за которым пробегали ночные огни, Наталья Владимировна сказала:

— Алеша, ты знаешь… Вот странно… Мне показалось, что тот монах… который так внимательно смотрел на нас… тот, с пилой… что вы с ним очень похожи. Правда, странно? Почему ты молчишь, Алеша? О чем ты сейчас думаешь?

— О том монахе. Это Платон. Мой родной брат.

## XXI
## Сентябрь 1921 года. Первое предупреждение

Папаша Ланглуа, облокотясь на изгородь, размахивал газетой:

— Мосье Алекс! В «Пари-суар» любопытная статья!

Кромов подошел.

— Вот: «После разгрома красными крымских армий барона Врангеля в кругах правительственной оппозиции обсуждается вопрос об установлении дипломатических отношений с большевистской Россией». Ну, а дальше сплошная ругань.

— Вы можете оставить мне газету?

— Нет проблем, мосье.

В доме Наталья Владимировна заиграла на рояле.

— Что это за музыка? — спросил папаша Ланглуа.

— Чайковский, Первый концерт.

— Ваша жена прекрасно играет. Моя Мадлен оживает от ее музыки.

Он выбил трубку и заковылял к своему дому. Кромов проводил его взглядом и тоже двинулся домой. Пес бежал перед ним. Рояль гремел.

В улочку выехало такси и медленно покатило вдоль забора.

Кромов был к улице спиной, когда раздался выстрел.

Пес подскочил над дорожкой, завыл, завертелся волчком.

Кромов бросился к Дружку, поднял его на руки. Голова собаки мокла в крови. Кромов обернулся. Такси, выбросив клуб желтого дыма, быстро удалялось.

## XXII
## Ноябрь 1921 года. Большевик

Наталью Владимировну разбудил стук. Тихое, вкрадчивое постукивание в оконное стекло. Она села на постели и прислушалась. Стук повторился.

— Алеша, — позвала она шепотом, — Алеша, проснись…

— Я не сплю, — тоже шепотом отозвался Кромов.

Они спали во второй, совсем маленькой комнате. Проходную комнату теперь почти целиком занимал рояль. Дверь между комнатами была приоткрыта. Стучали в окно проходной комнаты.

Кромов, стараясь не шуметь, натянул брюки. Выдвинул ящик тумбочки, достал пистолет. Перевел затвор, дослав пулю в ствол.

— Мне страшно, Лешенька, — еле слышно сказала Наталья Владимировна.

— Не бойся, — зашептал ей в самое ухо, — пока запугивают, не станут убивать. Ведь покойники банковских чеков не подписывают.

Кромов неслышно протиснулся в дверь. Прижимаясь спиной к стенке, пошел к окну.

«Бдом!» — гулко ударили привезенные Натальей Владимировной «необходимые» часы. «Бдом!»

Два часа ночи.

Чей-то темный силуэт в окне. Голова в кепи, широкие плечи. Человек что-то держит в руках. Внезапно огонек спички осветил лицо ночного пришельца. Полбышев!

— Наташа! Это Полбышев, старый мой товарищ, — в голос сказал Кромов и сам постучал в стекло.

Силуэт под окном пропал, послышались шаги на крыльце.

— Георгий Иванович?

— Так точно.

Кромов впустил Полбышева в дом. Зажег лампу. Полбышев мало изменился. Посуровел весь как-то. В щегольском парижском кепи выглядел особенно русским.

— Простите, Алексей Алексеевич, за ночное вторжение. Нужда привела.

— Вам денег надо? Сколько? Все, чем могу…

Полбышев засмеялся:

— Вот ваши бывшие дружки кричат, что у вас зимой снега не допросишься. Знаете, как они вас прозвали? Красный Граф. Они «острят»: собака на реке Сене — сам не ест и другим не дает. А мне — пожалуйста.

— Нет, я из своих, личных…

Наталья Владимировна выглянула из-за двери, щурясь на свет:

— Вы тот самый Полбышев?

— Тот самый.

— Мне Алеша… Алексей Алексеевич о вас все рассказал.

— Так уж и все!

Дверь закрылась.

— Голоден? — спросил Кромов и, не дожидаясь ответа, стал снимать с полки тарелки со снедью и ставить на рояль.

— Сколько нужно денег?

— Не нужны деньги. В другом нужда.

Полбышев покосился на дверь, за которой скрылась Наталья Владимировна.

— При ней можно говорить?

Кромов кивнул.

— Я в Россию подаюсь, Алексей Алексеевич. С двумя товарищами.

— В Россию? Ты ж унтер-офицер, старослужащий.

— Боитесь, к стенке поставят? Ну ладно, от вас мне таиться нечего. Сам пришел с просьбой. Большевик я. В партии с девятьсот четвертого года.

Алексей Алексеевич опустился на стул:

— Так. Значит, когда ты меня из огня на себе тащил, ты…

Полбышев развел руками: ничего, мол, не поделаешь.

— Значит, я большевику жизнью обязан? Это… это… не фунт шоколада. — Лучшего выражения почему-то не нашлось.

— Себе вы обязаны. Таких офицеров, как вы, в царской армии, может, всего на один полк наберется.

Вошла Наталья Владимировна. Тихонько пристроилась у рояля, рядом с Кромовым.

Полбышев заметно нервничал, молча поглядывал на хозяйку исподлобья. Кромову это не понравилось. Он потребовал строго:

— Говори, что нужно.

Полбышев, видимо, решился:

— Из Франции нас так, за здорово живешь, не выпустят. Вы ведь должность свою военного атташе за собой сохранили?

— Пока сохранил. Формально. Но вам — большевикам — это ведь все равно. Что, не так?

— Не так. Здесь, в Европе, нас пока не признают. А ваши подписи и печать здесь действительны. Вот и командируйте нас, скажем, в Финляндию. Вытащите меня на себе, Алексей Алексеевич, — и квиты.

Кромов размышлял не более минуты.

— Хорошо. Завтра в Париже в четырнадцать ноль-ноль на Итальянском бульваре, в кафе…

— Так точно.

— Что сейчас творится в России? — спросил Алексей Алексеевич. — Ты, наверное, знаешь…

Полбышев достал из кармана вчетверо сложенный листок, протянул Кромову.

Алексей Алексеевич развернул, стал читать. Наталья Владимировна тоже читала, заглядывая из-за его плеча.

«Декрет о бывших офицерах, — побежали перед глазами строчки. — Все те бывшие офицеры, которые в той или иной форме окажут содействие скорейшей ликвидации остающихся еще в Крыму, на Кавказе и в Сибири белогвардейских отрядов и тем облегчат и ускорят победу рабоче-крестьянской России… будут освобождены от ответственности за те деяния, которые они совершили в составе белогвардейских армий Врангеля, Деникина, Колчака, Семенова и проч… Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов (Ленин). 2 июня 1920 года».

Кромов сложил листок, отдал Полбышеву:

— Агитируешь, приглашаешь поехать?

Лицо Полбышева еще больше помрачнело.

— Вы спрашиваете, что в России, — я отвечаю. А агитировать, приглашать… Если вы это так понимаете, то напрасно… Здесь, — он помахал листком, — в который уже раз русским людям напоминают, что они — русские. Оказывают доверие.

— По-твоему, быть русским — значит быть большевиком?

Полбышев вдруг рассмеялся:

— Может, с некоторых пор и так, если в корень смотреть. Однако офицеры, что откликнутся, не в большевики пойдут, и вряд ли из них большевики получатся. Но они будут со своим народом, а значит — с нами. Вот я — большевик, а вы мне

доверяете. Вы доверяете мне?

— Тебе доверяю. Но ведь не все…

— Нет, не все. Люди ожесточились сердцем… На то она и гражданская война, классовая. Три года Республика в кольце фронтов. В стране разруха, голод… Но там — Ленин.

— А какой он, Ленин? — Это Наталья Владимировна спросила.

— Ленин? Как вам рассказать?

Полбышев задумался. Видно, он впервые отвечал на такой вопрос, и не только им, а себе тоже. Потом он медленно произнес:

— Вот я в бедной крестьянской семье рос. Жизнь вокруг надрывная, каторжная, бесправная… А я маленький был, надеялся, что никогда не умру. Вечно буду жить и все вокруг исправлю, сделаю справедливым, радостным. Жил этой надеждой. А вот теперь точно знаю, что я, Георгий Иванович Полбышев, — бессмертный человек!..

Полбышев улыбнулся, потом вдруг смутился, опустил голову и, смешно насупившись, поглядел настороженно.

Гулко пробили часы.

Полбышев подобрался, сказал:

— Мне пора.

— Я провожу. — Кромов накинул куртку.

— Прощайте, будьте счастливы…

— Рады, что едете домой? — спросила Наталья Владимировна, когда Полбышев уже переступал порог.

Он обернулся:

— Птица и та из теплых краев тянется на родное гнездовье. Тысячи верст летит через реки, моря, через пустыню какую-нибудь африканскую…

— Да вы, оказывается, поэт! — И Наталья Владимировна с улыбкой взглянула на мужа.

— Поэт, поэт… — Алексей Алексеевич усмехнулся. — Прилетит птица домой, и там ее охотник — бац!

— Охотники — они повсюду есть. И в Африке, и где хотите… — Полбышев нахлобучил кепи. — Но человек-то не птица. Так что вы меня, Алексей Алексеевич, на слове не ловите.

Простились на плотине.

— Доберешься, Георгий Победоносец?

— Нельзя не добраться, Алексей Алексеевич.

— Да, я и забыл: ты же бессмертный…

## XXIII
## 1922–1924 годы. Между вопросом и ответом

Дела по аннулированию договоров с французскими фирмами закончились. После отказа Советского правительства выплатить царские долги фирмы сами себя освободили от каких-либо договорных обязательств. Но до этого Кромов не терял времени зря.

Теперь Алексей Алексеевич привел в порядок всю документацию и хранил архив вместе с денежными суммами в личном сейфе в Банк-де-Франс.

Дни его проходили размеренно и монотонно. Огород, оранжерея, поездки в Париж на рынок и ежедневное чтение газет. Газеты он накупал пачками и внимательно просматривал. Всю информацию о Советской России вырезал и аккуратно подклеивал в тетрадку. Таких тетрадок накопилась внушительная стопка.

Но информация в основном была крикливая, противоречивая и — Кромов чувствовал это сердцем — ложная. И поэтому даже к редким статьям, написанным с симпатией к его Родине, он относился с недоверием.

Папаша Ланглуа и его жена были единственными людьми, с кем Кромовы еще поддерживали общение. Раза два в неделю устраивались совместные обеды, всегда у Ланглуа: безнадежно больная Мадлен почти не покидала дома. Папаша Ланглуа, видя, что русский полковник не идет на разговоры о своих делах, давно оставил пустое любопытство.

Во время этих семейных обедов майор ударялся в армейские воспоминания или в обсуждение перспектив овощной торговли или с наслаждением поносил правительство, громко хохоча над своими остротами.

У Натальи Владимировны были кое-какие сбережения. Она сделала попытку уговорить Алексея Алексеевича бросить огородный участок, переехать на скромную квартиру и жить на ее средства. Кромов категорически отказался. Тогда она стала исподтишка улучшать их быт. В доме вдруг появлялись новые вещи: кофейный сервиз на четыре персоны — «Правда, миленький?» — или комплекты постельного белья, скатертей и занавесок — «Ну, уж в это, пожалуйста, не вмешивайся, Алеша!» — или теплая меховая куртка для Кромова — «Оставь, это необходимо». Он постепенно смирился.

«Ведь это ее дом, — думал Алексей Алексеевич. — Она хозяйка. Что ж, пускай…»

У них подобралась небольшая библиотека русской классики. Долгими зимними вечерами они бесконечно перечитывали любимые с детства страницы. Откладывая в сторону книгу и слушая, как Наташа поет вокализы — она занималась по два-три

часа ежедневно, — Кромов ловил себя на мысли, что, несмотря на устоявшийся, размеренный быт, на то, что он любит Наташу и любим, его жизнь здесь представляется ему чем-то временным, почти нереальным.

«Что я хочу, чего я жду, что я должен делать?» — спрашивал себя Алексей Алексеевич. Его стала мучить жестокая бессонница, и он скрывал это от жены.

Совершенно неожиданно приехал старый импресарио Натальи Тархановой. Восхитился огородом, оранжереей, домом и вдруг предложил ей турне на весь сезон.

Наталья Владимировна предложение не приняла. Шутила, сравнивая себя с легендарным римским императором, оставившим трон ради выращивания капусты.

Когда импресарио уехал, Алексей Алексеевич, до этого боявшийся, что Наташа согласится, стал убеждать ее, что она не имеет права зарывать в огороде свой талант.

Наталья Владимировна продолжала отшучиваться, а потом разрыдалась и наговорила Кромову много обидного. Они впервые поссорились. Скоро и бурно примирившись, больше к этой теме договорились никогда не возвращаться.

После выстрела, того, подлого, никаких враждебных действий со стороны русской эмиграции не замечалось. Казалось, Кромова оставили в покое. Но Алексей Алексеевич знал, что это только отсрочка. Глубокая тревога в душе не проходила, и к ней он не мог привыкнуть.

Однажды, просматривая газеты, Кромов наткнулся на список русских фамилий. Это был перечень царских военных атташе в разных странах, которых Советское правительство объявляло врагами Родины. Список был длинный. Алексей Алексеевич перечел его несколько раз. Фамилия Кромов в нем отсутствовала.

Что это — опечатка? Случайный пропуск или…

Ответа спросить было не у кого.

И только когда на другой день его фамилия замелькала на страницах многих газет с эпитетом «тайный агент Москвы», Кромов понял, что ошибки не было.

Тысячи новых вопросов, требующих немедленного ответа, встали перед ним в ясной реальности.

Всем существом своим ощущая, что приближается решающая минута, которая потребует от него всех его сил, всей его воли, всей его любви к Родине, Кромов углубился в себя, затаился, перестал замечать окружающее.

— Все будет хорошо, Алеша. Все будет хорошо, — упорно твердила Наталья Владимировна.

И эта простая ее вера, выраженная простыми словами,

укрепляла его.

И вот — падение правительства Пуанкаре, а вскоре во всех газетах: между Францией и Советской Россией устанавливаются нормальные дипломатические отношения на уровне посольств.

Мучительное, слепое ожидание чего-то кончилось. Кромов принял решение.

## XXIV
## В банке

Алексей Алексеевич вошел в кабинет старшего управляющего Банк-де-Франс.

— Господин старший управляющий…

— Зачем так официально, мосье, ведь вы наш старый и весьма уважаемый клиент.

Они обменялись вежливыми улыбками.

— Я старый ваш клиент, мосье Шолон, но могу повести себя по-новому. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, при которых мне понадобится весь вклад наличными.

— О-ля-ля, мосье!

— Это может произойти внезапно, то есть я не смогу заранее предупредить банк.

Управляющий с пониманием склонил голову.

— В рекламном проспекте вашего банка написано, что вы стремитесь выполнить все просьбы своих клиентов. А если просьба покажется вам странной, вы ее выполните?

— Да, мосье, если это не противоречит закону и не выходит за пределы разумного.

— Я хотел бы взглянуть на свое состояние.

Управляющий секунду задержался с ответом.

— Я сейчас распоряжусь. — И нажал кнопку на столе.

…Хлопнула стальная зарешеченная дверца маленького лифта. Управляющий и его клиент спускались вниз. Мелькали неподвижные охранники на лестничных площадках.

Они вышли из лифта и углубились в узкие бетонированные коридоры, освещенные ровным светом скрытых ламп. Время от времени перед ними возникали обитые стальными листами двери, перекрывающие коридоры. При их приближении буквально из стены выходили молчаливые фигуры и, поворотом рукоятки открыв двери, пропускали дальше.

Наконец они оказались у стальной решетки, которую управляющий открыл своим ключом и запер за Кромовым, пропустив его вперед.

Они были в самом сердце банка. По стенам огромной

комнаты тянулись нескончаемые стальные дверцы шкафов с точечными отверстиями для ключей.

Служащий банка, в строгом темном костюме, с лицом стертым, как старая монета, уже ждал их. Он сунул тонкий ключ в замок одной из створок. Несколько раз повернул. Раздался металлический щелчок, дверца распахнулась. За ней была еще одна дверца. Опять несколько поворотов ключа, щелчок — и сейф открылся. Внутренность сейфа была разделена полками. В строгом порядке были уложены продолговатые бруски золотых слитков. Служащий выдвинул стальной ящик, находящийся за дверцей сразу под полками. Ящик был доверху набит запечатанными пачками крупных банкнот. Сверху лежал лист бумаги, испещренный цифрами и подписями. Служащий взял лист, передал управляющему.

— Двести двадцать пять миллионов шестьсот тридцать две тысячи семьсот тридцать франков, — прочел управляющий. — Остальное в кредитных бумагах.

## XXV
## Третьего предупреждения не будет

Город еще спит, укрытый плотным сиреневым туманом. Но Чрево Парижа — рынок — уже пробуждается. Около рынка открываются, грохоча железными ставнями, первые кафе. Перед ними на тротуарах красными пятнами загораются жаровни, на которых кипит дешевый бульон.

Бедный люд — сторожа, разгрузчики, носильщики — наполняет кафе. Прислонившись к сверкающей цинковой стойке, эти плохо одетые, плохо спавшие, ожидающие какой-нибудь работы люди спасаются здесь от ночного холода или обманывают свой голод рюмкой крепкой водки, стаканчиком горячего вина.

В этой толчее у стойки Алексей Алексеевич тоже попивает теплое вино, согревая о стакан руки.

Вышел на улицу. Подняв воротник пальто, взялся за рукоятку своей двухколесной тележки, уставленной ящичками и корзинами с зеленью.

Покатил тележку перед собой. Колеса застучали по брусчатке. Навстречу в улицу медленно въехало такси. Тусклый свет фар расплывался в тумане. Кромов со своей тележкой посторонился, пропуская автомобиль на узкой улице. Разминувшись с зеленщиком, такси, взревев мотором, круто развернулось и помчалось прямо на человека с тележкой. Глухой удар. Кромова отбросило к стене дома. Высокое деревянное колесо тележки, вихляя, покатилось вдоль улицы. Корзинки,

ящики развалились по мостовой, рассыпав кучки зелени. Такси снова разворачивалось, ревя мотором. Мелькнуло напряженное лицо водителя.

— Поручик Стенбок! — властно крикнул Кромов, шагнув к машине. — Я вас узнал!

Мотор заглох. Такси стояло поперек улицы. Шофер, тот самый, с испитым лицом, который тогда возил Кромова, злобно посмотрел на него. Рядом сидел Стенбок.

— Здравия желаю, ваше сиятельство! — В приветствии поручика звучала издевка.

— Еще узнаёшь своих? — спросил шофер Алексея Алексеевича. — Тем лучше. Советуем одуматься. Ты ведь офицер, русский человек.

— Учтите! — крикнул Стенбок. — Третьего предупреждения не будет!

Такси развернулось, давя корзинки, и исчезло за поворотом.

## XXVI
## Товарищ Кромов

Кромов трудился в огороде у парников.

— Мосье мой полковник! — Папаша Ланглуа протиснулся в калитку. Шляпа съехала на затылок. Опираясь на палку, он прискочкой спешил по дорожке. — Я только что из Парижа. Потрясающая новость: над зданием русского посольства — красный флаг!

Алексей Алексеевич уронил лейку в салатные грядки. Вбежал в дом. Схватил со стола чайник и скрылся за дверью маленькой комнаты.

Наталья Владимировна вернулась из магазина. Поставила сумку на рояль, стала разгружать: вынула длинный белый батон, какой-то сверток в промасленной бумаге.

Значит, нечего тужить.
Будем ждать и будем жить.
Что же делать, милый чиж,
Ведь на то он и Париж… —

напевала она на мотив «Баюшки-баю».

В дверь постучали, и сразу же вошли три человека. Одинаковые темные костюмы, темные шляпы, темные галстуки.

— Добрый день, мадам, — сказал старший. — Полиция.

Двое других встали по бокам от двери.

— Вы пришли нас арестовывать? — Наталья Владимировна испуганно смотрела на две темные неподвижные фигуры у входа.

— Нет, совсем нет! — Старший вежливо улыбнулся. — Мосье Кромов, — он с трудом выговорил русскую фамилию, — он дома?

— Нет, кажется… — Наталья Владимировна взглянула в окно.

У парников стоял папаша Ланглуа. Вид у него был растерянный.

— Вы мадам Кромова?

— Да, — неуверенно ответила она. — Что случилось?

— Министерство внутренних дел имеет в своих руках неопровержимые доказательства о заговоре, подготовленном против вашего мужа вашими же соотечественниками-эмигрантами. Поэтому мы просим вас помочь нам выполнить возложенное на нас служебное поручение. Вот эти два агента, — он указал на фигуры у двери, — будут являться к вам с утра в назначенный час, всюду вас сопровождать и…

В этот момент Кромов вошел в комнату. На парадном русском полковничьем мундире, под белым Георгиевским крестом, блестели боевые ордена Свв. Анны и Владимира с мечами и французский орден Почетного легиона. Шнуры серебряного аксельбанта Академии Генерального штаба опускались из-под погона на правую сторону груди, почти касаясь петлями широкого, шитого серебром пояса. На чисто выбритом лице темнели подстриженные усы. Фуражка с белым кружком кокарды была чуть сдвинута на правую бровь. Наталья Владимировна тихо ахнула.

— Благодарю вас, господа, — сказал Алексей Алексеевич. — Вы свободны. Я русский офицер и сумею постоять за свою честь и жизнь.

…Кромов шел по Парижу. Оглядывались редкие прохожие.

Улицы в это время почти безлюдны. Священный для Парижа час обеда.

Кромову оставалось свернуть в короткий переулок, пройти его до конца, и тогда откроется здание посольства — дворец д'Эсгре, на улице Гренель, дом № 79.

Алексей Алексеевич свернул в переулок. Посреди переулка у противоположного тротуара стояло такси. Работал, постукивая, мотор. Кромов сразу узнал машину, но не повернул назад, не остановился, не замедлил шага, не заспешил. По-прежнему четко отдавался стук его каблуков.

Рука в черной перчатке соскользнула по рулю такси, взяла револьвер, лежащий на сиденье.

Расстояние между такси и равномерно шагающим человеком

сокращалось.

С места водителя уже совершенно отчетливо видны ордена на мундире.

Покачивался в ритме шагов белый Георгиевский крестик.

Кромов смотрел прямо перед собой, куда-то далеко-далеко.

Вот он поравнялся с такси, вот миновал его, удаляется, сейчас повернет на улицу Гренель. Сошел с тротуара, повернул.

Вцепившись зубами в кожу черной перчатки, чтобы удержать рвущийся из горла вопль, сморщив жалкое испитое лицо, корчился в истерике за рулем парижского такси другой русский офицер, георгиевский кавалер, не посмевший выстрелить в товарища по оружию. Поручик Стенбок, дергая губами, выплевывал ругательства: «Слюнтяй!.. Пьяная скотина!.. Сволочь!»

Алексей Алексеевич стоял на улице Гренель и смотрел, как над зданием посольства колышется под ветром знамя новой России.

Едва переступив порог посольства, он понял, что новые жильцы еще не обжились: приемная была устроена прямо на площадке парадной лестницы. При появлении Кромова из-за большого стола поднялся широкоплечий парень, чем-то напомнивший Полбышева.

Алексей Алексеевич хотел назвать себя и вдруг понял, что он не знает, как это сделать, как сказать: полковник граф Кромов, просто Кромов…

Он не предполагал такого затруднения и молчал.

— Товарищ Кромов? — спросил парень. — Я правильно угадал?

Усилием воли стараясь преодолеть охватившее его волнение, Алексей Алексеевич попросил:

— Повторите… повторите, как вы сказали…

— Я сказал: товарищ Кромов… — Парень заметно смутился. — Вас сам полпред так назвал. Он говорил: сразу же доложи, если придет товарищ Кромов.

— Товарищ Кромов! — Полпред Советского Союза Красин вышел навстречу Кромову. — Здравствуйте. Георгий Иванович Полбышев говорил, что вы обязательно к нам придете…

## XXVII
## Январь 1925 года. Документы

Бумага с Государственным гербом СССР:

«№ 248. г. Париж. 15 января 1925 года. Бывшему

Военному Агенту во Франции А. А. Кромову.

В предвидении предстоящих переговоров с французским правительством по урегулированию финансовых вопросов я считаю необходимым предложить Вам поставить меня в курс тех русских денежных интересов, кои Вы охраняли здесь по должности Военного Агента до дня признания Францией Правительства СССР.

*Полномочный Представитель СССР во Франции Л. Красин».*

Бумага на бланке Русского Военного Агента во Франции:

«На № 248. Полномочному Представителю СССР во Франции Л. Б. Красину г. Париж. 17 января 1925 года.

Я счел долгом принять Ваше обращение ко мне от 15 января за приказ, так как с минуты признания Францией Правительства СССР оно является для меня представителем интересов моей Родины, кои я всегда защищал и готов защищать.

*А. Кромов».*

## Эпилог

— Товарищ Кромов! — крикнул молодой сильный голос, и эти слова, подхваченные утренним прохладным ветерком, полетели через мокрый от росы березняк и пропали в шуме потревоженной листвы.

— Идем! — протяжно раздалось в ответ.

Из березовой рощи на желтый песок скакового круга вышли трое мужчин. Гимнастерки, перетянутые кожаными портупеями, шпалы на воротниках, седые виски под околышами фуражек с красными звездами — все говорило о том, что это видавшие виды командиры Красной армии.

Двое идущих впереди были Георгий Иванович Полбышев и Алексей Алексеевич Кромов. Третий — очень высокий, сутулый, с неподвижным, точно вырезанным из дерева, лицом — строго оглядывал скаковой круг. Командиры остановились, чтобы принять рапорт молодого кавалериста, почти мальчика. Лихо бросив сомкнутые пальцы к козырьку, он отрапортовал Кромову:

— Товарищ инспектор кавалерии! Личный командный состав отдельной кавалерийской бригады к показательным учениям готов!

На скаковой дорожке по трое в ряд стояли верхами кавалеристы. В центре круга их ждали полосатые барьеры препятствий.

Молодой кавалерист побежал к своему коню. Застоявшийся жеребец крутился, не давая сесть. Кавалерист, тихо ругая коня сквозь зубы, ловил ногой стремя.

— А ну, дай-ка, — вдруг сказал Кромов.

Он схватился за луку и взлетел в седло. Жеребец с места пошел коротким галопом. Описав полукруг, Алексей Алексеевич выслал коня на препятствие. Прыжок — барьер взят. Новый посыл, еще прыжок — второй барьер позади.

Высокорослый командир, покусывая травинку, спросил Полбышева:

— Товарищ Полбышев, а ты давно знаешь военспеца Кромова?

— Еще с Русско-японской, с девятьсот четвертого. Полковник, имеет царские награды, к тому же из графьев…

— И ты за него поручился?

— Как за себя. Сомневаешься?

Командир выплюнул травинку, прищурился и ничего не ответил.

А конь, легко преодолев последнее препятствие, выскочил на желтый песок дорожки. И тут всадник пустил его карьером. Мелькнули смеющееся лицо Полбышева, веселые, молодые лица кавалеристов.

Конь скакал во весь опор, и навстречу Кромову спешили ветви берез в зеленой листве, и, все расширяясь, в конце аллеи открывалось утреннее с разводами легких облаков небо его Родины.

# Иван, себя не помнящий (случаи из жизни одного кинолюба)

## От автора

Любите ли вы кинематограф советской эпохи так, как люблю его я? Знаю, что любите и готовы бесконечно пересматривать многие фильмы.

Но мало кто из вас знает, что происходило или могло происходить, так сказать, за кадром «важнейшего из искусств».

Демонстрацию некоторых, особенно зарубежных, фильмов иногда предваряет или завершает такая надпись: «События и персонажи данного фильма вымышлены. Любые совпадения случайны».

Так заявляют авторы фильмов, с одной стороны, для того, чтобы избежать ненужных обид и придирок, а с другой стороны, чтобы зрители, а в моем случае читатели, тут же начали искать прямые соответствия героев произведения с действительной жизнью.

Ищите, дорогой читатель! И если отыщете, посмеемся вместе.

## Случай первый

Как объяснял потом Иван Иванович, все произошло оттого, что телефон-автомат ненасытно глотал монетки и не то чтобы вообще не давал соединения, а соединял его не с тем, кого бы Иван Иванович хотел услышать.

И поэтому Ивану Ивановичу поневоле приходилось слушать обрывки чужих и совсем ненужных ему разговоров. Сначала о двух неотгруженных вагонах картошки, исчезнувших в неизвестном направлении со станции Сызрань, потом детский голос уверял, что спать после обеда все равно не будет, потом две подружки говорили, мало ли о чем говорят две подружки, когда они даже не подозревают, что их может подслушать совсем посторонний мужчина.

Между этими разговорами автомат продолжал глотать монетки, и Ивану Ивановичу пришлось то и дело выбегать на улицу, чтобы попросить прохожих разменять мелочь.

Дорогой читатель! Если к тебе на улице подойдет человек, все равно какой: пусть это будет мужчина средних лет, среднего роста и средней упитанности, в распахнутом плаще немодного покроя и в кепке, надетой козырьком несколько вбок и сдвинутой

к затылку (а именно так выглядел тогда Иван Иванович и точно так была надета на его голову кепка) — то не проходи мимо, читатель!

И вы, уважаемая читательница! Даже если вы вообразите, что это пристает к вам какой-то нахал, то все равно не спешите убегать или звать на помощь милиционера. Прошу вас, приостановитесь и выслушайте хотя бы первую фразу, которую выговорит этот глуповато улыбающийся (а именно такое выражение принимал тогда рот Ивана Ивановича) и, весьма возможно, с утра нетрезвый мужчина.

И если вы услышите вдруг:

— У вас не найдется монетки, позвонить? — то обязательно остановитесь, умоляю вас, остановитесь и старательно пошарьте в сумочке, в карманах, в портфеле или еще где придется, чтобы непременно отыскать нужную монетку, все равно в какой комбинации: одна двухкопеечная или две по копейке. Ведь и с вами может произойти — не дай бог, конечно, — то самое, что произошло с Иваном Ивановичем.

Ивану Ивановичу, как он потом рассказывал, пришлось бежать не спеша, как от инфаркта, в магазин, за целый квартал от автомата, чтобы разменять мелочь.

А в магазине в этот момент как раз прозвонило 11 часов, так что Ивана Ивановича, сами понимаете, не подпустили к кассе и даже обещали «фотографию начистить». А очередь двигалась мучительно медленно потому, что кассирша внимательно пересчитывала горы той самой мелочи, которая так нужна была Ивану Ивановичу. Когда же наконец Иван Иванович набрал нужных ему монеток и, отдуваясь, дотрусил до телефонной будки, то обнаружил, то есть не обнаружил… вернее, обнаружил, что не обнаружил… Телефон-автомат был на месте, крючок для временного подвешивания ручной клади тоже был на месте, а вот желтого портфеля с чернильным пятном около застежки, его, Иван Ивановичева портфеля — не было.

Не было, черт его подери, а вместе с портфелем исчезла и рукопись, в нем замкнутая.

Его рукопись, Ивана Ивановича.

Тут, как объяснял потом Иван Иванович, «это самое удивительное и случилось».

А случилось то, что Иван Иванович, стоя у края тротуара, майским весенним утром в Столице, в наши дни начисто запамятовал, что было написано в его рукописи, которая исчезла вместе с желтым портфелем с чернильным пятном около застежки. Запамятовал, и все тут. Забыл напрочь.

Иван Иванович сначала очень удивился этому неожиданному

обстоятельству, отнеся такую мгновенную потерю памяти за счет нервного волнения.

Он даже закурил сперва, уверенный, что память сыграла с ним глупую шутку и сейчас вернется. И что вообще так не бывает: сам писал рукопись и сам вдруг ничего не помнит. Но шутка из глупой уже становилась скверной: Иван Иванович действительно не мог вспомнить ни слова из своей рукописи. Как он ни напрягался, как ни затягивался табачным дымом, как ни зажмуривался — ничего рукописного вспомнить не мог.

Помнил формат писчей бумаги — обыкновенный, помнил ее качество — плохое, даже узнал бы листы на ощупь, а вот что писал на этих листах, хоть убей, не мог вспомнить.

Помнил отчетливо, что сама тема была выбрана очень верно, очень нужная нашему широкому зрителю была тема, а вот как он эту тему выразил художественными средствами — это как отшибло.

«Ерунда какая-то, — подумалось Ивану Ивановичу, — придется позвонить Райке, пусть напомнит. Глупо, конечно, но что поделаешь…»

Райка эта, по прозвищу Райка-попрошайка, была хорошо известной в кинематографических кругах машинисткой. От нее-то и шел в это майское утро Иван Иванович и нес в желтом портфеле с чернильным пятном около застежки рукопись своего сценария, перепечатанную.

Простите, строгие мои читатели, что за переживаниями Ивана Ивановича ничего путного вам о нем еще не рассказал.

Пока Иван Иванович в том же невезучем автомате с помощью с таким трудом добытой мелочи пытается дозвониться до машинистки, у нас есть время спокойно посмотреть его анкету.

Эта подробная анкета заполнялась Иваном Ивановичем в течение последних лет ежегодно. Ивана Ивановича прямо-таки раздирало необъяснимое желание зачем-то повидать жемчужину Адриатического моря, город на воде Венецию. И ему в этом ежегодно отказывали в зарубежном отделе общества кинолюбов, терпеливо разъясняя, что желающих посмотреть город на воде много, а путевок мало. К тому же Иван Иванович уже дважды был в Болгарии и поэтому должен набраться терпения и ждать…

Но мы отвлеклись. По анкете значилось, что фамилия Ивана Ивановича — Распятии, рождения 1926 года, беспартийный, судим не был, родственников за границей не имеет, профессия — сценарист, член Общества кинолюбов.

В графе боевых наград перечислялись медали с названиями освобожденных молодым Иваном Ивановичем европейских городов, среди которых город на воде, естественно, не значился.

В последней, шестой по счету анкете стояло, что Иван Иванович в настоящее время работает над сценарием под названием… Вот под каким названием он сработал сценарий, Иван Иванович как раз и желал сейчас выведать у Райки-попрошайки, которой он наконец дозвонился.

— Раиса Михайловна, это я, Распятии, — трескуче закричал он в трубку, как кричал когда-то в трубку полевого телефона, боясь, что связь отрежут, — я хочу узнать ваше мнение о моем сценарии. Как вам понравилось название? — схитрил Иван Иванович, сам стараясь вспомнить раньше Райки-попрошайки и с леденящим душу ужасом убеждаясь, что сам вспомнить названия не может.

— Я, извините, Ван Ваныч, вашего названия не помню, — отстучало в ответ. И только Иван Иванович с некоторым даже облегчением подумал: «Что, и она тоже?», как услышал: — Я вообще ваших рукописей не читаю, а перепечатываю. Если у вас ко мне какие-нибудь претензии по машинке — приносите, исправлю. И конфеты обещанные захватите. А читать, извините, времени нет. Вот сейчас Макар Аполлонович срочную статью прислал на сорок страниц, так что же, по-вашему, читать мне ее прикажете? Я еще с ума не сошла. Про конфеты не забудьте.

И загудело в трубке.

## Случай второй

Иван Иванович нацепил трубку на рычаг и ошалело уставился на крючок для подвешивания ручной клади, словно надеялся, что желтый портфель с чернильным пятном около застежки каким-то образом вдруг объявится на крючке.

Но портфель не объявился. Крючок торчал из стены бесстыдно голенький. Иван Иванович в сердцах хватил по нему кулаком и пребольно зашиб руку.

«Дурак я дурак! — мысленно осудил себя Иван Иванович, усердно дуя на сбитые в кровь костяшки пальцев. — И с чего я так распсиховался, спрашивается? Будто никто, кроме меня и машинистки, моего сценария в глаза не видел. А редакторша моя? Да она этот сценарий должна лучше самого меня знать, досконально помнить, что я там такое сочинил. Ну-ка, который час?»

И только Иван Иванович намерился взглянуть на часы, как дверь автоматной будки распахнулась, горячо дохнуло кислым духом суточных щей, и глухой бас прогремел над Иваном Ивановичем следующие справедливые слова:

— Ты что здесь прописался, козел?

И одновременно с этими словами на огромной волосатой руке сунулся под нос Ивану Ивановичу циферблат ручных часов, стрелки которого обозначали около четверти двенадцатого.

Пока обладатель глухого баса заполнял будку, Иван Иванович быстро вычислил в уме, как ему выйти на свою студийную редакторшу Маргариту Аркадьевну Болт.

«На студию ехать не стоит, — прикинул Иван Иванович. — С десяти до двенадцати она скорее всего на каком-нибудь совещании. А если никаких совещаний нет, то и ее нет. А после двенадцати — тут Иван Иванович даже присвистнул, представив себе, как он разыскивает редакторшу на киностудии. “Только что тут проходила”, — удивляются люди, снующие по бесконечно длинным коридорам. Придется периодически возвращаться в кабинет редакторши и там слышать от неизвестно чем занятых в редакторском кабинете незнакомых мужчин: “Она только что вышла”. А если попробовать передать, что он, Распятии, ее разыскивает, незнакомцы тут же ответят, что сами собираются уходить.

«Самое верное домой ей сейчас позвонить, — подытожил Иван Иванович свои вычисления, — все-таки больше вероятности застать».

И через некоторое время он снова водворился в будке. Трубка попахивала кислой капустой, но телефон, словно устыдившись прошлого своего безобразия, заработал исправно. Иван Иванович терпеливо слушал долгие гудки и был вознагражден:

— Да?

— Маргарита Аркадьевна?

— Ну я. Кто это?

— Это Распятии. Здравствуйте!

— А-а… Вы по поводу аванса? Я уже убегаю на студию, — привычно соврала Маргарита Аркадьевна непослушным со сна голосом.

— Нет-нет. Аванс я давно получил. Маргарита Аркадьевна, у меня тут вышла неприятность.

— Что такое? Пустомясов отклонил?

— Нет. У Пустомясова я еще не был.

— Все ясно.

«Что ей там такое ясно?» — удивился Иван Иванович.

— Алле!

— Ну?

— Маргарита Аркадьевна, у меня здесь в автомате пропал портфель с рукописью сценария. — Иван Иванович теперь и не пытался вспомнить название. — Украли, пока я за мелочью бегал.

— Украли? — трубка хмыкнула. — Кому он… Странно. Вы

шутите?

— Не шучу. Алле!

— Я слушаю, — сказала Маргарита Аркадьевна.

— Это еще не самое странное. Я вам сейчас скажу, только вы не вешайте трубку и учтите, что я вообще не пьющий. Честное слово. Алле?

— Я слушаю, — сказала Маргарита Аркадьевна. Иван Иванович шумно вдохнул воздух и произнес на одном дыхании:

— Самое странное, что я начисто забыл, о чем писал в сценарии, и название забыл.

В трубке зашелестело.

— Маргарита Аркадьевна, напомните, умоляю!

В ответ раздались всхлипывания и:

— Я вообще не хотела с вами работать. Теперь я понимаю, почему вы не нашли общего языка с Саквояжевым. Зачем вы меня не предупредили заранее?

— Как не предупредил? О чем?

Но, видно, у Маргариты Аркадьевны Болт уже сложилась своя, редакторская точка зрения на только что предложенный Иваном Ивановичем оригинальный сюжет:

— Сколько раз я вам говорила… я просила… все вы так… никогда ничего, я так и знала!

Маргарита Аркадьевна еще что-то проговаривала сквозь насморочные всхлипывания, а Ивану Ивановичу живо представлялось, что сейчас его редакторша должна быть похожа на заплаканную лошадь.

— Маргариточка Аркадьевна…

— Сами разбирайтесь с Пустомясовым, с Саквояжевым, с кем хотите… Я всегда говорила, что проблема в вашем сценарии…

— Стойте! — отчаянно ухватился Иван Иванович за мелькнувшую в потоке слез соломинку. — Какая проблема?

И услышал в ответ:

— Не надо, не надо так… Я тоже человек… Я — женщина… Меня все знают.

Так Маргарита Аркадьевна Болт, сценарный редактор Ивана Ивановича, сочла нужным закончить этот телефонный разговор.

## Случай третий

Иван Иванович выкурил одну за другой три сигареты и решил в ожидании возврата зашалившей своей памяти отвлечься каким ни на есть действием.

Он побрел вдоль края мокрого тротуара, перешагивая через лужи и загадывая про себя:

— Вот если сейчас в туфлю не зачерпну, обязательно вспомню.

Но скоро промочил ноги и ничего не вспомнил. И тут Иван Иванович ощутил себя на перекрестке и бессмысленный взгляд его остановился на постовом милиционере, который бойко регулировал движение в этом квадратике столицы.

— Может, я о милиции писал? — робко спросил себя Иван Иванович, в котором бойкая распорядительность милиционера отозвалась ободряюще.

А милиционер свистнул, как соловей-разбойник, и задержал какого-то шустрого гражданина с криво подстриженной бородой, который, как сивка-бурка, вырос прямо из-под земли перед заходящим на поворот автобусом.

Уверенные действия постового связали мысль о забытом сценарии с предположением, что хорошо бы ему, Ивану Ивановичу, срочно пойти в ближайшее отделение и заявить о пропаже желтого портфеля с чернильным пятном около застежки. Иван Иванович целиком подчинил себя воле регулировщика и, улучив момент, сблизился с ним для расспросов. После необходимых разъяснений: «Прямо, первый направо, налево, направо во двор, там увидите». Иван Иванович направился в указанном ему направлении.

Дежурный по отделению сидел за столом боком к посетителям и жевал яблоко.

После слов «Здрасьте, приятного аппетита» дежурный выдвинул ящик стола, опустил туда искусанное яблоко и только тогда глянул в сторону Ивана Ивановича так, будто Иван Иванович был не что другое, как какой-нибудь сквозняк, неизвестно зачем залетевший в дверь и без нужды всколыхнувший спокойный воздух помещения.

— Мне нужно насчет пропажи, — сказал Иван Иванович и уже полез в карман за удостоверением члена Общества кинолюбов, но тут дежурный проговорил:

— Второй этаж, одиннадцатая комната.

И Иван Иванович, поблагодарив, отошел искать лестницу на второй этаж.

Он не видел, как дежурный достал яблоко, придирчиво осмотрел его искусанные бока и только после этого стал с удовольствием доедать.

В одиннадцатой комнате очень вежливый молодой человек усадил Ивана Ивановича на стул, внимательно выслушал историю пропажи желтого портфеля с чернильным пятном около застежки, в котором лежал сценарий. Иван Иванович и здесь не мог вспомнить ничего из содержания, начиная с самого названия, и

это обстоятельство обошел молчанием.

Молодой человек немножко подумал, сказал «бывает» и пододвинул Ивану Ивановичу листок бумаги уверенной рукой, безымянный палец которой охватывало толстое и широкое обручальное кольцо.

— Вот женился в пятницу, — сообщил молодой человек, счастливо улыбаясь, — жена немножко из нашего ведомства, так что, думаю, найдем общий язык.

И, посвятив так неожиданно Ивана Ивановича в свою личную жизнь, тем же радостным голосом, которым говорил о женитьбе, продиктовал заявление о пропаже.

— Можно надеяться? — спросил Иван Иванович, поднимаясь со стула и пожимая уверенную руку с обручальным кольцом.

— Жену мою зовут Надежда, — душевно ответил молодой человек.

— Ах! — сказал Иван Иванович.

— Да! Да! Да! — закричал Иван Иванович.

— Хо-хо-хо!!!! — захохотал Иван Иванович. Дело в том, что он вдруг вспомнил, как называется утраченный им сценарий: «Надежда». Именно так назвал его Иван Иванович.

Это внезапное возвращение памяти сделало какой-то быстрый переворот во всем организме нашего героя. Левая нога его для чего-то лягнула стул, на котором он только что сидел, да так сильно, что тот запрыгал по комнате, а правая мелко затряслась и подогнулась. К тому же перед глазами Ивана Ивановича почему-то завертелся наподобие милицейского жезла проклятый диск телефонного набора и, вдобавок ко всему, свалилась с головы кепка.

Стакан воды, ловко поднесенный к губам Ивана Ивановича молодым человеком, вернул ему послушание ног и реальность ощущений. А реальность эта была такова: Иван Иванович дальше названия ровно ничего из своего сценария не помнил и, как ни старался, вспомнить на текущий момент не мог. Но теперь у него появилась хотя бы надежда.

## Случай четвертый

В этом обнадеженном, даже несколько расслабленном состоянии Иван Иванович подъехал на такси к стеклянным дверям одного очень сложного учреждения, что обосновалось в самом центре Столицы, в позабывшем сменить старое название переулке.

Учреждение это было создано с благородной, но неблагодарной целью, а именно: распутывать многие

кинематографические нити, которые постоянно спутываются в пестрый клубок, наподобие елочной канители, и желавшим видеть в конце каждого отчетного года блестящую, празднично украшенную елку приходится немало потрудиться. Известно, что блестящая эта канитель имеет свойство запутывать вместе с собой всякую прошлогоднюю мишуру: обрывки серпантина, клочки старой грязной ваты, осколки разбитых на празднике хрупких украшений и обломанные веточки с безнадежно высохшими, но все еще колючими желтыми иголками, норовящими воткнуться побольнее. Но для поверхностного наблюдателя это было учреждение как учреждение: вестибюль, гардероб, лифты, этажи, лестницы, коридоры и двери, двери, двери… И таблички с названиями должностей и фамилиями, для удобства посетителей, а также сотрудников: чтобы сидящий за этими дверями служащий, выйдя в коридор, мог безошибочно вернуться обратно, а не бродить по всем коридорам с глупым вопросом:

— Товарищи, вы не знаете случайно, кто я такой и чем здесь, простите, занимаюсь?

Иван Иванович взял такси. Во-первых, потому, что спешил. Во-вторых, для общественного транспорта подъездов к учреждению не было, а в-третьих, — подходить пешком к учреждению, у стеклянных дверей которого пыхтят персональные и личные автомобили… Короче говоря, Иван Иванович был не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Пока Иван Иванович предъявляет при входе свое удостоверение, сдает плащ и кепку на вешалку и причесывает у зеркала свою поредевшую шевелюру, вам, внимательные читатели, необходимо узнать, зачем наш герой так сюда спешил.

А вот зачем: тема, которую затронул Иван Иванович в своем так неправдоподобно забытом сценарии, показалась настолько важной уже знакомой нам студийной редакторше Маргарите Аркадьевне Болт, что оба варианта — первый и второй — рассматривал художественный совет учреждения. Этот же совет должен был рассмотреть и третий вариант, который теперь бесследно исчез не только вместе с желтым портфелем с чернильным пятном около застежки, но также из памяти создателя всех трех вариантов. Заметьте: трех! Значит, два предыдущих наверняка хранились в шкафу у секретарши товарища Пустомясова, исполняющего обязанности председателя худсовета. А восстановить по двум вариантам третий, утраченный — дело нехитрое. Да и память вдруг может вернуться.

— Даже обязательно вернется, — отмел всякие сомнения Иван Иванович и вступил в приемную товарища Пустомясова.

Вступить-то вступил, но как только предстал перед

секретаршей, сразу же ощутил неуверенность и даже робость.

Иван Иванович почему-то всегда робел перед ее представительной внешностью. Достаточно сказать, что секретарша эта обладала такими усами, будто служила в уланском полку и вышла в секретарскую свою должность в чине не ниже штаб-ротмистрского.

— Распятии я. К Фаддею Федуловичу по договоренности, — неестественно бодро доложил Иван Иванович. — Вызывали к двум часам.

— К двум — значит к двум, — отчеканила секретарша и кончики усов ее поползли вверх, что у штаб-ротмистров обозначает одобрительную улыбку.

Иван Иванович бросился под этот приподнятый ус, как цыпленок бросается под крыло к наседке в инстинктивном желании избежать опасности.

— Жоржетта Павловна! — пискнул Иван Иванович. — Позвольте взглянуть предыдущие варианты сценария.

Усы вытянулись в прямую линию. Но широкие плечи, которые должны были носить эполеты, приподнялись, а вслед за плечами и вся Жоржетта Павловна вышла из кресла и, отчетливо стуча каблуками, переместилась к шкафу.

— «Надежда», — с деликатным придыханием подсказал Иван Иванович. — «Надежда» — первый вариант и «Надежда» — второй вариант.

И сердце Ивана Ивановича отплясывало трепака. Стальной палец штаб-ротмистра ерошил папки на полках в шкафу.

— Нет! — вдруг рявкнула Жоржетта Павловна и захлопнула дверцы.

— Как нет? — выдохнул Иван Иванович. — Потерялись?

— У меня потерялись? Ну, знаете… — И глядя Ивану Ивановичу в переносицу, вызывающе объявила: — Все варианты на руках у членов худсовета. Вот так.

Тут переговорное устройство на секретарском столе щелкнуло, и сдобный баритон, в котором Иван Иванович сразу признал голос Пустомясова, спросил:

— Жоржетта Павловна, есть ко мне кто-нибудь?

Усы встали дыбом, штаб-ротмистр распахнул дубовую дверь, и, не чуя под собой ног, Иван Иванович осознал себя в пустомясовском кабинете.

О таких должностных людях, каким является Фаддей Федулович, обычно говорят «важное лицо». Но то природное образование, которое пришлось между узлом галстука и набриолиненным волосяным покровом, никак не возможно назвать лицом даже в анатомическом смысле этого слова.

Ошибкой было бы, смеха ради, выдавать это, с позволения сказать, лицо за другую часть тела. Ведь все части людского тела так или иначе несут какие-нибудь признаки человеческой натуры. А особенность так называемого лица Фаддея Федуловича как раз заключалась в том, что никаких человеческих признаков не несло.

Благодаря этому «личному» обстоятельству Пустомясов в своем обшитом деревянными панелями кабинете напоминал одинокий перезрелый помидор, случайно завалявшийся в тарном ящике.

— Ну, что у тебя? — спросил Фаддей Федулович. Всех заходящих в его кабинет — а вышестоящее начальство этот кабинет не посещало — Пустомясов называл на «ты», руководствуясь простым, но верным соображением, что «ты» — это когда один, а «вы» — когда много.

— Так что у тебя?

И тут Иван Иванович понес совершенную околесицу. Члены художественного совета смешались у него с милиционером-регулировщиком, все три варианта «Надежды» оказались в конфетной коробке у Райки-попрошайки, и весь этот бред повис на крючке для временного подвешивания ручной клади в будке телефона-автомата. В довершение всего Иван Иванович вытащил из кармана копию заявления в милицию и положил ее на стол перед Фаддеем Федуловичем вместе с приставшей квитанцией на получение простыней из прачечной.

Пока Пустомясов разбирал заявление в милицию, Иван Иванович напрягся до барабанной дроби в ушах, силясь вспомнить хоть что-нибудь из своего сценария. Но, увы, безрезультатно.

— Пролонгацию небось попросишь? — сделал оргвывод Пустомясов, покончив с заявлением.

— Я, наверное, заболел, — храбро предположил Иван Иванович. — Заболел и не помню…

— Чего не помнишь?

— Ничего не помню, — дрожащим голосом признался Иван Иванович. — Ни строчки… варианты на руках… буду искать… если найду… Может, хоть вы подскажете, Фаддей Федулович, о чем хоть эта… моя «Надежда»?

Вопрос Иваном Ивановичем был поставлен правильно. Ведь Пустомясов председательствовал на художественном совете. И даже, если предварительно не читал сценария Распятина, то уж во время обсуждения должен был кое-что, хотя бы в общих чертах, уловить.

— Мы, — сказал Фаддей Федулович о себе во множественном числе, — мы твой сценарий должны утверждать или, понимаешь,

того… отвергнуть. Ты, понимаешь, к нам подготовленный должен приходить, а ты… нехорошо.

Иван Иванович никогда бы не догадался, что в его признании о внезапной утрате памяти Пустомясову померещится какой-то неясный подвох, а уж когда Распятии прямо спросил, не помнит ли Фаддей Федулович его сценарий, то иначе как тайную проверку пустомясовского соответствия должности это истолковать в томатных мозгах было невозможно. И Фаддей Федулович начальственно поднажал на свой баритончик:

— Нехорошо, Распятии. Мы тебе доверяли, а ты, понимаешь, сам писал и сам забыл. Как же это так, понимаешь, получается?

Тут лицо Ивана Ивановича приняло бессмысленное, почти идиотское выражение. То самое выражение, которое приобретает лицо русского человека вне зависимости от возраста, профессии и должности, если начальство вдруг спрашивает: куда пропало находившееся в ведении данного лица казенное имущество. А уж какое это имущество: киносценарий, моющиеся обои, тракторная гусеница, банка трески в томате, канцелярская скрепка — это решительно все равно. Потому что страна огромная, пространства необозримые, степи, горы, леса и моря, народу везде полно и запропаститься бесследно может что угодно, где угодно и когда угодно.

Особое это выражение выскакивает на лице вопрошаемого, даже если его самого в пропаже не винят. Но после принятия такого выражения русский человек становится почему-то ни к чему более не способен, как врать, врать и врать. Да, талантлив наш народ в созидательных планах, и в образном вымысле, и в меткой, ядреной шутке, и в горькой исповеди. Но согласитесь: бездарны мы во вранье! И будь оно проклято, вранье наше, безумное, постыдное, унижающее нас с вами, родной мой читатель! Как начнет врать иной русский человек, так обязательно такое блюдо состряпает, какое не найдешь во всех меню всех наперечет народов. Намешает и того, и сего, все перепутает, засахарит, посолит, наперчит, вываляет в черт знает какой трухе, черт знает чем нашпигует, с одного бока пережарит, с другого и подрумянить забудет, а кончит тем, что съест все сам, на ваших глазах, запивая нередко кровавыми слезами.

Но Иван Иванович врать не стал. Может, потому, что случайно заметил, как за витринным стеклом кабинетного окна стремительно и свободно скользнула в легком весеннем воздухе какая-то маленькая птичка, присела на торчащую на уровне окна набухшую почками тополевую ветку и откровенно уставилась на Ивана Ивановича круглым красным глазком.

«Ну, посмотрю я, каких еще глупостей наделаете вы», —

почудилось Распятину в птичьем внимании.

— Пойду я, — тихо сказал Иван Иванович.

— Иди, — отозвался Пустомясов. — Иди… иди.

Когда Иван Иванович скрылся за дубовой дверью, Фаддей Федулович еще раз просмотрел оставленное Распятиным заявление в милицию, не обошел и квитанцию на получение простыней, провел пухлой ладонью по напомаженным волосам, крякнул, хмыкнул и, откатившись из кресла в угол кабинета, замкнул оба эти документа в несгораемый шкаф. Вернувшись в кресло, косо чиркнул в настольном календаре «Распятин» и рядом вывел жирный вопросительный знак.

## Случай пятый

«Ну что за герой Иван Иванович, — посетуют читатели. — Имя-отчество самые обыкновенные, и фамилия ничем не примечательная: Распятии. Подумаешь, член Общества кинолюбов! Этим теперь никого не удивишь. Повращайся немного среди кинолюбов — глядишь, и ты стал членом. Известное дело».

Если уж берется автор писать о кино, так написал бы о каких-нибудь интересных людях: например, о той актрисе, которая в двадцать один год снялась в двадцати одном фильме. Или об этом загадочном красавце с трубкой в пластмассовых зубах, который иногда ведет «Кинопанораму». Ведь никто не знает, кто он такой, а тут бы выяснилось.

Или составил бы справочник: какой киноартист на какой киноартистке женат — а то также споры иногда случаются, что просто до оскорблений и даже до драк доходит. Интерес-то к искусству большой, всех «Советским экраном» не удовлетворишь.

А этот Иван Иванович? Ну, что в нем выдающегося? Ничего. Рост средний, упитанность средняя, способности, судя по всему, тоже средние.

Средний человек — вот скука-то!

— Позвольте, позвольте, — вдруг вмешается критический голос, — скука скуке рознь. Бывает и полезная скука, а это скука вредная. Мало ли что могло случиться с каким-нибудь Иваном Ивановичем, зачем же сразу писать об этом? Широкий читатель совершенно прав. Что, у нас в кинематографе мало выдающихся имен?

И вот уже критик с привычным благоговением произносит всемирно известные кинофамилии и, загибая пальцы, перечисляет призы и награды всесоюзных и международных фестивалей.

— Зачем же писать о каком-то безответственном работнике, пусть и творческом?

Уважаемые читатели! Позвольте автору оправдаться.

Дореволюционная литература возвела в герои маленького человека. Революция с этим покончила. У нас маленьких людей нет. Остались большие и средние. Взять хотя бы всеобщее среднее образование.

Большие люди сами по себе выдающиеся, и описывать их должны большие, выдающиеся писатели, к каковым автор, даже находясь в хорошем настроении, не решится себя причислять. К тому же большие люди сами о себе прекрасно пишут, чему есть немало известных примеров. Не исключено, что, окрепнув талантом, автор решится…

Но в этот раз, может быть, единственный, позвольте увлечься частным случаем из жизни забывчивого среднего человека, и в согласии с автором внимательно, доброжелательно и непредвзято проследите, как этот забывчивый мучается.

Вдруг чужие муки пойдут вам на пользу? Не лишайте автора уверенности, что, выбрав в герои Ивана Ивановича, он поступает правильно и верно. Тем более что автор вместе с Иваном Ивановичем не теряет надежды на счастливый конец.

Конечно, в здании, отведенном под Общество кинолюбов, парадный подъезд — просто заглядение. Но не все же ходить с парадного подъезда… В наш космический век, чтобы всесторонне изучить предмет, полезно время от времени заглядывать на обратную его сторону.

Даже за Луну уже заглядывали!

К тому же опытные читатели сразу догадались, что ничего подобного с моим героем не случалось, да и случиться не могло… Ведь так не бывает!

…Где вы, Иван Иванович? Вот он, вот он, снова остановил такси и устремился на поиски «Надежды», а именно — поехал в новый микрорайон, надеясь застать дома своего приятеля и коллегу Филимона Ужова, члена художественного совета.

## Случай шестой

— Нет, вроде бы здесь, — сказал Иван Иванович таксисту.

Машина, подпрыгивая на разбитом асфальте и разбрызгивая грязь, уже второй раз объехала высоченную груду ржавого кровельного железа и остановилась.

Иван Иванович под пристальным наблюдением двух немыслимо древних старушек, выставившихся истуканами на лавочке у подъезда, расплатился с таксистом.

Машина отъехала, а Иван Иванович остался стоять на одной ноге посреди огромной бурой лужи, соображая, в каком направлении безопаснее опустить сухую ногу.

— Ванька, ты? — долетело откуда-то сверху. Иван Иванович задрал голову, потерял равновесие и стал в лужу обеими ногами.

Над ограждением верхнего углового балкона различимо маячила бледная физиономия Филимона Ужова. Даже очень издалека и снизу выразительный ужовский нос выглядел как всегда — длинным и обвисшим.

— Деньги есть? — крикнул Ужов.

— Есть!

— Дуй ко мне!!!

Иван Иванович, подняв пенистую волну, выбрался из лужи и захлюпал ногами мимо истуканов, оставляя мокрый бурый след.

— Опять к Фильке-писателю, — изрекла первая старушка.

— К нему, — подтвердила вторая.

— Ноги вытирай! — пропели старушки дуэтом.

Иван Иванович повозил подошвами по грязным картонным ящикам, расплющенным на кафельном полу, и скрылся в кабине лифта.

Пока лифт, завывая и ознобно трясясь, не спеша тащился кверху, Иван Иванович успел прочесть на стенах кабинки, что «Лида — дура» и рассмотреть выполненный в условной манере портрет какого-то человека в очках и шляпе, обрамленный много раз повторяющимся глаголом «жуй».

Едва Иван Иванович ступил на площадку, как услышал из-за двери глухой голос Ужова:

— Ванька, спаси меня…

— Филимон, что с тобой? — Иван Иванович рванул на себя ручку двери. — Открой, Филимон.

— Не могу, я заперт.

— Как заперт?

— Обыкновенно, на замок. Капитолинка заперла.

Иван Иванович быстро представил себе улыбающийся рот ужовской супруги, розовую улыбку в напомаженных губах и тусклый взор никогда не улыбающихся глаз.

— Случайно заперла?

— Нарочно. У меня вчера был день рождения. Сережка с Иркой были, Фомка, Васька и Жоржетка.

Свой веселый мир Ужов населял на всех уровнях жизни Петьками, Ольками, Костьками и сам себя воспринимал не иначе как Фильку, хотя Фильке этому шел уже шестой десяток. Догадаться, кто из общих знакомых скрывался на сей раз под кличками гостей, Иван Иванович не успел: Ужов перешел к

воспоминаниям:

— Выпивки было — залейся. Все выхлебали, сволочи. Утром встаю: головка бо-бо, денежки тю-тю, во рту — наждак, ну, ты сам знаешь…

Иван Иванович ничего этого не знал, но неважно. Он зато знал: Филимон Ужов убежден, что вокруг дико пьют абсолютно все, просто не все еще замечены в этом.

А Ужов продолжал из-за двери:

— Портки спрятала и, главное, дверь на ключе. Она недавно замок здоровенный врезала, Капитолинка…

Ужов за дверью задышал как штангист, идущий на побитие рекорда.

— Ванька… умираю…

— Не умрешь.

— Умру.

Помолчали.

— Я дверь ломать не буду, — твердо заявил Иван Иванович. — У меня и так неприятности: сценарий украли.

— Иди ты… со своим сценарием, — глухо заскулил Ужов. — Другой напишешь. У тебя почти на глазах друг умирает, вот это — неприятности…

Ужов чихнул и затих.

— Филимон!

Тишина.

— Филимон!!!! — в паническом испуге заорал Иван Иванович.

— Ааа.

— Как тебе помочь?

— Спустись на первый этаж, третья квартира. Спроси Витьку-слесаря. Скажи: Филька умирает. Он — хороший мужик, поймет.

Иван Иванович спустился вниз и позвонил в квартиру № 3. За дверью зашлепали шаги и раздраженный женский голос спросил:

— Чего надо?

— Можно Виктора, слесаря? — вежливо обратился Иван Иванович к дверной клеенчатой обивке.

— Нету его. Во дворе посмотрите.

Иван Иванович вышел во двор.

— Идет, — сказала старушка, завидев Ивана Ивановича.

— Вы не подскажете, где найти слесаря Виктора? — обратился к ним Иван Иванович.

Старушки сдвинулись теснее, крепко сомкнули полые свои рты и стали глядеть куда-то вдаль. По выражению их глаз было понятно, что вдали они наблюдают что-то крайне возмутительное.

В глубине двора, возле мусорных бачков стоял приземистый мужчина с бумажным кульком в руках. У его ног в кружок расселись штук восемь тощих кошек. Мужчина поминутно заглядывал в кулек и, соблюдая одному ему известную очередность, наделял кошек пищей.

— Ванька, вон он с кошками! — закричал сверху Ужов.

Иван Иванович направился к мусорным бачкам и остановился за пределами кошачьего круга.

— Кранов, говорю вам, в настоящее время нет! — неожиданно обрушился на Ивана Ивановича мужчина с кульком. И быстрым взглядом оценив действие таких своих слов, уже миролюбиво заключил:

— И прокладок тоже нет.

— Мне… — сказал Иван Иванович, — я… — и доверительно сообщил в порядке информации: — Филька умирает.

Мужчина бросил кулек на землю и, перешагнув через сбившихся в кучу кошек, подошел к Ивану Ивановичу вплотную. Посверлив Ивана Ивановича бирюзовыми глазками, строго спросил:

— Чтой-то с ним?

Иван Иванович доложил обстановку. Витька-слесарь, выслушав безвыходные обстоятельства Ужова, дал такое заключение:

— Фильку жалко. Хороший мужик. Но я замка не трону. Ведь если что, Капитолина его меня за хобот и в конверт. Пускай мучается. — И вперевалку зашагал к дому. Иван Иванович поплелся за ним.

— Витька! — заголосил Ужов с балкона.

— Чего орешь? — еще громче Ужова отозвался Витька. — Неудобно!

— Плевать я хотел! Тут все свои…

— Жалко мужика, — обернувшись, бросил слесарь Ивану Ивановичу и скрылся в подъезде.

Иван Иванович снова поднялся к ужовской двери.

— Не может он, Капитолины боится.

— Хрен с ним! Что-нибудь придумаем.

— Филимон, — Иван Иванович поцарапался в дверь. — Знаешь, я начисто забыл, что писал в сценарии. Ты не помнишь? Ну тот, который мы обсуждали на худсовете, не помнишь?

— Не помню. Я свои-то теперь не все помню.

— Плохо дело, — сказал Иван Иванович. — Не знаю, что и придумать.

— Придумал! — крикнул Ужов из-за двери. — Тут рядом кафе «Незабудка». Как выйдешь из подъезда, направо, за угол

дома. Направо и по мощеной дорожке шагов триста. Слушаешь?

Иван Иванович кивнул.

— Ванька, ты здесь?

— Да.

— Возьмешь за стойкой бутылку портвейна и попросишь трубочку коктейльную. Слышишь?

— Слышу. Зачем трубочку?

— Чудак! Вставим в замочную скважину. Понял?

— Понял…

— Иди, Ванька.

Иван Иванович пошел.

— Ванька! — позвал Ужов из-за двери.

— Что, Филимон?

— Я на тебя надеюсь, Ванька.

Когда Иван Иванович заворачивая за угол дома, Ужов, перевесившись с балкона, кричал:

— Направо и еще раз направо. Триста шагов. Трубочку не забудь!

В «Незабудке» Иван Иванович ждал, пока барменша сдаст пустую тару, купил портвейн и, конечно, про трубочку забыл. Повернул обратно к «Незабудке» и едва не угодил под «скорую помощь», которая выскочила из-за кустов.

— Залил зенки, дядя? — только и успел крикнуть Ивану Ивановичу санитар из окна машины, и «скорая помощь», взвыв, промчалась мимо.

— Просто так трубочек не даем, — объявила барменша. — Возьмите коктейльчик.

Пришлось соглашаться.

— Какой желаете? «Москва»? «Яичный»? «Надежда»?

— «Надежда», — сказал Иван Иванович, забрался на высокую табуретку и подумал: «А вдруг сейчас выпью эту “Надежду”, расслаблюсь, и память вернется. Ведь бывают такие случайные совпадения».

Иван Иванович вынул из бокала трубочку и залпом заглотнул всю порцию.

Потом зажмурил глаза и постарался сосредоточиться.

Сначала перед внутренним взором Ивана Ивановича проплыли ничего не выражающие розовые пятна.

Потом сквозь эту неопределенную муть стало проступать какое-то неясное видение.

— Ну, давай, давай… определяйся! — внутренним голосом подхлестывал видение Иван Иванович. Видение стало определяться, стали вырисовываться очертания как будто человеческой фигуры.

— Пусть какой-нибудь из моих персонажей, — трепеща молил Иван Иванович.

А виденье между тем оформлялось, становилось объемным, и вдруг Иван Иванович, не открывая глаз, ясно увидел перед собой Витьку — слесаря на фоне помойных бачков.

Иван Иванович застонал и открыл глаза. И сразу же ощутил приторную коктейльную сладость во рту и тяжесть в области печени.

— Сколько с меня? — спросил Иван Иванович, и, не дождавшись сдачи, зашагал к ужовскому дому.

У подъезда, выхлестав из берегов бурую лужу, митинговала толпа. В гомоне голосов можно было уловить, что пьяным и дуракам — счастье. На подходе Ивана Ивановича толпа примолкла. Откуда-то из самого центра вывинтился Витька-слесарь и подошел к Ивану Ивановичу вплотную. Доверительно сообщил:

— Дружка вашего на «скорой» увезли.

— Как увезли? Сердце?

— Может, и сердце…

— Вы дверь открывали?

— Зачем открывать. Он сам выпал. С балкона.

— ?!

— Как вы ушли, он все за угол дома заглядывал, ждал, значит. Ну и вывалился. Да прямо на листы. Его, значит, и спружинило. Он на землю скатился. Ну, без памяти, ясно. Врачи говорят, вроде целый.

— Живой?

— Был живой. Только без памяти, говорю, в полной бессознанке увезли.

Иван Иванович побежал со двора, громыхая по рассыпавшемуся кровельному железу.

— Поразительный случай, — определил врач, возвращая Ивану Ивановичу удостоверение Общества кинолюбов. — Из шока мы его вывели. Обследовали: ни сотрясения, ни царапины. Поразительный случай. Ведь седьмой этаж, не шутки. В сущности, можно его сейчас же выписывать. Но мы денька три подержим для профилактики. Просто поразительный случай.

— Можно его сейчас навестить?

— Пожалуйста. Только мы его изолировали, а то вся больница рвется на него поглядеть.

Иван Иванович прошел за белой докторской спиной по сложному лабиринту лестниц и коридоров и оказался перед дверью с закрашенными белой краской стеклянными филенками.

Врач сунул руку в карман халата, потом хлопнул себя по

груди, потом — по лбу.

— Черт. Извините. Ключ забыл. Обождите здесь, — и исчез.

Иван Иванович остался один.

— Филимон, — тихонько позвал Иван Иванович и припал ухом к дверной щели.

— Принес? — неожиданно громко спросил Филькин голос прямо в ухо.

Иван Иванович схватился за сердце и через синтетику плаща ощутил тяжелую твердость бутылки.

— Я… Да…

— А трубочку не забыл?

Иван Иванович, не размышляя, сунул в карман плаща руку и извлек несколько помятую коктейльную трубочку.

— Со мной.

— Давай, Ванька!

Зажав в потном кулаке сорванную шапочку пробки и прикрывая полами плаща бутылку, из горлышка которой в скважину замка уходила трубочка, Иван Иванович ждал появления врача, и его поддерживала только слабая надежда на то, что, может быть, он сейчас спасает талантливого человека.

## Случай седьмой

Снова такси, третье за сегодняшний, такой неудачный день, мчалось по просохшему от майской грозы шоссе, унося Ивана Ивановича за город, за город…

Молодая весенняя травка ровно озеленила недавно еще грязные, размытые тающими снегами обочины. Мелкие листочки придорожных деревьев сквозили, пропуская в переплетения ветвей небесную голубизну.

С поворота, когда машина взлетала на холм, вдруг открывались распаханные поля, синяя зубчатая полоска леса, и весело отражая не жаркие еще солнечные лучи, поблескивала чистой железной кровлей чья-то новая крыша. Ивану Ивановичу вместе с легким майским воздухом стали залетать в голову сладко волнующие и вряд ли полезные сомнения.

— Ну что из того, что я люблю кино, что я кинолюб? А разве нельзя любить кино и не писать сценарии? Жить вот в этом домике с новой крышей, — потекли расслабленные мысли. — Ведь я крестьянский сын, крестьянский сын… Для чего я пишу? Ведь я не хочу, как тот мой знакомый — лысенький, серенький козлик, — аккуратно загребать копытцем из-под триумфальной арочки гонорарной кассы… Я пишу для того, чтобы… чтобы… А мог бы я не писать для кино? Вообще ничего не писать? — прямо

спросил себя Иван Иванович и не нашел ответа.

Такси летело с холма на холм, Распятии угрелся на заднем сиденье, веки его отяжелели, и он не заметил, как провалился в бездонную звенящую пустоту.

## Случай восьмой

Возник Иван Иванович из этой пустоты прямо у калитки в зеленом сплошном заборе, что огораживал дачу кинорежиссера Рюрика Хитрово-Дурново. Если вы думаете, дорогой читатель, что к этому моменту Иван Иванович вспомнил хотя бы строчку из своего сценария — вы ошибаетесь. Ни строчки не вспомнил Иван Иванович, ни слова, ни полслова. Но твердо помнил название «Надежда», и это само по себе обнадеживало.

Пока Иван Иванович готовился войти за калитку, прикидывая, как отнесется к его внезапному появлению собака, размеренное тявканье которой уже слышалось сквозь забор, калитка распахнулась, и Рюрик Хитрово-Дурново сам явился перед Иваном Ивановичем. Кинорежиссер был одет в долгополую женскую шубу, подпоясанную широким полосатым шарфом цветов французского флага. Из-под шубы выглядывали ноги в белой спортивной обуви. Голову покрывал оранжевый мотоциклетный шлем, подвязанный под подбородком. За черными очками-консервами невозможно было различить выражение глаз Рюрика, но это было и не нужно, потому что на лице его прочно держалась широкая белозубая улыбка.

— Здорово, дед! — крикнул Хитрово-Дурново с той неподражаемой интонацией, с которой маршал приветствует на параде воинов. Но настроение у Ивана Ивановича было совсем не парадное и поэтому вместо ответного «ура» он только и выговорил:

— Ты, Рюрюша….

— Бегу положенных десять километров, — объявил кинорежиссер и, не разъяснив, кем и зачем положенных, миновал Ивана Ивановича и зашлепал белыми ступнями по глади шоссе.

Иван Иванович посмотрел, как шевелятся под шубой лопатки Хитрово-Дурново и, надвинув поглубже кепку, устремился вдогонку.

На повороте, пропустив навстречу рычащий самосвал, Иван Иванович поровнялся с кинорежиссером.

— Шуба зачем? — задыхаясь, выкрикнул Распятии.

— Худею! — Рюрик со свистом дышал через нос.

— Ты мой сценарий «Надежда» читал? — не отставал Иван Иванович.

— Дыши носом, — ответил Хитрово-Дурново и наддал рыси.

Метров сто пробежали, сипя. Потом Иван Иванович остановился, хватая воздух ртом, точно так, как делает это пес, который хочет изловить надоевшую муху. Меховая спина кинорежиссера быстро удалялась.

— Рюрюша! — жалостно позвал Иван Иванович и совсем потерял дыхание.

— Дома жди! — и Хитрово-Дурново, вильнув в сторону, ловко разминулся с автобусом.

Собака встретила Ивана Ивановича как родного. Она поставила передние лапы на плечи гостю и оказалась вровень с человеком. Пользуясь этим равенством, собака отхлестала Ивана Ивановича по лицу горячим слюнявым языком, и только когда гость, приговаривая: «Ах ты, собачуля, хорошая, хорошая», боком взошел на веранду, отстала. Иван Иванович, отплевываясь и утираясь рукавом плаща, оглядел веранду. Во всех ее четырех углах были поставлены в беспорядке велосипеды для всех детских возрастов, требующие серьезного ремонта. Виднелась и педальная машина, доведенная до состояния консервной банки, в каких обычно рыбаки носят червей для наживы.

Среди этого хлама стоял круглый стол, накрытый клеенкой. На клеенке — самовар, банки с какими-то разноцветными массами, ваза с печеньем, вложенные одна в другую чашки и блюдца стопкой. К столу были придвинуты два плетеных стула и городская парковая скамейка, в которой не хватало нескольких досок.

Вид приготовленного к чаепитию стола вызвал у Ивана Ивановича тоскливое ощущение своего одиночества, оторванности от семьи, от тихих своих домашних радостей. Представил он себе заботливые руки жены своей Настасьи Филипповны, полные руки с округлыми локтями, как они, знакомые эти, приятные руки заваривают грузинский чай в маленьком фарфоровом чайничке с голубой каемкой по белому полю у самой крышечки — и нелепая история с пропажей желтого портфеля с чернильным пятном около застежки вместе с третьим вариантом «Надежды» показалась Ивану Ивановичу до того обидным, до того несправедливым оборотом дела, что больно заныло сразу во всех суставах и мучительно сжало где-то внутри, в желудке.

— Я ведь с утра ничего не ел, — пожалел себя Иван Иванович. — Ничегошеньки…

И в ожидании хозяина решил без спроса выпить чашку чая. Иван Иванович несколько боязливо тронул ладонью выпуклый бок самовара — горячий, снял крышку с поставленного в

самоварную корону расписного чайника и понюхал — ароматный, и окончательно проникнувшись идеей чаепития устроился на парковой скамейке — неудобной.

Разноцветные массы в банках оказались фруктовыми джемами. Иван Иванович приналег на абрикосовый и, прихлебывая из чашки, все больше и больше убеждался в том, что поступает правильно.

В разгар одинокого его чаепития, когда Иван Иванович, перейдя к сливовому джему, решал про себя, хуже тот или лучше абрикосового, дверь из дома на веранду бесшумно приоткрылась, и у стола возник хозяин Рюрик Хитрово-Дурново. Ни женской шубы, ни мотоциклетного шлема на кинорежиссере уже не было. Все это заменил скромный костюм из джинсовой ткани, очень ладно облегающий фигуру, и разве только совсем уж подслеповатый наблюдатель не понял бы, что перед ним моложавый, спортивный мужчина, дела которого обстоят очень неплохо, судя по широкой улыбке, как бы застрявшей в крепких челюстях.

— Чай вот пью, — сообщил Иван Иванович, стараясь придать своему лицу такое же удачливое и веселое выражение, какое было видно на лице хозяина. — Отличный чай.

— Что ты, дедок? — улыбка смялась и была проглочена. — Разве это чай? Это же отрава. — И снова улыбка выскочила на лицо.

— Я сейчас тебе настоящий чай заварю. Английский с японской вишневой почкой. Ты с ума сойдешь.

И не успел Иван Иванович рта в ответ раскрыть, как кинорежиссер скользнул за дверь, ведущую в дом, и она бесшумно за ним закрылась. Иван Иванович хотел было пойти за хозяином и сказать, что чая английского не надо, а надо вернуть ему первые варианты его сценария «Надежда» или, на худой конец, хотя бы напомнить, в чем заключалось содержание.

Но оглядев чайный стол, почти пустую банку из-под абрикосового джема и лужицу на клеенке, Иван Иванович рассудил, что в дом вслед за хозяином идти неудобно, а лучше уж подождать здесь.

Мимо веранды, куда-то вприскочку пробежала собака, и Иван Иванович машинально отметил про себя чудной цвет ее шерсти, грязновато-оранжевый, и подивился странной формы короткому хвосту.

«Что за порода такая? — подумал Иван Иванович. — Где-то я таких собак уже видел».

С шоссе из-за сплошного зеленого забора доносилось жужжание моторов и щебет шин по влажному асфальту.

Хитрово-Дурново со свежезаваренным английским чаем все не было.

— Пока он там возится со своей японской почкой, — подумал Иван Иванович, — я еще этой «отравы» выпью.

И только потянулся к самоварному крану, как дверь из дома бесшумно приоткрылась и…

— Так вот оно, оказывается, как начинается, — пронеслось в натруженных с утра мозгах Ивана Ивановича, — сначала полная утрата памяти, а потом вот это… зрительная галлюцинация…

А зрительная галлюцинация подошла тем временем к чайному столу и, не обращая никакого внимания на Ивана Ивановича, стала убирать чашки. Мышцы под кожей галлюцинации перекатывались, как арбузы в мешке, и когда галлюцинация протянула руку к самовару, раздался мелодичный серебряный перезвон. Этот перезвон привел Ивана Ивановича в чувство. Огромный голый негр, в одной лишь набедренной повязке из цветастого ситчика, от горла до пупа татуированный, убирал чайные чашки, позванивая серебряными браслетами, скользящими по запястьям.

— Помогите! — хотел было крикнуть Иван Иванович, но не в силах оторвать глаз от черного гиганта, только прошептал:

— Мир — дружба.

Улыбка, еще более широкая и белозубая, чем у Хитрово-Дурново, проглянула на черном лице, будто в полной темноте вывесили белый флаг. Все еще плохо веря в реальность происходящего и пуще всего боясь, что его не поймут, Иван Иванович, по проверенному русскому способу разговаривать с иностранцами, выкрикнул по слогам:

— Рю-рик где? Рю-рик?

Негр, напружинив могучую шею, издал звук, который производит тяжелый шкаф, когда его удается сдвинуть с места. А после этого заговорил чистым русским языком, тихо и напевно:

— И-и, гостюшко, уехамши наш Рюрик, в еропорт отбымши. Сердцем присох весь до лады своей. Так что подался ужо к себе, в Новую Гвинеюшку, — всхлипнул негр, смахнул набежавшую слезу и спросил радушно: — Может статься, вздремнуть с дороги пожелаете? — и широким гостеприимным жестом провел плавно руку над парковой скамейкой, на которой сидел Иван Иванович, причем браслеты опять приятно зазвенели.

Как ни был Иван Иванович потрясен былинным говором обрусевшего негра и как ни слаба была сейчас его память, он все ж вспомнил, что Рюрик Хитрово-Дурново по неисповедимой случайности, а может, вследствие каких-нибудь других причин, женат на папуасской принцессе, которая училась в Москве в

каком-то институте, и ей по Международному соглашению полагались слуги.

И понял, что в настоящий момент, вместо того, чтобы заваривать обещанный английский чай с японской вишневой почкой, Рюрик отбыл в Шереметьевский аэропорт, чтобы оттуда лететь к жене на Новую Гвинею.

И ему, Ивану Ивановичу, в таком случае, делать здесь нечего.

Иван Иванович сердечно простился с ласковым негром и заторопился прочь со двора.

— Вот, — думалось Ивану Ивановичу, пока он шагал до калитки в сопровождении собаки. — На первый взгляд вроде бы негр, а в остальном прямо русский человек. Ведь всплакнул даже по хозяину и прилечь мне предложил. А взять хотя бы Рюрика, ну что в нем русского осталось?

И загрустил Иван Иванович уж по совсем бессмысленному поводу, что не всякий Петров — каменный, не всякий Семенов — семейный, не всякий Сидоров имеет возможность драть козу и не всякий Иванов — русский.

— Э-эх, — заключил свои мысли Иван Иванович, — если так дальше пойдет, от нас одни фамилии останутся.

Иван Иванович открыл калитку. Собака села на дорожку и облизнула морду толстым розовым языком.

— Ах ты, собачуля, собачуля, — сказал Иван Иванович, чтобы хоть как-то отвести душу.

Собака посмотрела на Ивана Ивановича, разомкнула крепкие свои челюсти и — хотите верьте, хотите — нет, — расхохоталась. Да, расхохоталась диким, нервным смехом.

Иван Иванович захлопнул калитку и побежал по шоссе, увертываясь от встречного транспорта. Пробежав единым духом километра полтора, он вдруг понял, где ему приходилось раньше видеть таких собак: много лет назад Иван Иванович водил в зоопарк свою маленькую племянницу и долго торчал вместе с ней у клетки с гиеной.

## Случай девятый

О, первый или главный павильон Центральной столичной киностудии! Приветствую тебя. Под твои высокие, как небо, колонны, замирая от волнения, вступила когда-то моя актерская юность.

Разве можно забыть хватающий за нос тухловатый запах клеевой краски, причудливо смешанный с освежающей духовитостью свежеструганного дерева.

А беспорядочный стук усердных молотков, когда вдруг

обнаруживается, что стена в декорации по чьему-то недосмотру не закреплена и только чудом не обрушилась на расположившуюся именно под ней съемочную группу вместе с кинокамерой и автором сценария, забредшим в павильон, чтобы внести еще большую сумятицу в и без того запутанный съемочный процесс.

А настороженное змеиное шипение раскаленных углей в груди пучеглазых прожекторов, последние торопливые взмахи гримерской пуховки и окончательный атакующий вопль режиссера: «Мотор!» И впервые такое странное цикадное стрекотание камеры, и вы — бесценный Оскар Леонтьевич!

Вы поверили в меня, совсем еще юного, незрелого лицедея, и со свойственной вам решительностью велели безжалостно выстричь и выкрасить серебряным колером мои русые волосы и, приклеив мне на верхнюю губу, еще не знавшую бритвы, жесткую щетку седых усов, вытолкнули меня под ослепительный свет прожекторов.

Как я старался, о, видит бог, как я старался! Еще бы! Я не все знал тогда о вас, но знал уже достаточно. Я знал, например, что еще до революции ваша кинокартина «Дворцовые сумерки» наделала много шума. Доподлинно известно, что когда министр двора барон Фредерике на вопрос государя о вашей фамилии ответил: «Монблан», государь сказал ему: «Ты у меня дошутишься». Я знал, что за годы Советской власти вы дважды отмечали свое шестидесятилетие, и ваш второй юбилей прошел даже с большим триумфом, чем первый.

И сейчас, когда русые мои волосы серебрит уже естественный колер, а вы — я слышал — намереваетесь вскоре в третий раз отмечать свое шестидесятилетие, я шлю вам свои самые лучшие пожелания.

Вы — залог нашей вечной юности. Ведь пока вы с нами, мы, кинолюбы, не более как мальчишки, даже те, кто успел уже покрасоваться в просторном кресле под вызолоченными фанерными цифрами «60».

Примерно те же чувства, что неуклюже высказал только что автор, испытывал и его герой, переступивший порог Главного павильона, где Оскар Леонтьевич осуществлял съемочный период фильма «Наш Фарадей». Иван Иванович не был сценаристом этого фильма — сценарии написал сам Монблан — и появился здесь потому, что Оскар Леонтьевич являлся старейшим членом художественного совета и лично присутствовал на обсуждении одного из вариантов «Надежды». Словом, Иван Иванович недаром здесь появился, как ему справедливо представлялось.

Наш герой, прежде чем войти в павильон, проявил

абсолютное понимание съемочной процедуры. Он терпеливо дождался, когда на стене, у гигантских, обитых кровельным железом ворот павильона погасла треугольная светящаяся надпись «Тихо — съемка», и только железная стена слегка раздвинулась, ловко протиснулся в ущелье, шепнув дежурной привратнице: «К Монблану по творческим…» и, петляя в нагромождении декораций, счастливо вышел на свет прямо к месту съемки.

Осветители, повинуясь повелительным жестам оператора, перетаскивали приборы.

Режиссера Иван Иванович определил сразу по знаменитому матадорскому берету. Монблан помещался в парусиновом шезлонге в тени кинокамеры и ритмично похрапывал.

Иван Иванович вышел на режиссера сзади и по этой причине не видел лица Оскара Леонтьевича, а наблюдал под залихватски загнутым беретом только заросшее каким-то диким мхом большое ухо. И с этим мохнатым ухом Распятии по-солдатски, весело и громко, поздоровался:

— Здравия желаю, Оскар Леонтьевич!

Монблан пробудился от сна так мгновенно и так живо повернулся на голос, что создалось впечатление, будто он вовсе не спал, а притворялся спящим. Хотя досконально изучившие режиссера старые сотрудники клялись, что он в такие моменты спит и даже видит сны.

— Оу! — приветливо вскричал Оскар Леонтьевич, растопыривая руки, в одной из которых держал тросточку, увенчанную змеиной головкой, — подарок Веры Холодной. — Здравствуйте, дорррогой! Очень рррад! Прррошу! — и весело раскатывая «р», вывернул свободную ладонь, указывая на пустое место рядом с собой, как бы предлагая Ивану Ивановичу сюда немедленно садиться.

— Нюся! Ко мне!!! Сюда!!!! — тут же еще громче закричал режиссер, словно он провалился в трясину и сейчас же погибнет, если ему не протянут руку помощи.

Нюся — немолодая женщина на быстрых тонких ножках и с кукольно хорошеньким лицом в мелких морщинках отделилась от группы загримированных актеров и устремилась на зов.

— Нюся, — сказал ей Оскар Леонтьевич, несколько успокаиваясь. — Нам, наконец, прислали нового практиканта. Прошу любить и жаловать.

И улыбнувшись Ивану Ивановичу, прокурлыкал по-голубиному:

— Дерзайте, дорррогой… — при этом глаза Оскара Леонтьевича за стеклами очков увлажнились как бы слезами

умиления. Иван Иванович вовсе не собирался дерзать и при таком внезапном предложении стушевался.

Нюся, метнув на Ивана Ивановича оценивающий взгляд и, очевидно, сразу сообразив, что он не похож на практиканта, спрятала личико под кровлю лихого берета и зашелестела оттуда неразборчивым шепотком.

— А? Что? Кого? — громко переспрашивал Оскар Леонтьевич постепенно багровея под действием Нюсиного шелестения.

— Простите, голубчик, — упавшим голосом обратился он к Ивану Ивановичу, отстраняясь от Нюси и блеклыми зрачками разглядывая Ивана Ивановича поверх сползшей на кончик носа тяжелой оправы. — Простите, родной. Я вас перепутал… — игриво хмыкнул, прыснув пухлыми, младенчески пунцовыми губами; тростью, змеиной ее головкой подсадил повыше оправу и вдруг, грозно нахмурившись, вопросил:

— Вы от Сергея Михайловича? Мы с ним не виделись после премьеры второй серии «Пляски опричников». Как его драгоценное здоровье?

Ивану Ивановичу следовало бы сказать, что он вовсе не от Сергея Михайловича, что Сергея Михайловича давно нет на свете и хотя бы поэтому ни о каком здоровье творца «Пляски опричников» речи быть не может, но сквозь задымленные стекла очков Монблана на Распятина недвусмысленно глядело само неумолимое время, и несчастный Иван Иванович сказал слова, которые потом не мог себе простить.

— Спасибо, здоровье хорошее! — вот эти постыдные слова Ивана Ивановича.

Трудно предположить, чем бы завершился так нестандартно начатый диалог, если бы к шезлонгу режиссера не подошел главный актер фильма «Наш Фарадей». Портретное сходство актера с Фарадеем, очевидно, было изумительным, иначе, подумал Иван Иванович, зачем было залепливать живое лицо искусно сделанной резиновой маской, частично захватывающей даже уши.

— Что тебе, Федя, дорррогой? — грудным воркующим тембром отнесся Оскар Леонтьевич к актеру.

— Я — Коля, — сказал актер, дергая коленкой. — Мне сейчас Нюся дала новый текст. Его языком не провернешь. Я этот текст говорить не стану.

— Не станешь?! — возопил Оскар Леонтьевич, воздев кверху руки вместе со змеиной головкой. — Да это же любимые слова Фарадея. Мы их всю ночь сочиняли… вместе с консультантом, — и почему-то ткнул пальцем в Ивана Ивановича.

Живые глаза актера проследили палец и загорелись лютой

ненавистью в прорезях резиновой маски.

— Я вашего консультанта… — прохрипел актер.

«Этого еще не хватало», — струхнул Распятии.

— Говорить не стану… — страшным шепотом продолжил актер.

— Молодец, э-э, Андрюша, — Монблан неожиданно обнял актера. — Не станешь и не надо, — и расслабленно завалился в шезлонг. — Фарадей молчит — это тоже интересно.

— Кого ждем, сами себя задерживаем! — раздался женский голос из группы актеров. — Давайте репетировать!

— На место, Коля, соберись. Ты уже больше не Коля — ты Фарадей! Фарадей! Фарадей! — И взмахнув тростью, трубно пропел: — Внимание! Репетиция, одновременно съемка!

Ударяясь коленками о косяки декораций, Иван Иванович выкатился из павильона и по нескончаемо долгим коридорным переходам устремился к выходу.

Но как ни спешил Иван Иванович, чьи-то звонкие шаги нагнали его на одном из крутых поворотов и, дробно заложив вираж, обошли.

Ароматный вихрь всколыхнул застоявшуюся коридорную атмосферу.

Если бы Иван Иванович был, допустим, Бабой-ягой, он тут же должен был сказать, потянув носом:

— Европейским духом пахнет! — и оказался бы прав.

Он сразу же узнал обогнавшего его, хотя увидел только в спину, выше которой игриво подпрыгивали искусно завитые кудри а ниже — развевались отглаженные фалдочки безупречного пиджака. Спина эта быстро удалялась в кастаньетном перестуке каблуков, да иначе и быть не могло. И не таких увальней, как наш Иван Иванович, мгновенно обходил на крутых поворотах подававший все, какие только есть, надежды режиссер Ион Смугляну. В любом его фильме люди, события, время отражались ярко, нарядно и выпукло, как отражается окружающий мир в мыльном пузыре.

И сейчас он смело шел к своей новой цели, а именно: воплощал на экране бессмертный рассказ А. П. Чехова «Каштанка».

Иван Иванович по профессиональной своей добросовестности нет-нет да почитывал новые сценарии, принятые к постановке, чтобы быть, так сказать, в курсе.

Сценарий по мотивам «Каштанки» он тоже прочел. И хотя ничего из своего произведения вспомнить и сейчас не мог, но, как это ни странно, мгновенно полностью восстановил в памяти поразившие его откровения чужого творчества.

А по мотивам А. П. Чехова у Смугляну выходило вот что: у старого столяра Луки Александровича была внучка, из-за цвета волос прозванная Каштанкой. Когда дедушку посадила царская охранка за нелегальную революционную деятельность, юную Каштанку сманили бродячие цыгане. В таборе раскрылся удивительный талант внучки столяра. Случилось так, что однажды она плясала на улице за кусок хлеба насущного. Ее увидел известный антрепренер и немедленно взял в свою балетную труппу. Здесь вместе с артистами Иваном Ивановичем Гусевым и Федором Тимофеевичем Котовым, благодаря их бескорыстной помощи, Каштанка достигла высот танцевального мастерства.

Антрепренер, видя, как оборачивается дело и желая нажиться, повез Каштанку в турне по Европе. Хозяин грубо приставал к талантливой Каштанке с гнусными предложениями, но ее защищал Иван Иванович Гусев, пока не угодил под лошадь в самом центре Парижа. Не в силах пережить смерть друга, Федор Тимофеевич Котов отравился мышьяком в трущобах Монте-Карло. Каштанка с трудом перенесла утрату товарищей, но продолжала повсюду за границей утверждать славу русского балета. Ох, и натерпелась она, бедная, в чужих странах, но по ночам ей снились столярная мастерская, клей и стружки, и становилось легче.

Очень плохая артистка Хавронья Ивановна завидовала Каштанке и шпионила за ней. Но в Женеве Каштанка познакомилась с Федором — русским политическим эмигрантом. От него она узнала, что в России произошла революция. Федор открыл Каштанке глаза на все, чего она раньше не замечала, и они решили вместе вернуться на Родину. Влюбленный антрепренер и Хавронья Ивановна, конечно, не смогли их удержать.

С огромным трудом добирались домой Федор и Каштанка, которую он для конспирации звал «Тетка». Куда только их не бросала судьба: то в Рим, то в Лондон. Занесло их даже в Венецию и Амстердам. Но наконец дома! На первом же концерте Каштанка узнала в публике дедушку Луку Александровича. Произошла душераздирающая радостная встреча, после которой Каштанка вышла замуж за Федора. Молодых всем табором поздравляли цыгане. На свадьбу Федор подарил Каштанке молодую рыжую собаку, помесь таксы с дворняжкой, очень похожую мордой на лисицу.

И все эти мотивы назывались поэтично: «Ее волос летучая гряда».

Все, все, вплоть до росчерка Пустомясова «утверждаю» очень

отчетливо вспомнил Распятии, двигаясь в ароматной одеколонной струе, и ему так захотелось на свежий воздух, что он едва не лишился чувств. Только за пределами Центральной киностудии Иван Иванович осознал, что «Надежда» может быть еще не окончательно потеряна для него.

## Случай десятый

Нельзя составить окончательно верного представления ни о каком русском человеке, если не знать его жены.

Уже где-то в начале, если вы заметили, промелькнуло упоминание о Настасье Филипповне, жене Ивана Ивановича. Уже упомянуто было, между прочим, что у нее были полные руки с округлыми локтями. И даже проскользнуло о руках, что они были «приятные». А это немало, ой, как немало! Узнать, что жена интересующего вас лица обладает приятной полнотой, немаловажно.

Заметьте, сам Иван Иванович вспоминал руки Настасьи Филипповны еще и как заботливые. Вот только произведя сложение приятной полноты с полезной заботливостью к мужу можно позволить себе рассматривать Ивана Ивановича с семейной точки зрения.

Заботливая жена, обладающая приятной полнотой, да еще умеющая при этом вкусно заваривать чай, безусловно представляется нашему взору верной подругой своего мужа. И уж, конечно, знающей не только то, что творит ее муж в настоящий момент, но все, что он натворил в прошлом и собирается натворить в скрытом от него самого будущем.

Так почему же, вправе спросить семейные читатели, почему Иван Иванович не обратился к жене своей сразу же, как только утратил рукопись, замкнутую в желтом портфеле с чернильным пятном около застежки, а вместе с рукописью и творческую память? Разве Настасья Филипповна не была знакома с «Надеждой», пусть не со всеми тремя, но хотя бы с одним ее вариантом? Или автор нарочно не обращает мысли своего героя на верный путь, чтобы по возможности раздуть события на много страниц и таким нечестным образом побольше заработать в случае опубликования всей этой нелепой выдумки?

Честное слово, уважаемые читатели, автор здесь не виноват. Автор никогда бы не рискнул навязывать Ивану Ивановичу какие-нибудь не свойственного ему поступки. А тем более утверждать, что Настасья Филипповна понятия не имела обо всех трех вариантах, сочиненных ее мужем. Имела, дорогие читатели. Еще бы не иметь! Но…

Иван Иванович, находясь в процессе творчества, а это чаще всего происходило ночью, когда замолкают уличный шум и телефонные звонки — обычно время от времени будил Настасью Филипповну, чтобы немедленно зачитать ей вслух наиболее удачные места из сценария, и требовал немедленно выразить свое мнение по поводу прочитанного, не обходя отдельных деталей и не упуская из виду общую концепцию.

— Ах, — восклицает разочарованный читатель, — какая жалкая увертка! Придумал, что Настасья Филипповна, разбуженная среди ночи, конечно, ничего не соображала со сна и потому…

Да нет же! Нет. Все она соображала, все слушала и выражала. Не в этом дело.

— Что же тогда, — спросит читатель, — ваша Настасья Филипповна была беспамятна или равнодушна к творчеству, как Райка-попрошайка?

Вовсе нет. Настасья Филипповна не была ни беспамятна, ни равнодушна. Она точно знала, когда и с кем Иван Иванович заключил авторский договор, в какой срок рукопись должна быть сдана, в каком количестве экземпляров, какова сумма аванса и полного расчета с вычетами и без вычетов.

— Выкручивается, — не поверит раздраженный читатель. — Почему же она не знала содержания?

Да потому, строгие мои судьи, что Настасья Филипповна была идеальная жена.

Она любила Ивана Ивановича, своего мужа, и старалась по мере сил облегчить его заботы. Беготня по редакторам и другим должностным лицам, закупка писчей бумаги, расчеты с машинистками — во всем этом Настасья Филипповна принимала самое живое участие. Она любила мужа, ей нравилось, что ее Ваня — писатель, кинодраматург. Она видела, как Иван Иванович, создавая свои сценарии, засиживается до рассвета над рукописью, курит непозволительно много, невпопад отвечает днем на простые вопросы, вскакивает посреди обеда из-за стола и опрометью бросается перечеркивать что-то в своих листочках.

В общем, видела, как он мучается.

И когда Иван Иванович будил ее среди ночи и читал ей свои рукописи, Настасья Филипповна слушала его, как постоянно слушала днем радио — совершенно механически, а сама внимательно следила за малейшими изменениями любимого лица, подмечала, сколько еще седины прибавилось в поредевших Ваниных волосах, как пополнели и опустились щеки, и запоминала выражение лица Ивана Ивановича при чтении разных слов, а поэтому ненадолго запоминала и эти слова.

А после чтения, когда он спрашивал:

— Ну как тебе, Настенька? — задумывалась для вида и говорила о том, что она видела по его лицу, ему самому нравилось.

— …Вот когда он к ней подошел, — говорила она, — и смотрит на нее и молчит — это хорошо, Ваня, трогательно и правдиво. И в конце мне понравилось.

— Когда они расстаются? — тревожно уточнял Иван Иванович. — Или потом, когда он один?..

— Да и это… и потом, когда один. Нет, очень хорошо, Ваня. Они у тебя как живые.

И чтобы Иван Иванович не заподозрил, что жена жалеет его, а не выдуманных им героев, спешила немного покритиковать:

— Только место действия ты, по-моему, выбрал неправильно. Ну почему над рекой, на круче? Может быть, где-нибудь еще?

Иногда Иван Иванович благодарил жену за критику и исправлял в рукописи, а чаще приходил в ярость, доказывал свою правоту, и даже до ссоры иногда доходило.

Настасья Филипповна тогда плакала, как Иван Иванович думал, оттого, что он на нее накричал, а на самом деле плакала она, что не угадала, как надо было безболезненно для него покритиковать. Но и оттого, что накричал, тоже, конечно. Любящим женским сердцем своим Настасья Филипповна верила, что Ваня ее — талант, а значит, лучше знает что и как надо. Лишь бы не чувствовал себя одиноким.

Иван Иванович не раз имел случай убедиться, что в голове Настасьи Филипповны все его сценарии сложились в одно большое бессюжетное сочинение, в котором герои действуют трогательно и правдиво, как живые, а зачем они там действуют и как их зовут, ему, Ване, лучше знать.

И вот то, что ему полагалось знать лучше всех, Иван Иванович теперь не знал — забыл. Вот так, дорогие мои читатели, а вы сердиться вздумали. Но Ивану Ивановичу сейчас не до вас, хоть вы и критики, и не до меня, хоть я и автор, дела нет. Он снова в пути.

## Случай одиннадцатый

Хорошо всем известный в Столице Дом просмотров по его значимости и архитектуре можно смело сравнить с головой такого сложного организма, как Общество кинолюбов. Навстречу посетителям разверзается мраморная пасть парадной лестницы и через эту пасть посетители попадают в черепную коробку гигантской этой головы, точнее в лобную ее часть. Лобная часть

горизонтально разделена на две половины: нижнюю, так сказать, подсознательную, где располагаются буфеты и буфетики, и верхнюю, сознательную, где амфитеатром возвышаются ряды кресел и прячется за бежевым занавесом серебряная полоса экрана.

Творческие отделы Общества находятся в затылке, куда можно проникнуть через дверь-ухо или проскочить за щекой, т. е. между центральной лестницей и боковой стенкой. А в дальнем приделе затылочной части, как бы в самом мозжечке, оборудован личный кабинет Эмиля Захаровича Фамиозова — директора-распорядителя.

Если решить, что Дом просмотров — определенно голова, то само Общество кинолюбов требует более масштабного сравнения: справедливо будет сравнить его с морем, а уж пойдя на такое сравнение, следует уточнить, что море это — Аральское.

И действительно, существование Общества оставалось незыблемо гладким, совершенно, как неподвижная поверхность Аральского моря. Но под этой гладкой для постороннего наблюдателя поверхностью кипела самая активная деятельность, и желающему занырнуть поглубже бросились бы в глаза не только привлекательные морские звезды разной величины, но могли бы его коснуться и обжигающие щупальца осьминога… Короче говоря, он бы увидел все, чем известна и богата морская фауна и флора. Продолжая морское сравнение, можно безошибочно утверждать, что директор-распорядитель чувствовал здесь себя как рыба в воде. Даже как две рыбы — такова уж была внешность директора-распорядителя. На мягких ногах, напоминающих раздвоенный рыбий хвост, колыхалась гладкая, без плеч акулья туша, несуразно оканчивающаяся судачьей головой.

Выпуклые рыбьи глаза с водянистыми зрачками полностью заполняли оправу очков. Короткие руки-ласты прятались в рукавах курточки, почему-то излюбленного Фамиозовым мальчикового фасона, хотя по бокам черепа сизой чешуей отливала седина.

Да что там внешность! Даже вслушиваясь в интонации голоса директора-распорядителя, запросто можно было увериться, что наступило то самое сказочное время, когда рыба заговорила: столько там слышалось акульей самоуверенности и судачьего хладнокровия.

И вот этого человека-амфибию при очень странном занятии предстояло вскоре застать Ивану Ивановичу, когда уже под вечер, после безрезультатной поездки за город надежда привела его к Дому просмотров.

А надеялся Иван Иванович застать здесь известного

кинокритика Натана Разумненького, последнего из членов Художественного совета, кто должен был знать, что именно писал Распятии в утраченном вместе с памятью сценарии. Отношения с этим критиком сложились самые хорошие. Иван Иванович даже по примеру друзей Натана Разумненького звал его запросто Наташа, и строгий критик охотно откликался. Уж кто-кто, а Наташа с его прославленным интеллектом наверняка помнит сценарий и, возможно, даже никуда не задевал рукописи предыдущих вариантов.

Иван Иванович протолкался сквозь толпу прыщеватых юнцов и клоунски раскрашенных девиц, толпящихся у входа в ожидании волшебного случая проникновения в Дом просмотров без всякого на то права.

Но в контрольных дверях Распятии застрял.

— Что это вы мне показываете? — брезгливо процедила седовласая матрона в малиновой униформе.

— Как что? Удостоверение члена Общества… я…

— Вы что, с луны свалились? Удостоверения нынче другие, новые, в малиновой коже. Эмиль Захарович распорядился еще в прошлом годе обмен закончить… Уберите, — и она оттолкнула руку Ивана Ивановича.

— Но я член Общества, сценарист… Мне…

— Ничего не знаю. Ступайте к Эмилю Захаровичу, если он разрешит — пожалуйста…

И с неожиданной в пожилой женщине силой отодвинув Распятина от входа, малиновая матрона стала пропускать мимо себя раздушенное каре каких-то дам.

Пришлось подчиниться.

Иван Иванович поплелся к боковой двери-уху. Здесь он пошел на хитрость. На вопрос дежурной: «Вы куда?», ответил развязно: «В ресторацию!» — и его сразу пропустили.

Вероятность застать Фамиозова в его кабинете была ничтожно мала. Директор-распорядитель скорее всего уже около буфетов, заглатывает бутерброд с двойной икрой, но вдруг… Вдруг его задержали допоздна какие-нибудь срочные дела?

Распятии достиг нужного этажа, вступил на ковровую дорожку коридора и стал наугад дергать ручки дверей секционных помещений. Первая дверь оказалась запертой, вторая тоже. Третью Иван Иванович распахнул во всю ширь и обомлел. За канцелярским столом сидела огромная черная жаба, а перед ней в глубокой тарелке копошилась всякая жабья снедь: жучки, паучки, червячки, комарики. Жаба сама, видно, перепугалась, выпучила черные влажные глазищи, но Иван Иванович уже запахнул дверь. И тут ему бросилась в глаза табличка на двери

«Секция мультипликации».

«Ох, — подивился про себя Иван Иванович, смахивая со лба выступивший с перепугу пот и постепенно успокаиваясь, — ох, уж эти мультипликаторы… Всегда придумают что-нибудь… мультипликационное».

Но вслед за этим рассудил: «Как же так? Сначала гиена там, потом жаба здесь. Плохо твое дело, Ваня. Психика-то здорово пошаливает. Того гляди, какое-нибудь чудище померещится. К врачу бы тебе, Ваня…»

— Плевать! Сам превозмогу весь этот зоопарк, — вслух ответил своим сомнениям Распятии. — Буду надеяться. Мне бы только сценарий напомнили, и никакого врача не надо.

Оказавшись в конце коридора перед дверью Фамиозова, Иван Иванович потянул без предварительного стука за ручку. Дверь подалась, и он заглянул в образовавшуюся щелку. Не надо было так делать! Не надо. Уж сколько раз твердили миру, что прежде чем войти в чужое обиталище, надо хотя бы постучать. Это не только вежливость по отношению к находящимся внутри, это еще и мудрая предосторожность, оберегающая посетителя от всяких, может быть, роковых неожиданностей.

Зрелище, которое предстало Ивану Ивановичу в дверной щели, превосходило эффект появления жабы и было не менее потрясающим, чем падение Ужова с седьмого этажа.

Во-первых, потрясло уже то, что Иван Иванович застал директора-распорядителя за его деловым столом. Но это так, цветочки. А вот ягодное место: напротив Фамиозова, расположившись в мягком кресле совершенно как человек, сидел настоящий, пусть несколько потертый, пусть со слегка облысевшей гривой, но все еще царственный лев. Да, лев, самый настоящий.

Но окончательно поразительное заключалось в том, что Эмиль Захарович этого льва, по-видимому, не боялся. А наоборот, протянув к нему рукав мальчиковой курточки, почесывал льва под подбородком, отчего лев сонно жмурился и сладко мурлыкал.

Эта странная пара, занятая странным делом, как-то не вязалась с обстановкой кабинета, где по стенам на красочных плакатах рабочие штурмовали Зимний, дымил трубами легендарный броненосец «Потемкин», и молодой солдат, напоминающий Ивана Ивановича прошлых лет, прощался с девушкой, чтобы навсегда уйти от нее в свою балладу.

И увидел Иван Иванович, как Фамиозов, продолжая одной рукой почесывать льва, другой выдвинул ящик стола, достал оттуда чистую бумагу с грифом Общества кинолюбов, пододвинул лист по полированной поверхности стола ближе ко

льву и рыбьим своим голосом произнес ТОЛЬКО ОДНО СЛОВО: «Подпиши».

Лев пошевелил усами, наморщил свирепо нос, а потом лениво протянул мягкую лапу, в которую Эмиль Захарович проворно вложил шариковую ручку.

Тут Иван Иванович потерял над собой контроль: тоненько пискнул от изумления.

Две головы одновременно — судачья и львиная — обернулись на жалкий этот звук. Но Ивана Ивановича уж и след простыл.

Львы в кинематографе не редкость.

Были и берберийские, и какие хотите. Но чтобы так, в кабинете, с шариковой ручкой в мягкой лапе…

Иван Иванович свергся по лестнице, заметался в переходах, что-то пересек, куда-то свернул и неожиданно очутился у мраморной лестницы Дома просмотров.

Отсюда, Иван Иванович знал по опыту, гнать уже никто не станет, и можно без помех отдышаться и осмотреться.

Первое, что бросилось в глаза Ивану Ивановичу, был печатный плакат, на котором под портретами двух безвременно ушедших, прославленных основоположников нашего кинематографа жирными буквами объявлялось, что состоится юбилейный вечер, посвященный 80-летию знаменитых кинобратьев. Иван Иванович приблизился к плакату. Нет, глаза не обманывали его. В нижнем правом углу мелким шрифтом значилось, что плакат напечатан в Бюро агитации за советское киноискусство.

Этот мелкий шрифт доконал нашего героя. Он осел, ухватившись за колонну.

Психически здоровый человек, каким безусловно являетесь вы, уважаемый читатель, здесь поймет бедного Ивана Ивановича.

Ведь знаменитые кинобратья никогда не были братьями по крови, а тем более близнецами. Один из них родился в 1899 году, другой в 1901-м, и у них никак не могло быть общего 80-летия.

И только с рыбьим хладнокровием и акульей наглостью Фамиозова можно было распорядиться отпечатать такой плакат и отмечать среднеарифметический юбилей.

Просто Иван Иванович, даже в состоянии нервного расстройства, еще продолжал любить кино.

Пока администратор Дома просмотров, сердобольная женщина, оттащив Ивана Ивановича за колонну, давала ему нюхать нашатырь из личной своей аптечки, начало юбилейных торжеств неуклонно приближалось.

Проезжую часть и даже тротуары перед входом заполнили

автомобили завсегдатаев.

Рискуя раздавить кого-нибудь в этой сутолоке, подъезжали одно за другим лихие такси, высаживая все новых и новых счастливцев.

Кого тут только не было!

Пышные дамочки, заведующие столами заказов во всех гастрономах Столицы, модные портнихи, элегантные дамские парикмахеры, ловкие мастера автосервиса, дорогие дантисты, строгие сотрудники ГАИ в штатском, председатели жилкооперативов и, конечно, члены Общества кинолюбов с женами, мужьями и без.

Буфетный этаж густо заполнялся публикой, которую раздевали гардеробы и поглощала отверстая пасть лестницы.

У кофейной стойки в группке иностранных гостей уже виднелась голова Макара Аполлоновича, простым совершенством формы напоминающая шляпную болванку.

Новички, впервые попавшие в Дом просмотров, беззастенчиво таращились на знаменитых артистов, сгорая от желания личного знакомства, чтобы потом наврать сослуживцам: ох и погуляли мы вчера со Славой… Олежкой… Никитой…

Пронесся слух, что великий фильм славных юбиляров по каким-то причинам не могут доставить вовремя, и сначала покажут ленту Макара Аполлоновича «Черви-козыри», к содержанию которой даже самые льстивые поклонники не смогли приплести хоть какой-нибудь смысл.

Никто не решался проверить слухи о просмотре у самого Макара Аполлоновича, а он тем временем вдохновенно обучал иностранцев теоретической стороне изготовления сибирских ватрушек, собственноручной выпечкой которых прославился на весь киномир.

## Случай двенадцатый

А Иван Иванович, надышавшись нашатырным спиртом, бродил среди разношерстной толпы и убеждался, что Натана Разумненького нет как нет.

— Прости, пожалуйста, — обратился он к знакомому популярному актеру, о котором часто писал нужный Ивану Ивановичу критик, — ты… Натана не видел?

Популярный актер пытался пристроить высокий коктейльный бокал и тарелку с пухлым пирожным на ограду лестницы. После вопроса Распятина он выронил пирожное, наступил в него замшевой своей туфлей и уставился на Ивана Ивановича ласковыми овечьими глазами.

— Вань, ты про кого спрашиваешь?

— Про приятеля твоего, Разумненького, про Наташу.

— Какую Наташу?

— Не дури, — Иван Иванович сморгнул. — Мне не до шуток. Может, видел Разумненького?

— Разумненьких много, а глупеньких еще больше. Я тебя, Иван Иванович, не понимаю. Тебе Наташу Шероховатову? Так вот она, кофе пьет.

— Да не Шероховатову, а Натана Разумненького, критика…

— Ну, ты даешь…

Популярный актер пожал плечами и поспешно отошел, оставив после себя раздавленное пирожное.

«Тоже чокнутый, вроде меня», — решил Иван Иванович.

И тут на Распятина, как вихрь на копенку, налетел Венька Дрыгунов, наголо бритый апоплексический толстяк, хам, трепач, озорник, подхалим, бездельник, трус, провокатор, обжора и наглый расчетливый пройдоха.

— Ух, Распятии! Ух, Вано! Не ходи, дружок, в кино, — сымпровизировал он с притворной веселостью, зачем-то облобызал Ивана Ивановича мокрыми губами и слегка куснул за ухо. — Ты, говорят, гениальный сценарии написал? Я никому не скажу, что все у меня украдено. С тебя причитается, — и заорал по направлению к буфету: — Клавочка, шампанского великому писателю земли русской!

— Кончай свои штучки, — Иван Иванович страдальчески поморщился. — Ты Разумненького не видел, Натана?

— Кто бы это мог быть? — возведя к потолку бельма, задумался Венька. — Что-то я такого не знаю.

— Шут ты, шут гороховый, — в сердцах сказал Иван Иванович. Но Дрыгунов уже расталкивал публику, наметив новую жертву и кричал:

— Иннокентий, я всегда говорил, что ты — гений! Сегодня в ресторане выбросили миноги, ты меня, конечно, приглашаешь?

Разумненький все не попадался, зато судьба послала Распятину другого критика.

Иван Иванович сразу отличил в толпе его красивое, женоподобное лицо, которое несколько портили глаза, налезающие друг на друга над тонкой переносицей. Косого критического взгляда Эдгара Фельдеебелева побаивались многие. Зная это, известный критик не навязывал свое общество людям, но Разумненького, своего собрата по цеху, выделял и ценил, и от него часто слышали: «Мы с Натаном считаем, что…»

«Вот этот мне поможет», — возрадовался Иван Иванович.

— Добрый вечер, Эдгар Эдуардович.

Фельдеебелев втянул длинненький лиловатый язык, при помощи которого добывал из вафельного стаканчика мороженое и, непонятно куда направив ускользающий взгляд, вежливо ответил:

— Добрый вечер. Распятии, если не ошибаюсь?

— Он самый, — Ивану Ивановичу стало тепло на душе.

«Вроде в сторону смотрит, а сразу меня признал. Вот что значит по-настоящему интеллигентный человек».

И почти не сомневаясь, что сейчас ему повезет, спросил тоже очень вежливо, в тон критику:

— Вы не подскажете, здесь ли Натан Михайлович Разумненький?

— Как вы сказали? — Иван Иванович никак не мог поймать взгляд собеседника. — Я не понимаю, что вы имеете в виду?

— Как же? — губы Ивана Ивановича задрожали. — Критик Разумненький, вы часто вместе.

— Вы меня с кем-то путаете, любезный, — голос Фельдеебелева неприятно заскрипел. — Извините, меня ждут, — и величественно стал удаляться, покачивая бедрами.

Иван Иванович провожал его взглядом и вдруг с ужасом увидел, что никакой это не критик Фельдеебелев, а девица в брючках, в модных таких брючках, рельефно обтягивающих круглый задок и соблазнительные бедра. А девица, как нарочно, обернулась через плечо на Ивана Ивановича, заулыбалась лиловатым ртом, кокетливо скосила подмалеванные глазки и промурлыкала зазывающе:

— Я так хочу, чтобы лето не кончалось…

Распятии, шепча помертвевшими губами «чур меня, чур», крепко зажмурился, а когда решился открыть глаза, увидел, что вокруг ни души.

Просмотр начался.

Иван Иванович рассеянно побродил под стенами, неизвестно по чьей прихоти увешанными коваными адскими вилами и еще какими-то пыточными орудиями непонятного назначения.

«Плохо, очень плохо Распятину Ивану Ивановичу», — почему-то официально, в третьем лице подумал о себе окончательно потерявшийся герой наш. И как всякий русский человек, попавший в крайнее положение, выработал простую спасительную формулу: «Водки надо выпить. Авось полегчает».

И ноги сами собой понесли его в ресторан.

В пустой в этот час ресторанной зале за столиком с табличкой «только для кинолюбов» сидел перед своей рюмкой дежурный по Дому вышедший на пенсию рядовой организатор производства — Цесаревич и скучал.

— Ты почему не на просмотре? — спросил, подходя, Распятин.

— А ты почему?

— Я себя плохо чувствую, — сказал Иван Иванович, довольный, что не надо кривить душой.

— Если тебе шестьдесят лет, ты проснулся утром и у тебя ничего не болит, — значит, ты уже умер, — философски изрек Цесаревич.

Иван Иванович подсел к Цесаревичу, заказал рюмку водки, выпил без закуски и спросил осторожно:

— Не знаешь, Разумненький, как он?

— Он уже гуляет по Версалю или купается в Миссисипи.

— В Ми… — Иван Иванович поперхнулся. — Он в командировке?

— В вечной командировке. — Цесаревич заскучал еще заметнее. — Его здесь у нас не печатали.

Брови Ивана Ивановича полезли на лоб.

— Как не печатали? Да он во всех газетах, в журналах…

— А то, что хотел, не печатали.

— Что же он такое хотел?! — рванулся было спросить Иван Иванович, но почувствовал, что ему перехватило глотку.

А Цесаревич приблизил губы к уху Ивана Ивановича и жарко зашептал:

— Сейчас на Западе создается великая русская литература: Каценеленбоген, Власенко и Галкин…

Воздух со свистом вырвался из легких Ивана Ивановича вместе с воплем:

— Не может твой Галкин ничего создать! Мы его все здесь знали — он просто злобный мещанин и бездарь!!!

— Ты — сумасшедший! — и Цесаревича как ветром сдуло. Даже рюмка его куда-то исчезла.

А в ресторанную залу уже входили магистры вечного праздника. Вкатывался на коротких обезьяньих ногах славный по всей Столице киношный жучок по кличке Мотя-тряпье, за его спиной без умолку балаганил, извиваясь, какой-то лощеный господинчик, похожий на престарелого Арамиса, хохотали красавицы в дорогих вечерних туалетах, и замыкал праздничное шествие безвозвратно затерявшийся в русских просторах австрийский миллионер с тарелкой свежей клубники в изукрашенных перстнями пальцах.

## Случай тринадцатый

Навсегда останется неизвестным: случайно так получилось

или Иван Иванович в порыве отчаянья все-таки покушался на свою жизнь. А фактически произошло вот что: Иван Иванович шагнул с тротуара на проезжую часть как раз после того, как в кружке светофора перестала дергаться зеленая фигурка пешехода, разрешающая переход улицы, и зажегся красный сигнал «стойте».

Иван Иванович наверняка погиб бы под колесами рванувшей с места черной «Волги», если бы водитель не взял руль до отказа вправо, а какой-то гражданин в зеленой вельветовой шляпе не успел бы спрыгнуть с тротуара и выдернуть Ивана Ивановича из-под бампера, ухватив за рукав плаща.

Хорошо, что на тротуаре никого, кроме спрыгнувшего на помощь Ивану Ивановичу гражданина, не оказалось, а то наделал бы Иван Иванович дел.

«Волга» замахнула колесом на тротуар и, заскрежетав тормозами, замерла.

Гражданин крепко держал Ивана Ивановича за рукав, а тут подбежал милиционер и ухватился за другой рукав. А из «Волги» выскочил водитель и стал надвигаться на Ивана Ивановича, как бульдозер на предназначенную к сносу избушку.

Но в этот момент черная дверца приоткрылась, и Иван Иванович услышал, как кто-то произнес:

— Оставьте его, товарищи.

И хотя слова эти были произнесены негромко, гражданин в зеленой шляпе отпустил один рукав, милиционер другой, водитель попятился, и тут Иван Иванович увидел своего спасителя. Прошли годы, десятилетия, но могли пройти века, эпохи и эры, и все равно Иван Иванович сразу же безошибочно угадал бы этого человека в любом месте, в любой день и час. Его школьный друг, с которым с первого до последнего класса они делили парту, постаревший, похудевший, наверняка неузнаваемо изменившийся для всех, но только не для Ивана Ивановича, его Гарик окликал от черной «Волги»:

— Ваня!

— Гарик! — закричал Иван Иванович, и оба с разбега бросились в объятия друг друга, причем Гарик пребольно ударил Ивана Ивановича лысиной в подбородок, а Иван Иванович тоже пребольно отдавил Гарику стопу и укрепился на ней.

Милиционер, оценив неожиданную встречу двух старых друзей, козырнул и вернулся на пост. А гражданин в вельветовой шляпе подобрал с мостовой кепку Ивана Ивановича, заботливо почистил ее рукавом и поднес владельцу.

— Спасибо вам, товарищ, — растроганно поблагодарил Гарик гражданина.

— Благодарность лучше письменно, — мягко и загадочно

ответил гражданин и, отойдя на тротуар, стал озабоченно прогуливаться вокруг фонарного столба.

Гарик, не разжимая объятий, повлек Ивана Ивановича к машине, которая уже съехала на проезжую часть. Водитель, цветя улыбками, ловко распахнул дверцу, и старые друзья, не расцепляясь, упали в зашторенный мягкий салон.

— Домой, — велел Гарик водителю.

«Волга» плавно взяла с места, милиционер бешеным взмахом жезла очистил перед ней перекресток, и Гарик, слегка навалившись в повороте на Ивана Ивановича, выдохнул:

— Ванька, давно не виделись!

— Давно не виделись, — эхом отозвался Иван Иванович.

И хотя между жесткой скамейкой школьной парты и мягким упругим диваном в зашторенном салоне теперь пролегла целая река безвозвратно протекших лет, Иван Иванович сразу же преодолел этот водный рубеж и тут же почувствовал, что у них с Гариком опять установились ничем не подмоченные школьные отношения.

И как в школьные годы, Ивану Ивановичу было привычно повторять эхом Гарикины слова, потому что — не будем таить греха — Ваня Распятии окончил школу на Гарикиных подсказках. Справедливости ради надо сказать, что Гарик в свой черед не мог обойтись без помощи Вани, когда ему, сначала председателю совета пионерской дружины, а потом и комсомольскому вожаку школы надо было составить отчетный доклад на конференцию или написать передовую в школьную стенгазету. Ваня нередко делал по две ошибки в одном слове, но перо его было бойко и поднимало авторитет друга. Постепенно Гарик научился писать сам, но всегда показывал написанное Ване, Ваня обычно улучшал, вполне вознагражденный признательностью соседа по парте.

Война их разлучила.

Иван Распятии прямо, как принято говорить, со школьной скамьи ушел добровольцем на фронт. Гарик тоже рвался на фронт, но какие-то серьезные неполадки со здоровьем оставили его в тылу. Переписки им наладить не удалось.

После демобилизации Иван Иванович явился на традиционный школьный вечер. От старой их учительницы Нины Васильевны Скоропостижной Распятии узнал, что Гарик жив-здоров, был в эвакуации, но давно вернулся в Москву, имеет какое-то отношение к центральной прессе, а работает — и пошли названия учреждений из одних согласных букв.

«Теперь вряд ли увидимся», — подумал тогда Иван Иванович. И вот на тебе — встреча!

Пока Иван Иванович предавался воспоминаниям, глядя в

толстые стекла Гарикиных очков, неожиданное путешествие на мягком диване окончилось. Водитель открыл дверцу и, любовно направляемый школьным другом, Иван Иванович поднялся по гранитным ступенькам к высоким дверям подъезда. Одной рукой придерживая Распутина за талию, Гарик другой толкнул стеклянную дверь подъезда, затянутую точно такими же занавесками, как в салоне автомобиля.

Иван Иванович очутился в просторном вестибюле, застеленном зеленым ковром. Прямо напротив дверей уходила ввысь решетка лифтовой клети, а сбоку от нее, около полированной тумбочки, в углу, подставив раскрытую книгу под свет настольной лампы под зеленым абажуром, сидел широкоплечий молодой человек, увлеченный чтением.

— Знакомься, это наш Сережа, — сказал Гарик. Молодой человек вскочил, уронив книгу с колен, и заулыбался навстречу вошедшим. Лицо у него было румяное, девичье.

— Как экзамены? — спросил Гарик.

— Два уже сдал. Вот — к третьему готовлюсь. — Сережа нагнулся и поспешно поднял книгу.

— Как сдал? — не отставал Гарик.

— Отлично, — Сережа пунцово зарделся.

— Молодец! — и сверкнув стеклами очков пояснил: — Сережа — будущий искусствовед.

— Ну зачем вы так, Гарантий Осипович, — деликатно возразил Сережа, перехватив книгу под мышку.

— Ничего, привыкай.

Заходя в лифт, Иван Иванович успел прочесть на обложке книги слово «Устав», но что это был за устав, скрывалось под бицепсом молодого человека, и Распятии сам домыслил, что скорее всего это был устав Академии художеств.

Бесшумно поднимаясь все выше и выше в просторной кабине с чистыми лакированными панелями, Иван Иванович думал о том, что совершенно забыл полное имя Гарика — Гарантий и теперь вспоминал, сколько обид претерпел Гарик от своих школьных товарищей, которых это редкое имя почему-то смешило. И то, что он забыл полное имя своего давнего друга, вернуло Ивана Ивановича с многоэтажной высоты на землю, к реальной действительности. А действительность была такова: забывчивость Ивана Ивановича не только безраздельно властвовала в настоящем, но роковым образом заползала в прошлое и уж безусловно ничего хорошего не предвещала в будущем.

Ужасающая картина клинического идиотизма возникла в потрясенном воображении Ивана Ивановича, и он потом никак не

мог внятно описать Настасье Филипповне, что представляла собой квартира Гарантия Осиповича, какие занавески на окнах, какая мебель стояла, какого рисунка были обои и совершенно не обратил внимания на плитку в ванной комнате, хотя дважды ходил туда остужать горячую голову под краном. Но кран тоже не запомнился.

Иван Иванович помнил, что когда они вступили в квартиру, перед ними возникло плоское лицо с суровыми глазами, и только по белому крахмальному фартуку можно было предположить, что лицо это женского пола.

— Ужином накормите нас, Груня? — заискивающе, как показалось Ивану Ивановичу, поинтересовался у нее хозяин.

— Так точно, — ответила Груня и, повернувшись налево кругом, удалилась в глубину квартиры.

Что именно подавалось на ужин и какого вкуса были кушанья, Иван Иванович тоже не запомнил.

Все свои убывающие силы Распятии сосредоточил на рассказе о происшедшей с ним трагедии. Гарантий Осипович слушал не прерывая. Стекла его очков светились уютным желтоватым светом, время от времени он поднимал руку и в раздумье проводил ладонью по влажно блестевшей лысине.

— Судьба послала мне тебя, Гарик, — закончил свою исповедь Иван Иванович. — Ты меня знаешь как никто… Годы ничего не изменили… да, ничего не изменили, — с силой повторил Иван Иванович, — я это сразу почувствовал. Вся моя надежда теперь на тебя. Твой ум, опыт…

— Ах, Ваня, Ваня… — Гарантий Осипович вытер твердые, чисто выбритые губы салфеткой, отклонился на спинку стула. Уютный желтый огонек в очках погас. Лицо ушло в тень. — Ваня, вспомнить можешь только ты. Ты один. Но я попробую тебе помочь, подсказать. Подумай. Ответь мне, на что ты сам надеешься? Подумай, ведь ты искренний человек.

— На коммунизм, — с полувопросительной интонацией предположил Иван Иванович.

— Коммунизм и так будет. Это научно доказано. Тут твои надежды ни при чем.

— На мир…

— На мир не надеются, за него борются. Еще на что?

— На бога? — Иван Иванович хотел пошутить, но вышло неловко и горько.

— На бога надейся, а сам не плошай, — тоже пошутил Гарантий Осипович. И продолжал серьезно: — Сценарий твой называется «Надежда». Ты же на что-то должен надеяться, вот ты, русский человек, Иван да еще Иванович, мужчина не первой

молодости…

— Беспартийный…

— Ну, беспартийный… писатель, член Общества кинолюбов. Ты член Общества?

Иван Иванович кивнул.

— Может быть, надеешься, что к тебе придет слава? Всесоюзная, всемирная…

— Какая там слава, Гарик, смешно.

— А может быть… Как это… помнишь? «И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». А? — Гарантий Осипович заметно оживился.

— Любовь? — Иван Иванович задумался. — Я жену люблю, — сказал он, почему-то тяжело вздохнул и смутился.

— Что же тут смущаться, чудак-человек? — Гарантий Осипович хохотнул. — Это прекрасно! Но жена есть жена…

— Надеялся я повидать Венецию, — слегка повеселев, сказал Иван Иванович, — город на воде, жемчужину Адриатического моря…

— Но не о Венеции же ты писал?

— Я? Писал? — переспросил Иван Иванович. — Нет… Черта ли мне в этой Венеции? — и Иван Иванович вдруг заплакал.

Домой к себе Иван Иванович приехал на черной «Волге», которую Гарантий Осипович специально вызвал для друга по телефону.

## Случай четырнадцатый

Ночь укрыла город цветным лоскутным одеялом, и достался Ивану Ивановичу чужой лоскуток.

Ему приснилось, что он — Пустомясов.

— Как же так, — боясь служебной ответственности, спросил себя во сне Иван Иванович, — ведь я же сценарист…

— Ничего, — ответил новый, пустомясовский облик Ивана Ивановича, — творческий приварок к должностной зарплате не помешает.

— Но ведь это же использование служебного положения! — в сонном ужасе догадался прежний Иван Иванович.

— Дурак, — хохотнул Пустомясов-Распятин, — все так делают. Под псевдонимом укроешься.

— Какой-такой еще псевдоним? — изнемогал во сне Иван Иванович.

— Опять дурак… Я нам псевдоним придумал: Малаховец. Чем плохо? Будешь за меня писать, дружить будем. А если что — ты ничего не помнишь… Ведь ты Иван Непомнящий…

— Гадина ты, — ответил Иван Иванович, какой-то частицей сознания понимая, что это сон и что другого случая смело высказаться о Пустомясове не представится. — Думаешь, друзей не выбирают?

Сделал над собой нечеловеческое усилие, вылез из пустомясовской оболочки и проснулся. Полежал, обливаясь холодным потом, таращась в темноту. Потом разбудил Настасью Филипповну, притронувшись холодными как у покойника пальцами к ее крутому горячему плечу и поколыхав его.

— Что тебе, Ваня? — спросила Настасья Филипповна, превозмогая сон и пытаясь угадать выражение лица мужа в полной темноте.

— Настя, скажи мне честно, на что ты надеешься?

— На что я надеюсь? — Иван Иванович услышал, как она зевнула. Потом кровать заскрипела, Настасья Филипповна улеглась поудобнее и, засыпая, ответила: — На тебя я надеюсь, Ваня… На что же мне еще надеяться?

## Случай пятнадцатый, пока последний

«Но он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума», — когда-то сказал о своем герое Александр Сергеевич Пушкин.

Иван Иванович тоже не сделался поэтом, не умер, но с ума сошел.

Ненормальное его состояние выражалось, например, в том, что Иван Иванович упорно утверждал, будто никакой он не сценарист Распятии, а широкий зритель.

При этом некрасиво приседал, расставив колени, выпячивая живот, оттопыривал локти и, ухватив себя за уши, старался изо всех сил растянуть свою бедную больную голову вширь. Слава богу, мука эта продлилась недолго. Вмешался Эмиль Захарович Фамиозов, который умеет крепить дружбу не только с отдельными людьми, но, если надо, с целыми народами, о чем они даже не подозревают. Так что за оздоровление кинодраматурга И. И. Распятина, члена Общества кинолюбов, дружно взялись такие светила современной науки, которые уже давно забыли, как лечить людей, и почивали на лаврах, а тут пришлось потрудиться.

И оздоровили Ивана Ивановича так крепко, что он уже ни о какой Надежде в кавычках и вспоминать не хочет, а еще находясь в своей отдельной палате, принялся писать новый сценарий взамен забытого, и тоже на очень важную и нужную, как он утверждает, тему. Так что Филимон Ужов, которого, кстати, тоже вылечили, теперь Ивану Ивановичу открыто завидует

общепринятой белой завистью.

И вот еще что: желтый портфель с чернильным пятном около застежки нашелся. Не подвел вежливый молодой человек из одиннадцатой комнаты того отделения милиции, куда Иван Иванович обратился в начале всей этой истории. Уж каким образом молодой человек портфель нашел — это его служебная тайна. Нам с вами, любознательные читатели, это знать не обязательно.

Только никакой рукописи в портфеле не обнаружилось.

В портфеле был комплект чистых простыней из прачечной. Очень хорошо отутюженных и даже слегка накрахмаленных.

И все.

Нет, не все!

Вы, может быть, спросите, куда это с первой же страницы названивал из автоматной будки наш герой? Ведь не названивай он, еще неизвестно, как бы все обернулось. Интересуетесь правильно. Я тоже спрашивал об этом Ивана Ивановича. А он отвечает — забыл.

# Рассказы

# Рюмка коньяку

Подумать только, я — артист академического театра!

Безысходная грусть гамлетовских монологов, тесный мундир Звездича, благоуханные откровения Островского, нарядная причудливость Шварца — прощайте… Прощай, театральная школа! Да здравствует профессионализм!

«Только самые талантливые, глубоко усвоившие заветы нашего общего дорогого учителя будут достойны пополнить славный коллектив нашего театра», — сказал главреж на выпускном балу.

И первая роль, которой я удостоился в театре, была… роль трупа сына героини в одноактной пьесе Брехта.

— Дружочек мой, — сказала мне знаменитая актриса, игравшая героиню, — когда вас вынесут, не смотрите на меня. Меня это выбивает.

И вот я лежу на вожделенной сцене, завернутый в пыльную воняющую псиной холстину, и, плотно сжав веки, слушаю страстный, полный боли монолог знаменитой актрисы. Ее голос то отдаляется, то приближается. Временами она кричит мне прямо в ухо. Она орошает мое лицо слезами. Публика неистовствует в восторге.

Я не могу пошевелиться, не смею открыть глаза. О, если б я не так глубоко усвоил школу…

Я с гордостью ношу на груди эмблему нашего театра. Знакомые все чаще спрашивают меня, встречая на улице: «В какой пьесе вас теперь можно посмотреть?»

Я снимаю значок и начинаю пробираться в театр глухими переулками. Вдруг, о счастье! Актеры, выносящие меня на сцену, выразили протест дирекции. Они, дескать, все пожилые, а я слишком тяжелый. Меня решили заменить.

Удача никогда не приходит одна. Исполнитель роли второго лакея в инсценировке по известному роману Горького внезапно заболевает. Роль достается мне. Товарищи смотрят на меня с завистью. Я приступаю к репетициям. В первом акте я должен пронести поднос с двумя бокалами. Во втором меня вообще нет. В третьем — кульминация. Один из эпизодических купцов подходит к буфетной стойке, за которой я торчу, а я должен, угодливо улыбаясь, налить ему рюмку коньяку. После чего мой партнер, отойдя с рюмкой на авансцену, произносит свою единственную фразу: «Знаем мы этих Маякиных», — и выпивает коньяк до дна.

— Георгий Георгиевич, вам все понятно? — спрашивает главреж исполнителя роли купца. — До дна! Именно до дна! И

многозначительней! Гораздо многозначительней! В этом правда вашего характера! — требует на репетициях главреж.

В перерывах я нарочно кружу вокруг главрежа. Наконец, это начинает его раздражать.

— Вам что? — спрашивает главреж, бессознательно проверяя карман.

— Простите, я хотел узнать, как… у меня?

— У вас? Что у вас? Ваша фамилия Глейх? А как?

А! На вас жаловались из репертуарной части, что вы приходите за два часа до спектакля! Вам что, жить негде?

Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Это мы тоже усвоили в школе.

Я приходил в театр за два часа до начала спектакля, и пока гримерная комната пустовала, искал себе грим. Каждый раз новый. Загримировавшись, я вышагивал по комнате, пробуя походки. Я работал над образом.

Публика оценила мои усилия. В первом же спектакле мой ход с двумя бокалами вызвал смех. Я глубоко усвоил школу. Но я не был еще настоящим профессионалом.

— Одеяло на себя тянешь? — спросили меня после спектакля лакеи первый, третий и четвертый.

На следующем спектакле они со мной не поздоровались.

Я весь ушел в хозяйственные заботы. Являясь теперь незадолго до начала спектакля, я тщательно готовил свой реквизит. На буфетной стойке расставлялись закупоренные бутыли с чаем. Чай туда был налит, наверное, еще при жизни основателя нашего театра, и теперь пыльные бутыли навеки замкнули в себе таинственную жидкость, хранившую воспоминания о первых представлениях ныне академической труппы. Я расставлял эти бутыли с особенным благоговением. Кроме них, буфетную стойку украшали бутафорские фужеры дешевого стекла, хилые оловянные вилки и картонные тарелки.

Заветную бутылочку со свежезаваренным чаем и маленькую рюмку я прятал под стойку отдельно.

Каждый спектакль Георгий Георгиевич вовремя отделялся от толпы статистов и направлялся к стойке, утопая в огромной бороде. Я выхватывал заветную бутылочку из-под прилавка и, угодливо улыбаясь, наполнял свежим чаем маленькую рюмочку.

Георгий Георгиевич отходил с ней на авансцену, говорил свою единственную фразу: «Знаем мы этих Маякиных», — и осушал рюмку, на мой взгляд, слишком многозначительно. Потом он ставил рюмку на стойку и возвращался слушать анекдоты, которые шепотом травили статисты.

Я больше не работал над образом, ходил своей походкой,

гримировался «на три точки»: мазок грима на лбу и два по щекам. Со мной в театре опять здоровались. Я ничем не выделялся из коллектива, но вдруг моей физиономией заинтересовались в кино.

Беда никогда не приходит одна. Мотаясь между киностудией и театром, я, волею судеб, пришел на очередной спектакль за два часа до начала. Как раньше. И тут меня посетила дерзкая идея. Я сел перед зеркалами в пустой гримерной и стал восстанавливать свой любимый грим. Во всех подробностях. Лампы по сторонам лица припекали кожу, мучительно хотелось спать, но я увлеченно вылеплял длинный лисий нос, светлил брови и тщательно рассаживал по щекам веснушки. Рожа получалась великолепная, подлая, лакейская рожа. Она глядела на меня из зеркала чужими бессмысленными глазами, ухмылялась и вздергивала белесые брови. Потом рожа стала увеличиваться, вылезла за рамки зеркала, расползлась по стене и спросила гадким голосом: «Ваша фамилия Глейх? Одеяло на себя тянете?»

— На сцену! На сцену! — помреж хрипло выкликал мою фамилию по внутреннему радио.

О, ужас! Я, оказывается, заснул под лампами, прямо на столе! Скорей!

Дверь отлетела с грохотом. Ковровая дорожка встала дыбом. Перила лестницы обожгли ладони. Скорей!

Я мчался на сцену, обгоняя грохот своих штиблет.

Круг уже повернули. В темноте свалены грудой декорации второго акта. Значит, я проспал первый выход? Скорей!

Яркий свет рампы ударил в глаза, ослепил. Я шмыгнул за стойку. Первое, что я увидел, был кончик длинного лисьего носа, смятый и торчащий перед левым глазом. Но это мелочь. Прямо на меня надвигалась огромная борода Георгия Георгиевича. Я нырнул под стойку. Пусто! Заветная бутылочка со свежезаваренным чаем и маленькая рюмка остались ждать меня в реквизиторской. Надо было принимать решение, как в воздушном бою. Будь что будет! Я схватил тяжелую пыльную бутыль. Чем открыть? Оловянная вилка свернулась в рулет. Но пробка, жалобно пискнув, поддалась и провалилась в горлышко.

Чудовищное зловоние ударило в ноздри, остановило дыхание. Медлить нельзя! Вот и фужер. Зеленая, густая как масло вонючая жидкость спазматически изверглась в бутафорский сосуд. Глаза Георгия Георгиевича засветились неземным огнем. Дрожащей рукой я протянул ему наполненный до краев фужер. При этом я по привычке угодливо улыбался, так как кончик моего носа уполз под левую бровь.

Георгий Георгиевич взял фужер и вышел на авансцену.

— Знаем мы этих Маякиных, — сообщил Георгий Георгиевич дикторским голосом и, совершенно немногозначительно, выпил фужер до дна!

У меня отнялись ноги. Но Георгий Георгиевич почему-то не умер на месте. Неся пустой фужер, как флаг, он двинулся кратчайшим путем со сцены к общему недоумению статистов.

Он шел, высоко задирая ноги, будто поднимался по крутой лестнице.

Когда занавес упал, я бросился в актерское фойе.

Георгий Георгиевич был там. Он уже оторвал бороду и яростно отмахивался ею от утешавших его актеров.

— Руки прочь! — кричал Георгий Георгиевич, на растерявшуюся уборщицу, пытающуюся убрать с пола разбрызганную лужицу. — Не сметь! Это вещественное доказательство! Пусть все видят! Сорок лет в театре — кругом завистники! Его подговорили! Он хотел меня отравить!

Георгий Георгиевич был настоящим профессионалом. А меня до сих пор мучает вопрос: «Что же все-таки было в той темной пыли бутылок?»

# Здравствуй, папа!

Мы с Олькой сидели на диване. Она болтала ногами в новых красных туфельках.

— Тебе нравятся мои туфельки? — спросила Олька.

— Нравятся, — сказал я.

— А я тебе нравлюсь?

— Да. Очень.

Олька искоса посмотрела на меня и наморщила лоб. С Олькой мы уже давно знакомы. Мы ходили с ней в зоопарк и в Уголок Дурова, покупали в «Детском мире» шары — синий и желтый с петухом, я учил ее кататься на коньках. Мы подружились и не выясняли отношений. И только сейчас, сидя с ней рядом на диване, я понял, что выяснений не избежать.

— Мама сказала, что ты теперь будешь у нас жить всегда. Правда?

— Правда. Я буду у вас жить. Всегда.

— А кто ты у нас будешь?

Начинается.

— Я буду мамин муж.

Олька внимательно разглядывает новые красные туфельки.

— Ты не мамин муж, ты — Сережа.

— Я Сережа — мамин муж.

Олька запела:

— Ты Сережа — мамин муж, мамин муж, мамин муж.

Песенка оборвалась.

— А папа тоже будет жить с нами?

— Нет. Не будет.

— И когда приедет, тоже не будет?

— Он не приедет.

— А ты моего папу когда-нибудь видел?

Сказать, что видел? Но ведь это не имеет для нее значения. Только не врать в том, что имеет значение.

— Нет, — сказал я.

— А я видела, — живо сказала Олька. — Давно-о-о!

Красные туфли опять запрыгали.

— А почему папа не приедет?

Что ей сказать? Только ничего не придумывать.

— Видишь ли, Олька, — сказал я, с испугом прислушиваясь к своему внезапно охрипшему голосу. — Твой папа больше не любит маму. И мама его тоже не любит. А я знаю твою маму очень давно, еще тебя на свете не было. Знаю и очень люблю…

Я остановился.

Мы помолчали.

Олька сползла с дивана.

— Пойдемте читать «Буратино», — сказала Олька.

Почему «пойдемте»? Ведь мы же были на «ты»?

Я поплелся читать «Буратино».

За ужином Олька молчала.

— Ты не заболела? — спрашивала ее Лиля.

— Нет, мамочка.

Она быстро все съела и, встав из-за стола, чинно произнесла:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. — Я поцеловал ее.

— Вы колючий. — И она удалилась спать.

Ночью Лиля встала, чтоб проведать Ольку. Вернулась встревоженная: Олька не спит.

— Что такое? — спросил я, как мог спокойно.

— Она не спит, — сказала Лиля. — Когда я вошла, она меня спросила: «Мамочка, тебе было весело, когда мы ходили с дядей Сережей учиться кататься на коньках?» Я сказала, что было, конечно. А она говорит: «Мамочка, мне было очень-очень весело. Мне никогда не было в жизни так весело». С чего это она вдруг?

«Нет, не вдруг», — подумал я, засыпая.

Яркое солнце ударило мне в лицо. Я сел на кровати.

У окна, держась за край занавески, стояла Олька.

— Здравствуй, Олька, — сказал я.

— Здравствуй, папа! — сказала Олька.

# Друг человека

Дом творчества композиторов «Руза» — на самом деле не один дом, а десятка три маленьких домиков, разбросанных в огороженном лесопарке.

В каждом таком домике — печь, кровать, письменный стол и, конечно, рояль. За оградой, рядом — дом отдыха «Актер».

Музыкальных деятелей, получивших путевки в «Рузу», предупреждают: после одиннадцати вечера по лесопарку гулять опасно — Джека спускают с цепи. Джек — это огромный, лохматый и злобный пес, он целый день гремит цепью у будки, а ночью, когда ворота в ограде закрывают, бегает по лесопарку, охраняя покой спящих постояльцев, и горе тому, кто попадется ему на пути.

Молодой, но уже популярный композитор-песенник Самсон Варахаев, бродя по окрестностям, познакомился с юной кокетливой девушкой, актрисой из соседнего дома отдыха.

На следующий день Варахаев пригласил свою очаровательную новую знакомую отужинать с ним в композиторской столовой. Купил в буфете шампанского, дорогой шоколадный набор, суетился, волновался. Ужин прошел очень весело. Актриса, безусловно, оценила игривый юмор Варахаева и смеялась так, что оборачивались за соседними столиками. Столовую Варахаев и его гостья покинули последними. Причем Варахаев прихватил шоколадный набор, который актрису почему-то не привлек. Соприкасаясь плечами, они медленно брели по дорожкам лесопарка. Луна следила за ними, прячась в сосновых ветвях. Неожиданно актриса запела приятным сопрано, очень верно следуя мелодии, но пренебрегая словами песни, которые у нее звучали как «ля-ля-ля».

Самсон Варахаев застыл на месте.

— Это моя мелодия! Совсем недавно написал. Откуда вы знаете эту песню?

— Мне ее одна подруга напевала. Очень красивая мелодия.

После такого признания композитор решил действовать решительно. Он подхватил свою спутницу под локоток и устремился к желанной цели. И вскоре, совершенно случайно, они оказались у крыльца варахаевского домика.

— Лидочка, вот мое обиталище, — сказал Варахаев. — Сама судьба привела нас сюда.

Лидочка улыбалась.

— Меня осенила замечательная идея, — сообщил композитор. — Давайте сейчас заглянем ко мне. Мне очень

хочется показать вам свою новую песню. Вы будете ее первая слушательница. Вы так музыкальны, да еще и актриса, мне очень интересно ваше мнение.

— Поздно уже, Самсон, — актриса посмотрела на лунный диск, — давайте в другой раз.

— Да какое там поздно, Лидочка! Детское время! — И стал уговаривать: — Зайдем буквально на пять минут. У меня есть бутылка дивного французского вина, бордо кажется, к тому же вы еще не попробовали ни одной конфеты.

Тут Варахаев мягко, но настойчиво потянул свою спутницу на крыльцо.

— Хоть вы и Самсон, но силой не надо, — сказала Лидочка, внезапно посерьезнев.

— Помилуйте, при чем тут сила? Такой дивный вечер.

— Вот и давайте погуляем, а потом вы меня проводите. Смотрите, какая луна.

— Луну и в окно видно.

— Какой вы прозаик. А еще композитор.

— Вот именно. Разве вам не интересно послушать музыку?

— Интересно, но поздно уже!

— Да ничего не поздно!

Лидочка не успела ответить. Из темноты под деревьями послышался раскатистый львиный рык. Призрачный в лунном свете, огромный косматый зверь возник на тропинке и устремился к молодым людям.

Актриса слабо взвизгнула и со скоростью шаровой молнии влетела в дом. Варахаев за ней. Дверь захлопнулась.

Дирижер Реемович на старости лет страдал бессонницей. Едва дождавшись рассвета, он встал, оделся потеплее и отправился совершать свой обычный утренний моцион. За поворотом тропинки, около домика, занятого Варахаевым, его остановило странное зрелище. На крыльце сидел огромный, зверского вида лохматый пес. Перед ним в одном халате на голое тело, босой, стоял на коленях композитор Варахаев и скармливал псу конфеты из шоколадного набора.

— Ешь, дружище, ешь, — приговаривал при этом композитор растроганно. — Если бы ты знал, как мы тебе благодарны! Ешь, наслаждайся. Ты — друг человека! Мы тебе этого никогда не забудем.

— Кто это мы? — удивился про себя Реемович. — Почему мы?

И решив, что Варахаев взял на себя право говорить с собакой от лица всего человечества, Реемович успокоился и продолжил прогулку.

# За компанию

Бывший олимпийский чемпион по вольной борьбе, а теперь заслуженный тренер подрастающего поколения Николай Николаевич Акимов прогуливался по платформе вдоль спального вагона, дымя крепкой сигаретой.

Когда до отправления поезда оставалось минуты две, Николай Николаевич бросил окурок в темную щель между краем платформы и зеленым боком вагона и, протиснувшись мимо проводницы, уже снявшей чехол с желтого флажка, прошел в свое купе.

Никаких признаков дорожного попутчика в купе не было.

«Видно, поеду в одиночестве, — подумал Акимов, — повезло, никто рядом храпеть не будет».

Вагон дернулся, и за окном поплыли вокзальные огни. И тут дверь купе с лязгом отъехала в сторону, и вот он, попутчик, тяжело дыша, устраивает на свободное место туго набитую спортивную сумку с надписью «Пума» под черным силуэтом застывшего в прыжке хищника.

— Вот повезло! — отдуваясь, воскликнул попутчик. — Вы — сосед, что надо. А то, бывает, один едешь, или какая-нибудь дамочка капризная попадется.

Познакомились. Попутчик представился Фомой Фомичом.

— Сумка у вас знатная, — заметил Акимов. — Вы — спортсмен?

— Можно и так сказать, — отозвался новый дорожный знакомый, расстегивая молнию на своей сумке. — Мастер спирта.

Николай Николаевич подумал было, что попутчик оговорился, но тут же на столике возник золотой столбик коньячной бутылки, извлеченной из сумки Фомой Фомичом.

— Сейчас стаканчики организую, — объявил Фома Фомич.

— Я бы… мне бы лучше чайку, — невпопад отозвался Николай Николаевич.

— Будет и чаек. Коньяк с чаем — это же классика!

И Фома Фомич выскользнул из купе. Вскоре он вернулся и поставил на столик два пустых стакана. За ним проводница внесла чай еще в двух стаканах с подстаканниками.

Фома Фомич мгновенно открыл бутылку и набулькал по полстакана коньяку.

— Видали? — радостно спросил Фома Фомич. — Глаз — алмаз. Уровень как в аптеке.

— Я не пью, — сказал Николай Николаевич.

— Не пьете? — Фома Фомич несказанно удивился. — Это вы

бросьте, не пьют только лошади на Большом театре. Ну, по первой!

Фома Фомич одним глотком осушил свой стакан и несколько раз подул, оттопырив губы, прямо в лицо Николая Николаевича. После чего заметил сдавленным голосом:

— Коньячок — высший сорт.

— Я не буду, — сказал Николай Николаевич. — Не могу я, извините.

— Брезгуете? — Фома Фомич снова налил себе «как в аптеке». — Не опасайтесь, стаканы чистые, проводница при мне сполоснула. И потом — коньяк — это же дезинфекция от всех болезней.

— Да не в болезни дело. Просто я не пью, понимаете? Вообще не пью.

Фома Фомич некоторое время рассматривал Акимова, сощурившись. А насмотревшись, заговорил, внезапно перейдя на «ты».

— Эх, Колька! До чего же себя человек довести должен, чтобы нельзя было бутылку распить. Понимаю, ты — алкаш закодированный. Видал я таких. Но ты здоровый мужик, здоровенный. Раскодируйся и скажи себе: 150 грамм на раз — и все! Воля у тебя есть?

— Ничего я не алкаш! И не этот… не закодированный никакой. И воля тут ни при чем. Просто я не пью. Не люблю.

— Стыдишься, Коля? Мучаешься?

Николай Николаевич схватил свой стакан с коньяком и сделал большой глоток.

— Видали? Могу я выпить, могу! Но не хочу. Не нравится мне это. И все!

Николай Николаевич одним глотком выпил свой остывший чай, быстро разделся и лег, натянув на голову одеяло. Коньяк с чаем подействовал как снотворное, и Акимов скоро заснул.

Ему приснилась его последняя схватка, когда он стоял на «мосту», упершись головой в ковер, а французский борец всей тяжестью навалился на него, пытаясь дожать на чистый выигрыш. Дыхания не хватало, Николай Николаевич захрипел от напряжения и проснулся.

В полутьме он не сразу сообразил, что это Фома Фомич навалился на него и тянет с головы одеяло.

— Коля, прости, Коля, — бормотал неугомонный попутчик заплетающимся языком. — Я понял, прости. Тебе нельзя пить… Ты на спецзадании, секретная служба, прости, друг…

Николай Николаевич спихнул с себя Фому Фомича, и тот вдруг запел, совершенно поперек мелодии:

— Не думай о секундах свысока.

Акимов нахлобучил на голову подушку и вскоре перестал слышать Фому Фомича.

Когда Николай Николаевич проснулся, в окне вагона бежали ряды березок и ярко светило солнце.

Фома Фомич, открыв рот, спал одетый поверх одеяла, даже ботинки не снял.

Коньячная бутылка на столике была пуста. Одевшись и прихватив полотенце, Николай Николаевич проследовал в туалет, а заодно попросил проводницу прибрать в купе и принести ему чаю.

— Курить — в тамбуре? — спросил Акимов.

— Да уж покурите в купе, только аккуратно, — разрешила проводница. — Все равно через полчасика прибываем.

Когда Николай Николаевич вернулся в купе, на столике было чисто убрано, и в подстаканниках дымились два стакана горячего чая.

Покончив с чаем, Акимов достал сигареты и с удовольствием закурил. Тут и Фома Фомич проснулся и со стоном сел на кровати.

— Привет, — поздоровался с ним Николай Николаевич.

— Бртрет, — отозвался на незнакомом наречии Фома Фомич и провел языком по засохшим своим губам.

— Ну чайку, — предложил Николай Николаевич, — и закурим.

— Я не курю, — отозвался Фома Фомич.

Глаза Акимова загорелись тем самым восторгом, каким они загорались, когда он, мастер спорта, стоял на верхней ступеньке пьедестала и смотрел, как под потолок спортзала поднимается знамя его страны.

— Совсем не куришь, Фомка? — спросил Николай Николаевич, тоже перейдя на «ты».

— Совсем не курю. Не хочу.

— Брезгуешь? А за компанию?

— И за компанию не хочу.

— Чахоточный?

— Нет, что вы, я просто.

— Обижаешь. Одна не повредит. Сигаретки — высший сорт.

— Я не буду, — сказал Фома Фомич, отползая в угол кровати.

— Будешь, Фомка, друг, будешь! — и Николай Николаевич сгреб Фому Фомича могучей рукой.

— Вы что, Николай Николаевич? — заверещал Фома Фомич.

Но Акимов уже провел классический захват так, что голова Фомы Фомича стала выглядывать у него из подмышки, а

свободной рукой вставил в губы партнера свою дымящуюся сигарету.

— Тяни в себя. Фомка! Тяни! А теперь дуй, как после коньяка! Еще! Еще разок!

И купе заволокло дымом, как и полагается при настоящем сражении.

# Не в лесу живем

У меня заболела нога. Левая. Заболела неожиданно, тупой ноющей болью. Всякий уважающий себя мужчина обязан презирать боль. Но это надо делать умело. Презрение должно быть настолько очевидным, чтоб у окружающих не было и тени сомнения в вашем мужестве.

Я презирал свою боль не таясь, громко, обстоятельно и беспрерывно.

Первой мое мужество оценила жена.

— Не мучайся, — сказала она. — Пойди в районную поликлинику и покажись. Ведь не в лесу живем.

— Чепуха! — отрезал я. — Само пройдет.

Я действовал наверняка. Второй моей жертвой пала теща.

— Не делайте глупостей, — сказала теща. — Никаких районных поликлиник. Там сплошные коновалы. Вас должна посмотреть только Аделаида Григорьевна. Я ей сейчас сама позвоню.

Аделаида Григорьевна? Да, да, Аделаида Григорьевна! Вот, например, в прошлом году теща пошла в районную поликлинику со всеми признаками какого-то латинского заболевания. И что б вы думали? В районной поликлинике к этим признакам отнеслись наплевательски! А стоило теще обратиться с этими признаками к Аделаиде Григорьевне, как та не только сразу же обнаружила это заболевание, но сама взялась его лечить и очень хорошо вылечила. А кто знает, если б не Аделаида Григорьевна, может быть, было бы уже поздно. Короче говоря, я понял, что попадаю в надежные руки.

Теща договорилась с Аделаидой Григорьевной. Аделаида Григорьевна готова принять меня на дому.

Я получил желанный адрес и ряд напутственных инструкций.

Аделаида Григорьевна жила в очень темном подъезде. Я с трудом нащупал кнопку звонка. В ответ послышался заливистый лай, потом шаги, и высокий женский голос пропел за дверью:

— Кто это к нам пришел?

Дверь распахнулась, свет и душная теплота помещения вырвались на лестницу.

— Входите, — пропел голос.

Я шагнул навстречу расплывчатому силуэту женской фигуры, открыл рот для приветствия и был опрокинут навзничь. Рот мой забился шерстью, резкий запах псины обжигал ноздри, что-то липкое и теплое хлестало меня по лицу.

— Довольно, довольно, — пел женский голос, — вы уже

подружились.

Я был на этот счет совсем другого мнения.

— Вставайте, молодой человек, раздевайтесь…

Пока я раздевался, отплевывался и вытирал лицо своим совсем непригодным для этого платком, хозяйка продолжала петь:

— Шмупсик такой общительный, а к мужчинам просто неравнодушен, у нас ведь в доме нет мужчин, вот он вам так и обрадовался.

Шмупсик — здоровенный пудель, не только стрижкой, но и размерами тяготеющий к царю зверей, вертелся тут же, истово колотя хвостом с львиной кисточкой по мебели.

— Проходите, пожалуйста, в комнаты и расскажите, что вас беспокоит…

В комнате Аделаида Григорьевна велела мне снять носок и ботинок и долго вертела меня за ногу во все стороны в поисках наилучшего освещения. Наконец, когда я с полного одобрения Шмупсика принял совершенно нечеловеческую позу, Аделаида Григорьевна велела мне замереть и углубилась в исследования. От нечего делать я стал разглядывать Шмупсика, который вдруг тоже притих и стоял, двигая челюстями, как корова.

— У вас плоскостопие, мой друг, — пропела вскоре Аделаида Григорьевна.

— Почему? — глупо спросил я. — У меня никогда этого не было.

— Никогда не было, а теперь будет, — прозвучал речитатив. — Вам необходимо носить супинаторы. Поняли?

— Ага.

Супинаторы? Боже мой, что это такое? Я не решился расспрашивать и стал обуваться. Носка не было.

— Почему вы не обуваетесь? Вы простудитесь, — пропела Аделаида Григорьевна.

— Носок куда-то делся…

— Плюнь!

Я ничего не мог понять: почему, собственно, я должен плюнуть и уйти домой без носка?

— Плюй сейчас же! — пухлая хозяйская рука ухватила Шмупсика за курчавый загривок.

— Пожалуйста, — пропела хозяйка, вручая мне влажный комочек. — Надеюсь, он его не повредил?

Я надел мокрый носок и стал прощаться, строго следуя тещиным инструкциям.

— Ну, что вы, голубчик, не надо… — пела Аделаида Григорьевна, привычным движением забирая хрустящую бумажку.

Когда я спускался по лестнице, хлюпая левым ботинком, кошки всего мира имели в моем лице самого преданного друга.

Дома теща заглянула в «Медицинский справочник», и оказалось, что супинаторы — это совсем ничего страшного. Просто это такие металлические штучки, которые надо вкладывать в ботинки и тогда…

Короче говоря, я купил эти супинаторы, вложил, куда следует, и пошел на работу. Я пошел на работу утром, а уже к вечеру меня прямо с работы доставили в районную больницу на «скорой помощи».

В больнице я целый месяц держался молодцом и категорически отказывался сказать, кто мне посоветовал надеть супинаторы.

— Ай-ай-ай, — сказал дежурный врач, выписывая меня на волю. — Пустячное растяжение сухожилия, а во что вы это превратили? Супинаторы можно носить только при плоскостопии… К врачам надо своевременно обращаться, не в лесу живете…

Прямо из больницы я пошел в центральный клуб собаководства и купил волкодава. Думаю пригласить Аделаиду Григорьевну на чашку чая. Шмупсика я беру на себя.

# Любовь зла

Конечно, хотелось, чтоб и мне, как тому старику, по ночам снились львы. Но львы не желали сниться. Лежа в темноте на сене, я подолгу слушал глухой перестук копыт и размеренное похрустывание жующих коней.

Главной приманкой ночевок в конюшне была для меня возможность помогать Трофимычу выводить, чистить и запрягать Карата для утренней ездки.

— Таких рысаков, как Карат, уже не выделывают, — любил повторять Трофимыч.

Мне это должно было напоминать об ответственности. Моя помощь Трофимычу обязательно сопровождалась бесконечными мелкими унижениями. Я был в рабстве. Но я не был рабом Трофимыча. Трофимыч сам был рабом.

Мы оба были рабами высокого гнедого коня с белой звездой во лбу.

Мы сами пошли на это. Сознательно. Добровольно. И тайно. Трофимыч уже давно, я только с начала лета, и поэтому Трофимыч был придирчиво строг со мной. Он испытывал меня. Это было его право.

Мне приснилась мама. Она шла ко мне, утопая в сене. Сеном была завалена вся наша московская квартира. Мама никак не могла до меня добраться. Она сердилась. «Васька! — кричала мама. — Васька! Васька! Кончай дрыхать! Кино приехало!»

Я кубарем скатился со своего ложа. По конюшне метались заводские мальчишки, мои сверстники: «Кино приехало!»

На залитой солнцем беговой дорожке стоял длинный и величественный Трофимыч в неизменных сапогах и поддевке. Румяный седой мужчина в толстых роговых очках что-то объяснял ему плавая по воздуху руками. Поодаль стоял молодой человек с толстой сумкой через плечо и улыбался.

Никакого кино не было. Мы стали слушать человека в очках.

— …чтоб получилось такое мощное ржание. Ну товарищ, вы сами знаете.

— Знаем, — сказал Трофимыч и двинулся к конюшне.

Мы стояли недоумевая.

— А как же, — сказал Трофимыч, останавливаясь и глядя с сомнением на «очкастого», — а как же записывать-то будете?

— А уж это наше дело, — сказал «очкастый». Молодой человек снял с плеча сумку и перестал улыбаться. Мальчишки немедленно бросились к сумке, а я поплелся вслед за Трофимычем, ловя удобный момент для расспросов.

Оказалось, что приехали работники кино («Черт их носит», — сказал Трофимыч), чтоб записать на пленку ржание Карата. Им, дескать, очень нужно мощное конское ржание.

— Добро бы фотографию снимать приехали, — сказал Трофимыч, — а то глупостями занимаются.

Как выяснилось, жеребец просто так не заржет: его ничем не рассмешишь.

— А чтоб получилось, что требуется, необходимо провести перед Каратом кобылу. И если Карату она понравится, будет как раз то самое «мощное» ржание, которое работникам кино «до завязки нужно», — сказал Трофимыч.

Все это Трофимыч говорил не мне, а конюхам, которых полным-полно набилось в конюшне.

Мне Трофимыч сказал только одно: «Отойди отсюда к чертовой матери!»

Я снова в толпе у конюшни. Молодой человек уже открыл сумку, и у него тем целая радиостанция. А от сумки тянется провод с микрофоном. Микрофон держит «очкастый» прямо в руках.

В толпе все уже все знают. Знают, что сейчас по дорожке перед конюшней проведут кобылу. Даже знают, какую — Гориславу.

— Ведут! Ведут!

Если напечатать портрет этой Гориславы, то его можно продавать вместе с портретами популярных киноартисток: так гордо посажена у нее голова, такая челка, такие лиловые продолговатые влажные глаза.

Крак! — распахиваются двери конюшни, появляется Трофимыч. Лицо красное, взволнованное. Хочет, чтоб все хорошо получилось.

— Выводи!

Солнце ударяет в медную грудь Карата. Двое конюхов по бокам его с усилием сдерживают растянутые поводья. Горислава идет, покачивая крупом, метет хвостом по дорожке.

— Тихо! — внезапно кричит «очкастый». Горислава шарахается в сторону от крика, взвизгивает под копытами гравий. Карат поворачивает к ней голову. Конюхи приседают, растягивая поводья.

— Хгм-и! — выдыхает Карат в полной тишине. Растяжка ослабевает. Карат тянется к Трофимычу, ласково хватает его губами за плечо.

— Это все? — спрашивает «очкастый» после паузы.

— Все. А чего еще нужно? — говорит Трофимыч смущенно.

— Ржание! — кричит «очкастый». — Я же вам объяснял:

мощное ржание!

Молодой человек снова улыбается.

После шумного обсуждения решают вывести другую кобылу.

— Эта ему не нравится, — говорит Трофимыч, ни на кого не глядя. — Горислава ему не нравится, сукиному сыну!

Непонятно, кого Трофимыч имеет в виду: «очкастого» или Карата.

Толпа у конюшни все прибывает. Картина повторяется сначала. Теперь на дорожке Вироза, вороная, поджарая. Профиль, как у лермонтовской Тамары.

— Как идет, ноги не сменит, — с восторгом шепчут в толпе.

— Тихо! — кричит «очкастый».

Полная тишина. Напряженные спины конюхов.

— Хгм-м!.. — и все. Все!

Одна кобыла сменяет другую. Все напрасно. Наконец, запас кобыл истощен.

Я ловлю взгляд Трофимыча. Мы встречаемся глазами. Мне хочется плакать.

— Одна только и осталась, — заявляет Сашка Прудов, охальник и балагур, — Ракитка с табунщицкой конюшни!

Толпа хохочет.

— Может, проведем?

— Ведите, кого хотите, — хрипло кричит «очкастый».

И вот на дорожке появляется известная во всем заводе Ракитка — лошадь, пережившая старика Митяя, который пас на ней жеребят еще до войны.

— Тихо, — говорит «очкастый» устало.

В толпе давится смешок.

Ракитка идет, понурив голову и растопырив уши, лениво обмахиваясь жидким хвостом. Конюхи с боков Карата распустили повода и подмигивают друг другу.

— И-и-и-и-агрхмм!.. — это не ржание, это рев льва, это гром, это песня.

— Ах! — вздыхает толпа.

За всколыхнувшимися спинами я вижу черную разметанную гриву Карата, стрелами торчащие уши.

— И-и-и-и-гррр!

Толпа бросается врассыпную.

Я бегу с толпой, падаю, вскакиваю, бегу обратно.

Кто-то из конюхов уже сидит на Ракитке и лупит ее каблуками в бока, стараясь увести от конюшни.

Карат, не переставая петь свою песню, волочит по дорожке обоих конюхов, вцепившихся в повода.

Повсюду пляшут мальчишки.

Трофимыч с сияющим лицом наступает на молодого человека, крича:

— Видал, а? Видал, а? А ты говорил: «Ничего не получится!»

Молодой человек счастливо улыбается. Наконец порядок восстановлен. Кино уехало, очевидцы разбежались разжигать зависть непосвященных, кони расставлены по конюшням, а мы с Трофимычем идем к нему завтракать.

Красная рука Трофимыча лежит на моем плече. Захлебываясь, я спешу поделиться впечатлениями.

Трофимыч слушает снисходительно.

— Все не то, — обрывает он меня, когда мы останавливаемся у двери.

— Почему? — спрашиваю я. Трофимыч стучится согнутым пальцем.

— Потому что ты еще молодой, так-то.

Он вздыхает.

Дверь нам открывает сын Трофимыча, красавец-парень, который недавно вернулся из армии и на которого тщетно заглядываются лучшие заводские девчата.

# Белая ворона

— Как тебя зовут? — спросил старик Настю.

— Настя, — сказала Настя.

— А на кого ты похожа? — спросил старик.

— Я похожа на папу, — сказала Настя.

— Нет, — сказал старик. — Ты похожа на маленькую цветную свечку, которую зажгли в темной комнате на новогодней елке.

Настя почему-то смутилась.

— Как ты думаешь, — спросил старик, — какая птица самая красивая?

— Не знаю, — сказала Настя. — Лебедь?

Старик покачал головой.

— Тогда павлин, — сказала Настя.

— Нет. Никогда.

— Но ведь не попугай же?

— Конечно нет, — старик засмеялся. — Хочешь, я скажу тебе? Самая красивая на свете птица — белая ворона.

Настя вопросительно посмотрела на меня, стараясь понять, согласен ли я со стариком.

— Почему именно белая ворона? — спросил я у старика.

— Потому что она — исключение, — сказал старик. — Вы можете здесь увидеть стаю лебедей, стадо павлинов, компанию страусов. Но вы никогда не увидите целую стаю белых ворон. Да этого и не может быть. Тогда все потеряет смысл. Разве можно увидеть сразу толпу гениев? Гении редки, как белые вороны…

Старик оглядел нас вызывающе. Мы не возражали.

— Белой вороной нельзя стать по желанию, — воскликнул старик. — На это нужно призвание, талант! Белой вороной нужно родиться. Конечно, любая ворона может вываляться в муке, выпачкаться в мелу, выкраситься в белилах. Многие обыкновенные вороны так и делают. Но они не белые — они ряженые. И белую ворону можно очернить, но сделать ее черной — невозможно. Она — белая ворона! Она самая прекрасная птица, потому что ей труднее, чем другим, — продолжал старик, — ее всегда хорошо заметно в любой стае на общем черном фоне. Поэтому она, как правило, становится предметом всяческих нападок. И она гораздо важнее любого вожака в стае. О такой стае говорят: стая, в которой летает белая ворона. По ней одной помнят всю стаю! Но черные вороны недолюбливают белых.

— Почему? — спросила Настя и нахмурилась.

— Они боятся, что если появилась белая ворона, то того и

гляди, начнут появляться вороны разных цветов: красные, зеленые, синие…

— Они боятся разнообразия? — спросил я.

— Не думаю, — ответил старик. — Они опасаются исключительности. Ведь появись разноцветные вороны, и черная ворона уже не будет общим правилом, а сделается в своем роде исключительным явлением. А быть исключением из общего правила — это очень-очень ответственно. Черные вороны бояться ответственности…

— А здесь, в зоопарке, есть белая ворона? — спросила Настя.

— Нет, — сказал старик. — Их уже почти не осталось, и потом, они не приживаются в неволе.

Некоторое время мы шли вдоль клеток молча.

— До свидания, — неожиданно сказал старик.

— До свидания.

Мы смотрели, как он уходит от нас по дорожке.

— Папа, — спросила Настя, — этот старик — сумасшедший?

Я не знал, что ей ответить.

# Наш друг Шерлок Холмс

Доктор Джозеф Белл, главный хирург королевской лечебницы в городе Эдинбурге, славился как мастер диагностики.

Диагностика — точное определение характера болезней пациентов — и сегодня еще небезошибочна, хотя врач внимательно опрашивает больного и исследует его при помощи разнообразного арсенала специальных медицинских средств. Но феноменальные способности англичанина Джозефа Белла до сих пор поражают наше воображение. Едва этот худощавый, жилистый человек поворачивал навстречу пациенту рано поседевшую голову с орлиным профилем и окидывал больного пристальным, цепким, прямо-таки орлиным взглядом — он уже все знал о своем посетителе и его недуге.

Пациент не успевал еще открыть рот, а врач уже назначал ему точный курс лечения.

Вот диалог Джозефа Белла с очередным посетителем:

— Ну, уважаемый, вы служили в армии?

— Да, сэр.

— И вы были в Барбадосе, в Индии?

— Да, сэр.

Затем следовало пояснение для студентов-медиков:

— Вы видите, мужчина очень вежлив, но он не снял своей шляпы. Это характерно для армии. Если бы он давно уволился из армии, то приобрел бы привычки, свойственные штатским лицам. Отеки на его теле свидетельствуют, что он страдает слоновой болезнью. Именно эта болезнь характерна для Вест-Индии.

А вот что говорил доктор Белл студентам, только взглянув на другого посетителя.

— Перед нами рыбак! Это можно сразу заметить, если учесть, что даже в столь жаркий день наш пациент носит высокие сапоги… Загар на его лице говорит о том, что это сухопутный, прибрежный моряк, а не моряк дальнего плавания, открывающий новые земли. Загар этот явно возник в одном климате, местный загар, так сказать… За щекой у него жевательный табак, и он управляется с ним весьма уверенно. Свод всех этих умозаключений позволяет считать, что этот человек — рыбак. Это подтверждают и рыбные чешуйки, приставшие к одежде. Наконец, специфический запах позволяет судить о его занятии с совершенной определенностью.

Запись этих разговоров оставил нам один из учеников Джозефа Белла. Имя прилежного ученика — Артур Конан Дойл.

Завершив медицинское образование в своем родном

Эдинбурге, Артур Конан Дойл перебрался в Лондон, где открыл частную практику. Но, увы, кабинет молодого врача пустовал: почему-то пациенты не шли. Чтобы хоть что-нибудь заработать, Конан Дойл, склонный к литературным занятиям, стал писать небольшие рассказы и очерки — ведь времени для этого оказалось предостаточно — и рассылать их в различные журналы. Кое-что было опубликовано, но прошло незамеченным. Без всякого успеха остался и рассказ «Этюд в багровых тонах», увидевший свет в 1887 году.

Герой этого рассказа был особенно дорог автору, ведь в нем впервые были описаны феноменальные способности и внешность Джозефа Белла. Правда, хирург сменил профессию, стал сыщиком и получил новое, вымышленное имя: Шерлок Холмс. Конан Дойл не хотел расставаться с полюбившимся героем, и через два года великий сыщик снова появился перед читающей публикой в повести «Знак четырех». Появился, чтобы всемирно прославить литературный талант молодого медика из Эдинбурга.

Знаем ли мы предшественников Шерлока Холмса в мировой литературе? Да, безусловно. Это детектив Дюпен — герой рассказов «Убийство на улице Морг». «Тайна Мари Роже», «Украденное письмо» американского писателя Эдгара По, давшего первые образцы жанра детективной литературы. И конечно, француз Лекок, созданный писателем Эмилем Габорио и действующий в его романах «Досье», «Преступление в Орсивале», «Лекок», «Рабы Парижа».

Обоих детективов — американского и французского — роднят с Шерлоком Холмсом могучий интеллект и методы исследования преступлений: тщательный осмотр места происшествия, кропотливый сбор улик, необыкновенное внимание к самым, казалось бы, незначительным мелочам, способность на основе собранных сведений выстроить безупречную логическую цепь умозаключений.

Но, читая Эдгара По или Габорио, вы никак не можете представить себе внешний облик героев, уловить за игрой их интеллекта простые человеческие черты. В отличие от своих предшественников Шерлок Холмс предстает перед читателем совершенно живым человеком. Мы не только ясно представляем себе, как он выглядит, но скоро постигаем и характер великого сыщика и, восхищаясь его выдающимися способностями и сильными качествами, тут же подмечаем и слабости. Эти слабости в натуре Холмса нас не отталкивают, а скорее умиляют, и мы склонны великодушно извинить их любимому герою.

Конан Дойл не просто показал через Шерлока Холмса безграничные возможности человеческого разума, не просто

популяризировал новые методы расследования преступлений. Он обогатил население планеты Земля еще одним человеком и сделал это так талантливо, что читатели всего мира дружно желают забыть о литературном персонаже и благодарно верить, что Шерлок Холмс — такой же, как они, живой человек.

Особое положение этого литературного героя в мире людей остроумно определил известный американский актер и режиссер Орсон Уэллс: «Шерлок Холмс — это человек, который никогда не жил, но который никогда не умрет». И действительно, вскоре после появления на свет Шерлок Холмс повел себя как живой человек не только в рассказах о его приключениях, но и в жизни. И здесь не было никакой мистики, просто сказалась живая сила литературного искусства.

Первым жизненность созданного им персонажа явственно ощутил сам писатель. К этому времени Артур Конан Дойл основательно забросил медицинскую практику и сделался профессиональным литератором. Он продолжал писать и публиковать книги о приключениях Шерлока Холмса, но им уже овладели другие замыслы. В глубине души писатель не считал свои сочинения на криминальные, или, как тогда говорили, «полицейские», темы делом всей жизни. Другое дело — исторические романы, научная фантастика! И Конан Дойл решает покончить с историями о частном детективе, проживающем на Бейкер-стрит, 221б.

В 1893 году в журнале «Стрэнд» появляется рассказ «Последнее дело Холмса», задуманный как последний рассказ о великом сыщике. По воле непримиримого противника — профессора Мориарти — и при сознательном попустительстве писателя Шерлок Холмс гибнет в Швейцарии в пучине Рейхенбахского водопада.

И тут Конан Дойл вынужден был убедиться, что даже он, автор, не может своевольно распоряжаться поступками, а тем более жизнью и смертью своего героя. На следующий день после опубликования рассказа толпы возмущенных, протестующих читателей двинулись по улицам Лондона — траурные повязки на рукавах, над толпой транспаранты с надписью:

«Конан Дойл — убийца».

Кажется, история мировой литературы не знает подобной читательской реакции на смерть литературного героя.

Почему же гибель Шерлока Холмса так задела людей за живое?

Фигура великого сыщика возникла в конце девятнадцатого столетия. Рушились еще недавно казавшиеся незыблемыми идеалы Викторианской эпохи. Новый век нес не только научно-

технические новшества, но и смену общественных отношений, предчувствие мировых катаклизмов: войн, революций. И на этом общем тревожном фоне высокая, худощавая фигура Шерлока Холмса поднялась гарантом надежности. Люди узнали, что в Лондоне, по адресу Бейкер-стрит, 221б, живет человек, к помощи которого можно прибегнуть в любой, даже смертельно опасной ситуации. И как бы ни складывались обстоятельства, Шерлок Холмс поможет терпящему бедствие, найдет единственно верное решение. Его крахмальный воротничок, трубка, прямой пробор, постоянство привычек располагали к нему, как к старому знакомому. Вместе с тем этот «добрый малый» был на «ты» с научно-техническим прогрессом, со всеми этими новыми «штуками», от которых головы шли кругом…

И такого человека писатель, его породивший, решил погубить! Вмешалась сама королева Виктория: ее величество отказывается верить в гибель Шерлока Холмса. Неужели победил этот закоренелый преступник, профессор Мориарти? Королева уверена, что великий сыщик не погиб. Это просто какая-то уловка с его стороны… Разве сэр Артур Конан Дойл другого мнения?

Исторические романы и научная фантастика были оставлены до лучших времен. Писателю пришлось изрядно ломать голову, прежде чем он обнаружил крошечный выступ скалы под струями водопада, укрепившись на котором Холмс, как оказалось, наблюдал последствия собственной гибели. Рассказ «Пустой дом» вернул читателям покой и надежду и… на всю жизнь связал Шерлока Холмса с его создателем. Последний рассказ о приключениях нашего героя был написан в 1927 году, а через три года Артура Конан Дойла не стало.

Едва мы произносим «Шерлок Холмс», с языка просится еще одно имя, неотделимое от первого, — доктор Ватсон.

Сразу же оговорюсь: современные переводчики записывают: «Уотсон». Такой побуквенный перевод этой фамилии мне представляется неверным. Во-первых, он все равно не дает более «английского» звучания имени доктора по сравнению с написанием «Ватсон»; во-вторых, он напоминает казусное написание другого английского имени — «Уильям» в сочетании с фамилией «Шекспир». Но если уж «Уильям», то тогда «Шейкспиа». Меня категорически не устраивает писатель «Уильям Шейкспиа». Предпочитаю, чтобы мои дети, внуки и правнуки читали в русском переводе великого английского поэта и драматурга Вильяма Шекспира.

А как же быть с написанием фамилии «Холмс», возразят знатоки, ведь в первых русских переводах друг «Ватсона» носил фамилию «Гольмц»?

Мне кажется, что необходимое изменение при уточнении фамилии великого сыщика вовсе не означает обязательного изменения фамилии доктора на «Уотсон». Итак, доктор Ватсон.

После показа в 1980 году на телевизионных экранах первой экранизации в Советском Союзе рассказов А. Конан Дойла «Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона» журналисты спрашивали меня, исполнителя роли великого сыщика:

— Как вы думаете, такое название сериала — намек на равноправие героев?

И я отвечал:

— Не думаю, а точно знаю! Иначе и быть не может, хотя Ватсона всегда трактовали только как тень Холмса. Даже Корней Иванович Чуковский не считал Ватсона живой фигурой, а отводил ему роль авторского комментария к Холмсу.

Здесь, я уверен, Корней Иванович заблуждался. Если и комментарий, то не авторский, а читательский. Холмс вызывает в докторе дружеские чувства, и так же дружелюбно настроен к великому сыщику читатель. Как и доктор Ватсон, читатель напряженно следит за увлекательной игрой великого ума, далеко не всегда угадывая логический вывод, а проследив — не может не восхититься.

Спутник великого сыщика безупречно угадан писателем: мальчишески наивный и романтичный, преданный и чистосердечный доктор Ватсон — первый в неисчислимой толпе самых горячих поклонников Шерлока Холмса, мальчишек всего мира. Все мальчишки на свете дружат с Холмсом через Ватсона. Он — их доверенное лицо в этих дружеских отношениях. Ватсон, как и они, хочет «быть Холмсом», пытается во всем подражать своему другу и постоянно терпит в этом поражение, которое так же неизменно оборачивается победой, ведь он прежде всего друг Холмса.

Художник Сидней Паже, приятель Артура Конан Дойла и первый иллюстратор приключений великого сыщика, изобразил доктора Ватсона симпатичным джентльменом с открытым, мужественным лицом, которому так идут аккуратно подстриженные «английские» усы под слегка вздернутым носом, со спортивной фигурой, рослым, но чуть ниже Холмса. Это «чуть ниже Холмса» очень важно для понимания образов обоих друзей, характера их взаимоотношений.

У них много общего: оба готовы прийти на помощь терпящим бедствие, оба делают это бескорыстно; оба милосердны к побежденному, не задумываясь, идут навстречу опасности во имя благородных целей. И оба — оптимисты. Но как сыщик Холмс — фигура выдающаяся, а Ватсон как врач зауряден. Вместе с тем

Ватсон обладает незаурядным талантом литератора. Ведь это его (а не Конан Дойла — по замыслу писателя) рассказами зачитывается весь мир. Это он, Ватсон, прославил имя Шерлока Холмса. Правда, фигура великого сыщика и его приключения — замечательный материал для литератора, но при одном условии: описывать великого сыщика надо если не гениально, то, во всяком случае, талантливо. И Ватсону, согласитесь, удается это. Верный друг Шерлока Холмса по-настоящему талантлив, и только постоянное присутствие рядом с Холмсом талантливого Ватсона дает нам возможность убедиться, что Холмс «чуть выше», то есть что он не просто талантлив — он гениален. А как друзья они ни в чем не уступают друг другу, это абсолютно равноценная мужская дружба. Будь доктор Ватсон просто «эхом», это обеднило бы и лишило человеческого обаяния и тот, и другой характер. Шерлок Холмс и доктор Ватсон — великолепный литературный дуэт, и было бы ошибкой думать, что держать втору проще, чем вести мелодию.

На мой взгляд, снижению образа Ватсона в восприятии нашего читателя могло способствовать одно внешнее обстоятельство: бытующее представление о докторе Ватсоне как о довольно пожилом толстяке. Естественно, рядом с моложавым, подтянутым Холмсом это не могло произвести выгодного впечатления. Сам я как читатель тоже долго находился в плену ложного представления, и вот почему: дело в том, что классические рисунки художника С. Паже никогда не сопровождали русские переводы А. Конан Дойла, зато книги, посвященные творчеству писателя, нередко иллюстрировались фотопортретом лысоватого немолодого человека с отечными щеками и жирным подбородком над туго застегнутым воротом английского френча. Подпись поясняла, что читатель видит английского военного врача (имярек), послужившего прообразом доктора Ватсона. Фотографический портрет этот мне попадался на глаза неоднократно. И вот однажды в дежурной подписи очередного издания появилась дата — год, в который портрет был сделан, — и стало ясно, что ничего общего между этой фотографией и тем доктором Ватсоном, с которым познакомил нас писатель, нет. Фотопортрет был сделан лет тридцать спустя после того, как появились рассказы А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Если и было в нем сходство с иллюстрациями С. Паже, то сходство с интервалом в добрых три десятка лет.

Кстати, кинорежиссер Игорь Масленников, утверждая актера Виталия Соломина на роль доктора Ватсона, руководствовался именно рисунками Сиднея Паже.

Мальчишкой, читая А. Конан Дойла, я, как и большинство

подростков, был в мечтах Шерлоком Холмсом. С тех пор прошло много лет. Когда мне, уже опытному актеру, предложили роль великого сыщика, я не то чтобы вспомнил свою мечту, я понял, что никогда с ней не расставался. Боясь растерять чудесный мир, оказывается, бережно хранимый в душе все эти годы, я не стал перечитывать Конан Дойла. Мне, мальчишке сороковых годов, выпала неслыханная удача: всерьез превратиться в Шерлока Холмса. Разве это не чудо?

«Только не перечитывать ни строчки, — твердо решил я. — Под взрослым, рассудочным взглядом хрупкая мечта может рассыпаться, исчезнет свежесть переживаний, детская вера в условия игры испарится…»

Само собой разумеется, играя «в Холмса», невольно станешь слегка иронизировать над собой юным. Но эта добрая ирония ничего не разрушит.

И только когда первые фильмы сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» прошли по экранам и мнение зрителей и критики было единодушно одобрительным, однажды вечером я решился раскрыть томик заветных рассказов Артура Конан Дойла. Прочел знакомый шрифт заглавия «Собака Баскервилей», пробежал глазами первые строчки, и только на рассвете закрыл книгу.

Великий сыщик оставался верен нашей дружбе все эти долгие годы. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и я снова пережили захватывающие приключения.

А в сентябре 2003 года произошло волнующее и знаменательное событие, имеющее прямое отношение к моему герою. Вот как писала об этом «Слово» — одна из лучших московских газет:

«Фойе гостиницы “Космос”… В пестрой снующей толпе выделялась одна группа иностранных туристов. Ее просто нельзя было ни с кем спутать. Державшиеся на особь люди — мужчины и женщины, европейцы и японцы — красовались в клетчатых каскетках а-ля Шерлок Холмс на головах, у некоторых во рту были трубки. В Москву приехали члены общества поклонников и почитателей Шерлока Холмса. Специально для того, чтобы встретиться с народным артистом России Василием Ливановым, исполнителем главной роли в популярнейшем советском сериале 80-х годов. Который, кстати, не сходит с наших телеэкранов вот уже без малого четверть века.

Возгласы, приветствия, представления, вспышки теле- и фотокамер… Группу привез в Россию президент английского общества любителей Шерлока Холмса Филип Уэллер.

Неудивительно, что группа поклонников всемирно известного

детектива приехала в Россию на встречу именно с Ливановым — экранизация произведений о Холмсе режиссера Масленникова считается одной из лучших в мире, а ливановское воплощение Холмса объявлено эталонным.

Объяснений может быть несколько. Ну, во-первых, Ливанов и Соломин — удивительно слаженный дуэт в высшей степени талантливых актеров, красавцев-мужчин, затмивших самых известных исполнителей роли знаменитой пары. Байроновская, чуть отдающая холодом, внешность Ливанова покорила большинство поклонников саги о Шерлоке Холмсе своей аристократичностью, английской сдержанностью, в которой хорошо заметна игра аналитического ума. Во-вторых, мало кому удается так, как русским, перевоплощаться в классические типажи других народов, не делая их при этом ни ходульными, ни карикатурными. Достоевский не зря говорил о всемирной отзывчивости русского народа. В-третьих, русские актеры, прежде всего, конечно, Ливанов и Соломин, очеловечили образы главных героев, сделали их мягче, привлекательней, чем они были у самого автора в английском оригинале. Окрасив их к тому же мягкой иронией, улыбкой. В этом, наверно, секрет неувядающего обаяния русского экранного прочтения знаменитых рассказов.

Гости вручили Василию Борисовичу Ливанову диплом, который удостоверяет, что отныне популярнейший русский актер является «почетным членом общества почитателей Шерлока Холмса».

И вот какой совет хочется дать на прощание: помните, вас всегда ждет на Бейкер-стрит, 221б, ваш друг Шерлок Холмс!

# Воспоминания и впечатления

# Гори, гори, моя звезда (Евгений Урбанский)

Кажется, это было первое солнечное утро той весны.

На освещенном склоне сопки четко вырисовывались стволы кедров и тени под ними. На съемку ждали Урбанского. Он закончил работу в театре и вылетел из Москвы.

Из лагеря киноэкспедиции за ним ушла машина. И конечно, как всегда в кино, с корабля на бал: вылез из машины и немедленно включайся в работу.

Мы репетировали, когда заметили высокую фигуру человека на склоне.

Человек свергался к нам вниз. Не спускался, не сбегал, а именно свергался, как водопад.

Вот он ловко перепрыгнул через прелые бревна и подошел. Широкоплечий, тяжело грациозный. Громыхнул:

— Здравствуйте!

Здравствуйте! — эхом ответила тайга и сопки, и мы все, почему-то заулыбавшись, ответили:

— Здравствуйте!

Так начался для меня Урбанский.

В фильме «Неотправленное письмо» есть эпизод, где проводник Сергей бьет Андрея, неправильно истолковав его слова о любимой. Три удара, и я — Андрей — должен лететь с бревна в воду.

— Что, правда, бить? — недоумевал Урбанский. — Я не буду…

Его уговаривали, сердились. Наконец Урбанский сдался.

Мы встали рядом на скользком бревне над потоком. Началась съемка.

Мы встретились глазами. Но не взгляд взбешенного Сергея встретил меня. На меня смотрели страдающие глаза. Пауза. Женя неловко ткнул меня в плечо, в шею. Снова пауза, и я, возможно эффектнее, плюхнулся в поток.

— Никуда не годится! Сначала! — закричал Михаил Константинович Калатозов.

Быстро просушили над костром мою одежду, и мы снова — на бревне. Все повторяется сначала.

В горных реках вода и летом ледяная, а уж весной подавно. Просушивая одежду после четвертого дубля, я сказал Урбанскому, что, если мы сейчас же не снимем хороший дубль, я схвачу воспаление легких. Это возымело действие. Я полетел в

поток, не заботясь об эффектности падения.

После съемки Женя спрашивал меня:

— Не больно? Ну правда не больно? — и просил: — Ну стукни меня хоть раз, ну правда. А то я тебя пятнадцать раз стукнул, а ты меня ни разу. Ведь обидно, правда?

У него часто проскальзывало это слово — «правда».

Он с почти детской верой и простодушием отождествлял себя со своими героями, жил их переживаниями, мучился от малейшей фальши, громко радовался удачам.

Как-то на съемках Татьяна Самойлова рассказывала режиссеру о том, как задумала провести эпизод своей героини:

— …Она будет сидеть и рыть землю руками, вот так, а потом разожмет кулак и увидит — алмаз. Она тогда откинется назад и будет плакать…

Урбанский, прислушиваясь к разговору, вдруг раздраженно сказал:

— Хорошо, она будет плакать. А ты в это время что будешь делать?

Он отдавал всего себя исполняемой роли. Он принес в искусство жизнелюбие, застенчивую нежность, нетерпимость к ханжеству.

И неудивительно, что в первой же своей роли в кино Урбанский получил широкое признание зрителей.

В городе Кызыле, где проездом была наша киноэкспедиция, шел фильм «Коммунист». Урбанский позвал меня в кинотеатр.

— Давай посидим, посмотрим. Не на меня, чудак, на публику. Ведь интересно.

Весь сеанс он мешал мне. Гудел в ухо:

— Плохо у меня, смотри, плохо… Не так тут надо было… А это ничего, получилось… А сейчас будет кадр, где я руки забыл помазать. А тут хорошо… смотри, хорошо стою, как олень…

Это была сцена любовного свидания, где он, правда, стоял хорошо и, правда, как олень.

Он не дал мне досмотреть фильм до конца, потащил к выходу:

— Ну уже все, уже конец. Сейчас свет зажгут.

И когда мы шагали по ночным улицам, сказал:

— Зажгут свет, увидят меня и подумают: пришел, смотрит, сам себе нравится.

Над Енисеем колышется жаркое марево. После съемок мы возвращаемся в Дивногорск на бойком буксирном катере. За кормой, исходя белой пеной, ярится бурун.

— Знаете что, парни, — предлагает Иннокентий Смоктуновский. — На пристани удобные мостки. Приедем —

искупаемся.

— Зачем мостки? Здесь искупаемся.

Урбанский быстро разделся и, оттолкнувшись от кормы, бросил свое сильное тело прямо в клокочущий бурун. Это было красиво, это было здорово, черт возьми!

— Рисуется Урбанский! — заметил кто-то. Неправда! Урбанский не рисовался. Он озорно радовался жизни во всех ее проявлениях, любил, чтоб захватывало дух.

Крупные сильные руки с гибкими пальцами держат гитару.

Женя перебирает струны лениво, как бы нехотя. Начинает наигрывать какой-то веселый мотив, мы вполголоса подпеваем и умолкаем.

Поздний вечер. Мы уже (в который раз!) спели все песни и частушки собственного сочинения. А ведь завтра рано вставать. Но никто не расходится. В крохотном купе лагерного вагончика тесно, мы сидим плечом к плечу на жестких койках. Только вокруг Жени немного свободного пространства: ведь в руках у него гитара.

Аккорд, еще аккорд… Гори, гори, моя звезда!

Женя поет полным голосом. На этот раз никто не подпевает. Это должен петь только он, так может петь только Урбанский.

— Гори, гори, моя звезда!..

Урбанский первым уезжал из экспедиции. Собираясь в дорогу вдруг предложил мне:

— Хочешь, я тебе свою рубаху подарю? Просто так. Я уезжаю, а тебе еще тут работать.

И когда я принял подарок, он обрадовался и уверял, что рубаха мне невероятно к лицу. В общем, вел себя так, будто не он мне сделал подарок, а я ему.

Его провожали по таежной традиции залпами из ракетницы и охотничьих ружей. Он легко забросил чемодан в кузов грузовика, хлопнул дверцей кабины. Взревел мотор.

И сразу в вечернее небо одна за другой взвились ракеты: зеленая, красная… Грянул прощальный залп.

Женя, высунувшись из окна кабины, смеялся и махал нам рукой.

Ах, Женька, Женька… Много было вместе перепето песен, много перетоптано дорог, много переговорено и перемолчано вместе.

И ни разу я тебе не сказал, что крепко люблю тебя. Не сказал по глупой нашей привычке все переводить в шутку.

Подняв к небу стволы, салютую тебе.

Огонь! Огонь!

И плывет перед глазами твое смеющееся лицо.

# Михаил Константинович

Лагерь таежной киноэкспедиции по фильму «Неотправленное письмо» расположился на берегу лесной речки Ус в строительных вагончиках. Художник Давид Виницкий занимал один отсек такого вагончика вместе с режиссером Михаилом Константиновичем Калатозовым.

Вскоре художник пожаловался мне:

— Представляешь, я каждое утро просыпаюсь от того, что Калатозов на меня упорно смотрит. И как только открываю глаза, он вместо «доброго утра» задает один и тот же вопрос: «Ну что?» Он меня с ума сведет!

Узнав Михаила Константиновича еще в Москве во время долгих бесед и репетиций и помня кое-какие рассказы о нем, я высказал Виницкому свою догадку: мне кажется, что Калатозов требовательно желает, чтобы с ним самим и с людьми вокруг него беспрерывно что-то обязательно происходило, даже во сне, и чтобы это «что-то» было приключенческим, захватывающим, психологически сложным, романтическим, героическим и лиричным… Виницкий признал мою догадку верной, повеселел и успокоился. Михаил Константинович действительно хотел бы быть в эпицентре самых значительных мировых приключений. Не будучи в состоянии в полной мере осуществить такое свое желание в реальной жизни, он сам создавал на экране и вокруг себя атмосферу и обстановку приключения, без которого чувствовал себя несчастным.

Кинематограф, как никакой другой вид искусства, дает к этому возможности. Ну где еще можно с запланированным риском и за сравнительно короткое время то пробираться через горящую тайгу то погибать от холода за Полярным крутом? Думаю, что именно страсть к приключениям сыграла решающую роль в выборе Калатозовым профессии — сначала оператора (фильм «Соль Сванетии»), а потом режиссера кино. Не надо было дожидаться вопроса «ну что?» — Михаил Константинович с наивной доверчивостью всегда готов был выслушать самые невероятные истории. Из этой совершенно мальчишеской черты в характере Калатозова оператор фильма Сергей Урусевский устроил себе забаву.

— Васька, — подбивал меня Сергей Павлович, — прошу тебя, подойди к Мишако (так в группе называли между собой Калатозова) и расскажи ему какую-нибудь историю… Ну, прошу тебя!..

— Знаете, Михаил Константинович, вчера пошли мы с Женей

Урбанским в тайгу… — начинал я импровизировать историю, еще не зная, чем она закончится, — и вдруг смотрим — косуля…

— Ну, ну… — нетерпеливо торопил Михаил Константинович.

— Женя выстрелил, косуля упала… и вдруг из бурелома вылезает медведь… огромный!

— Подожди! — Калатозов хватал меня за рукав. — Идите сюда! Все сюда! Вася рассказывает такое…

Со всех сторон нашего лагеря подходили слушатели. Приходилось повторять историю с начала и не раз, разукрашивая ее новыми подробностями.

— Мы с Женей затаились: жаканов-то против медведя у нас не было, только картечь… а медведь, представляете, схватил косулю, взвалил ее на плечо и пошел… как человек…

— На плечо? Колоссально!! — Восторгу Михаила Константиновича не было предела. — Пошел как человек? Грандиозно!!!

Слушатели, в основном бывалые мужики, конечно, понимали, что я отчаянно вру. Но из уважения к восторгам режиссера сочувственно крутили головами, даже не перемигивались.

В конце подобных историй Михаил Константинович, подумав, обычно спрашивал меня:

— А ты не врешь?

Я таращил глаза и разводил руками. Слушатели быстро расходились. Так я никогда и не узнал, поверил хоть одной моей невероятной истории Калатозов или нет. Но твердо знаю, что хотел бы поверить. Во всяком случае, у Жени Урбанского правдивость моего рассказа не проверял.

Впрочем, Калатозов и в жизни не был обойден приключениями, которые, наподобие своих фильмов, создавал сам. В послевоенный год Михаил Константинович был назначен представителем советского кино в Голливуд (была тогда такая должность!). Калатозов был холост, а по существующему протоколу любой советский представитель за границей должен был быть женатым человеком. Калатозов позвонил известной ленинградской театральной актрисе, с которой был едва знаком и которая к тому же была замужем. Но режиссерский глаз Калатозова сумел разглядеть в актрисе родственную душу: любительницу экстремальных приключений. На предложение Михаила Константиновича отправиться с ним на два года в Голливуд в роли его жены актриса ответила согласием. В Голливуде якобы муж и якобы жена не долго тяготились семейными обязательствами. Рассказывали, что красавец Михаил Калатозов очень скоро закрутил роман со звездой тех лет Бетт Девис. Актриса же переживала свои собственные романтические

увлечения.

По возвращении на Родину они расстались «без слез, без сожалений». Актриса вернулась в Ленинград, где была прощена и принята все еще любившим ее законным мужем.

Можно предположить, что такой экстрим с участием видного режиссера, красавца-грузина развлек Вождя. А возможно, и по каким-то другим причинам приключение осталось без дурных последствий.

Михаил Константинович Калатозов поставил такие известные фильмы, как «Валерий Чкалов», «Верные друзья», «Красная палатка» и, конечно, «Летят журавли», которые принесли ему всемирную известность. Фильмы эти очень разные, и даже трудно порой представить, что веселую комедию о трех немолодых друзьях, собравшихся однажды отдохнуть на плоту, мог создать тот же режиссер, что воплотил эпопею о ледовом подвиге Нобиле. А эту картину, в свою очередь, трудно сопоставить с пронзительной лирикой «Журавлей». И тем не менее, как это ни странно, делал их один и тот же человек — Михаил Калатозов, — режиссер в высшей степени разнообразный, но всегда страстный, увлеченный, всегда молодой. Михаил Константинович был убежден, что игра актера, его переживания будут неполноценными, если он как человек не ощутит просто физически весь вкус «предлагаемых обстоятельств».

В «Неотправленном письме» мы по-настоящему горели в пожарах, по-настоящему изнывали под настоящей тяжестью геологического груза, по-настоящему захлебывались в ледяной воде лесных рек. В таежную экспедицию почти все мужчины взяли охотничьи ружья. И конечно же Михаил Константинович! На берегу речки Ус Калатозов «пристреливает» свое ружье. Я высоко подбрасываю пустую консервную банку. Бац!.. Мимо… Бац-бац!.. Мимо. Меняемся ролями.

Выстрел, и пробитая дробью банка падает на землю.

— Это ты случайно, — огорченно говорит Калатозов, — давай повтори.

— Не хочу вас огорчать, — нахально отвечаю я и, закинув ружье за плечо, притворно лениво ухожу в свой вагончик.

Ружейная пальба продолжается.

Через некоторое время что-то с грохотом влетает ко мне в окно и катится по полу. Пробитая банка! В окне сияющее прекрасной белозубой улыбкой лицо Михаила Константиновича.

— Попал! — Сколько мальчишеской гордости в этом «попал»!

— Поздравляю. Когда поохотимся?

— Не знаю. Я истратил все патроны.

Дорогой Михаил Константинович! В искусстве вы не дали ни

одного промаха и были неподражаемы в своих приключениях, прекрасны, незабываемы!

# Встреча с Раневской

После успеха мультфильма «Малыш и Карлсон» на киностудии «Союзмультфильм» решили делать продолжение — «Карлсон вернулся».

Режиссер Боря Степанцев почему-то вбил себе в голову что персонаж домоправительницы фрекен Бокк должен говорить только голосом Фаины Георгиевны Раневской. Даже настоял, чтобы художник Юра Бутырин изобразил домоправительницу максимально похожей на знаменитую актрису.

Но одно дело захотеть, а совсем другое — заполучить согласие Раневской на работу в мультфильме, особенно когда выяснилось, что актриса никогда в такого рода творчестве участия не принимала.

Теперь успех зависел только от «переговорщицы»! Эта нелегкая задача выпала на редактора фильма Раечку Фричинскую. Оказалось, что Фаина Георгиевна «Малыша и Карлсона» уже видела на телеэкране и особенно отметила мою актерскую работу. Дальше Раечка пустила в ход свое очарование, и в результате было назначено совершенно конкретное время озвучания, а именно «Завтра, в два часа дня».

Это «завтра» застало режиссера Бориса Степанцева врасплох. Боря вышел в режиссеры из художников совершенно самостоятельно, режиссерские навыки постигал опытным путем, а работу с актерами строил на полном взаимном доверии.

Но тут — Раневская! Нельзя же ей сказать: «Ты, мол, давай, а я по ходу дела скажу, что мне понравилось, а что не понравилось».

Боря впал в панику. Он бросился в театральную библиотеку, записался на абонемент и набрал домой книг, о которых раньше знал только понаслышке: «Работа актера над собой» К. С. Станиславского, «В. И. Немирович-Данченко на репетиции», «Театр Вс. Мейерхольда» и черт знает что еще. Всю ночь, не смыкая глаз и поддерживая себя крепчайшим кофе, Боря штудировал труды патриархов и корифеев театральной режиссуры, выписывая на бумажку наиболее поразившие его профессиональные откровения, и продолжал делать это и утром, пока не наступило время ехать на студию. В общем, Боря оказался в положении закоренелого двоечника, который сидит за учебниками в последнюю ночь перед государственным экзаменом и молит Бога о том, чтобы вытащить самый легкий билет.

Но билет-то был всего один и совсем не легкий — Раневская.

И вот пробил назначенный час, и в просторное помещение

тонателье вплыла, покачиваясь, монументальная фигура прославленной актрисы. Раечка, пользуясь телефонным знакомством, представила собравшихся. Собственно, собравшихся было двое: я и Боря Степанцев — режиссер. Да еще звукооператор, отгороженный толстым витринным стеклом, через которое было видно, что он вежливо привстал со стула.

Когда звуконепроницаемая дверь тонателье за Раечкой закрылась, Фаина Георгиевна величественно наклонила голову в сторону режиссера (Степанцев был невысокого роста) и протяжно произнесла:

— Нууу…

И тут Боря ударил фонтаном. Кто видел, как запускают фонтан в действие после долгого зимнего перерыва, когда вода со свистом ударяет ржавой струей на немыслимую высоту, тот сможет оценить сравнение. Все сведенья, которыми Боря набивал свою переутомленную голову всю ночь и большую часть утра, теперь вырвались на свободу, немыслимо перепутавшись в еще никем не слыханную теорию работы с актером. Боря от природы слегка закашивал одним глазом, а тут зрачки его совершенно разъехались по обе стороны лица, и было заметно, что Раневская пытается поймать его взгляд, но ей это никак не удается.

— Ну, вот что, — вдруг произнесла Фаина Георгиевна, когда фонтан несколько иссяк, — мне карманный Немирович-Данченко не нужен! Идите вот туда, — ее палец указал в сторону звукооператорской рубки, — и смотрите на нас из этого аквариума. А мы с Василием Борисовичем начнем работать.

Режиссер Степанцев безропотно отправился в «аквариум», и я видел через стекло, как он достал из кармана какую-то бумажку, украдкой заглянул в нее и быстро сунул обратно в карман. Понял, что шпаргалка не поможет.

Партнерский контакт между нами с Фаиной Георгиевной установился мгновенно.

— Это вы сами придумали «день варенья»? Я сразу поняла — импровизация. Шалунишка…

Через некоторое время режиссер пришел в себя и стал выкрикивать в микрофон: — «Прекрасно!» или «Замечательно!» Наверное, искал способы профессионально реабилитироваться.

Когда дошли до единственной реплики фрекен Бокк о возможном приезде к ней телевидения, Фаина Георгиевна призналась, что на работников телевидения за что-то сердита и хотела бы их немного «уесть». Придумали так:

*Раневская:* Сейчас ко мне должны приехать телевизионные деятели искусств. Что же я им буду показывать?

*Я:* А я? А меня? Ведь я красивый, в меру упитанный мужчина,

в полном расцвете сил!

*Раневская:* Но на телевидении этого добра хватает!

*Я:* Но я же еще и талантливый!

Озвучание закончили довольные друг другом. Режиссер Степанцев вынырнул из своего «аквариума» и попросил Раневскую завершить роль словами «Милый… милый…».

— Это еще зачем? — строго вопросила Фаина Георгиевна. — Я же это уже говорила, давно и в другом фильме. Не буду! — И потребовала у Бори Степанцева принести ей лист бумаги, на котором написала:

> «Милому Василию Борисовичу от его партнерши, с большой искренней симпатией и с ожиданием новой встречи!
>
> *Ф. Раневская*
>
> *весна 70 года»*

В финале мультфильма Фаина Георгиевна все-таки говорит: «Милый… милый…»

Эти слова после долгих уговоров талантливо сымитировала «под Раневскую» редактор Раечка Фричинская. Говорили, что Фаина Георгиевна, посмотрев мультфильм, подделки «не заметила». Думаю, ей стало жаль, что так сурово обошлась с режиссером.

# Рина

Раздается телефонный звонок, и я слышу знакомый, такой любимый с детства голос:

— Извините, что я вас застала.

Этой, придуманной ею фразой, Рина Васильевна Зеленая обязательно начинала любой телефонный разговор.

Окружающих порой удивляло, когда некоторые молодые люди называли ее не по имени-отчеству, а запросто — «Рина». Но такое обращение к ней Рина установила сама. Люди, которые познакомились с Риной Васильевной еще в своем детском возрасте, должны были называть ее просто «Рина», но на «вы». На «ты» ее звал только Никита Михалков, которого Рина Васильевна знала буквально с его рождения. Зачем она изобрела такую классификацию для обращения к ней — мне неизвестно. Я был подростком, когда моя мама представила меня Рине Зеленой:

— Это Вася, ему десять лет.

— Десять лет! — воскликнула Рина. — Женя, дорогая, вы не успеете оглянуться, а у него уже вырастут усы.

В течение многих лет при каждой новой встрече Рина спрашивала меня:

— А где усы? Я же обещала твоей маме, что у тебя моментально вырастут усы!

Я давно ношу усы и, может быть, подсознательно, благодаря Рининым настояниям.

Она любила изобретать всякие неожиданные фразочки «по случаю». Многие из них быстро утрачивали авторство, становились, как говорила Рина, «местами общего пользования».

На киносъемках часто можно услышать:

— Кого ждем — сами себя задерживаем!

Говорящие это даже не подозревают, что повторяют Рину Зеленую.

Эти веселые фразочки Рина вносила в тексты своих ролей: «У меня от вас каждую минуту разрыв сердца делается» или «такие губы сейчас не носят» и тому подобные.

Еще Рина сочиняла уморительно смешные стихи. Так, для себя. Помню последние строчки стихотворения о кузнечике, которое она как-то продекламировала:

Зелененький кузнечик
Кузнечик молодой,
Скачи скорей, кузнечик,
Скачи к себе домой!

В саду летают птички,
Все на тебя глядят.
И ведь никто не знает,
Когда его съедят.

Ее реакция на происходящее всегда была неожиданна, юмор — неподражаем.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» снимались на киностудии «Ленфильм». Актеры-москвичи жили в гостинице. Как-то Рина позвонила из своего номера, чтобы узнать, какая сцена намечена к завтрашнему дню. Я ответил, что не знаю, мне никто не говорил.

— В этой группе, — сказала Рина, — ничего никому никогда не говорят. Пора брать «языка».

В ней жила огромной силы вера, что, несмотря ни на какие превратности жизни, все равно «все будет хорошо». И саму себя она представляла непременным участником этого «все хорошо».

Однажды, после запоздниившейся съемки, мы с Риной спешили на вокзал к московскому поезду. Маленький студийный автобус мчался по пустому в этот час Невскому проспекту, прихваченному мартовским ледком. Я сидел спиной к водителю. Рина устроилась в самом конце салона, напротив прохода. Вдруг из переулка вылетело такси и ударило наш автобус в бок. Удар был такой силы, что Рину выбросило из сиденья, она пролетела весь автобус и рухнула ко мне на колени, обхватив мою голову руками. И что она в этот момент выговорила?

— Спокуха — я с вами!

Книгу своих воспоминаний «Разрозненные страницы» Рина Васильевна Зеленая надписала мне так:

«Все в порядке, мистер Шерлок Холмс? Рина Зеленая, XX век».

Все в порядке, милая Рина. Все будет хорошо. Только без Вас временами так грустно!

# О Мартинсоне

У нас, мальчишек сороковых годов, наверное, самым любимым фильмом был «Подвиг разведчика». Чтобы лишний раз посмотреть этот фильм, прогуливали школьные уроки.

Все реплики персонажей знали наизусть: «За победу! — и после паузы: — За нашу победу!» или: «Вы болван, Штюбинг!» Произнесите сейчас в любой компании лысых, седовласых мужчин любую реплику из этого фильма, и кто вам откликнется другой репликой (а откликнется обязательно), тот человек — мальчишка нашего поколения. Но не менее популярным, чем победительный герой-разведчик в исполнении Павла Кадочникова, был глупый и наглый фашистский адъютант Вилли, которого блистательно играл Сергей Мартинсон. Острая сатира, доведенная до гротеска, в сочетании с жизненной органичной правдой поведения — такое актерское исполнение отличало редкую индивидуальность, мастерский стиль Мартинсона.

А бесноватый фюрер в «Бравом солдате Швейке»? а телеграфист Ять в чеховской «Свадьбе»? или продавец пиявок Дуремар из «Золотого ключика»… Любое появление артиста на экране неизменно вызывало зрительский восторг.

Мне довелось сотрудничать с Мартинсоном на съемках фильма «Ярославна, королева Франции». Я играл роль бродячего рыцаря Бенедиктуса, Сергей Александрович — духовника французского короля Генриха, посланного сопровождать в Париж королевскую невесту, дочь князя Ярослава.

И хотя сцен, связанных с тесным общением между нашими персонажами, не было — мы подружились.

Выяснилось, что Мартинсон был не только в приятельских отношениях с моим отцом, но когда-то, на заре нашего кинематографа, снимался еще в немом фильме «Восстание рыбаков» вместе с моим дедом — Николаем Ливановым.

Именно из этого обстоятельства Сергей Александрович создал для меня неожиданную, так сказать, проблему. Как оказалось, мы с Мартинсоном живем в Москве на одной улице, и дома фактически стояли почти напротив друг друга. Сергей Александрович жил в маленькой двухкомнатной квартирке один, спать ложился по возможности рано, спал мало, и начинал новый день часов с четырех утра. Поэтому время к семи часам утра казалось ему серединой дня и предназначенным, по его мнению, для активного общения. Если вы привыкли ложиться спать далеко за полночь (это мое расписание) и в семь утра у вас над ухом начинают раздаваться настойчивые телефонные звонки, то вы

меня поймете.

При первом таком звонке, ворвавшемся в мой сон, я подумал, что кто-то ошибся номером, потом, что случилось какое-то тревожное событие… С бешено колотящимся сердцем я схватил телефонную трубку и услышал:

— Это говорит человек, который снимался с вашим дедушкой. Ну, когда собираетесь прийти ко мне в гости?

Такие телефонные звонки повторялись если не ежедневно, то раза два-три в неделю. К их тревожной неожиданности я так и не смог привыкнуть.

О Сергее Мартинсоне, о его жизнеутверждающей энергии и озорном лукавом юморе можно вспоминать бесконечно…

Но я бы хотел поделиться только одним эпизодом из его жизни, по-моему, наиболее остро характеризующим Мартинсона.

У Сергея Александровича было две дочери. Младшая жила со своим мужем в Москве и часто навещала отца. Старшая дочь от первого брака еще в тридцатых годах вышла замуж за иностранца и уехала с ним в Америку. Там она вскоре стала известна как талантливый и успешный художник-дизайнер. Родила детей, вывела их «в люди», пошли внуки. Ко времени, о котором я пишу, в семье уже росли правнуки Сергея Александровича. Фотографии семьи его дочери, детей, внуков и правнуков вперемежку с ее картинами украшали стены дома Мартинсона, толпились в рамках на столике.

После войны «американская» дочь ежегодно посылала Сергею Александровичу приглашения посетить ее в ее просторном и красивом доме в Америке.

Не знаю, какие уж предлоги находили наши «компетентные органы», но Сергея Александровича Мартинсона, известного артиста, а также сына бывшего петербургского фабриканта, владельца знаменитой карандашной фабрики «Мартинсон и К°», за границу не выпускали.

Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

В начале семидесятых годов, когда индивидуальные выезды за рубеж уже перестали быть редким исключением, пришло очередное приглашение от дочери, подкрепленное письмом государственного секретаря (т. е. министра иностранных дел) США господина Венса. Отделаться простыми отговорками стало невозможно. Сергея Александровича попросили посетить иностранный отдел ЦК КПСС. Очень вежливые люди усадили Мартинсона в удобное кресло, предложили: чай? кофе? ваше любимое белое вино? — и открыли перед народным артистом государственную душу, полную сомнений.

А сомнения были такие:

— Вы, Сергей Александрович, народный артист советской страны, популярный и любимый и взрослым и детским зрителем, всенародно любимый. Мы, конечно, знаем, что ваша дочь ежегодно вас приглашает, а вы все не едете… И представьте, наконец, на этот раз вы выезжаете. Ваша прекрасная дочь встречает вас в своем просторном, благоустроенном доме, вас окружают ваши внуки… да что внуки — правнуки!!! Все выражают вам свою любовь, пытаются угадать и исполнить любое ваше желание…

Мы знаем по вашей переписке — простите, служба! — что вы не утратили любовь к своей дочери, живо интересуетесь ее жизнью и работой, хотели бы приласкать молодое поколение! Но вам уже много лет, дорогой Сергей Александрович, восьмой десяток… Неудивительно, что вы можете расслабиться в этом теплом, родственном окружении и подумать: «Зачем мне возвращаться? Лучше я доживу свою жизнь в этой милой моему сердцу семье». И останетесь, там останетесь! Вы ведь знаете, какие у Советского Союза на данный момент отношения с Америкой? Представляете, какой вой поднимется в прессе, по телевидению?! Народный артист Советского Союза, любимый нашим советским зрителем Сергей Мартинсон не желает возвращаться в Советскую Россию! Даже страшно подумать, Сергей Александрович, дорогой…

И все инструкторы иностранного отдела ЦК уставились на Мартинсона несколькими парами напряженных глаз.

Народный артист Мартинсон выдержал эффектную паузу. А потом заговорил:

— Молодые люди, — сказал Сергей Александрович, — вы совершенно правы — я стар, очень стар. Я прожил большую жизнь в своей стране, много повидал, ох, как много. Было и плохое, и хорошее. Но больше хорошего. Никто не знает своего часа, но скажу вам, положа руку на сердце, единственное, что я бы еще хотел, — это умереть на Родине!

Инструкторы, сияя улыбками, вызвали машину, гурьбой провожали Мартинсона и клятвенно пообещали, что его поездку в Америку они оформят очень быстро, только бы Сергей Александрович был здоров.

Когда растроганные инструкторы вернулись в отдел, они живо обсуждали искренний патриотизм народного артиста и громко умилялись. И вдруг один наиболее опытный сказал:

— А вот интересно, товарищи, Мартинсон хочет умереть на родине. А где он родился?

Затребовали личное дело народного артиста, заглянули: «В Париже!!!»

Уж что там в этот раз наврали господину Венсу — неизвестно. Но каков Мартинсон?

# Люди и куклы

*«Борис Ливанов был моим другом, и я рад, что Василий Борисович опять мой друг».*

*С. Образцов, 1981 год*

*(надпись на книге «Театр кукол»)*

Когда-то я попросил К. И. Чуковского сделать авторскую надпись на книге «Чудо-дерево» для моей пятилетней дочки.

— Настя, смотри, это тебе написал Чуковский. Знаешь, кто это — Чуковский?

— Знаю, — ответила девочка, — так называются очень хорошие стихотворения.

По-моему, исчерпывающе верный ответ. А как называется необыкновенно привлекательный театр на Садовом кольце; эти населенные забавными зверюшками чудо-часы, которые отсчитывают время нашего детства? Как называются эти широкие мраморные лестницы, на площадках которых в просторных аквариумах плавают сказочные золотые рыбки, этот театральный буфет (такой вкусный!), где среди зелени листвы поют и порхают птицы? Как называется это волшебство, когда в зрительном зале вдруг раздвигается сплошная деревянная стена, и маленькие живые человечки (разве куклы?) заставляют нас плакать и смеяться?

Сергей Образцов — вот как все это называется. В образах удачливого Емели или бесстрашного Маугли, благородного Аладдина или наивного Бегемотика он однажды поселяется в детском взволнованном сердце и остается там на всю жизнь.

Вот уж чего никогда не предполагал, что мне выпадет счастье сотрудничать с ним… Разве можно сотрудничать с убегающим поворотом знакомой улицы, с шумом листвы? Оказывается, можно.

Этим неожиданным сотрудничеством я обязан одной замечательной женщине. Образцов именовал ее «Эльже». Загадочная эта аббревиатура заключалась в двух буквах «л» и «ж» и расшифровывалась как «любимая женщина». И действительно, Алину Спешневу — главного художника образцовского театра невозможно было не полюбить.

Она сразу же, с первого знакомства, оставалась в вашей

памяти. В ее внешности не было ничего модного, типичного, банального, ничто не соответствовало представлениям о женской красоте, выработанным образцами современного кинематографа. Словно сошла она с живописных полотен старых мастеров: тонкие, несколько удлиненные черты ясного лица, тяжелая медная коса, собранная в тугой узел на затылке, неторопливость походки и жестов, выражавших внутреннюю строгую сосредоточенность и спокойное чувство собственного достоинства.

В дальнейшем общении с «Эльже» это внешнее привлекательное впечатление только укреплялось ее доброжелательной отзывчивостью, располагавшей к доверию, и живым чувством юмора.

В нашу молодую шумную и разнохарактерную компанию людей искусства она, вместе со своим мужем Николаем Серебряковым, художником и режиссером, вошла сразу. Их гостеприимный дом стал для нас желанным местом общих дружеских встреч.

Для нас она была Алена — так звал ее муж. Мы все дружески любили нашу Алену, любовались ее красиво очерченным профилем, смотрели в чудесные зеленые глаза, но, и это достоверно, никому из мужчин в нашей веселой компании никогда не приходило в голову за ней, как говорится, «приударить». И не только потому, что она была замужем за нашим другом. По моему разумению, Алена принадлежала к тому, в наше время исчезающему, типу женщин, которых средневековые рыцари тайно выбирали своими «дамами сердца». Общение с такого рода «дамами» всегда требует внешней, а главное, внутренней подтянутости, не дай бог, ударить лицом в грязь: хочется острить без пошлостей, поглубже прятать свой дурной характер, стараться не перебирать лишнего в бурном застолье, — короче, совершать над собой постоянные, хотя бы маленькие усилия, если нет возможности блистать большими подвигами.

Внезапная трагическая кончина этой замечательной женщины потрясла всех, кто имел счастье знать ее, хотя бы мимолетно. Сквозь слезы вижу зал образцовского театра, наполненный знакомыми и незнакомыми людьми, потерянные лица дорогих друзей и седую голову Сергея Владимировича Образцова, низко склоненную над гробом «Эльже», укрытым живыми цветами.

Но вернемся на двадцать пять лет назад. Образцов пожаловался своей «Эльже», что не знает никаких «молодых — талантливых», которых можно было бы привлечь к написанию музыкальной пьесы на давно не дающую ему покоя тему Дон

Жуана. Алена предложила своих друзей, т. е. меня и Гладкова — драматурга и композитора. Так мимоходом брошенная жалоба Сергея Владимировича обрела реальность. И, замечу, Образцов мог пренебречь любой рекомендацией, но только не предложением «Эльже».

До знакомства я никогда не бывал на сольных концертах Образцова, но, конечно, много раз видел его на телеэкране, запомнил кое-какие шаржи на него, читал его статьи и статьи о нем в прессе. Короче, у меня сложилось о Сергее Образцове вполне определенное представление, и это представление, надо признаться, несколько разочаровывало.

Невысокий, плотный, седой человек с очень светлыми, почти белыми глазами, с подвижным губастым ртом, говорливый. Внешность ярко характерная, сразу запоминающаяся, но… где же загадочные черты, выдающие таинственное, волшебное, магическое очарование его искусства?

Мы встретились.

Уютная, но все же официальная обстановка служебного кабинета. Директор и художественный руководитель прославленного театра сидит в кресле за своим рабочим столом. Я — на стуле за столом для посетителей. Все как полагается.

Но по комнате в течение всего разговора почему-то летает голубь. Белый голубь, точно выпорхнувший из рисунка Пикассо. Птица опускается то на стол, то на спинку кресла и, наконец, утверждается на моей голове.

Сергей Владимирович не обращает на голубя никакого внимания. Занят беседой.

Спасибо тебе, птица! Ну, конечно, конечно же, передо мной Образцов — тот самый, сказочник, волшебник — с ним просто нельзя беседовать иначе, чем сидя вот так — с голубем на голове. И я еще смел разочаровываться!

Содержание беседы со мной Сергей Владимирович потом описал в своих воспоминаниях. Он хотел сатиру на мюзикл. После выхода спектакля писал:

«Почему мне захотелось высмеять мюзикл? Потому, что он стал модой. И в театре, и в кино, и на телевидении. Мода — это всегда плохо. Всегда штамп. А что может быть опаснее штампа?»

И дальше:

«Что такое модный мюзикл? Берется какое-нибудь классическое литературное произведение, ужимается до сюжетного примитива, и все время поют. Целуются — поют, убивают — поют, умирают — поют».

Почему он предлагает героем Дон Жуана?

«Даже тот, кто никогда никакого Дон Жуана не читал, знает,

кто он такой. Это очень красивый мужчина, который губит женщин, отчего они счастливы».

Во время первой встречи мы условились, что когда будут готовы первые наброски сцен (желательно поскорее!), я покажу их Образцову. Да, и еще желательно, чтобы герои общались на каком-то условном языке, но понятном иностранному зрителю. Ведь если спектакль получится, его повезут в зарубежные гастроли. Было отчего прийти в отчаяние! Что делать? Отказаться?

Но Алена рекомендовала, значит, уверена или, во всяком случае, надеется, что у меня получится… И очень бы не хотелось, чтобы в творческой биографии появилась характеристика: драматург, обманувший доверие Сергея Образцова. Этого только не хватало! Значит, даешь муки творчества!

Скоро мне стало ясно, что испанской темой ограничиваться нельзя. Да и пересказывать в куклах классический сюжет тоже не лучшее решение. А что, если?., ведь Дон Жуан — фигура интернациональная, известная не только в Испании, но и во всем мире. Значит, он может по этому миру перемещаться, возникать где угодно: во Франции, в Италии, в России, в Америке… Дон Жуан существует уже не одно столетие и ничуть не изменился со временем. Прекрасно себя чувствует и в наше время, в современном мире. Все вокруг изменилось, а он все тот же: в плаще и шляпе, с гитарой и длинной шпагой. И все так же неотразим.

А как он возникает в сегодняшнем дне? Просто так является сам по себе и все? Нет, нужна какая-то предыстория. Но какая? Конечно, всем знаком испанский сюжет с донной Анной и Каменным Гостем. В результате этого известного приключения Дон Жуан проваливается в Ад, потом… бежит из адского котла и попадает в наше время. То в Италию, то в Россию, то…

Композитору эта фабула пьесы пришлась по душе: есть где развернуться. Геннадий Гладков, Генька — друг мой со школьных лет и в искусстве, и в жизни вне искусства, хотя понятия творчества и быта, освященные дружеским постоянством, разделить, наверное, невозможно. Алена это знала, чувствовала и поэтому рекомендовала Образцову нас обоих. Интересно, что основной музыкальной темой спектакля стала мелодия «испанской» серенады, сочиненной Гладковым на мои стихи еще в наши школьные годы.

Появилась надежда на успех и лукавая мысль: вот дурак бы был, если б отказался!

И тут вмешалось обстоятельство, которое, как говорится, из песни не выкинешь. У моего соавтора по «Бременским

музыкантам» поэта Юрия Энтина образовался новый приятель — актер Гарик Бардин. Познакомил их Виктор Чистяков — блистательный, уникальный мастер музыкальной пародии. Гарик оказался забавным выдумщиком, рассказчиком уморительно смешных историй «из жизни», которые, по-моему, сам сочинял. Служил Гарик в труппе одного из московских театров, необдуманно авансированного начальством именем Гоголя. Но актерские данные Гарика, его острый юмор, образная фантазия, подлинная музыкальность оказались театру почему-то не нужны.

Время идет, сезон похож на сезон, а после тридцати лет актеру все труднее и труднее уговаривать себя, что у него все еще впереди.

И тут за Гарика взялся Юрий Энтин и во что бы то ни стало решил вытащить актера Бардина из унылой театральной трясины. Однажды, позвонив мне среди ночи, Юра потребовал явиться к театру имени Гоголя для судьбоносного разговора с Бардиным. Зная о Гарикиных переживаниях, я, не мешкая, явился. Козыряя собственным примером творческих людей, решившихся порвать с жизнью по штатному расписанию, мы вплоть до рассвета убеждали нашего нового товарища расстаться с театром и вкусить жизнь свободного художника, соблазняли работой в мультипликационном кино, где сами в то время трудились с увлечением, и обещали помощь в начале нового пути. В результате вскоре актер Бардин подал заявление об уходе из театра и поехал в Киев, где развернул перед многочисленными родственниками наговоренные нами с Юрой радужные перспективы, чем привел всю киевскую родню в панический ужас. В Москву Гарик вернулся раздираемый мучительными сомнениями в правоте своих друзей, о чем и сообщил, скрепя сердце, Юре. Юра, выслушав Гарика, снова бросился ко мне в истерическом поиске немедленных мер с целью удержать новообращенного товарища от гибельного возвращения в театр и, более того, в желании найти средство, способное вселить в несчастного реальную веру в свои силы. И тут, к полному восторгу Юры, я предложил Гарику соавторство по созданию пьесы «Дон Жуан». Треть сцен была уже мною написана, одобрена Образцовым и предстояло заключить авторский договор. Надо ли говорить, что договор мы подписали с театром вместе с Г. Я. Бардиным. При личной встрече Гарик обаял Сергея Владимировича. Заказчик неуверенно поинтересовался, будут ли у нас еще соавторы. Мы дружно ответили — нет.

Форму драматической записи мы угадали верно — по типу пьес Карло Гоцци, предназначенных для театра масок. Необходимо оставлять простор для репетиционных,

постановочных и актерских выдумок. И если пьеса — это создание авторов, то спектакль — это плод коллективного труда многих и многих, объединенных понятием «театр».

Вот что Образцов сказал о музыке к спектаклю: «Композитор Геннадий Гладков сочинил очень интересную музыку и записал ее с оркестрами разных музыкальных составов (в зависимости от стран). А голос Дон Жуана — это голос любимца советских девушек Михаила Боярского. Ловко он поет. Заразительно».

Алена порадовала декорациями и персонажами — стилистически точными и выразительными. Кукла Дон Жуана шаржированно повторяла черты Миши Боярского. Мне кажется, что усы и черная шляпа, впоследствии неразрывно связанные с эстрадным образом артиста, перешли к нему как раз от этого классического персонажа.

«Удача! — писал Образцов. — Это очень хорошо, когда в театре удача. Спектакль получился еще и выездной, заграничный».

Помнится, на приеме спектакля Министерством культуры РСФСР (была такая процедура), когда поздравляли Образцова, тогдашний министр высказался так: «Спектакль выездной, валютный. Это, знаете ли, иногда больше, чем идейный…»

Такое вот исторически прозорливое высказывание. Думаю, что осмысливая потом, что он публично сказал, советский министр провел бессонную ночь.

Звучание разговорных текстов персонажей долго являлось для нас камнем преткновения. В пьесе таких текстов не было. Были просто указания, связанные с действиями героев: «признается в любви», «ссорятся», «угрожает» и так далее.

Работая над спектаклем, мы искали как бы «международный язык» наших персонажей. Пробовали разные варианты, горячо спорили. Одно время Образцов даже настоятельно предлагал нам, авторам, изобрести особый, новый язык. Помню, что в этом, предлагаемом им языке, слово «любовь» должно было почему-то звучать как «тюляпа». Услышав такое предложение, я тут же достал из своей сумки пластинку «Бременских музыкантов» и надписал ее конверт: «Дорогому Сергею Владимировичу Образцову с большой тюляпой».

Прочитав дарственную надпись, Образцов заметно смутился и больше к разговорам об изобретении нового языка не возвращался.

Выручили актеры. Ведь их персонажи должны были как-то общаться. Репетируя, например, итальянскую сценку, актеры импровизировали какую-то абракадабру, звучащую якобы по-итальянски. Среди этой словесной белиберды постепенно стали

возникать остроумные актерские находки. По ходу сценки, после соблазнительной серенады Дон Жуана и страстного поцелуя, у юной итальянки на глазах изумленной публики вдруг начинал раздуваться круглый животик. И тут появляются ее старшие братья. А животик надувается все больше и больше. «Грандиозо пузано!» — восклицают потрясенные братья-итальянцы.

«Брателло!» — в испуге реагирует на появление братьев девушка.

По-итальянски «брат» звучит как «фрателло». Ясно, что «брателло» одинаково понятно и русским, и итальянцам.

Актеры увлеклись найденным приемом и с удовольствием преобразовывали русские слова на иностранный лад даже в японской сценке.

Как-то во время перерыва в репетиции Сергей Владимирович пригласил меня и Гарика в свой кабинет и плотно прикрыл дверь. После затянувшейся паузы сказал: «Вы знаете, что Зиновий Ефимыч Гердт в спектакле не участвует. Почему — сейчас поймете. В течение последних двух лет я предлагал ему написать пьесу на тему Дон Жуана. То, что он придумывал, меня не устраивало. Пьесу написали вы. Гердт человек обидчивый и вообще… Давайте напишем в программке спектакля, что язык персонажей придумал Гердт. Я прошу вашего согласия…»

Язык спектакля, так нас радовавший, мы не придумывали. Это было талантливым изобретением образцовских актеров. К тому же у нас, как у молодых драматургов, в то время было весьма туманное представление об авторских правах. Мы видели, что спектакль обещает быть театральным событием, и омрачать наши радостные ожидания не хотелось никакими проблемами. Да к тому же, как мы могли ответить отказом на просьбу Сергея Владимировича!

Мы с Гариком переглянулись и согласились.

На премьере перед началом спектакля Гердт неожиданно для нас появился на сцене и прочел какие-то стишки собственного сочинения, из которых зрительный зал должен был усвоить, что ему предлагается сатира на мюзикл. Слава богу, на следующем спектакле этот нелепый пролог был отменен. Но у этой странной истории был и эпилог.

Премьерные спектакли уже прошли с шумным успехом, когда поздно вечером мне домой позвонил Гарик. Оказалось, ему только что звонил Гердт с настоятельным желанием видеть свою фамилию на афише в числе авторов пьесы. А также ждет подписанное нами письмо во Всесоюзное агентство авторских прав, где мы, авторы, обязуемся отчислять на его имя тридцать процентов гонорара от спектаклей.

— Я сказал, что посоветуюсь с тобой, — закончил Гарик упавшим голосом. — Он, конечно, понимает, что в нашей цепочке из двух звеньев, я — звено послабее. Вот и хотел меня сразу разогнуть.

С Зиновием Гердтом я был знаком давно. Наше общение ограничивалось веселой болтовней в коридорах киностудий, да раза два пересекались за рюмкой водки в застолье у общих знакомых. Мы были на «ты». Разыскав телефон в справочнике Союза кинематографистов, набрал номер. Трубку взял Зяма — так его звали приятели.

Прижатый в угол укорами в бессовестности (лжеавторство языка персонажей я ему тоже припомнил), Зяма опустился до того, что стал жаловаться на свое затрудненное материальное положение, отсутствие работы в кино, какие-то невыплаченные долги. После нашего разговора самозванному соавтору рассчитывать, собственно говоря, было не на что.

Время шло, и вдруг мы с Гариком, чтобы избавиться от неприятного душевного осадка в связи с этой некрасивой историей, решили «добить» Зяму великодушием. Сейчас думаю, что когда Гердт узнал о письме авторов, которые пожаловали ему некоторую часть гонорара, он подумал о нас совсем не то, что нам бы хотелось.

Однажды, в дни, когда ставился «Дон Жуан», я очень поздно возвращался со съемок. Не торопясь, шел домой пешком, чтобы «продышаться» после дымной павильонной атмосферы. Поднимаясь по безлюдной в этот час улице Немировича-Данченко (теперь почему-то в Москве такой улицы нет), я увидел вдали оранжевый трепещущий свет. Пожар! Сразу же за высокой аркой соседнего с Моссоветом здания горело полуразобранное, предназначенное к сносу старое деревянное строение. Взвыла сирена пожарной машины.

Я ускорил шаги. Вдруг прямо передо мной из подъезда в безлюдье улицы выскочили два человека — мужчина и женщина. Схватившись за руки, они бегом устремились в сторону пожара. Мужчина был с непокрытой головой. На бегу разлетались и подпрыгивали пряди седых волос. Ба, да это же Образцов и его жена — Ольга Александровна. Они далеко обогнали меня. Когда я подошел к арке, пожарные уже успели выдвинуть лестницы, орудовали в пламени, растаскивали горящие бревна, сбивая оранжевые языки пенящимися струями из брандспойтов. Бурый дым клубами катился по переулку. Зачем среди ночи этот седой человек, как мальчишка, бежал на пожар? Просто из любопытства? Полюбоваться эффектным зрелищем?

Потом я думал об этом, и вот что понял: в нем, Сергее

Владимировиче, опытном, много пережившем человеке, давно признанном, увенчанном лаврами мастере, не было никакой успокоенности. Только не надо путать успокоенность и покой, о котором еще Пушкин сказал: «покой и воля». Этого пушкинского покоя, идущего от сознания своей творческой воли, цельности мировоззрения, Образцову было не занимать. Но вот успокоенности, что сродни равнодушию… Случайный ли пожар рядом с его домом или пожар военного конфликта где-то очень далеко от дома, вопрос об отношении к «братьям нашим меньшим» или дискуссия на тему старинного романса, или… — Образцов всюду «сует свой нос». Его ненасытное любопытство происходило от мучительного чувства личной ответственности за все, что случается в человеческом мире, из острого ощущения причастности к своему времени. Образцовская говорливость, к которой не мешает почаще прислушиваться и маленьким, и большим, и очень большим.

Мои отношения с Образцовым продолжались, хотя встречи стали редкими.

Спектакль «Дон Жуан» уже носил приставку не 76, а 84. В этом же 84 году Образцов удостоился Ленинской премии, и один популярный литературный журнал заказал мне небольшой очерк об Образцове.

Я, в частности, писал:

«Театр всегда театр. Большой, миниатюр, кукольный — неважно. Действуют одни и те же театральные законы. Не буду останавливаться на подробностях режиссерского труда, творческого почерка народного артиста СССР С. В. Образцова. Это лучше меня сделают критики, специалисты. Но позволю себе утверждать, что на сегодняшний день среди множества столичных театров, старых и новых, может быть, ГЦТК, под художественным руководством Сергея Образцова, бережнее и вернее других несет и развивает традицию, идущую от великой школы Станиславского — Немировича-Данченко. Национальную театральную традицию. И этим, на мой взгляд, прежде всего, следует объяснять всемирный успех искусства этого советского театра».

Цитирую самого себя только потому, что именно эти строки впервые привели меня в дом Сергея Владимировича.

После публикации очерка Образцов позвонил и пригласил к себе домой. Сам открыл мне дверь, объявил, что специально всех отправил на дачу, и сейчас мы будем с ним разговаривать.

Разговаривали мы часов шесть. Он сказал:

— Вы первый отметили, что я работаю по системе Станиславского. Раньше этого не замечали или не хотели

замечать.

И сделал мне предложение:

— Можете ли вы войти режиссером в мой театр? Мне не на кого оставить театр, а я вскоре совсем уйду от дел.

Я спросил:

— А Катя, ваша внучка?

— У Кати нет юмора, поэтому я никогда не привлекал ее к работе в театре. А вот вы будете со мной работать и впоследствии примете у меня театр.

— Замечательное, потрясающее предложение, дорогой Сергей Владимирович! Завтра я прихожу к вам в театр, работаю около вас, и вы думаете: «Вот ходит мой любимый Вася Ливанов и ждет, когда я умру». Представляете при этом мое самочувствие? А я хочу сохранить вашу любовь ко мне, наше творческое содружество. Ради бога, пригласите меня поставить какой-нибудь спектакль или закажите новую пьесу.

— Хорошо, — сказал Образцов, — тогда я даю вам новую тему.

И дал замечательную тему. Забегая вперед, скажу, что пьесу я написал. Она всегда будет современна, поскольку не привязана к определенному времени. Это пьеса о человеческих предрассудках, о гороскопах, инопланетянах, о снежном человеке, лохнесском чудовище и о прочем бреде. И все — через кукольную историю.

Мы сидели в квартире Сергея Владимировича за узеньким маленьким столиком, близко придвинувшись к шкафу со стеклянными дверцами. Из-за стекол на нас глядели заполнившие полки куклы. У меня осталось впечатление, что куклы, разноликие, разноразмерные, в разнообразных костюмах, окружали нас со всех сторон, выглядывали из шкафов, смотрели между картинами со стен, сидели на подоконниках.

В неторопливой беседе за четвертинкой водки, которую хозяин неожиданно извлек из того же шкафа с куклами, я спросил:

— Сергей Владимирович, вашу жизнь можно рассматривать как путь от успеха к успеху. А вы знаете своих недоброжелателей, врагов?

Образцов закусил печеньем (мы почему-то закусывали каким-то фигурным печеньем из одинокой вазочки, стоящей здесь же, на столике) и очень серьезно ответил:

— Некоторых знаю. Но они ничего плохого мне сделать не могут. Мои куклы никогда не дадут меня в обиду, — и я встретил его упорный прямой взгляд.

В его признании была какая-то жутковатая мистика. Я где-то читал, что кукла, особенно если изображает человека, творение

ох какое непростое. Но когда слышишь такое от убеленного сединами, разменявшего девятый десяток лет человека…

Провожая меня, Образцов преподнес два номера журнала «Новый мир», где были опубликованы его воспоминания «По ступенькам памяти». И сделал надпись:

«Буду очень счастлив, дорогой Василий Борисович, если Вам понравятся мои Ступеньки. С. Образцов 10. XI. 84.»

Последняя наша встреча тоже состоялась у Сергея Владимировича дома. Сначала предполагалась встреча в театре, где готовили фанфарное празднование 90-летия великого кукольного Мастера. Были разосланы шикарные пригласительные билеты. Но Образцов так переволновался, готовя торжества, что оказался в больнице.

А потом, поправившись, пригласил к себе совсем немного гостей. Как он сказал, тех, кого ему особенно приятно было увидеть. В их числе оказались и мы с композитором Геннадием Гладковым. Тесно сидели за щедро накрытым столом, шутили, хохотали и распевали песни. Больше всех пел сам Сергей Владимирович под аккомпанемент сразу двух гитар.

Кто-то снимал тот памятный юбилейный вечер на видеокамеру. Но какая пленка может запечатлеть ту самую «тюляпу», которую гости и хозяин испытывали друг к другу? «Тюляпа» осталась между нами. И для нас по-прежнему означает любовь.

В 1993 году возникла необходимость собрать подписи в защиту тогда созданного мною *«со* товарищи» Московского экспериментального театра «Детектив», которым я руководил. Кстати, «экспериментальным» он был назван по настоянию тогдашнего министра культуры Романова, т. к. явился первым антрепризным театром в нашей стране. Театр арендовал ряд помещений в клубе МВД на Лубянке, а новоявленные дельцы из руководства МВД стали зариться на эти помещения для своих, как позже выяснилось, противоправных, коммерческих целей.

Я позвонил Образцову домой. Оказалось, что его здоровье снова ухудшилось, он находился в Кремлевской больнице. Его дочь Наталья, ежедневно навещавшая отца, передала мою просьбу подписать письмо. Сергей Владимирович откликнулся согласием. Мы встретились с Натальей Сергеевной в приемном покое больницы на улице Грановского. Поскольку проходить в палату к Образцову врачи позволяли только ей, она взяла письмо, а я остался ждать в приемном покое. Примерно через полчаса Наталья Сергеевна вышла ко мне с подписанным письмом. И вот что Образцов просил передать мне на словах:

«Какая бы проблема ни возникала у вас в жизни или в

искусстве, вы должны действовать так, чтобы со временем иметь право сказать самому себе: “Я сделал все, что смог”».

Этот завет Сергея Образцова стал для меня одним из моих жизненных принципов.

# Виташа

Бывает так: человек уходит, отдаляется, и уже смотришь на слова и связанные с ним события как на прошлое. Все, что связано с моим близким и любимым другом и партнером Виталием Соломиным, составляет часть моих представлений о жизни, моей личности и может уйти в прошлое только вместе со мной.

Мы его звали Виташа — так называла его жена. За годы нашего дружеского общения Виталий Соломин постоянно давал интервью прессе и на телевидении. Многие из этих интервью в газетах, журналах, видеокассетах я храню у себя. Виташа часто говорил обо мне, о наших отношениях и совместном творчестве, которое рождалось из нашей счастливой дружбы. Но пусть он заговорит сам:

«Мы на самом деле с Василием Борисовичем познакомились на кинопробах. Человек он контактный, мы очень подружились. Ливанов — человек с большим вкусом, которому я доверяю. Редко находишь человека, который очень точно может сказать о твоей работе: не просто “нравится — не нравится” — это любой зритель может… Но есть немногие, которые говорят точно, почему нравится и почему нет. Это очень для меня важно. При его (Ливанова) огромной памяти и вкусе с ним можно советоваться на многие темы. У меня впечатление, что он про все знает и все помнит».

В первые дни знакомства я подарил Виташе журнал «Юность», где была напечатана повесть «Мой любимый клоун». Вскоре Соломин преподнес мне свой актерский буклет с надписью:

> «Дорогой Вася! Я рад знакомству с тобой. Больше всего я узнал о тебе по твоей нежной повести. С уважением.
>
> *Виталий. 14/VII. 79 г.»*

Съемки сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» были в разгаре, когда Виташа сделал мне неожиданное предложение: написать инсценировку полюбившейся ему повести. «А я поставлю спектакль и сам сыграю главного героя», — пообещал. И сбылось: я написал инсценировку, он поставил спектакль, где сыграл клоуна Сережу Синицына. Об этой совместной работе Виташа в телеинтервью сказал:

«Спектакль получился очень на Ливанова похожий. Ведь он человек, не изживший в себе детства. Хотя крутой характер — он по-разному может».

Постановка была очень удачная, успешная. За месяц нельзя было купить билеты на спектакль: все проданы. Играли сначала в Малом, в основном здании, в зальчике Островского. Потом в филиале на Ордынке, еще недостроенном. А до революции на этой сцене играл мой дед Николай Александрович. Вот такие странные сопряжения…

Критика писала:

> «Новый спектакль Малого театра “Мой любимый клоун” заставляет задуматься над извечными, но порой тускнеющими от чрезмерного употребления понятиями, возвращает им первоначальный смысл. Избитая, казалось бы, истина: свет не без добрых людей. Но она обретает яркость, когда эти самые люди зримо предстают перед нами на сцене — сильные и слабые, красивые и не очень, трогательные, чудаковатые, но все спешащие делать добро.
>
> Вот герой спектакля клоун Сергей Синицын, похожий в исполнении В. Соломина на так и не повзрослевшего мальчишку. Его боль за внезапно обретенного сынишку, готовность разделить чужое горе и неколебимая нравственная прочность целиком и полностью завоевывают сердца зрителей.
>
> …Режиссерский дебют В. Соломина готовится внепланово, “вечером после работы”, которая у актеров часто заканчивается за полночь. Энтузиазм окупился сторицей».
>
> *(Т. Исканцева, «Труд», май 1983 г.)*

И в этом же году в журнале «Огонек»:

> «Их имена — В. Ливанова и В. Соломина объединяет многосерийная телевизионная лента о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, где они играют этих популярных героев. И хотя ее содержание не имеет, разумеется, ничего общего с жизненным и человеческим материалом спектакля “Мой любимый клоун”, длительное актерское партнерство, надо думать, сказалось на новой совместной работе В. Ливанова и В. Соломина, на сей раз в театре. Возникшее и закрепившееся в процессе телевизионных съемок их творческое единомыслие,

взаимное доверие, художническая близость способствовали рождению художественного произведения, гармоничного и цельного, как по своей нравственной основе, так и по форме выражения».

*(Н. Лейкин)*

Смешить Виташу было для меня огромным удовольствием. Обычно сосредоточенный и внешне сдержанный, он внезапно вспыхивал, можно сказать, озарял меня своей обаятельной улыбкой, а если хохотал, то, как говорится, во все горло, заразительно, до слез. После премьеры спектакля «Мой любимый клоун» я позвонил ему по телефону:

— У тебя дома, кажется, есть большое такое кресло?

— Ну, есть, — ответил Виташа. — А что?

— Можешь сейчас срочно подвезти его к Малому театру? Мне очень нужно.

— …Зачем?

— Хочу посидеть рядом с Александром Николаевичем Островским.

Жаль, что мы говорили по телефону и я не видел тогда, как он хохотал.

В памятной книге «Виталий Соломин» его младшая дочь Лиза вспоминает:

«Вася Ливанов мог его рассмешить, даже если папа был довольно мрачным. Вдруг звонил — и слышу, папа уже смеется».

Мы дружили семьями: дружили наши жены Лена и Маша, обе художницы, наши дети: его дочь Настя и мой сын Борька.

В 1984 году детей в семьях прибавилось. С разницей в две недели у нас родился второй сын — Николай, у Соломиных вторая дочь — Елизавета. Мало знакомые и даже некоторые хорошо знакомые нам с Виташей люди спрашивали всерьез:

— Вы, наверное, сговорились?

Мы с Виташей устроили из этого игру: делали загадочные лица, отводили глаза, улыбались… Отвечать «сговорились» — глупо, разуверять — еще глупее. Но вопрос нам почему-то льстил.

Как-то Виташа давал интервью на телевидении и передал мне видеокассету. Там сохранились его слова о нашем ливановском доме, которые не вошли в экранный вариант:

«На дачу приезжаешь к Ливановым — Леночка, Васина жена, талантливейший художник… она все приготовит, и так вкусно, обильно… и все так ненавязчиво. Однажды мы сели за стол, и я ровно пять часов подряд не сказал ни одного слова — только хохотал. Ливанов столько разных историй знает — это такой Божий дар — можно слушать бесконечно. Их дом так затягивает,

когда туда попадаешь: и что-то сочиняется, и смешное рассказывается, и за кем-то Вася наблюдает — у него сразу складывается целая история… Это разговоры обо всем на свете… Это не сплетни! И так бы сидел там у них сутками — такой это дом».

После работы над известным телесериалом началась детективная история с театром «Детектив». Идея создания такого оригинального театра принадлежала моему давнему товарищу писателю Юлиану Семенову. Юлик позвонил мне из Крыма, где работал на своей новой даче, и прокричал в трубку: «Если ты не возьмешься, никакого театра не будет! Я буду тебе помогать!»

Я, конечно, поделился идеей с Виташей. Ему понравилось. Примчался из Крыма Юлик, они познакомились. И начались совместные хождения по кабинетам высокого начальства: ЦК КПСС, Министерство внутренних дел, Министерство культуры… Подключился один опытный товарищ, мастер советской бюрократической интриги, и закрутилась детективная карусель… Но это отдельная история. А в результате в 1988 году был учрежден Московский экспериментальный театр «Детектив»!

Виташа поставил пьесу, понятно, детективную, французского автора Робера Тома «Западня». Состав спектакля часто менялся: наш театр был первым антрепризным театром в России за годы советской власти, отсюда в названии «экспериментальный». Вот мы и экспериментировали с актерами, привыкшими к своему постоянному месту в одном театре. Но спектакль был яркий, костюмный, собирал полные залы публики, не скупившейся на аплодисменты.

Я тоже был занят только режиссерской работой, на сцене мы с Виташей не появлялись. Правда, подумывали тряхнуть со временем стариной и поставить или пьесу Артура Конан Дойла, или инсценировать кое-какие его рассказы. Даже выкупили на «Ленфильме» свои персонажные костюмы Холмса и Ватсона. На сцену мы так и не вышли, но все же костюмы помогли нам подработать кое-что в семейные бюджеты. Мы снялись в образах полюбившихся зрителям персонажей в рекламе фирмы «Вико», торгующей престижными «Мерседесами». Причем подошли к рекламе творчески, чем сначала озадачили, а потом покорили заказчиков. Вместо одного рекламного ролика они в творческом экстазе сняли шесть! И снимали бы еще, если бы глава фирмы не убыл навсегда за границу и фирма не лопнула.

В 1992 году наш театр «Детектив» уничтожили. Тогдашнее милицейское руководство решило, что коммерческая нажива для них предпочтительнее правосознательного воспитания через искусство. Мой кабинет художественного руководителя театра

сначала обворовали, а потом в здание Центрального клуба МВД, что на Лубянке, где базировался театр, прислали роту ОМОНа, вынесли всю мебель, поломали декорации, и театр прекратил свое существование. Никакие жалобы в Генеральную прокуратуру, Министерство культуры и в руководство МВД, приславшее ОМОН, конечно, не помогли. Властный беспредел — это был стиль ельцинской эпохи. В помещения, которые занимал театр, въехали какие-то сомнительные туристские бюро, какие-то ювелирные лавки, хотя коммерческая деятельность категорически была запрещена под крышей МВД указом того же президента Ельцина. Дальнейшая судьба театра, уже создавшего успешный репертуар, гастролировавшего в 15 городах по Советскому Союзу в спектаклях которого участвовали знаменитые на всю страну артисты, больше хозяев жизни не волновала. Пишу здесь об этом только потому, что это еще одна веха в нашем с Виташей совместном творчестве, еще одно свидетельство нашей взаимной дружеской поддержки.

До первой встречи на кинопробе я видел Соломина только в фильмах и ни разу не видел в театре. Как-то смотрел по телевидению спектакль «Не все коту масленица», где он меня особенно поразил фантастической пластикой. Он двигался божественно. Это его особый дар. Наверное, он мог бы быть великолепным балетным танцором. Он очень щедро Господом был одарен для своей профессии… И Соломин это не эксплуатировал, а совершенствовал. Что очень важно.

Первая моя задача, когда мы с ним попробовались и я понял, что, безусловно, он будет играть Ватсона (это было ясно по уровню мастерства), заключалась в том, чтобы искать все способы сближения. Нужно быть друзьями в жизни, чтобы была на экране эта тайна — дружба. Актерская профессия, если она не несет в себе тайны, становится простым ремеслом. И оказалось, что мы очень во многом совпадаем. Главное, мы полностью совпадаем в представлениях об искусстве, в наших пристрастиях — симпатиях и антипатиях. Это стало основой наших отношений, особенно для Виташи: он был очень придирчив, избирателен. Мы стали понимать друг друга, беречь. Для меня самое высокое мерило наших отношений выразилось в наших совместных поездках: мы с ним семь лет катались из Москвы в Питер и обратно, чаще всего в одном вагонном купе. И я обратил внимание, что мы замечательно вместе молчим. Нам не нужно было все время трепаться, абсолютно не нужно. В этом молчании была взаимная дружеская поддержка. Единение. Оно доставляло успокоение в суете быта и работы.

У нас на съемках сериала было подлинное сотворчество,

которое объединяло нас и в работе над спектаклем Малого театра, и в единственном поставленном Соломиным фильме «Охота», куда он пригласил моего сына Бориса и меня на небольшие эпизодические роли. Но кинопрокат тогда был в полном провале, зрители так и не увидели готовый фильм. Все-таки я надеюсь, что это когда-нибудь произойдет.

Виташа своих обид никогда не высказывал. В отличие от меня он сдерживался. Я потом каюсь, если сорвался. Но я — другой человек. Виташа старался держать себя в руках, не выходить во внешний мир. А творческие обиды — они самые болезненные и есть.

Виталий лежал в Склифосовского, а в это время его лишили Государственной премии. В нарушение всех существующих норм и правил представленные на получение премии создатели сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — сценарист, композитор, ведущие актеры — были, так сказать, «задвинуты», а Государственную премию вручили одному режиссеру Масленникову за работу над тремя сериалами, подключив «Зимнюю вишню» и, кажется, «Что сказал покойник». Но в этом качестве режиссера Масленникова никто на премию не выдвигал и никто к этой награде не представлял!!! Тем более что сценарист В. Валуцкий, композитор В. Дашкевич, народный артист России Виталий Соломин являются к тому же одними из основных создателей не только «Приключений…», но и «Зимней вишни»…

Кинорежиссер Владимир Хотиненко, член Комитета по присуждению Государственных премий, говорят, бился как лев. Единоличное вручение премии присвоил себе тогдашний глава администрации президента А. Волошин, заявивший: «Премия государственная, деньги государственные, значит, должны решать государственные люди». То есть использовал свое служебное положение. Хотиненко говорил ему: «То, что вы делаете, невозможно понять и объяснить». Объяснить это можно, пожалуй, только каким-то поганеньким сговором. А понять людей без совести и чести действительно затруднительно. Может быть, узнай борющийся за свою жизнь Виташа, что за свой труд получил высокую государственную награду, ему прибавилось бы сил.

Виташа всегда сторонился несправедливости, фамильярности, бестактности. Многие поэтому считали его скрытным. И не то чтобы он специально держал некоторых людей на расстоянии. Так происходило само собой для тех, с кем он, по уже замеченным причинам, не хотел бы сближаться. И это ощущалось людьми, которые считали Соломина «надменным». Я

знаю, ходило о нем такое мнение. Оно абсолютно не соответствует действительности. Просто для того, чтобы прорваться в его мир, нужно было с ним во многом совпадать. Любить искусство по-настоящему, понимать, что это за призвание — он об этом постоянно думал. Чтобы во всем соответствовать своему призванию.

Естественно, успех — это очень важно. Но я думаю, что внешний успех для Соломина не так много значил, как его внутренняя оценка того, что он сделал в искусстве. Она была не обманной, не льстивой для самого себя: она была верна. Я думаю, что к себе он относился достаточно жестко. Все время планка была очень высоко поднята. Киносъемки, театральные постановки одновременно с актерской работой, преподавательская деятельность, которой он отдавался всей душой… Это превышение сил: последнее время он набрал очень много работы. Не знаю, может быть, это было предчувствие: успеть, успеть… Неостановимое стремление к совершенству… Вершиной его режиссуры, не говоря уже об исполнительском мастерстве, стала «Свадьба Кречинского». Потрясающе мощное владение формой, высокое исполнительское искусство, сложенные воедино. Он подчинил себе весь спектакль и играл роль Кречинского, как последний раз в жизни. Так эта роль за ним и осталась — последний его выход.

Я бывал на всех его спектаклях, он меня приглашал на генеральные репетиции и просто репетиции, на экзамены во ВГИКе, где вел курс. Он верил мне, считался с моим мнением. И вообще относился ко мне как к талисману. Говорил: «У нас с тобой все, что ни делали вместе, удачно». Поверял мне всякие интимные вещи — советовался. Мы с нашими любимыми женами путешествовали по Италии вместе с группой Малого театра. Домой возвращались на теплоходе в каюте без окон. Надо было очень дружить, чтобы не поссориться, когда плывешь в такой слепой каюте на четыре двухэтажные койки. Так, наверное, можно проверять космонавтов на психологическую совместимость. Говорят, идеальной дружбы не бывает. Она у нас состоялась. Идеальная.

В 1986 году готовился к изданию фотобуклет «Актеры советского кино — Виталий Соломин». Виташа попросил меня написать к этому буклету сопроводительный текст.

Из буклета:

«Нет ничего удивительного в том, что ведущего артиста Малого театра часто приглашают на роли в кино. Но вдруг Виталий Соломин получает приглашение на роль… от скульптора. Да, скульптор просит позировать для портрета.

Очевидно, собирается запечатлеть артиста в жизни или в одной из сыгранных им ролей? Нет, вовсе нет. Скульптор трудится над монументальным памятником нашей победы в Великой Отечественной войне. Центральная фигура монумента — русский солдат. И образ этого солдата артист вместе со скульптором должен создать не на сцене, не на экране, а в бронзе. Удивительно? Тех, кто знает и любит творчество Виталия Мефодьевича Соломина, приглашение скульптора, пожалуй, не удивит.

…Вот говорят: внешность обманчива. А уж внешность актера тем более… Но внешность Виталия Соломина, сразу же располагающая к доверию, не обманывает. Потому что счастливо отражает самую суть его характера и характеров сыгранных им положительных героев — надежность. И вероятно, это личное качество, столь привлекательное в мужчине, было сначала замечено режиссерами “женских” фильмов, а потом и критикой. Откуда же проистекает эта надежность? Думается, прежде всего от желания и умения надеяться. Герои Виталия Соломина, такие разные, обязательно несут эту светлую и вечную тему с женским именем Надежда.

Артист никогда не повторяется, он необычайно многообразен в подходе к литературной первооснове, в разработке и раскрытии характеров. И в этом ему, конечно, помогает зрелое режиссерское дарование.

…Выкроив время между репетициями, спектаклями, съемками, оставив ненадолго домашние хлопоты, волнуясь, стоит актер в мастерской скульптора. Старая солдатская пилотка на мягких белесых волосах, вздернутый нос с широкими крыльями ноздрей, всегда неожиданная, лукавая, бесконечно обаятельная улыбка, очень внимательные и, может быть, поэтому слегка грустные глаза».

Сохранилась видеопленка, снятая кем-то из общих знакомых на даче в день моего шестидесятилетия. Виташа произносит тост в мою честь:

«Ты ворвался в мою жизнь очень решительно и основательно! Но тут я обнаружил, что рядом со мной человек, которому я, может быть, за многие годы могу доверять свою жизнь — и театральную, и вообще, свою личную жизнь… Кроме того, ты меня хвалишь чаще, чем другие *(смеется)*.

Я люблю твою семью. Я хочу, чтобы ты очень долго жил. Потому что ты мне очень нужен».

И ты очень нужен мне, Виташа. Всегда. Даже когда тебя уже нет рядом.

# Саввина тройка

В его фамилии — Ямщиков — слышится перезвон валдайского поддужного колокольчика, а перед глазами возникают русские равнины, по безбрежным просторам которых меж высоких хлебов или стылых сугробов летят, бешено крутя охваченные железными ободами колеса или скрипя широкими полозьями саней, ямщицкие лихие тройки.

Даже имя нашего Ямщикова самое для него подходящее: Савелий, по-народному Савва. Исконно русское, теперь, к сожалению, редко встречаемое старинное имя.

Ямщиков — значит, сын ямщика. Не его ли прапрадед вез Радищева из Петербурга в Москву? А может быть, это сам Пушкин вслушивался в ямщицкую протяжную песню, колеся под лунным светом где-то по дорогам Псковской губернии? И чья это ямщицкая тройка навеяла Некрасову слова ставшей народной песни:

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, —
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой…

И, как заправский ямщик, не знает Савелий успокоения, не сидится ему на одном месте. Можно сказать, изъездил он всю Россию — когда на поезде, когда на машине, а то и на лошадях.

«Самое большое счастье для меня, отпущенное Богом, возможность основную часть жизни провести в рабочих командировках в провинции. Карелия, Псков, Новгород, Кострома, Ярославль, Вологда, Углич… Мне снятся дивные сны, в которых Кижи соседствуют с суздальским полем, рязанские окские плёсы — с архитектурными творениями псковичей и ярославцев, костромские портреты — с ферапонтовскими росписями. В провинции я чувствовал себя своим, совсем не лишним человеком», — признавался Ямщиков.

Издавна сложился в русской литературе образ ямщика — ладно скроенного и крепко сшитого мужика с широким, загорелым под дорожными ветрами лицом, на котором светлыми озерами смотрят на вас, седоков, внимательные глаза.

Вот так, седоком, лет сорок с лишком тому, оказался я в его ямщиковской тройке и качу вместе с ним по дорогам нашей трудной и легкой, веселой и грустной русской жизни, которую ни

он, ни я никогда ни за что не хотели бы променять ни на какую другую — от начала и до конца размеренную, разумно дозированную и пригожую.

Только тройка его еще в молодые годы превратилась в художническую гостеприимную мастерскую в полуподвале старого московского дома в одном из остоженских переулков. Там, в аккуратно обшитых досками стенах, за деревянным струганым столом сходились Саввины «седоки». Невозможно сейчас перечислить всех, кто усаживался под теплый свет низкого матерчатого абажура за все эти прошедшие годы!

Были такие, которые быстро понимали, что сели не в свои сани, и спешили соскочить чуть ли не на ходу. А были и такие, которые появлялись, чтобы послушать всегда идущие от сердца Саввины об искусстве в жизни и жизни в искусстве рассуждения, не лишенные самоиронии, сдобренные юмором и приправленные уместным крепким словцом. Такие гости ухватывали не суть разговора, а отцеживали нужные им слова и определения, чтобы потом при случае выдать хозяйскую эрудицию за свою, козырнуть в беседе с такими же верхушечниками и приспособленцами к искусству, как они сами. И не понимали, почему Савелий Ямщиков вдруг стал отказывать им в общении.

К своим шестидесяти пяти Савелию Ямщикову удалось возродить к жизни сотни произведений иконописи, уникальное собрание русских портретов XVIII–XIX веков из различных музеев России, вернуть многие забытые имена замечательных наших художников.

А разнообразные выставки, организованные Ямщиковым, где современники могли познакомиться с иконами и портретной живописью — новыми открытиями Савелия Ямщикова и оценить уникальный труд отечественных реставраторов. Или увидеть лучшие образцы русского авангарда. Ямщиков — первый реставратор, получивший за 200-летнюю историю Российской академии художеств почетную медаль.

Им написаны десятки книг, сотни статей, изданы альбомы-монографии. Миллионы наших зрителей из года в год следили за постоянной искусствоведческой рубрикой, которую Савелий вел на Центральном телевидении, демонстрируя редкостные сюжеты, снятые в различных городах России и за рубежом.

Многие из случайных «седоков» ямщиковской тройки недоумевали: Савва — заслуженный деятель искусств России, академик РАЕН, лауреат премии Ленинского комсомола, председатель Клуба коллекционеров нашего Фонда культуры… Чего он еще ищет? Мог бы успокоиться, почивать на лаврах.

Он не успокаивается — ищет чуда. Чуда искусства,

способного очищать человеческую душу, возрождать ее, погибающую в бытовой суете, корыстных соображениях, болезненном тщеславии.

Он верит в чудо преображения души через подлинное искусство. И эта искренняя вера в чудо привела его к истинной христианской вере. И за труды свои он награжден орденом святого князя Московского Даниила.

Мчится Русь — гоголевская тройка. И если конями правят такие, как Ямщиков, то не доехать подлецам Чичиковым до их мошеннического «рая». Вывалит их ямщик на крутом повороте в колесную грязь или в придорожный сугроб и не оглянется…

И только «чудным звоном заливается колокольчик». Тот самый валдайский, поддужный, который слышится в фамилии Савелия, по-народному Саввы.

# Слово о Сурикове

*Савелию Ямщикову*

Люблю ли я Сурикова? Ну какой толк говорить: я люблю кислород, воздух, которым дышу? А если не люблю, значит, просто не существую.

Думается, что Суриков такая же эпоха в русской живописи, как Пушкин в литературе или Шаляпин на театре. И, очевидно, никакой человек, воспитанный в русской культуре, не представляет себя вне связи с творчеством этих гениальных вдохновителей.

Многие художники обращались к русской истории, но, мне кажется, что Суриков в этом обращении — явление совершенно особое. Через творчество Сурикова становится понятно, что исторические картины таких, например, выдающихся живописцев, как Васнецов или Репин, — это, пусть высококлассная, но все же только иллюстрация к истории.

Суриков не иллюстрирует историю, он ее как бы заново воссоздает. И в этом потрясающая сила его таланта. Творчество Сурикова возникает из глубочайшего перевоплощения. Не просто изображение того или иного персонажа — художник, как великий актер, умеет на холсте зажить жизнью созданного им образа, а значит, и всей картины в целом.

Это поразительное проникновение во время, в характеры, безошибочное ощущение исторического пространства.

Репин, желая потрясти зрителя трагичностью убийства Иваном Грозным своего сына, заливает холст потоками крови. Самое страшное уже произошло, мгновение остановлено, время не движется. Ужасающее зрелище скорее отвращает зрителя, чем вызывает сострадание. Зритель не может представить себя соучастником происходящего — только невольным свидетелем.

В суриковском «Утре стрелецкой казни» крови нет, она еще не пролита. Но мы присутствуем при страшной трагедии, ужасающей. Мгновение не остановлено, время течет через возникшее перед нами изображение, бередит нашу фантазию, вовлекает в происходящее. И мы становимся не просто свидетелями какого-то исторического события, но вдруг являемся как бы его участниками.

Необыкновенна и одновременно обыденна фигура молодого царя — Петра. Это единственный и неповторимый образ в искусстве о Петре Великом.

В живописи — Серов, Ге — царь Петр всегда главное

действующее лицо, всегда на первом плане. В литературе то же самое: «Медный всадник» у Пушкина, у А. Толстого совсем однозначно — «Петр Первый». А у Сурикова он на заднем плане. И можно, если не знать достаточно хорошо историю, вообще не увидеть, что этот всадник — Петр.

Суриков никогда не «творит кумира». Происходит огромная народная трагедия. Суриковский Петр — часть этого народа, и мы, зная, что этот всадник на заднем плане — молодой царь, понимаем, через какие людские страдания, через какую народную трагедию он прошел, прежде чем «Россию поднял на дыбы».

Суриков не только живописец, не только актер, дарящий нам безмерное богатство индивидуальных образов. Он привлекает себе на помощь все искусства. И, как ни странно, звук. Всматриваясь в живописное полотно «Утро стрелецкой казни», начинаешь слышать колокольные перезвоны, глухой говор толпы, и сразу — тишину, гробовое молчание вокруг фигуры Петра, там, в глубине, где торчат бревна — виселицы между зубцами кремлевской стены. Осознаем мы это или нет, но это эффект нашего соучастия в происходящем на полотне, это наше воображение, но ведь благодаря Сурикову — музыканту, композитору. Это наши эмоции воссоздают внутри нас это звучание.

А какой Суриков режиссер! Как организована толпа, как точно выстроены мизансцены. Даже с точки зрения кинематографа: внутрикадровый монтаж, выверенное сочетание крупных, средних, общих планов, подчиняющих нас единственно верному восприятию авторского замысла.

Неожиданное развитие, завершающий итог получает петровская тема в картине Сурикова «Меншиков в Березове». Ближайший сподвижник Петра, человек из народа, ставший рядом с царем, предстает перед нами опальным, развенчанным, обреченным. И то, что Суриков окружает его детьми, дочерьми, усугубляет безвыходность отчаяния самого Меншикова. Прием тот же, что и в «Утре стрелецкой казни». Только на месте безымянного стрельца — «полудержавный властелин». И снова время течет через картину, оживляя прошлое, констатируя настоящее, предвещая будущее. Так народная трагедия фокусируется Суриковым в трагедии личной. Человек, жизнь человеческого духа — вот что занимает художника прежде всего.

Композиционная группа Меншикова с дочерьми могла бы очень органично вписаться в картину «Утро стрелецкой казни». Такова для сподвижника Петра расплата за содеянное, за пролитую народную кровь. Таков промысел Божий, угаданный и воплощенный Суриковым. Мощное поэтическое обобщение,

равное пушкинскому в «Борисе Годунове». А мы помним, что в роли Бориса Шаляпин потрясал публику.

# Пират Форта Боярд, или что осталось за кадром

Я собирался провести лето под Москвой в дачных семейных заботах и тихих литературных трудах. Но вот уж истинно: человек предполагает, а Господь располагает. На этот раз господня воля разговаривала со мной по телефону голосом Василия Григорьева, продюсера, которого я знал только по титрам в телевизионной программе «Куклы». Но он завел разговор не об озвучании кукольного типажа, а о моем непосредственном актерском участии в проекте «Форт Боярд». Раньше мне доводилось видеть некоторые передачи, прославившие этот старинный морской форт, ставший ареной увлекательных экстремальных игр молодежных команд, соревнующихся за золото Форта Боярд. Само это золото воплощалось в увесистых медных монетах, называемых «боярдами». Выигранные командами монеты взвешивались и в зависимости от веса пересчитывались в любой конвертируемой валюте. Игры были вполне серьезными испытаниями находчивости, ловкости, силы и смелости участников, и мне запомнились радостные лица счастливых победителей. В основном это были французские команды, но раз или два в игре участвовали наши молодые телевизионщики-дикторы и корреспонденты. Соревнования имели своего ведущего, организующего, направляющего и комментирующего игру. Ему помогали два обаятельных карлика и еще некоторые постоянные обитатели форта. Игровые испытания требовали не только хорошей физической и психологической подготовки. Была еще проверка на сообразительность. Некоторым из участиков предстояло разгадать различные загадки. Причем время отгадывания ограничивалось сорока секундами, которые отсчитывала струя песка, неумолимо убегающая из горлышка жестяной воронки.

Некий лысый старец, облаченный в бесформенный балахон, с обросшим неряшливыми космами неподвижным лицом, больше похожий на мумию, чем на живого человека, загробным голосом изрекал загадки, которые он вычитывал на страницах толстой книги. Назывался этот персонаж «старец Фура». Что это был за странный старикашка, откуда он взялся на высокой башне форта среди океана и почему он говорит только загадками — все это само по себе тоже было неразрешимой загадкой.

Голова и лицо старца были отлиты из пластической резины с

прорезями для глаз и рта. Такое обличье можно было надеть на любого, и этому любому оставалось только прочесть текст загадки в книге, постаравшись при этом подражать старческому голосу. Так и происходило. Под резиновой личиной старца побывал не один сотрудник французской киногруппы, снимающей игры в Форте Боярд для телевидения. Но эта резиновая функциональность персонажа все-таки смущала устроителей зрелища.

В начале сотрудничества с российской стороной была предпринята попытка оживить загадочного «старца Фура». Для этого в резиновую оболочку всунули голову приглашенного актера. И кроме текста загадки актер стал произносить перед прибежавшим к нему в башню участником игры примерно такую фразу: «Спасибо, что ты пришел (пришла) ко мне, я так одинок!..» — все тем же умирающим голосом. И получалось, что этот старец не только функционально загадочный — он загадочный мученик, которого почему-то заточили в башне форта и людей разрешают увидеть, только когда приходит время прочесть текст из книги. Попытка вдохнуть в старца хоть какую-нибудь человеческую жизнь явно не удалась. Устроители игр окончательно убедились, что обрезиненный «старец Фура» выглядит нелепо, да и зрителям порядком поднадоел ожидаемым однообразием.

Именно это обстоятельство надоумило продюсера с российской стороны Василия Григорьева позвонить мне. Почему выбор Григорьева пал на меня — загадка, достойная злосчастного «старца Фура». Потом, правда, новый ведущий игры артист Леонид Ярмольник уверял, что мою кандидатуру подсказал продюсеру он, но как бы то ни было: человек предполагает, а…

Василий Григорьев предложил мне придумать новый персонаж взамен загадочного старца с таким прицелом, чтобы я этот придуманный персонаж и воплотил. Я придумал пирата.

Эдакого с возрастом отошедшего от дел морского разбойника, обосновавшегося в старинном форте посреди океана, поближе к блеску и звону золотых монет, которые он уже не в силах захватить. Вот он и философствует о тщете богатства, попивает ром, вспоминает старых дружков вроде одноногого Сильвера и грозы морей Флинта, отпускает молодым женщинам пиратские комплименты и тешит себя загадками.

Василий Григорьев моего пирата сразу же утвердил. И я, увлекшись предложением продюсера и собственной выдумкой, занялся подбором костюма и поисками грима. Я решил, что мой пират должен быть узнаваем сразу. Такие пираты бороздят моря на страницах классических книг о морских приключениях, которые мы все с упоением читаем в детстве и запоминаем на всю

жизнь. Одет он, конечно, в расшитый камзол нараспашку, чтобы видна была полосатая морская тельняшка. Подпоясан широким испанским поясом, за который в былые дни совал пистолет или абордажный клинок. На голове повязана красная шелковая бандана, концы которой свисают на плечо из-под черной суконной морской треуголки с золотым кантом. Штаны заправлены в высокие сапоги-ботфорты. И костюм готов.

Теперь грим. Мой пират — видавший виды морской волк, капитан, прошедший через жестокие абордажные сражения. Черная повязка на глазу будет очень даже уместна. Что еще? Безусловно, усы! Поседевшие, слегка обвисшие, но все еще лихие! И еще: пират и ром — понятия неразделимые. Нет сомнения в том, что с годами любимый напиток пиратов заметно подкрасил нос моего капитана.

В костюмерной телевидения мне удалось выбрать все, что я хотел. Даже черную наглазную повязку. Из гримерной захватил приглянувшиеся мне усы и, пригласив в романтическое путешествие жену Елену и сына Николая, отправился вместе с ними к берегу Атлантического океана, во Францию. Не стану живописать поросшее аккуратными и грустными деревцами, называемыми пиньями, пологое побережье Бискайского залива, отличающее пейзаж округа славного, помнящего подвиги трех мушкетеров городка Ля Рошель. Не буду заглядывать в уютный отель в местечке Шантильё, где мы коротали вечера и где, сменяя друг друга, проживали российские команды участников форт-боярдских игр. Команды эти, представляющие телеканал РТР, были подобраны по несколько надоевшему, но все еще модному «звездному» принципу: известные телеведущие, хорошо знакомые зрителям корреспонденты, актеры, ставшие популярными в наиболее удачных телесериалах и не менее популярные музыканты шоу-бизнеса. Все молодые, азартные (иногда сверх меры) и трогательно обаятельные в неколебимой вере в нескончаемость своего успеха. К ним отнесу и Оксану Федорову, мисс Вселенную 2002 года, произведшую впечатление не только победой на конкурсе красоты, но и интригующим отказом от предназначенной ей международной представительской роли. Оксана искренне старалась соответствовать своему партнеру Леониду Ярмольнику и, по-моему, нашла себя в роли второй ведущей, что было совсем не просто рядом с искушенным в таком жанре мастеровитым артистом.

Ничего не скажу и о прославленной французской кухне, кроме того, что рыбаки Бискайского побережья снабжают свежими устрицами всю Европу, и тот, кто любит такого рода морскую живность, чувствует себя здесь, в приморских

ресторанчиках, наверху блаженства.

И вот наконец-то я стою на причале вместе с российско-французской постановочной группой, участниками игры и сотрудниками Форта Боярд.

Подходят мощные пассажирские катера, прямое назначение которых перевозить рабочих на морские нефтяные вышки. Но здесь два таких катера обслуживают форт. Минут сорок морской прогулки с ветерком — и прямо из океанских просторов встают возведенные еще в XVIII веке на подводных скалах высокие овальные стены крепости. Из-за подводных камней непосредственно к форту подойти невозможно. В старину корабли бросали якоря в открытом океане недалеко от крепости, спускали шлюпки, и местные лоцманы проводили их ко входу в форт. Сейчас перед фортом сооружена платформа, возведенная напротив входа в крепость. Платформа эта представляет собой прямоугольную просторную площадку, высоко поднятую над водой мощными металлическими круглыми сваями. Вот к одной из таких свай, увешанной тяжелыми автомобильными покрышками, пристает катер. Пассажиры группами выходят на палубу. С площадки опускается стрела подъемного крана, на конце которой укреплена своеобразная корзинка, можно сказать, большая авоська. Между металлическими кольцами, залитыми жесткой резиной — верхним поуже, нижним пошире — протянута канатная сетка. Пассажиры, не больше девяти человек зараз, становятся на кольцо лицом друг к другу, держатся руками за канаты и взлетают вверх на уровень примерно четвертого этажа. Потом «авоська» плавно опускается на площадку и, если пройти от площадки по деревянному мосту с высокими перилами, вы окажетесь в Форте Боярд. Обратный путь из форта такой же, только, понятно, в обратном порядке. Тоже своего рода экстрим.

Как я уже писал, место пирата на башне. В XVIII веке эта башня завершалась небольшой круглой площадкой, на которой в ночные часы жгли незатухающий костер — морской маяк. Сегодня эта площадка накрыта стеклянным цилиндром, укрепленным вертикальными металлическими полосками, вдоль которых прорезаны два узких окошка. К 10 часам утра — началу работы — стеклянная башня успевает нагреться на солнце, и если в океане штиль, то можно себе представить, какая в стеклянном цилиндре духота. Да и подъем на башню не из самых легких. Это уровень 9-го этажа современного дома. И если первые семь этажей вы поднимаетесь на галереи форта по широким лестницам, то два последних этажа в самой башне ведут крутым каменным винтом в узкой горловине, так что плечи касаются стен, а высота старинных каменных ступенек не меньше сорока

сантиметров каждая. Мне приходилось проделывать этот подъем четыре-пять раз в день: в перерывах можно было выпить кофе и перекусить в уютной столовой на первом этаже форта, да и просто отдышаться, т. к. мой костюм заметно усугублял жаркую духоту стеклянного цилиндра.

В первый же день съемок возник вопрос о том, как называть моего пирата. Звучали самые разные предложения. Но имя старца — Фура родилось из названия находящегося неподалеку от берегового причала маленького поселка, и поэтому единодушно решили имени не изменять, и оно стало звучать как «пират Фура» или «капитан Фура».

Я предложил исправить оплошность, допущенную в существовании отмененного старца, и сделать пирата Фура не несчастным затворником башни, а равноправным обитателем Форта Боярд. В конце концов, мы с режиссером Константином Куцем сняли несколько планов, благодаря которым мой пират оказывался заинтересованным соучастником происходящих игр, то появляясь в зале ночных магов, то озирая океан с верхней галереи крепости, то стоя у входа в башню или следя за игроками из окошка башенной надстройки.

По моему замыслу, капитан Фура должен был произносить какие-то сентенции, характеризующие его как бывшего пирата, и вместе с тем общаться с поднявшимся в башню игроком. И на все это по условиям игры отпускалось не более трех минут. В первый репетиционный день я затруднялся с распределением текста в такое коротенькое время. И здесь Василий Григорьев проявил себя не только как продюсер, но и как режиссер. Следя за репетицией по монитору, он посоветовал мне встречать игрока пиратской сентенцией, затем загадывать загадку, после которой должна была последовать моя характеристика игрока в зависимости от его успеха или неудачи в разгадывании. Я принял совет с благодарностью. Текст, который произносил пират, был моей актерской импровизацией, особенно в части общения с игроками. Но помятуя о том, что хорошая импровизация бывает удачной только если заранее подготовлена, я вечерами, накануне съемки сочинял пиратские сентенции. Оказалось, что потребуется таких фраз, которые называются «речевки», желательно афористичных, сорок две и крутиться эти фразы должны вокруг пиратской темы. А тема эта включает в себя не так уж много понятий: море, сражения, золото, ром. И не хотелось, чтобы высказывания моего пирата повторялись. На тридцать шестой «речевке» я совершенно иссяк. Тут мне на помощь пришли жена и сын. Поздними вечерами в комнате отеля они вслух и с большим увлечением, наперебой изобретали пиратские изречения, помогая

моей обессиленной фантазии. Признаюсь, что некоторые были очень удачны, и я с радостью ими воспользовался. В общем, до сорока двух высказываний мы дотянули. Это добровольное участие моих близких в жизни пирата Фура можно заключить в один из его афоризмов: «Подсказка — попутный ветер для умного и мель для глупца».

Пирата я не играл — я играл в пирата. А это разные творческие задачи. Актер, играющий роль, должен создавать образ, характер. Характер персонажа может проявляться только в развитии сюжета, через смену обстоятельств, на которые персонаж реагирует соответственно своему характеру. Актеру необходимо выстроить линию поведения своего героя. В случае с моим пиратом никакой смены обстоятельств не существовало. Каждый раз одно и то же: башня, книга, загадка. К тому же появление на экране ограничивалось очень коротким временным отрезком. Это был не образ, а маска пирата. Моя актерская задача заключалась в том, чтобы сделать эту маску не резиновой, а живой, убедительной и, как я уже писал, узнаваемой. Надеюсь, что мне это удалось.

До своего участия в проекте, глядя на телеэкран, я, как, наверное, и другие зрители, был уверен, что игры в Форте Боярд выглядят такими эффектными благодаря монтажным ухищрениям и специальной постановке отдельных трюков как в игровом кино. Оказалось — ничего подобного! Никаких постановочных подмен не существует. То, что видят зрители — операторская хроника, и в «тюрьме» игроки сидят по-настоящему. Признаюсь, что я боролся с постоянным соблазном подсказать молодым и обаятельным участникам игр ответы на свои загадки. Но руководители проекта замкнули мне рот категорическим условием чистой бескомпромиссной игры, и победы или поражения наших команд я переживал так же, как их участники и зрители. И в этой бескомпромиссности соревнований, как мне кажется, кроется особое обаяние игр Форта Боярд.

С берега Бискайского залива я привез в Москву самые лучшие воспоминания о встрече с организаторами и участниками игр в Форте Боярд. И прежде всего, о прелестной Сильвии — художнике-гримере, каждый день способствующей воплощению моего пиратского замысла. А французские звукооператоры, ежедневно опутывающие меня под одеждой проводами своей аппаратуры, вклеивающие кусочком пластыря зернышко микрофона в ухо и подвешивающие к поясу под камзол черную коробку аккумулятора? А блистательные неутомимые кинооператоры Форта Боярд, благодаря искусству и профессиональному мастерству которых зрители в полной мере

ощущают весь риск любого трюка, видят все звенья в стремительно раскручивающей цепи игровых испытаний? А веселые, подвижные карлики, Паспорту и Постан, мой партнер по всем сценам в башне? И разве можно забыть бесстрашную Монику, укротительницу тигров? А нет, не буду перечислять каждого, пусть все они останутся в моей доброй памяти без упоминаний на бумаге.

Упомяну только, что в российской постановочной группе имя Наташа было самым распространенным. Все наши Наташи заслуживают самых теплых отзывов, но особенно — редактор программы Наташа Белан, которой удавалось сочетать жесткую профессиональную энергию с подлинным женским обаянием.

Перед отъездом в Форт Боярд я купил книгу «Пираты, разбойники — энциклопедия». Книга с таким названием оказалась в магазине последней. Тогда я счел это добрым знаком. И сегодня верю, что это именно так.

# Юмор Бориса Ливанова

Шутки, остроумные замечания и определения моего отца, прославленного артиста и режиссера Московского Художественного академического театра, моментально становились достоянием городского фольклора. Благодаря своей афористичности со временем некоторые утрачивали авторство, воспринимались как народные.

В последнее время объявились пошляки, охочие приписывать Борису Ливанову остроты, которые он никогда не произносил, в ситуациях, в которых никогда не бывал.

Поэтому-то я и решил, дорогие читатели, познакомить вас с подлинно ливановским юмором.

Старый знакомый Ливанова при встрече:

— Борис, посмотри, какую дурацкую, уродливую трость мне подарили!

— Ты так думаешь? А, по-моему, она тебе очень к лицу.

* * *

Один драматург принес Ливанову свою пьесу о Курчатове.

Борис Николаевич прочел пьесу и, встретившись с автором, сделал ему ряд конкретных замечаний и предложений по доработке, без которой, по мнению Ливанова, пьеса была не готова для сценического воплощения. Тем более что драматург хотел, чтобы Ливанов пьесу ставил и сам играл роль Курчатова.

Вместо продолжения работы драматург отправил свое произведение на закрытый конкурс Министерства культуры, где получил первую премию.

После этого позвонил Ливанову:

— Борис Николаевич, вы будете ставить мою пьесу?

— А вы ее доработали?

— Нет. А вы разве не знаете мнение Министерства культуры?

— Знаю, — ответил Ливанов. — Но я могу поставить пьесу, а мнение я поставить не могу.

* * *

Ливанов требует от актера, чтобы тот точно выполнил его режиссерское задание. Актер пробует раз, другой, третий.

— Борис Николаевич, я не могу это сыграть. Я еще молодой

актер. Мне 28 лет.

— В твоем возрасте лошади уже дохнут!

* * *

Идет генеральный прогон спектакля «Егор Булычов», актеры в гриме и костюмах. Внезапно Настасья Платоновна Зуева, исполняющая роль Знахарки, прерывает сцену, подходит к рампе и спрашивает, обращаясь к Ливанову-режиссеру, в темный зрительный зал:

— Боречка, я забыла, какая у меня здесь «сверхзадача»?

— Какая «сверхзадача», Настя! — простонал в ответ Ливанов. — Билеты уже продают!!!

* * *

Театральный критик, выступая на юбилее артиста Юрия Леонидова, называл его роли «полотнами».

— Когда наш юбиляр создавал это полотно… А в этом, сотворенном им полотне… и т. д.

После выступления критика Ливанов сказал юбиляру:

— Юра, я думал, что ты — артист. А ты, оказывается, полотняный завод.

* * *

Один молодой актер на гастролях театра отмечал свой день рождения, который завершился пьяным дебошем в гостинице, где проживала труппа.

На следующий день почтенный мхатовец старец М. Кедров выговаривал провинившемуся:

— Не понимаю, зачем надо было пить водку? Ведь можно было отметить свой день рождения лимонадом.

— Ну, тогда это был бы твой день рождения! — заметил Ливанов.

* * *

После войны Алла Тарасова, прославившаяся в роли Анны Карениной, оставила своего мужа И. М. Москвина и стала женой

героического летного генерала Пронина. Пронин был крепыш среднего роста, очень широкоплечий, почти квадратный, с ничем не примечательными чертами лица.

Стареющий Москвин воспринял уход жены болезненно, в театре ему сопереживали. Тарасовой, очевидно, хотелось найти какое-то достойное оправдание своему поступку.

— Борис, — обратилась она к Ливанову, — правда, Пронин — это вылитый Вронский?

— Алла, перечитай «Анну Каренину», — посоветовал Борис Николаевич.

* * *

Растолстевшему приятелю-художнику:

— У тебя портрет совсем за раму вышел.

* * *

Актеров нельзя допускать в судебные заседатели. Они по любому поводу могут вынести только один приговор: кровавая смертная казнь. На Шекспире воспитаны.

* * *

Во время гастролей в Киеве три администратора — один мхатовский и двое местных — затеяли концерты с участием молодых актеров. Два концерта до спектакля и один после. И так целую неделю. Молодые актеры радовались: подработаем. И трудились из последних сил. Когда конвейер концертов остановился, администраторы получили солидные денежные премии, актеры — ничего. В театре разбушевался стихийный митинг.

Обманутые актеры ринулись за правдой к Ливанову, одному из руководителей театра.

— Борис Николаевич, вы слышали, что произошло?

— Слышал. Все правильно.

— Как? Почему?

— Потому что премии получают доярки, а не коровы.

* * *

— Рожденный ползать — летать не может.
— Летать рожденный — заползать может.

* * *

— Оптимизм — это недостаточная осведомленность.

* * *

Заседание руководства театра. Ливанов, войдя в комнату, обращается к Станицыну, сидящему в кресле:
— Пересядь, пожалуйста, здесь обычно сижу я.
— Борис, какая разница. Вон свободное кресло.
— Нет, здесь у каждого льва своя тумба.

* * *

В последние годы во МХАТе «старики» между собой почти не разговаривали. Бывало, сидят в антракте в закулисном фойе театра, в гримах и костюмах, молчат и думают каждый о своем.

И вдруг один из «стариков», ни к кому персонально не обращаясь, начинает рассуждать вслух:

— Ну, чего у меня нет? Я — народный артист Советского Союза, член партии… орденоносец… Постоянно занят в репертуаре. Чего у меня еще нет? У меня прекрасная пятикомнатная квартира в центре… дача, очень хорошая… Две государственные премии… Да… я еще и режиссер… у меня есть свой театр, я там художественный руководитель… меня на казенной машине возят… а еще у меня есть своя машина… «Волга»… На здоровье, тьфу-тьфу, не жалуюсь. Ну, чего у меня еще нет?

В повисшей тишине раздается голос Бориса Николаевича:
— Совести у тебя нет.

* * *

В конце сороковых годов, в период борьбы с «космополитизмом» театр захлестнула мутная волна конъюнктурных пьес-однодневок. Не миновала эта беда и МХАТ.

Актеры пытались как могли «дорабатывать» скороспелые

пьесы, сами исправляли тексты своих ролей, пытаясь внести в них ноты правдоподобия и человечности. Меняли названия, чтобы они не звучали как агитлозунги.

В те поры директором театра была Алла Константиновна Тарасова.

Однажды на художественном совете придумывали новое название очередной пьесы.

Алла Тарасова предложила:

— «Под алым стягом».

— Мне нравится, — сказал Ливанов. — Но маленькая поправка: «Под стягом Аллы».

* * *

Жизнь состоит из подготовки к ней.

* * *

А я волосы отпустил. Совсем!

* * *

При переполненном зале во Всероссийском театральном обществе показывали новый фильм американского режиссера С. Крамера «На берегу». На экране разворачивается трагедия гибели человечества в атомной войне.

По окончании фильма потрясенные зрители в немом молчании потянулись из зала. Кто-то шепотом спросил Бориса Николаевича:

— Правда, страшно?

— Нет, — громко ответил Ливанов, любимый ученик Станиславского. — Я понял, бац! И — здрасьте, Константин Сергеевич!

* * *

Очень худощавому актеру:

— У тебя не телосложение, а теловычитание.

* * *

В театре:

— Борис Николаевич, вас просят зайти в художественную часть.

— Как это художественное целое может зайти в художественную часть?

* * *

Труппа саратовского драмтеатра встречает гостей-мхатовцев.

— Борис Николаевич, а у нас есть актер Ливанов — ваш однофамилец.

— Замечательно! В каждом театре должен быть свой Ливанов!

* * *

Любуясь природой:

— Так красиво, что даже грустно!

* * *

Перед выпуском спектакля.

— Все в театре волнуются. Но по-разному. Я потому, что не уверен в своем успехе, а некоторые товарищи потому, что не уверены в моем провале.

* * *

Молодость, как таковая, интересна только в телятине.

* * *

Врач, выписывая Бориса Николаевича из больницы после инфаркта:

— Ну вот, мы вернули вам все ваши достоинства.

— Верните мне мои недостатки!

* * *

В доме Ливановых часто собиралось дружеское застолье. Отец и мама всегда сидели напротив друг друга в торцах длинного стола. Кто-то из друзей поинтересовался, почему они сидят именно так.

— Чтобы избежать рукопашной, — ответил Борис Николаевич.

* * *

Когда родилась первая внучка:

— Ну вот, я впал в дедство.

* * *

Когда исполнилось 66 лет:

— Я эту дату воспринимаю так: 33 с фасада и 33 с тыла.

* * *

Присвоение знаменитых имен различным театрам сделалось почти обязательным. Коллегии Министерства культуры Е. А. Фурцева объявила, что в «высших инстанциях» принято решение присвоить Камерному театру имя А. С. Пушкина.

Естественно, члены коллегии поинтересовались: почему?

— Как вы не понимаете, товарищи? — укорила министр культуры. — Театр находится недалеко от памятника Пушкину. На бульваре.

— Ну, тогда, — подал реплику Ливанов, — его лучше назвать Бульварный театр.

* * *

Во время пребывания театра в Нью-Йорке знаменитый актер и педагог Ли Страссберг, знаток системы Станиславского, попросил Бориса Николаевича дать пресс-конференцию. Студию Страссберга заполнили не только журналисты, но и актеры, писатели, режиссеры. Один из первых вопросов:

— Такой художник, как вы, должен верить в Бога. Что вы на это ответите?

— Говорить об этом не будем, — последовал ответ, — вы —

американцы, и Христа любите из-за его мировой популярности.

Зал разразился овацией.

* * *

Однажды, выступая в Министерстве культуры перед членами коллегии, среди которых был и Ливанов, министр Фурцева развивала свою любимую идею об организации повсюду, где только возможно, «художественной самодеятельности» и договорилась до того, что, по ее мнению, «самодеятельность должна скоро вытеснить профессиональное искусство».

— Борис Николаевич, — прервав речь, обратилась она к Ливанову. — Я вижу, вы что-то рисуете в блокноте и меня не слушаете? Вы что, со мной не согласны?

— Я слушаю, — ответил Ливанов. — Вы радуетесь тому, что профессиональное искусство скоро исчезнет, а я — профессионал. Вот вы бы, Екатерина Алексеевна, стали пользоваться услугами самодеятельного гинеколога?

Обсуждение закончилось гомерическим хохотом всех присутствующих.

* * *

Образованием ума не заменишь.

# Осколки киномолвы

С моим другом, художником Василием Вдовиным, мы готовили к изданию альбом рисунков Бориса Николаевича Ливанова: «Мастера кино». О рисунках моего отца кинорежиссер Сергей Эйзенштейн писал: «Это не портреты, а… психологически разработанные роли: их можно играть».

Вглядываясь в знакомые каждому кинематографисту, да и большинству зрителей, лица, изображенные артистом-художником, я вспоминал забавные истории, с ними связанные, какие-то ситуации, в которых они оказывались, их характерные слова и выражения, оставшиеся жить в мире кино. Осколки киномолвы…

* * *

Артист Черкасов негодовал:

— От Эйзенштейна с ума можно сойти! На моем крупном плане смотрит в камеру и требует:

— Коля, лоб — ниже, а подбородок — выше!!!

* * *

Николай Черкасов и режиссер Всеволод Пудовкин вдвоем представительствовали в Индии на «Неделе советского кино». По их возвращении журналисты спросили Черкасова:

— Что произвело на вас в Индии самое сильное впечатление?

— Пудовкин, — ответил Черкасов.

* * *

Сергей Эйзенштейн говорил о режиссере Григории Рошале: «Вулкан, извергающий вату». Но ему же принадлежат слова: «Рошаль был весь открыт, и струны в нем дрожали…»

Один из старейших кинорежиссеров А. Ивановский как-то заметил:

— Я предпочитаю неискреннюю вежливость искреннему хамству.

* * *

Режиссер Александр Довженко:

— Кинематографу свойственно преувеличивать. На экране даже муха, снятая крупно, может угрожать человечеству.

Разросшиеся помещения «Мосфильма» Довженко охарактеризовал так.

— Всюду долго и никуда не прямо. Здесь есть места, где еще не ступала нога человека.

* * *

Фильм «Сталинградская битва» создавался по личному указанию Сталина. Участвовали все рода войск: пехотные полки, танковые соединения, авиация.

Готовилась съемка главной эпической сцены: решающее наступление наших войск. Киногруппа во главе с режиссером Владимиром Петровым расположилась на холме, возвышающемся над степной равниной. Вдали, за линией горизонта, военные консультанты, недавние боевые генералы, сосредоточили пехотные полки, танковые бригады. За ними, на подготовленных взлетных полосах, десятки самолетов ждали сигнала, чтобы подняться в воздух. Операторы на холме готовили к работе несколько кинокамер.

Старший военный консультант с белым флагом на коротком древке в опущенной руке подошел к режиссеру:

— Владимир Михайлович, по всей степи расположены наблюдатели с биноклями. Они следят за каждым вашим движением. Когда будете готовы, махните флагом — это будет для наземных войск и авиации сигналом к наступлению.

И передал Петрову флаг.

— А как махнуть? — спросил режиссер. — Вот так? — И махнул.

Через считанные секунды танки вылетели на равнину, за ними с криком «Ура!» — пехота, а за ней на бреющем полете, ревя моторами, авиация. Заработала взрывная пиротехника.

Петрову и главному консультанту потребовалась врачебная помощь. Но все обошлось. Оправдались тем, что была необходима генеральная репетиция.

* * *

Выступая с речью на Учредительном съезде Союза кинематографистов, сценарист и кинокритик Виктор Шкловский, в частности, сказал:

— В советском кинематографе много прекрасных режиссеров, талантливых артистов, блестящих операторов… Пора, чтобы в наш кинематограф пришли мужчины!

Зал отозвался овацией.

* * *

До учреждения Союза кинематографистов был создан Оргкомитет, и кинематографистам раздали удостоверения членов Дома кино. Но, как оказалось, это не помешало совершенно посторонней публике заполнять зрительный зал Дома.

Однажды председатель Оргкомитета режиссер Иван Пырьев сам встал в контрольных дверях и каждого входящего грозно спрашивал:

— Член Дома?

Ему предъявляли удостоверения. Когда вошел Ростислав Плятт, Пырьев автоматически спросил:

— Член Дома?

— Почему дома? — удивился артист. — Всегда с собой.

* * *

Артист Алексей Дикий как-то сказал:

— У нас как принято: назначат человека уборной заведовать — он сразу думает, что стал «Главговно».

* * *

Корней Чуковский шутил по поводу фамилии драматурга Корнейчука:

— Корнейчук — это мой театральный псевдоним.

* * *

Александр Вертинский утверждал:

— Если человек умер, то это надолго. Если дурак — это навсегда.

* * *

Режиссер Александр Зархи славился своей рассеянностью. Однажды он пригласил большую компанию кинематографистов к себе на дачу, на ранний обед.

Гости приехали к назначенному часу и застали хозяина, загоравшего на террасе голым по пояс, в одних пижамных штанах. Повторился сюжет бессмертной гоголевской «Коляски». Хозяин вынужден был признаться, что забыл о приглашении.

— Никакого обеда нет… Жены дома нет… — лепетал сконфуженный Зархи, при этом от крайнего смущения и растерянности поминутно оттягивал на животе резинку пижамных штанов и заглядывал в образовавшееся отверстие.

— Саша, чего ты туда заглядываешь? — поинтересовался Борис Ливанов. — У тебя и там ничего нет.

* * *

Режиссер Михаил Калатозов был одно время руководителем советского кинематографа. Его гражданскую жену, вдову писателя Алексея Толстого, стали называть «кинематографиня».

* * *

Главный режиссер Театра имени Маяковского Николай Охлопков устроил предновогоднюю премьеру спектакля «Гамлет» для творческой интеллигенции. Съехалась, как говорится, вся Москва.

Наиболее именитые гости оставляли верхнюю одежду не в гардеробе, а в кабинете главного администратора. Жена писателя Кочетова обратила на себя общее внимание, появившись в роскошной норковой шубе до щиколоток.

Вешалка в администраторской быстро заполнилась, гости складывали пальто и шубы на диван, на кресла, завалили даже письменный стол.

Когда спектакль кончился и гости стали разбирать свою одежду, выяснилось, что норковая шуба исчезла.

Закрыли все выходы из театра, никого не выпускали, вызвали милицию с поисковой собакой, обследовали в театре каждый закуток. Безрезультатно!

Жена Кочетова рыдала в три ручья, ее отпаивали валерианкой.

На следующее утро Сергей Михалков позвонил Кочетову и спросил:

— Ну, ты п-п-понял, что «Гамлет» — это т-т-тра-гедия?

* * *

Одно из изречений Фаины Раневской:

— Сняться в плохом фильме — все равно что плюнуть в вечность.

* * *

Однажды композитор Арам Хачатурян выступал с докладом на собрании Союза композиторов. Зачитывал заранее написанный текст.

— …мы должны быть благодарны партии и правительству за внимание к музыкальной культуре нашей многострадальной Родины…

— Многонациональной! — поправили из президиума.

— Да… — сказал Хачатурян, — конечно…

И, помолчав, добавил:

— Простите, я не в тех очках!

* * *

Композитор Дмитрий Шостакович как-то спросил своих учеников:

— Какой самый плохой инструмент?

Ученики затруднились с ответом.

— Флейта! — провозгласил Шостакович и пояснил: — Однажды музыканты играли перед падишахом. Ему очень понравилось, и он приказал: «Насыпать музыкантам полные инструменты золотых монет!»

В барабан сколько войдет? А в геликон? Даже в скрипку можно насыпать… А во флейту ни одной монетки не запихнешь!

В другой раз музыканты играли перед падишахом, и ему очень не понравилось. «Засуньте их инструменты им в задницу!» — приказал.

Барабан не лезет, геликон не лезет, даже скрипка не лезет. А флейта? Вот поэтому — самый плохой инструмент.

* * *

Самое известное изречение сценариста Иосифа Прута — записного остроумца:

— Если тебе шестьдесят лет, ты проснулся утром и у тебя ничего не болит, — значит, ты уже умер.

* * *

Артист Георгий Жженов рассказывал, что ему и Борису Ливанову предстояло партнерствовать в каком-то важном эпизоде в фильме Киевской киностудии.

Режиссер, приятель Жженова, позвонил ему в Москву и попросил:

— Жора, возьми Борису Николаевичу билет и поезжайте в одном купе. Проследи, чтобы Ливанов не позволил себе в дороге выпить лишнее. А то съемка завтра прямо «с колес», ну, ты понимаешь…

Партнеры встретились на вокзале и поехали в одном купе. Жженов все-таки прихватил с собой бутылку коньяку, решив, что одна бутылка не повредит. Когда распили коньяк, выяснилось, что Ливанов тоже взял в дорогу такую же бутылку. Проснулся Жженов от того, что кто-то похлопывает его по щекам. Продрал глаза и увидел, что Борис Ливанов стоит над ним в белой рубахе и при галстуке, чисто выбритый и свежо пахнущий одеколоном.

— Жора, вставай, дружочек, приехали. Поезд уже стоял у перрона.

Жженов кое-как заправил рубашку в брюки (спал не раздеваясь), неумытый, небритый, всклокоченный, за спиной Ливанова вышел из вагона.

Режиссер встречает:

— Здравствуйте, Борис Николаевич! Прекрасно выглядите. Я очень рад.

— Ты рад? — Тут Жженов выступил из-за спины Ливанова. — А теперь на меня посмотри!

* * *

Артисты Иннокентий Смоктуновский и Борис Ливанов встретились как партнеры на съемках фильма режиссера И. Авербаха «Степень риска».

— Борис Николаевич, — сказал Смоктуновский, — давайте

договоримся: вы — великий, а я — гениальный.

— Экран покажет, — ответил Ливанов.

* * *

Одиозная популярность молодого театра «Современник» раздражала высокое советское начальство. Министр культуры СССР пригласил Олега Ефремова, руководителя театра, для беседы.

— Есть мнение, — сказал министр, — объединить два театральных коллектива: ваш «Современник» и Театр юного зрителя.

Ефремов опешил:

— Но вы же знаете, что театр «Современник» — мое создание, я там главный режиссер, актеры — мои товарищи… А у ТЮЗа есть свой главный режиссер, своя труппа. Если театры объединятся, кем же я буду в этом новом театре?

— Не волнуйтесь, — успокоил министр, — вы как были Олег Попов, так и будете Олег Попов…

* * *

Олегу Стриженову позвонили из киностудии и предложили «сыграть Чайковского».

— Чайковского сыграть можно только на рояле, — ответил артист.

* * *

Артист Петр Глебов прославился в образе шолоховского казака Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон».

На съемках Глебову завивали строщенный чуб, который лихо курчавился из-под казачьей фуражки.

В те времена Бюро пропаганды советского киноискусства устраивало встречи популярных артистов со зрителями на спортивных стадионах различных городов страны.

Петр Глебов появлялся перед зрителями в казачьей форме, верхом на коне и совершал круг почета по беговой дорожке стадиона.

Но после окончания съемок артист подстригся, завить чуб стало невозможно. Глебов проявил актерскую смекалку: заказал

гримерам отдельный курчавый чуб и намертво пришил его с внутренней стороны к околышу фуражки.

Эта чубатая фуражка стала легендой среди киноартистов. Жаль, если ее нет среди экспонатов нашего музея кино.

* * *

Среди артистов режиссер Пчелкин носил прозвище Пчелини.

* * *

О сценарной «лениниане» драматурга Михаила Шатрова ходила эпиграмма:

Его октябрьский порыв
Горяч, как борщ по-флотски!
И между строчек вечно жив
Великий вождь товарищ… Троцкий.

Позволю себе привести мой ответ на встрече со зрителями в одном очень серьезном правоохранительном учреждении.

— Скажите, товарищ Ливанов, — последовал вопрос из зала, — вот вы семь лет снимались в роли Шерлока Холмса. А могли бы вы сейчас раскрыть какое-нибудь преступление?

— Знаете, — ответил я, — артист Игорь Кваша сыграл роль Карла Маркса. Я не думаю, что сегодня он пишет продолжение «Капитала».

# Невыдуманный Борис Пастернак

*Обязуюсь хранить дом Ливановых*
*в границах сил моих в отсутствии*
*моем и в собственном изображении,*
*чудных, божественных друзей моих.*

*9 янв. 1955 г. Б. Пастернак*

# Пролог

Кажется, Честертон [3] лукаво рекомендовал быть очень внимательным при выборе родителей.

Мне сделать этот неповторимый и счастливый выбор помог, в частности, Борис Леонидович Пастернак. Евгения Ливанова вспоминала [4]:

«Это было в дни Первого съезда писателей. В один из таких дней вечером Алексей Толстой, Пастернак и Тихонов предложили нам с Борисом пойти поужинать в грузинский ресторан…

Толстой начал разговор: настоящая женщина, как хороший поэт, — редкость; если бы Наталья Васильевна Крандиевская не была с ним, то он бы не стал писателем; миссия жены художника — тяжелая миссия… Потом — Тихонов. Потом — Пастернак. Разве я могла устоять перед их доводами, перед их личностями?

Да ведь все равно я бы не могла уже жить без него, без Бориса Ливанова, хотя уже тогда чувствовала, как трудна будет эта жизнь».

Памятным свидетельством остается надпись Пастернака на его книжке «Поэмы» [5], сделанная для будущей моей мамы на следующий день после той встречи и разговоров:

> *«Совершенно не могу надписать Вам книги. Очень хорошо, что с Вами наверное так трудно жить, и Вам самой так трудно. После нашей безсонной ночи и наших вчерашних разговоров с Борисом, Ал. Ник. и Ал. Тихоновым [6].*
>
> *на съезде 30.VIII.34 Б.П.»*[7]

Пройдет много лет. За эти годы Пастернак тесно сдружится с моими родителями, станет «своим» в доме Ливановых.

«В творческие пары и туманы дома Ливановых, Жене и Боре, таким близким!» — подпишет поэт одну из подаренных им фотографий.

6 января — именины моей мамы Евгении, Жени. Этот день всегда отмечался в нашем доме: за нарядным праздничным столом сходились близкие, друзья.

Однажды Борис Леонидович принес и прочитал написанные им к этому дню стихи:

*Евгении Казимировне*
*Ливановой, именинице*

Еще я не знаю,
Что я сочиню.
Прости мне, родная,
Мою болтовню.
Будь счастлива, Женечка!
Когда твой Борис
Под мухой маленечко,
Прости, не сердись.
Ведь ты — самый крепкий
Его перепой.
Он стал бы, как щепка,
Но полон тобой.
Кто без недостатка,
Безгрешен и чист?
Борис твой — загадка,
Мятежник, артист.
И после банкета
И тяжкого сна
Ты — небо рассвета,
Покой, тишина.
Как самый завзятый
Простой семьянин
Я чествую дату
Твоих именин.
Она мне внушила
«Звезду Рождества»
И всех нас скрепила
Печатью родства.

*Б. Пастернак. 6 января 1951 г.*

# Гамлет

*Да вот же он! Туда, туда взгляните:*
*Отец мой, совершенно как живой!*

*В. Шекспир. Гамлет Перевод Б. Пастернака*

Летом 1952 года Московский Художественный театр гастролирует в Ленинграде. Ольга Фрейденберг [8] делится с Пастернаком своими впечатлениями от мхатовских спектаклей. Пастернак ей отвечает письмом от 16 июня:

«Как молодо и с какой отчетливостью ты рассуждаешь о перемене художественных форм и их назначении, о театре, о кино, как по-философски талантливо и с какой безошибочностью судишь о строении разных творческих явлений и их подобии! если ты даже выделила Ливанова, потому что знаешь, что это мой лучший друг, то и в таком случае меня радует, что наше отношение к нему сходится. Его нельзя назвать неудачником, нельзя сказать, что он не понят, недооценен, но широта его мира, его разносторонность, образованность и то, что он не замкнулся в рамки характерного актера, позволяет его собратьям коситься на него под многими предлогами…»

Весной 1954 года Пастернак, интересуясь постановкой «Гамлета» в своем переводе в Александринке, напоминает в письме к О. Фрейденберг: «В Ленинграде часто бывает Ливанов, большой мой друг, который должен был играть Гамлета во МХАТе пятнадцать лет тому назад» (12.4.54).

В 1939 году В. И. Немирович-Данченко задумал и стал готовить во МХАТе постановку «Гамлета».

С какой ответственностью и тщательностью режиссерская группа (Немирович-Данченко и В. Г. Сахновский) относилась к будущей постановке, говорит хотя бы то, что при распределении ролей для исполнения Офелии и Лаэрта труппу Художественного театра пополнили талантливые молодые актеры из других театров: Ирина Гошева из Ленинградского театра комедии от Николая Акимова и Владимир Белокуров из Московского театра имени В. Маяковского от Николая Охлопкова. Кстати, пригласить Белокурова посоветовал мой отец, которому предназначалась роль Гамлета.

Возникли проблемы с переводом. Выбранный поначалу перевод А. Радловой позже стал не устраивать Немировича-Данченко. Интересный при чтении текст перевода проигрывал в сценическом звучании: становился легковесным. Попытка соединения двух переводов — академически громоздкого Лозинского и нового, Радловой, — не дала желаемого результата. Немирович-Данченко стремился к современному, разговорно-острому и поэтическому звучанию текста, но не за счет упрощения философской значимости.

И тут появился перевод Бориса Пастернака. Это было именно то, к чему стремился театр. Ливанов немедленно представил режиссерам перевод и переводчика.

Театр принял пастернаковскую работу почти безоговорочно. Немирович-Данченко написал А. Радловой в ноябре 1939 года:

«Перевод этот (Пастернака. — *В. Л.)* исключительный по поэтическим качествам, это, несомненно, событие в литературе. И Художественный театр, работающий свои спектакли на многие годы, не мог пройти мимо такого выдающегося перевода “Гамлета”… Ваш перевод я продолжаю считать хорошим, но раз появился перевод исключительный, МХАТ должен принять его».

Доверяя художественному вкусу Бориса Ливанова, его актерскому «чутью» и видя в нем творческого единомышленника, увлеченного замыслом постановки, Немирович-Данченко предложил актеру, исполнителю заглавной роли, вместе с поэтом проверить сценическое звучание перевода, добиваясь полной органичности произносимого текста. Но никакого совместного творчества не произошло бы, если бы поэт Борис Пастернак сам не относился к актеру Борису Ливанову с высокой степенью доверия и восторженного приятия.

Евгения Ливанова так вспоминала о присутствии поэта на спектакле «Горе от ума», в котором Ливанов играл роль Чацкого:

«На спектакле я была с Пастернаком. Сидели в восьмом ряду рядом с креслом Немировича-Данченко, он отдыхал в это время в Барвихе. Ему туда послали телеграмму о небывалом успехе и что занавес давали 24 раза.

Первые слова Ливанова — Чацкого: “Чуть свет — уж на ногах! и я у ваших ног!” — и Пастернак залился слезами. Он их даже не замечал. И это продолжалось весь спектакль, как только выходил Чацкий — Ливанов и начинал говорить.

— Я впервые понял, почему это написано в стихах, — сказал Борис Леонидович.

После конца спектакля он был возбужден, взволнован, лицо было заплакано».

Свои впечатления Пастернак выразил в надписи на вырванной из книги странице со своим портретом — репродукцией работы художника Леонида Пастернака — отца поэта:

> «Великому и стихийному артисту и, по счастью, другу моему Борису Ливанову, дань любви и восхищения и общей нашей будущности, раскрывающейся мне в его игре.
>
> *Б.П. 1938 г.»*

Оба Бориса азартно взялись за совместный труд. Это время можно считать началом их творческого и человеческого дружеского сближения. Они занимались не только поисками наиболее выразительного звучания слова. Борис Ливанов — талантливый художник — рисовал отдельные мизансцены будущего спектакля, которые отражали их общее понимание того или иного сценического решения. Пастернак участвовал советами и в поисках внешности героя: Ливанов всегда предварял рисунками свою актерскую работу над образом, находя внешний облик персонажа — грим, костюм.

18 июня 1941 года Пастернак надписывает Ливанову первое издание шекспировской трагедии в своем переводе:

> «Человеку о котором это написано:
> Борису
> Ливанову —
> Гамлету.
>
> *Б. Пастернак. 18. VI. 41. Переделкино».*

Через четыре дня разразилась война.

> «5. IX.41
> Золото мое Боричка!
> Я дико занят. На мне две пустые квартиры, дача, чужие неразочтенные домработницы, самые разноречивые хозяйственные заботы. Все мои кто где, на Каме, в Ташкенте, под Челябинском. Изредка у меня ночные дежурства в Лаврушинском [9], я прохожу ежедневное военное обучение. Каждый день с утра в Москве, где высуня язык бегаю по разным безуспешностям только затем, чтобы, вернувшись в Переделкино, полакать чего-ниб. впопыхах (воображаю,

что б это было, если бы на это взглянуть при свете дня). На рассвете (в моем распоряжении только 1½–2 часа утром до поезда) строчу что-ниб. (меня опять свели к переводам, с латышек, с грузинск.) на гривенник, на пятиалтынный, которые потом не платят. Но я не жалуюсь, я люблю быстроту. Судьба циркового трансформатора прельщает меня. Беда не в этом. В чем она, я расскажу тебе как-ниб. один на один. На днях я взбунтовался, и тут мы с тобой сразу подходим к теме. Вчера я прямо с боевой стрельбы отправился к Храпченко [10], и тут я узнал вещи ошеломляющие. По его словам, в Новосибирске будут продолжать играть Гамлета в новом сезоне, и для его подготовки где бы то ни было никаких препятствий не встречается. Мало того: он упрекнул меня, зачем я бросил работу по “Ромео”, а на мои слова, — кому-де нужен сейчас Шекспир, ответил что-то вроде “глупости”, но повоспитаннее, я точно не помню. Как Вам это нравится и сделали ли Вы из этого практический вывод? Крепко тебя целую и бегу на поезд, е… его мать, хотя так выражаться не следует, потому что дальше поклоны Сахновским [11], +Вит. Як. [12] и Ольге Серг. [13]

Если ты задумаешь осчастливить меня открыткой, направляй ее по адр.: Москва, 17, Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72, Б. Л. Пастернаку. Искренне тебе преданный

*Б.П.»*

Несмотря на недоуменный оптимизм Пастернака в отношении дальнейшей работы над «Гамлетом», в сотворчестве обоих Борисов наступает перерыв, вызванный эвакуацией МХАТа из Москвы и отъездом Пастернака к своей семье в Чистополь на р. Каму.

В 1942 году в эвакуации директором МХАТа был назначен И. М. Москвин. Немирович-Данченко оказался вдали от театра, на Кавказе. Поначалу театр направился в Саратов, потом переехал в Свердловск. «Гамлет» не репетировался, несмотря на то что один из режиссеров спектакля, В. Г. Сахновский, был с труппой. Сказывалось отсутствие Немировича-Данченко. Ливанов и Пастернак с семьями возвращаются в Москву в 1943 году.

МХАТ в полном составе постепенно возобновляет репетиции «Гамлета». Поэт и актер снова часто встречаются для продолжения совместной работы.

Ходил упорный слух, что Сталин с опаской относится к теме

гамлетизма. В данном случае выход спектакля гарантировался бесспорным авторитетом Немировича-Данченко. Смерть его наносит готовящемуся спектаклю первый удар.

И. Москвин, Н. Хмелев, ставший художественным руководителем театра, и назначенный директором В. Месхетеди публикуют в центральной прессе статьи о готовящемся спектакле, пытаясь защититься хотя бы памятью о Немировиче-Данченко.

Привожу фрагмент одной из таких статей:

> «БЛИЖАЙШИЕ ПРЕМЬЕРЫ
> ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
>
> …Более двух лет Владимир Иванович с присущим ему увлечением работал над “Гамлетом” Шекспира. Он создал режиссерский штаб во главе с В. Сахновским, глубоко и проникновенно проработал все линии этой постановки. С режиссурой и участниками спектакля неоднократно обсуждался план постановочной работы, была определена характеристика образов действующих лиц. Перед актерами, занятыми в этой работе, наш учитель ставил задачу — добиться большой трагической силы, сочетаемой с простотой живой психологии и прекрасной театральностью. Он стремился к тому, чтобы в спектакле чувствовалась суровая атмосфера действия и был вскрыт глубочайший философский, человеческий смысл трагедии Гамлета. Владимир Иванович не ограничивался только разработкой плана и беседами с участвующими в спектакле артистами. Он провел с ними много репетиций, приглашая их к себе даже на дом в те дни, когда чувствовал себя плохо. Особенно много внимания он уделил работе с Б. Ливановым — исполнителем роли Гамлета. Эта работа не прекращалась до самых последних дней его жизни. Он принял и утвердил спектакль, эскизы костюмов, написанные художником В. Дмитриевым. Без всякого преувеличения можно утверждать, что замысел этой постановки принадлежит к крупнейшим и интереснейшим работам великого мастера русской сцены. И сейчас задача нашего коллектива, наших мастерских, всего театра — воплотить в сценическое создание замыслы нашего учителя и сделать спектакль “Гамлет” достойным его светлой памяти» [14].

Понимая, что театр остался без своего главного заступника, В. Г. Сахновский торопится довести спектакль до премьеры.

О напряженном труде обоих Борисов свидетельствует письмо

Пастернака:

«8. III.44
Дорогой Борис!
Отраженно по себе догадываюсь, что позавчера были твои именины, с чем тебя и поздравляю.
В субботу я был не выспавшись, и ради Бога не думай, что я во все дни недели бываю такой тупой и злой.
Два дня я тебе звоню, чтобы сообщить новые возможности относительно наших проклятых шекспировских строчек:
Все в жизни рухнуло

Святыни рухнули, и вот я стал
Защитником поруганных начал.

Спасителем
Поборником
Готов потеть и дальше. Привет всей твоей семье.
Евгении Казимировне целую ручку.

*Твой Б. П.»*

В нашем семейном архиве сохранилась репетиционная тетрадь моего отца, в которой страницы с наклеенным печатным текстом перевода чередовались с пустыми, предназначенными для актерских записей и помет. Некоторые из них заполнены рукой Ливанова, другие — рукой Пастернака. Очевидно, что актер давал поэту эту тетрадь с намеченными им во время репетиций исправлениями в тексте, и Пастернак вписывал туда свою окончательную редакцию.

Помню, по всему нашему дому в то время обнаруживались случайные листы бумаги, на которых, «озверев от помарок», Борис Леонидович записывал новые и новые варианты гамлетовских реплик и монологов.

Многие из рукописных правок в актерских тетрадях Ливанова вошли в новое издание пастернаковского перевода трагедий Шекспира и закреплены в нем как окончательные.

«Дорогому Борису Ливанову
с которым вместе мы варили это блюдо.

*Б. Пастернак, Москва. 8 октября 1947 г.»*

Так оценит Борис Пастернак их совместное творчество, надписывая новое издание перевода — в Детгизе, в 1947 году.

Из воспоминаний Евгении Ливановой:

«К Новому, 1945 году группа английских актеров во главе с “английским Качаловым” — Джоном Гилгудом направила своим советским коллегам подарок — пластинки с записью шекспировских монологов. Два монолога из “Гамлета” читал Гилгуд, причем свое исполнение он посвятил — так это и звучало на пластинке — “моему другу Борису Ливанову, занятому сейчас работой над Гамлетом”».

В ответ Ливанов и Пастернак послали Гилгуду письмо.

«Москва, 1945 год
Джону Гилгуду
Королевский театр,
Геймаркет, Лондон
Дорогой Гилгуд,

в дни, когда все человечество считает секунды, думая об истинной, достойной человека жизни, наконец завоеванной, мы получили от Вас подарок. Вы прислали нам свое дыханье. Вы произнесли слова, сказанные лучшим из нас Гамлетом: “Что значит человек…” Спасибо Вам.

Мы, советские художники, ощущаем радость по поводу того, что в наше время мы в такой доступности, о которой могли бы мечтать наш Пушкин и Ваш Байрон, услышали голос того, кто нам душевно так близок, а пространственно так далек. Я и мой друг Пастернак великолепно способны оценить, кем Вы вошли в Гамлета и кем из него вышли и что к нему прибавили.

Вы — прекрасный артист, и мы счастливы, что судьба посвятила нас в стихию артистизма, неразрывно породняющую нас с Вами, — залог нашей более широкой и длительной творческой дружбы.

С лучшими пожеланиями, искренне Ваши

*Борис Ливанов, Борис Пастернак».*

В этом же письме Ливанов сделал приписку, прося Гилгуда прислать свой портрет в роли Гамлета. Просьба вскоре была исполнена.

«Борису Ливанову — артисту, союзнику и коллеге в знак товарищества — приветствие», — значилось на подписи к подарку.

А мхатовскому спектаклю был нанесен второй удар судьбы —

в разгар репетиций скончался В. Г. Сахновский. Постановка оказалась режиссерски окончательно обезглавленной. Но работа практически была уже завершена. Спектакль был на выпуске. О сталинском запрете «Гамлета» во МХАТе Борис Ливанов узнал на генеральной репетиции, стоя на сцене в гриме и костюме принца Датского.

В ливановском архиве имеется черновик письма, записанного О. Бокшанской под диктовку Ливанова и предназначавшегося кому-то из бдительных начальников советского искусства.

«Многоуважаемый Георгий Федорович! [15] Опасаюсь, что Ваша занятость не позволит Вам лично выслушать мои соображения по этому вопросу. Поэтому позволю себе кратко об этом написать.

Переношусь мысленно на два года назад, 23 февраля 1945 года. Я в полном костюме и гриме репетирую “Гамлета” во МХАТе. Все было готово к постановке. Немалые затраты людских сил — художников, декораторов и других — этому предшествовали. Немало сил затратил и я, и мои коллеги по этому спектаклю. Большие материальные, денежные средства ушли на подготовку этого спектакля. Наша печать предвещала его. О нем писали за границей. Известнейший английский исполнитель роли Гамлета — Джон Гилгуд прислал мне свой снимок в этой роли в надежде “получить в обмен” мой портрет в роли Гамлета.

“Гамлет” не был поставлен потому, что через несколько дней после этого скончался наш руководитель — Сахновский.

Очень больно сознавать, что огромный труд и большие материальные затраты могут пропасть даром. На днях я спросил у художника — “целы ли декорации?” — “Пока целы”, — был ответ. Пока живы главные исполнители. Имеются стенограммы, записи всех режиссерских указаний Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Прошу Вас подумать, не следует ли возобновить работу по этой постановке. Времени должно уйти немного — месяца три-четыре. Новых материальных затрат почти никаких или, во всяком случае, очень мало».

Думаю, что письмо Ливанова, черновик которого сохранился, было театром отправлено. Судя по всему, у «многоуважаемого» не нашлось времени не только на разговор с артистом, но и на ответ по его письму. Сталинские распоряжения не обсуждались, и отчаянная попытка Бориса Ливанова, безусловно, была расценена как дерзость.

«Чего-чего

не делали мы вместе с Борисом,
И хохотали, и плакали.
И никогда не помогало!!» —

еще раньше угадал Пастернак, надписывая свой перевод «Ромео и Джульетты», и добавил:

«На память о нашем совместном посещении сей планеты.

*24. XI.44. Москва».*

О том, что поэт и актер чувствовали, когда спектакль был запрещен, свидетельствует надпись Пастернака Ливанову на тоненькой книжечке стихов «Земной простор», изданной в это время:

«Боричка! В несчастной части твоей “многосложной” жизни мы — братья. С братским приветом с этого участка твой, крепко любящий тебя

*Борис».*

А пытка Шекспиром продолжалась.

Еще до осуждения «культа личности» «лучшего друга писателей, артистов» и вообще всех на свете Ливанов задумал сыграть и поставить «Короля Лира», конечно же в переводе Пастернака. Бориса Леонидовича эта идея привлекала. Но, занятый работой над романом «Доктор Живаго», на который автор возлагал большие надежды, Пастернак только время от времени давал своему другу практические советы, развивающие замысел, и помогал делать необходимые сокращения в тексте пьесы.

Несмотря на разочарование, пережитое в истории со спектаклем, Борис Леонидович вместе с Ливановым поверил, что на этот раз их ждет удача. Он писал отцу в апреле 1953 года:

«…Боря, Лир с середины, где со сцены уходит шут и его начинает заменять прикидывающийся сумасшедшим Эдгар, — очень по тебе. Его бушевание и безумие отсюда — это вылитый ты за столом, твое гениально-величественное красноречие с грозным, подцапывающимся под умничающих лицемеров простодушием. Тебе будет очень легко играть его. И в этой достоевщине есть одна вечная толстовская нота. Я

не могу найти того, что писал об этой трагедии в предисловии ко всем, но вот эта мысль. В “Лире” о добре, присяге, интересах государства и верности родине говорят одни мерзавцы и уголовные преступники. Положительные герои этой трагедии — сумасшедший самодур и до святости правдолюбивая дурочка.

“Здравый смысл” представлен экземплярами из зверинца, и только эти оба — люди. Эта мысль чрезвычайно анархическая. Ты в Лире будешь производить бурю в зрительном зале и срывать в ходе действия овации.

Начни с Лира, а продолжи Гамлетом (Пастернаку хотелось, чтобы Ливанов все же осуществил “Гамлета”, но уже как постановщик. — В. Л.)

Но письмо приняло деловой характер. Крепко целую Вас обоих, привет и поцелуи детям.

*Ваш Б.»*

Все повторялось. Снова английский актер, теперь не Джон Гилгуд, а Пол Скофилд, будучи на гастролях в Москве, где он с успехом выступил в роли Лира, преподнес отцу свой портрет с надписью:

«Борису Ливанову с лучшими пожеланиями
успеха Вашему “Королю Лиру”».

Были распределены роли. Делать декорации и костюмы Ливанов пригласил замечательного чешского художника Иржи Трнку, своего друга.

Казалось, теперь на пути осуществления шекспировского спектакля нет и не может быть никаких препятствий. Борис Ливанов медленно, но верно разворачивал тяжело груженный конъюнктурными задачами театр к давно позабытому Шекспиру. И — разразился безобразный скандал вокруг «Доктора Живаго». Становилось ясно, что вынесение на сцену «правительственного» театра работы Бориса Пастернака, переводчика «Лира», — нового «врага народа» теперь уже эпохи Хрущева — вряд ли возможно. Начались какие-то «сложности» при заключении договорных отношений с И. Трнкой. Раздосадованный «заячьими петлями» советских министерских чиновников от культуры, художник отказался от сотрудничества во МХАТе, сославшись на занятость.

Отец обратился к Андрею Гончарову, своему давнему товарищу, известному иллюстратору, в частности, шекспировских трагедий. Гончаров дал свое согласие. Но это, как и следовало

ожидать, ничего не поправило.

Пастернака не стало. Мои родители были на его похоронах [16].

На следующий же день после похорон Бориса Леонидовича министр культуры всего Советского Союза Екатерина Фурцева пригласила Бориса Николаевича в свой правительственный кабинет для «неотложной личной беседы».

Не успел Ливанов переступить порог, как Фурцева обрушила на него державный гнев:

— Как вы могли? Вы — народный артист СССР?! Это же политическая демонстрация…

— Мы с вами по-разному понимаем и жизнь, и смерть, — остановил ее Ливанов.

Задуманного Фурцевой выговора не получилось.

Этого короткого «обмена мнениями» Фурцева Ливанову не забудет. «Неуправляемый» — такой опасный с точки зрения партаппарата ярлык привесили Ливанову.

Вскоре всевластная дама найдет способ известить театр о том, что «Никита Сергеевич Хрущев считает постановку Шекспира в Художественном театре несвоевременной» [17]. Это значило, что Министерство культуры не истратит на спектакль ни гроша. «Меня с этой должности (министра культуры. — *В. Л.)* вынесут только вперед ногами», — как-то сказала Фурцева Ливанову. Так и произошло. Фурцева, сыграв значительную роль в падении Хрущева, пользовалась непременной поддержкой нового «Ильича» — Леонида Брежнева.

Судьба «Гамлета» во МХАТе постигла и «Лира». Историкам русского театра еще предстоит дать оценку министерским заслугам Е. А. Фурцевой в области культуры, главная из которых — уничтожение искусства Художественного театра, того неповторимого явления русской культуры, которое благодарной любовью отзывалось в умах и душах трех поколений зрителей.

Великий МХАТ умер. Труп его расчленен пополам по орнитологическому признаку: одна половина обозначена птицей чайкой, другая — буревестником.

Интересно, чьи куриные мозги впервые посетила такая птичья идея?

«Неуправляемый» Борис Ливанов, любимый ученик и последователь К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, погиб под развалинами театра, живым символом которого являлся почти полвека.

# Борис Леонидович

*О, куда мне бежать от шагов*
*моего божества!*

*Б. Пастернак. Детство*

Мне шел двенадцатый год, когда родители в очередной раз взяли меня с собой в обычную воскресную поездку на пастернаковскую дачу.

После веселого обеденного застолья Борис Леонидович объявил родителям, что будет читать им свою новую прозу. Несмотря на то что надвигался осенний вечер и заметно похолодало, чтение происходило в саду, в каком-то садовом строении, кажется в беседке. И автор, и слушатели сидели в пальто. Короткие и резкие порывы ветра ворошили стопку рукописи. Пастернак то и дело прихлопывал листы ладонью, чтобы они не разлетелись по саду.

Борис Леонидович читал о каких-то людях, которые куда-то ехали в поезде, что-то вспоминали, о чем-то разговаривали. Тогда я, естественно, понятия не имел о том, что слушаю главу из впоследствии знаменитого романа «Доктор Живаго», которому суждено было принести автору столько самых противоположных, потрясших его переживаний. Люди, о которых довольно монотонно читал Пастернак, и их разговоры были мне, мальчишке, совершенно неинтересны. Посматривая на лица своих родителей, я в душе удивлялся их сосредоточенному вниманию. На дачу я приехал только в куртке, которая плохо защищала от холодного ветра, сидел весь съежившись, изнывая от скуки. В конце концов мое жалкое состояние было замечено, и меня в приказном порядке отправили в дом.

Роман «Доктор Живаго» я впервые прочел много позже, уже взрослым человеком, в 1958 году в миланском издании Г. Фельтринелли, книгу передали Ливановым из дома Пастернаков.

Но прежде чем поделиться своими впечатлениями о романе, необходимо остановиться на личности самого Бориса Пастернака.

Талант понимался Пастернаком не как божий дар, а как существующее вне божьих помыслов особое, исключительное качество личности, уравнивающее человека с Богом, дающее талантливому особые, исключительные нравственные права среди людей — толпы.

В таком понимании Христос — сын человеческий — являлся

чем-то вроде старшего по талантливости и завидного по жертвенной судьбе и славе.

Делясь замыслом романа «Доктор Живаго» с О. Фрейденберг, Пастернак писал в 1946 году: «Атмосфера вещи — мое христианство».

Что это значит — «мое»?

Пастернаковское христианство сродни лермонтовскому: «Я или Бог, или — никто».

И действительно, «мое христианство» Пастернак попытался воплотить в образе Юрия Живаго. Понятно, что краеугольным камнем такой веры является непомерная гордыня. И герой пастернаковского романа не что иное, как последовательное утверждение авторского эгоизма.

В советской критике разглядели самоотождествление поэта с Богом. Например, статья О. Хлебникова, посвященная 100-летию Пастернака [18], заканчивается так:

«И еще об одном хочется сказать в заключение, читая стихи Пастернака: не стоит бояться воздать ему “не по чину”».

Я в гроб сойду и в третий день восстану.
И, как сгоняют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи караванов,
Столетья поплывут из темноты.

Конечно же, советский критик, как и положено образованному безбожнику, это самоотождествление поэта с Богом преподносит как достоинство.

Совсем другое стихотворение Пастернака «В больнице». Это стихотворение написано не позднее конца 52-го года, скорее всего, сочинялось уже во время инфаркта, в Боткинской больнице, куда поэт попал в октябре. Но «В больнице» не вошло в «Стихи Живаго».

…О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр.

Родившееся на грани жизни и смерти, заплаканное искренними слезами, подлинно христианское, оно могло впоследствии показаться поэту излишне традиционным, но — и это главное — прямо противоречило «атмосфере моего христианства», созданной Пастернаком в романе. Через несколько лет, включенное в последний сборник «Когда разгуляется», это стихотворение окрасило своим настроением лучшие стихи сборника, говорящие о том, что поэт все-таки потянулся к вере без всякой позы, заключавшейся раньше в горделивых словах «мое христианство». И та простота, к которой Пастернак стремился в своем творчестве всю свою жизнь, отрекаясь от своих ранних стихов, была бы недостижима без истинной веры.

Я затронул эту тему, поскольку, не касаясь ее, невозможно говорить о личности Пастернака.

Пастернак начался для меня осенью 1943 года.

Помню, как я пытаюсь разглядеть его в полутемном углу квартирного коридора, где он возится в открытом старом шкафу со скрипящими дверцами. Кажется, он пристраивает туда свой блекло-желтый выцветший плащ и сует на полку немыслимо заношенную шляпу с отвислыми полями [19].

— А вы не знаете, скоро ли придут ваши родители?

Он стал часто появляться в нашем доме, иногда в отсутствие родителей.

— Я их дождусь, — говорил.

И терпеливо ждал, перебирая книги в отцовской библиотеке. Иногда я заставал его лежащим на коротком диване, даже не снявшим куртку и обувь. Он спал, повернувшись лицом к диванной спинке, подложив под скулу сложенные ладони, подогнув колени так, чтобы ботинки свисали над краем дивана. В лице его не было покоя, казалось, он не спит — притворяется. Пока он лежал в комнате, я, восьмилетний мальчик, ходил рассматривать его плащ и шляпу, примерял ее. Почему-то из-за этого плаща и шляпы он мне казался необычайно загадочным. Особенно завораживала его необычная фамилия — Пастернак. В моем представлении фамилия эта, больше похожая на имя пришельца из какой-нибудь неизвестной мне сказочной страны, была ему к лицу, как подошел бы бархатный берет с пушистым пером. А он вместо такого берета и длинного романтического плаща носил старую шляпу-гриб и выцветший «пыльник». И это несоответствие человеческого лица по имени Пастернак и как бы чужой ему одежды заставляло меня думать о какой-то скрываемой им печальной тайне. В общем, о каком-то «заколдованном принце». Странно, но я никогда не задумывался и не спрашивал о его возрасте. У него не было возраста, как не

бывает его у дождя или у ветра.

То, что он — поэт, меня тогда совершенно не привлекало. Скорее наоборот. В моем детском представлении известные поэты — Пушкин, Лермонтов — это имена, которыми обозначаются стихи, это портреты в книжках, а вовсе не живые, реальные люди. В нашем доме — тогда говорили: «В нашем дворе» — жил поэт Корней Чуковский. Родители были с ним знакомы, при встречах долго разговаривали. Я же абсолютно не верил, что этот неряшливый громогласный старик может иметь какое-то отношение к «Мухе-цокотухе». Считал это каким-то невыясненным недоразумением. Такое мое отношение к живым поэтам распространялось еще на одного детского поэта «из нашего двора» — Сергея Михалкова, автора популярного «Дяди Степы». Но хорошо знакомый мне дядя Степа был моряком и вовсе не заикался. Михалкова я тоже держал в самозванцах. Стихи Пастернака мне тогда никто читать не предлагал, да я и не стремился.

Все это пришло позже.

Помню мою страшную обиду на маму, объяснившую, что слово «пастернак» — название одного из сортов лука. Я счел это поношением Бориса Леонидовича, почти предательством. К тому времени Пастернака я уже полюбил. Во-первых, мне казалось, что я проник в секрет его сказочной «заколдованности». Благодаря этой молчаливой, воображаемой мной причастности к его тайне Борис Леонидович стал мне дорог. Во-вторых, из-за отсутствия возраста Пастернак сразу же выпал из категории «взрослых». Он никогда не унижал меня — мальчика — наподобие других взрослых вопросами, ответы на которые — я это прекрасно видел — были им безразличны:

— Сколько тебе лет?

Или:

— Ты уже в школе учишься?

Пастернак был первым человеком, который обращался ко мне на «вы». Как я ему за это был благодарен!

И в-третьих… Борис Леонидович частенько капризничал, восхитительно и явно капризничал по мелочам: это могло касаться назначения сроков следующей встречи, выбора места за столом и прочее. И мои родители, вместо того чтобы немедленно строго осудить его за это или хотя бы пристыдить — со мной всегда поступали так, — пускались в уговоры, оборачивали все в шутку, и в конце концов все складывалось в его пользу. Это рождало у меня ребяческую надежду, что будущее моих собственных капризов не так безнадежно.

Другое дело — Зинаида Николаевна, жена Пастернака. В

отношении к ней на людях Борис Леонидович вел себя не как взрослый человек, зрелый муж, а скорее как избалованный мальчик. Она часто одергивала его капризы быстрой фразочкой, произнесенной скороговоркой и не всегда понятной, — Зинаида Николаевна слегка шепелявила.

И его протяжное в ответ: «Ну Зи-и-ина!» — неизменно звучало как «Ну ма-а-ама!».

Сейчас я думаю, что Зинаида Николаевна была в его жизни, кроме матери, единственной женщиной, глубоко и верно его любившей, и это сходство в любви к нему матери и Зины прочно удерживало его в доме, в кругу семьи, где главенствовала, конечно, Зинаида Николаевна. Здесь ему все, несмотря на одергивания, позволялось и, конечно, все прощалось. Любовь Зинаиды Николаевны, как и материнская, была лишена какой бы то ни было корысти.

Сегодня, вглядываясь в ранние семейные фотографии Пастернаков, я замечаю, что Зинаида Николаевна ко времени моего знакомства с ней внешне мало изменилась, разве что некрасиво располнела, чуть ссутулилась, но чистая линия профиля, прямой нос с красиво вырезанными ноздрями, властно выступающая нижняя губа и горячие, темные, прямо «италианские» глаза под тяжелыми веками сохранили особенную, притягательную женственность. По натуре своей человек страстный, Зинаида Николаевна умела «властвовать собою». Эти черты ее характера полностью проявлялись в игре — от карт до маджонга: ее как партнера в играх высоко ценил Маяковский, сам прирожденный игрок. Думаю, что одергивания мужа происходили в те моменты, когда, по мнению Зинаиды Николаевны, Борис Леонидович вел себя излишне азартно, настаивая на своем за общим дружеским столом.

Подтверждение верности моих впечатлений тех лет о характере отношений Бориса Леонидовича с женой я много позже обнаружил в письме Ольги Фрейденберг к Пастернаку: «Слушайся, ради бога, Зининых увещеваний и поклянись, что ты взрослый» (7.11.50).

О существовании в жизни Пастернака Ольги Ивинской я впервые услышал от Зинаиды Николаевны в один из приездов на дачу в Переделкино.

Оба Бориса — Пастернак и Ливанов — отправились на прогулку, а я остался с мамой и стал невольным слушателем такого рассказа.

Однажды к Зинаиде Николаевне явилась какая-то незнакомая женщина, которая доверительно и печально поведала, что Ольга Ивинская внезапно заболела, находится при смерти и желает

сказать Зинаиде Николаевне последнее «прости».

Зинаида Николаевна — человек добрый и совестливый — страшно разволновалась и отправилась вслед за печальной вестницей исполнить последнюю волю умирающей любовницы своего мужа. Провожатая завела ее в комнату какой-то московской квартиры и исчезла.

В комнате, пропахшей тяжелыми лекарственными больничными запахами, на чисто застеленной кровати лежала умирающая. Тусклый свет стоящей на тумбочке в изголовье кровати настольной лампы, покрытой по абажуру платком, слабо высвечивал утопающую в подушках голову и тускло поблескивал на лекарственных пузырьках, составленных под лампой.

Умирающая слабым, прерывающимся голосом попросила Зинаиду Николаевну сесть. Опустившись на стул, Зинаида Николаевна стала напряженно вглядываться в лицо умирающей. Это лицо поразило ее своей страшной, неестественной чернотой. Возможно, эта чернота другому посетителю и добавила бы страха и правдоподобия при соприкосновении с близкой смертью. Но Зинаида Николаевна — прирожденный игрок — даже в смятении чувств умела просчитывать ходы свои и партнеров.

И когда умирающая стала лепетать о своей любви к Пастернаку, Зинаида Николаевна вдруг сорвала с абажура платок и в ярком свете лампы решительно провела концом платка по совершенно черному лицу, утопающему в подушках.

— Женя, ты представляешь? Она вымазала себе лицо сажей! Жженой пробкой, что ли… Бездарная аферистка, — заключила свой рассказ Зинаида Николаевна и, помолчав, выговорила с неподражаемой интонацией жалости и боли: — Бедный Боря!

Этой сажей Ивинская будет стараться вымазать даже память о Зинаиде Николаевне после смерти последней. Ивинская станет твердить при каждом удобном случае, что Борис Леонидович ругательски ругал свою жену и постоянно жаловался любовнице на тяготы своей семейной жизни.

В это невозможно поверить.

В письмах Пастернака к Ольге Фрейденберг и к моим родителям утверждается противоположное.

А если стареющий Пастернак и говорил о своих домашних своей любовнице те слова, которые она жаждала от него услышать, тем хуже для него, тем вернее горькое: «Бедный Боря».

Впрочем, поношений Зинаиды Николаевны нет и в письмах Бориса Леонидовича к Ивинской.

Если бы Борис Леонидович действительно не любил свою Зину, он оставил бы семью ради Ивинской, и никакие соображения добропорядочности не смогли бы его остановить. От

любых укоров совести Пастернак был прочно защищен своим возведенным в абсолют эгоизмом.

Замечательный пример пастернаковского эгоизма дает Н. Вильмонт [20] в своих воспоминаниях. Вильмонт, описывая жизнь «шестисердого союза», рассказывает о том, как неожиданно куда-то запропастился шестилетний мальчик Алеша, находящийся на попечении всех трех семей этой компании. Обнаружив исчезновение Алеши, все — взрослые и дети — бросились на его поиски. «Приняли участие в поисках и Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной. Я застал их у колодца. Вооруженная багром Зинаида Николаевна безостановочно баламутила колодезную воду, неотрывно глядя на что-то горячо говорившего ей Бориса Леонидовича».

Ничто не могло остановить Пастернака, когда дело касалось его чувств и желаний. А если учесть, что Пастернак в приведенной ситуации объясняется в любви жене своего друга, в то время как его жена Женя [21] и его друг Генрих Нейгауз заняты поисками пропавшего ребенка…

Но — таков невыдуманный Пастернак.

Дар подруг и товарок
Он пустил в оборот
И вернул им в подарок
Целый мир в свой черед.
Но для первой же юбки
Он порвет повода,
И какие поступки
Совершит он тогда!

*(«Вакханалия»)*

Надо было быть женщиной редкой душевной чистоты и стойкости, чтобы, осознавая исключительный поэтический дар Пастернака, нести тяжелый крест ничем не запятнанной любви к Борису Леонидовичу. И Зинаида Николаевна Пастернак такой женщиной была.

Можно только догадываться о переживаниях сына Пастернака Лени, особенно в последние месяцы жизни его отца, когда в многочисленных зарубежных изданиях — газетах, журналах, доходящих в переделкинский дом, — стали появляться фотографии Пастернака рядом с Ивинской и ее дочерью. Под этими фотографиями стояли хлесткие подписи, раздувающие близость этих двух особ к опальному поэту.

Что думал тогда Борис Леонидович о чувствах своего

родного, преданно любящего его и Зинаиду Николаевну сына и думал ли о нем вообще? Наверное, жестокие страдания Лени того времени ускорили его безвременную кончину. Его нашли мертвым за рулем стоящего у тротуара автомобиля — он умер от разрыва сердца. Леня, человек цельный, искренний, чуждый всякой позе, не дожил и до 40 лет.

Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?

Не слишком ли высокой ценой оплачено такое «чернокнижье», которому есть в русском языке другой, непоэтический синоним?

Но об этом достаточно.

В натуре Бориса Леонидовича были черты, традиционно более подходящие женскому характеру. Он знал за собой это женоподобие, и ему оно нравилось. Берусь утверждать это потому, что Борис Леонидович охотно, громко и прилюдно страдал по поводу женских странностей своей натуры [22]

И это проявление в нем — тоже женское. Причем женские черты эти обличали присутствие в натуре Пастернака очень своенравной и, если хотите, коварной женщины. Бориса Леонидовича, особенно на людях, одолевала страсть нравиться, обольщать. Предметом обольщения становился любой непосвященный, попавший в поле его зрения.

Помню одного простодушного человека, испытавшего на себе всю прелесть женского коварства Пастернака.

Сейчас уже не могу вспомнить, кто именно из друзей моих родителей попросил разрешения привести с собой в наш дом на званый ужин своего то ли знакомого, то ли дальнего родственника, приехавшего в Москву из провинции.

В нашем доме за праздничным столом всегда собирались близкие друзья: художник Кончаловский, кинорежиссер Довженко, писатель Вс. Иванов, хирург Очкин, редактор Чагин. Вполне возможно, что на том званом ужине был еще кто-то, а кого-то из перечисленных мною тогда не было — это не важно.

И конечно, был Борис Леонидович.

Не знаю, насколько ясные представления свежий гость, скованный застенчивостью довольно молодой человек, представившийся архитектором, имел о присутствующих, но хозяин дома, прославленный артист, был ему знаком по многочисленным ролям если не в театре, то в кино. Восхищенный

неожиданной близостью экранной знаменитости и радушным приемом, гость «ел» влюбленными глазами хозяина и ловил каждое его слово. Все, кроме Бориса Ливанова, гостем обозначались явно: «и другие». Такого отношения к своей персоне Борис Леонидович стерпеть не мог. Не дожидаясь, когда его попросят, как было заведено, прочесть стихи, а он сначала откажется, а потом все-таки согласится, Пастернак стал читать без всяких просьб, перекрыв своим гудящим, глуховатым баритоном застольные разговоры. Все внимание переключилось на него. Но он никого не замечал, кроме теперь смотрящего в рот поэту свежего гостя. Потом затеял с ним разговоры об архитектуре, громко восхищался суждениями гостя об этом предмете и призывал к восхищению всех присутствующих. Потом опять замечательно читал свои стихи, рассказал забавную историю о Маяковском и кончил тем, что предложил выпить за здоровье своего нового друга. При этом потребовал погасить в комнате свет, зажег каким-то одному ему известным способом коньяк в своей рюмке и стоя выпил эту пылающую синим огнем рюмку до дна.

Так завершился тот памятный вечер.

Естественно, архитектор, задержавшийся в Москве по делам (а я думаю, что только с целью продолжить знакомство), настаивал на следующей встрече со счастливо обретенным другом — поэтом Борисом Пастернаком. То ли знакомые, то ли родственники архитектора, у которых он остановился в Москве, уступили его настояниям и собрали у себя застолье в прежнем составе. Родители мои тоже были приглашены.

И конечно, был Борис Леонидович.

Потрясенный внезапной вспышкой высоких дружеских чувств в Пастернаке к незнакомому, случайному в этом кругу гостей человеку, я ревниво стал выспрашивать у мамы об ожидаемом продолжении этой внезапной душевной близости. Оказалось, что Борис Леонидович заметно помрачнел, когда его новый друг раскрыл ему навстречу объятия, сидя за столом, что-то невразумительно бурчал на его вопросы, а то и вообще пропускал обращенные к нему слова мимо ушей, а где-то раздобытую архитектором книгу стихов, приготовленную Пастернаку для автографа, вообще, как выяснилось, забыл подписать. Ни о каких декламациях и пылающих рюмках не могло быть и речи.

Мама сказала, что под конец вечера архитектор жестоко напился с горя и был оставлен гостями в бесчувственном состоянии. Мама посмеивалась, а я понял, что должен во что бы то ни стало таить от Пастернака свое отношение к нему, если не хочу, как тот несчастный архитектор, навсегда лишиться

пастернаковского внимания.

Я взрослел, и моя ребяческая любовь к Пастернаку претерпевала изменения. Любя своих родителей, я чувствовал их душевную близость с Пастернаком, был свидетелем их дружеских отношений, и это углубляло мою привязанность к Борису Леонидовичу Вместе с тем… наше общение состояло из его случайных вопросов о моем житье-бытье и моих немногословных ответов. Когда он узнал, что я зачитываюсь «Дэвидом Копперфильдом», он стал звать меня этим именем. Он был приветлив со мной, не более, и не давал мне повода как-то проявить мою особую привязанность к нему.

Я не мог ему довериться в том, что далеко за полночь, когда он читает стихи за дружеским застольем, я, давно сказавший гостям «спокойной ночи», выстаиваю босиком за приоткрытой дверью в комнату и через тюлевую занавеску, натянутую на стеклянные дверные окошки, наблюдаю его и слушаю. И уже могу повторить ему наизусть все те стихи, которые он читал у нас в доме, — у меня прекрасная память!

Мне казалось, что я достоин иметь с Пастернаком собственные дружеские отношения, а не жить отраженным светом родительской дружбы.

Избирательное отношение ко мне Пастернака началось, как потом выяснилось, благодаря одному эпизоду с моим участием, рассказанному Борису Леонидовичу поэтом Николаем Тихоновым. Этот случай Пастернак напомнил мне, уже взрослому человеку. Однажды Тихонов сидел в кабинете моего отца один, когда открылась дверь и очень бледный, худенький мальчик стал на пороге, уставя на гостя широко открытые, казалось невидящие глаза.

— Герцог Бекингемский ранен! — высоким дрожащим голосом сообщил мальчик и тут же ушел.

Через некоторое время мальчик снова появился в дверях. Теперь лицо его было залито слезами. Сквозь душившие мальчика рыдания Тихонов расслышал:

— Только что… умер герцог Бекингемский…

И, окончательно расплакавшись, странный мальчик удалился.

Тихонов решил проверить мелькнувшую догадку и, выскользнув вслед, крадучись пошел на звук глухих рыданий. В соседней комнате, стоя на полу на коленях, неутешно плакал мальчик, уткнувшись лицом в раскрытую на диване толстую книгу.

Сомнений не было: мальчик впервые читал «Трех мушкетеров». Тихонов говорил Борису Леонидовичу что его поразило не только неподдельно-живое восприятие литературы, в

данном случае Дюма, но и то, что мальчик, очевидно, всей душой полюбил неудачливого герцога Бекингемского, предпочтя его второстепенную в романе фигуру блестящим, победительным героям. Пастернак интересовался, сохранил ли я в памяти этот случай и действительно ли отдавал предпочтение герцогу Бекингемскому.

Услышав, что я ничего не забыл и моя любовь к лорду Бекингему неизменна, спросил, что я сейчас чувствую, вспоминая себя маленького, герцога Бекингемского и свои слезы.

— Счастье, — ответил я.

Борис Леонидович пришел в восторг и выкрикивал:

— Да, правда! Правда! Это счастье! Желаю вам счастья!

Вскоре после этого разговора я купил в уличном киоске журнал «Знамя» с первой публикацией стихов из романа «Доктор Живаго». Это случилось накануне дня рождения моего отца — в мае 1954 года.

На журнале Борис Леонидович сделал надпись:

> «Дорогой Вася! Желаю Вам счастья, из которого рождается искусство. Надписываю Вам этот номер журнала в день пятидесятилетия Вашего отца. Это главное. Пусть эта страница напоминает Вам об этом вечере, о Вашем отрочестве, о жизни на той улице и квартире, о маме и о гостях за тем столом».

А тогда, сразу после рассказа Николая Тихонова, Борис Леонидович, держа свои сведения обо мне, читателе, в секрете, подарил машинописную рукопись своего стихотворного цикла «В зверинце»:

> «Дорогому Васеньке Ливанову на здоровье и на счастье.
>
> *24 окт. 1947. Б. Пастернак».*

И вот наступили дни, когда меня не отправляли спать, я оставался с гостями, и если предполагалось, что Борис Леонидович будет читать стихи, то я слышал от родителей неправдоподобные слова: «Завтра можешь не ходить в школу».

Я помогал маме по хозяйству, прислуживал гостям за столом, а потом затаивался в большом кресле в углу комнаты и ждал.

Готовясь читать стихи, Борис Леонидович отодвигал от себя столовый прибор, чашку, рюмку и на освободившееся на белой скатерти место выкладывал перед собой кисти рук.

Их невозможно забыть — руки Пастернака. Вся полнота его

чувств, все состояния души оживали в их движениях, воплощались в них. Он никогда не жестикулировал в принятом понимании этого слова. Руки двигались по скатерти, пальцы сцеплялись, расходились, ладони взлетали и падали, как подстреленные птицы. Я не помню руку Пастернака, сжатую в кулак, — такого никогда не было. Помню подрагивание вытянутых пальцев, довершавших своей мукой то, что не удалось высказать словами. Руки были выразительнее лица, выразительнее голоса, выразительнее стихов. Я почему-то убежден, что такое же ощущение оставляли руки Пушкина — впечатление абсолютного совершенства. Время от времени, когда забывалась какая-нибудь строка или слово, Пастернак, прикрыв глаза, выбрасывал руку в мою сторону. Из своего угла я вполголоса подсказывал ускользнувшее из его памяти…

Восхитительная иллюзия соавторства, живые уроки пастернаковской «школы».

Не на шутку встревоженный участью, постигшей злополучного архитектора, я, оберегая свою любовь к Пастернаку от него самого, довольно нелепо постарался выказывать свое безразличие к его особе. И преуспел. Заметив, что чары его ослабели по какой-то непонятной ему причине, Борис Леонидович преподнес мне «Короля Лира» в своем переводе с такой надписью:

> «Дорогому Васеньке Ливанову, только чтобы он не проверял этого по английскому тексту, которым он так хорошо владеет.
>
> *Б.П. 11 апр. 1949 г»*

Это была явная, намеренная лесть. Борис Леонидович прекрасно знал, что с моим английским Шекспира не прочтешь — он сам имел случай в этом удостовериться. Но «коварная женщина», не дававшая покою Пастернаку, шла на все для удержания своих поклонников, даже таких никчемных, как я.

Своего Пастернак добился. Я, конечно, был польщен.

Среди исследователей творчества Пастернака в наше время бытует мнение, будто поэт ждал ареста в 1937 году. Прямых подтверждений этому нет.

В том роковом году издательство «Советский писатель» выпустило революционные поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт» и «1905». Обращает на себя внимание оформление книжки: форменная красная звезда на серой, словно шинель сотрудника НКВД, обложке.

Очевидно, эта книжка должна была служить «охранной

грамотой» поэта, чем-то вроде документа, удостоверяющего его «революционную сознательность», гражданскую лояльность.

Версия телефонного разговора Пастернака со Сталиным в 1933 году, приводимая в воспоминаниях Н. Мандельштам, представляется мне приукрашенной и малоправдоподобной. Ведь при этом разговоре рядом с Пастернаком присутствовал только один человек — Ник. Вильмонт, и нет никаких оснований не верить его свидетельству: репутация Вильмонта как честного человека безупречна.

Вот его свидетельство:

«**Сталин**. Говорит Сталин. Вы хлопочете за вашего друга Мандельштама?

**Пастернак**. Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним. Но поговорить с вами — об этом я всегда мечтал.

**Сталин**. Мы, старые большевики, никогда не отрекались от своих друзей. А вести с вами посторонние разговоры мне незачем.

На этом разговор оборвался.

Конечно, я слышал только то, что говорил Пастернак, сказанное Сталиным до меня не доходило. Но его слова тут же передал мне Борис Леонидович. И сгоряча поведал обо всем, что было ему известно. И немедленно ринулся к названному ему телефону с тем, чтобы уверить Сталина, что Мандельштам и впрямь никогда не был его другом, что он отнюдь не из трусости “отрекся” от никогда не существовавшей дружбы. Это разъяснение ему казалось необходимым, самым важным. Телефон не ответил» [23].

«Твердая четверка», выведенная А. Ахматовой Пастернаку за разговор со Сталиным, возникла после пастернаковских рассказов об этом разговоре, где Борис Леонидович, конечно же, смешивал то, что он сказал на самом деле, с тем, что хотел бы сказать. Это свойство Пастернака при пересказе им своих слов и поступков знали близкие.

О. Фрейденберг в одном из писем смеется: «Ты (Пастернак. — *В. Л.*) неисправимый… литератор!» (6.1.51)

В передаче Н. Мандельштам записано именно такое сочинительство Пастернака. Сталин, безусловно, не сомневался, что содержание стихов Мандельштама в его адрес Пастернаку известно. В том, что Сталин в этом не сомневается, не сомневался и Пастернак.

Поспешное отречение Пастернака от дружбы с Мандельштамом было вызвано, с одной стороны, понятным испугом, с другой — оправдывало Пастернака в собственных глазах, так как он сказал правду: дружбы между поэтами никогда

не было, Пастернак недолюбливал Мандельштама и не одобрял его стихов о Сталине. Его предшествующее телефонному разговору заступничество за Мандельштама вызвано желанием не «потерять лицо» перед просителями о заступничестве и простым сочувствием. В таких случаях говорится: «Так на моем месте поступил бы каждый».

Сталин, по всей вероятности, убедился, что Пастернак не одобряет Мандельштама, и, оставив Пастернака мучиться без оправдания, обвинив в «отречении от друзей», вместе с тем проявил сталинское «великодушие»: не сразу убил Мандельштама.

Прерванный диалог Пастернак все-таки продолжил, когда в 1936 году в «Известиях» были напечатаны стихотворения «Мне по душе строптивый норов…» и «Я понял — все живо…».

Когда в конце тридцатых годов во времена судебно-политических процессов раздувалась всесоюзная истерия ненависти к «врагам народа», то самые разные организации направляли любимому вождю коллективные письма с требованиями самой жестокой казни для обвиняемых. Было и письмо от Союза советских писателей. Среди подписавших его — Пастернак.

Что двигало им тогда? Фанатичная убежденность строителя нового коммунистического общества? В это, конечно, не верится. Тогда что же? Простой испуг перед всевластием сталинской воли? Тоже вряд ли, это было бы слишком примитивно.

А вот то, что это был один из выбранных Пастернаком способов продолжения оборванного Сталиным разговора, я вполне могу допустить.

Ведь Сталин фактически отказал поэту в доверии, обвинил в предательстве друзей. Может быть, Пастернак возжелал вернуть доверие человека, с которым «давно хотел поговорить». Во всяком случае, мне кажется, что такая догадка ближе всего к истине.

Думаю, продолжением диалога Сталин был доволен: «вождь и учитель» всегда желал, чтобы о нем при жизни говорили как о покойнике: или хорошо, или ничего. Еще раньше, в 1934 году, Пастернак писал своему отцу в Германию: «Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими».

Было бы наивно думать, что письма Пастернака за границу не перлюстрировались. 1934 год — начало ГУЛАГа.

В 1947 году Пастернак надписывает моим родителям «Избранные стихи и поэмы» и дает оценку совместно прожитым в дружбе годам:

«Родным брату и сестре моим Борису и Евгении

Казимировне Ливановым, без которых я бы сдох с тоски в эти годы наибольшего благоприятствования.

*Москва. 8 окт. 1947. Б. Пастернак».*

Тоска тоской, но годы наибольшего благоприятствования не отмечены кавычками, а если учесть, что дружба эта развивалась и крепла с 1934 года, то ожидание ареста вряд ли входит в понятие благоприятствования.

Угроза ареста, нависшая над Пастернаком, возникает в конце сороковых годов. Об этом я узнал от весьма осведомленного человека. В середине шестидесятых мне довелось познакомиться с Львом Романовичем Шейниным, бывшим старшим следователем сталинской «комиссии по особо важным делам». В 1949 году Шейнин прямо из своего служебного кресла отправился под арест и был приговорен к расстрелу. Когда Сталину доложили, что Шейнин арестован и приговор ему вынесен, «лучший друг чекистов» процедил через всемирно известные усы: «По-моему, мы арестовали не того Шейнина». Поскольку никто из исполнителей сталинской воли не мог догадаться, как нужно понимать эти слова «гениального вождя», Шейнина решили на всякий случай не расстреливать и упрятали в ГУЛАГ. Таким образом, бывший «следователь по особо важным делам» пять лет пребывал в том аду, куда раньше одним росчерком пера отправил немало людей.

Из ГУЛАГа вышел уже действительно «не тот Шейнин». Единственным его желанием было найти хоть какое ни есть оправдание своей прежней деятельности. Такое оправдание он видел в беспрестанной выдаче разнообразной информации, считавшейся во время его службы секретной. Говорил он без умолку и готов был отвечать на любые вопросы, тем более что нашел во мне заинтересованного и терпеливого собеседника. После его рассказов из советской недавней истории — а рассказчик он был незаурядный — я подчас всю ночь без сна ворочался с боку на бок, пытаясь осмыслить услышанное.

И конечно же, один из первых моих вопросов к Шейнину был о Пастернаке.

Я узнал, что в 1949 году, когда Сталину доложили, что арест Пастернака подготовлен, «лучший друг писателей» вдруг продекламировал:

— «Цвет небесный, синий цвет…» [24] — А потом изрек: — Оставьте его, он — небожитель.

Так друзья Пастернака — грузинские поэты, которых он сделал всемирно известными своими переводами, волей судьбы спасли своего собрата. В подготовку ареста входили и

«обличения» Пастернака в центральной прессе типа: «…советская литература не может мириться с его поэзией…» — и проч., уничтожение новой книги стихов «Избранное» (1917–1947) и, по всей вероятности, арест Ивинской. И конечно, против автора должны были свидетельствовать страницы не оконченного еще романа.

Борису Леонидовичу не спеша, с садистским наслаждением давали понять, какая участь его ожидает.

Осознавая свое бесправие и бессилие, Борис Леонидович внутренне готовился встретить уготованную ему участь.

Прощался с друзьями.

В нашем семейном архиве есть две фотографии Пастернака, датированные 1949-м годом.

На первой, подаренной моему отцу, надпись:

> «Спасибо тебе за годы, проведенные вместе.
>
> Они много мне дали. От тебя всегда веяло манящим, замысловатым, драматическим духом искусства. Ты был его выразителем, его воплощением. Это не прощание, но это было, замкнулось, прошло, — со мной будет что-то другое».

На второй фотографии Пастернак запечатлен на фоне переделкинской веранды. Она надписана моей матери:

> «Женичка, прости, у меня нет фотографий, где я не был бы рожей. Вот тебе на память. Спасибо тебе за “Рождественскую звезду”, которую мне внушила елка на твоих именинах. Твой дом в течение всех этих лет восполнял мне исчезновение и убыль той вдохновляющей среды и атмосферы, которую должны были бы давать время и общество. Отчего я оглядываюсь сегодня назад на эти годы? Я с ними прощаюсь с благодарностью в каком-то хорошем, счастливом смысле.
>
> *Б. П. 11 апр. 1949 г»*

Слова о «небожителе», скорее всего по велению Сталина, были преданы широкой огласке. Борис Леонидович был последним, кто поверил, что угроза ареста его миновала.

# Пастернак и Маяковский

Борис Леонидович бессчетно возвращался к одному и тому же воспоминанию.

Московской ночью, бредя откуда-то из гостей, он и Маяковский присели на скамейку безлюдного в этот поздний час Тверского бульвара.

— Я был тогда очень знаменит, — рассказывал Пастернак. — Мы сидели молча, и вдруг Маяковский попросил:

— Пастернак, объявите меня первым поэтом. Ну что вам стоит.

И, помолчав, добавил:

— А я сейчас же объявлю вас вторым.

Из-за частых повторений (кстати, для Пастернака несвойственных!) я запомнил этот рассказ дословно.

Рассказанное Борис Пастернак не комментировал, и продолжения эта странная история у него не имела. Слушатели воспринимали рассказ как новое свидетельство мрачноватого юмора и тщеславия Маяковского, смеялись.

Других рассказов о Маяковском я от Пастернака не слышал. В нашем доме появилась машинописная рукопись «Охранной грамоты», переданная Борисом Леонидовичем. Знакомая история вполне могла быть туда вписана, но между какими абзацами определить ей место?

Когда Пастернак был так знаменит, что затмил своей славой Маяковского?

Ясно, что разговор мог происходить до их разрыва, спровоцированного Пастернаком:

«Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников “Лефа” и непринадлежности к их кругу мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его» [25].

Забегая вперед, скажу, что выбранный Пастернаком способ провоцировать разрыв резким, оскорбительным письмом коснется и моего отца. Но об этом позже.

В начале двадцатых бесшабашных годов на поэтических диспутах и состязаниях происходили какие-то диковатые и веселые «выборы в гении», «первые поэты» и проч. Симпатии поклонников поэзии чуть ли не ежедневно менялись, вчерашние кумиры свергались и создавались новые, чтобы назавтра в свою очередь быть свергнутыми.

Скорее всего, ночной разговор между Пастернаком и Маяковским происходил после таких «выборов», где они вместе выступали перед публикой.

Сталинский режим эту веселую стихию прибрал к рукам, приспособил к своим интересам. Талант стал обозначаться как государственная должность, в которую могли назначить или из которой могли уволить.

С созданием Союза писателей утвердилась негласная табель о рангах, где место писателя определялось прежде всего его способностью жить в применении к режиму.

Но состязание в поэтическом первенстве по «гамбургскому счету» тем не менее продолжалось. Упреки Пастернака в адрес Маяковского: «Я знаю, ваш путь неподделен, но как вас могло занести под своды таких богаделен на искреннем вашем пути?» [26] — оказались несостоятельными.

Маяковский все же сумел выразить себя «во весь голос», а затем выиграл поэтическую дуэль одним выстрелом всерьез, поставив «точку пули в своем конце» [27]. И тем, вслед за Гумилевым и Есениным, продолжал знаменитый герценовский список русских поэтов.

Очевидно, с удесятеренной силой охватили Пастернака те чувства и мысли, о которых он поведал, описывая одну из своих ранних встреч с Маяковским:

> «Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять: я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бы бросил литературу. Но этому мешал мой возраст».
>
> *(«Люди и положения»)*

В этом же душевном состоянии написаны стихи на смерть Маяковского.

Думаю, у Пастернака возникли мысли о самоубийстве. Он старался проанализировать случившееся и, проанализировав, примерить это на себя.

Не подошло!

Пастернак заметался. Он не желал быть признанным первым поэтом только потому, что Маяковского не стало. А к тому шло. Сначала поддавшись соблазну, он все-таки сумел осилить себя, стал осторожно выбирать поэтическую тропу, чтобы — не дай бог! — нигде не ступить в след Маяковскому.

Признание Сталиным Маяковского «лучшим и

талантливейшим» облегчило Пастернаку непосильное внутреннее соперничество с мертвым поэтом, как бы сняло с него ответственность перед лицом Маяковского, изменило условия поэтического состязания, утвердило Пастернака в верном выборе своего поэтического пути. Маяковский, даже покончив с собой, не смог избежать государственного назначения в «лучшие и талантливейшие».

> «Маяковского стали вводить как картошку при Екатерине. Это было его второй смертью. Он в ней неповинен».

Значит, его, пастернаковское, стремление быть лучшим и талантливейшим может, должно состояться без чьих бы то ни было объявлений и утверждений. И это непременное желание стало его тайной. И только этой тайной Пастернака я могу объяснить происхождение благодарственного письма Сталину за фразу о Маяковском.

Ведь не хотел же Пастернак в самом деле «примазаться» к сталинским определениям или выступить экспертом по утверждению сталинских оценок! Но почему-то никто другой, как Пастернак, не счел нужным поблагодарить Сталина…

С годами его тайна облеклась в форму романа. Именно в романе, в нескольких строках, которыми главный герой характеризует творчество Маяковского, заключается весь смысл состязания этих двух поэтов, как понимал его Пастернак, все то, чем может определяться победа в этом состязании:

> «Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз и навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуло все это в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!»
>
> *(«Доктор Живаго»)*

Так, через оценку творчества Маяковского, определена сверхзадача собственного творчества, а значит, и смысл всей жизни.

Тайна эта, которую Борис Леонидович носил в себе долгие годы, мучила его несказанно. Он боялся, что задуманное вдруг не состоится по не зависящим от него причинам: возраст, здоровье и проч. Боялся, что вынужденная быть тайной жизнь переделкинского «отшельника» приведет к непониманию его творчества новым поколением, а то и просто к забвению. Переводы Шекспира давали ему хорошие средства к жизни, но

повсеместно признанные удачи на этом поприще его тоже пугали — он вовсе не желал оставаться прежде всего переводчиком, пусть даже гениальным. Вместе с тем свою раннюю поэзию, современную Маяковскому, он демонстративно отвергал, а лучшие новые стихи ревниво оберегал от широкой огласки, приберегая их для романа.

Однажды на многолюдной встрече Нового, 1948 года в Центральном Доме литераторов к столику, за которым сидел Борис Леонидович, подошел поэт Сергей Васильев. Как позже выяснилось, этот поэт хотел сказать Борису Леонидовичу, что хотя молодое послевоенное поколение не знает поэзии Пастернака, но для людей старшего поколения он навсегда остается и т. д. и т. п.

Но как только Васильев начал свое славословие и произнес слова о не знающем поэта Пастернака молодом поколении, Борис Леонидович выскочил из-за столика, набросился на Васильева и стал его самым серьезным образом душить. Возник переполох, Пастернака пришлось оттаскивать силой. Все это я знаю от самого Бориса Леонидовича, который на следующий день появился в нашем доме с взволнованным рассказом о своей, принявшей такой неожиданный оборот встрече Нового года, и они с моим отцом обсуждали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы замять публичный скандал.

— Скажи, что тебе это было необходимо сделать: ты сейчас работаешь над переводом «Отелло», — подтрунивал отец.

Вообще Пастернак часто затевал разговоры на тему, хорошо ли быть знаменитым. Как-то во время такого разговора моя мама сказала:

— Боря, быть знаменитым — некрасиво…

Беседа эта происходила на даче у Пастернаков в Переделкино.

Из воспоминаний Евгении Ливановой:

«Все, кроме Бориса Леонидовича, пошли гулять, а он, извинившись, остался дома. Мы вернулись часа через два. Пастернак сказал, что вместо того, чтобы отдыхать, он написал мне в книгу. И прочел: “А теперь о себе, то, что ты сегодня говорила:

Быть знаменитым некрасиво,
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Как кутает туман окрестность,
Так что не различить ни зги,

Таинственная неизвестность
Пускай хранит твои шаги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать,
Чтоб в жизни ни единой долькой
Не отступиться от лица
И быть живым, живым и только,
Живым и только до конца”».

Это первый набросок знаменитых стихов о том, как не надо быть знаменитым. Пастернак их доработал. Эти строки — одно из «вымощенных стихами» благих намерений Пастернака.

Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи,
Простятся все грехи.

Поэма «Высокая болезнь» помечена двумя датами: 1923, 1928. Пастернак возвращался к этим стихам на протяжении по крайней мере пяти лет и сформулировал в них свое жизненное кредо.

Но где, когда, кем «установился» такой взгляд?

«Установился взгляд» самим Пастернаком и для самого Пастернака. Это его личная нравственная установка, возведенная для себя в правило. Любое благое намерение, «вымощенное стихами», освобождало его от необходимости этому намерению следовать вне поэтического образа — в образе его жизни.

Очень неожиданный взгляд для зрелой творческой личности, испытавшей еще с детства, в родительской семье, сильное нравственное влияние Льва Толстого. Хотя… Вот что напишет Пастернак в связи с появлением в доме его родителей Скрябина:

«Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедывая сверхчеловека, аморализм, ницшеанство. Скрябин покорил меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия».

Но, быть может, вместе с самостоятельным творчеством, поисками своего пути и с первыми успехами родился протест против сильного определенного влияния чужой творческой воли, освобождение от которой давало ощущение своей независимости, изначальности?

Но вернусь к Маяковскому Слава богу сохранилась надпись

Пастернака моему отцу Она сделана на фотографии — выкадровке из группового снимка, запечатлевшего стоящих рядом Пастернака и Маяковского. Рука Маяковского локтем, всей тяжестью опущена на плечо Пастернака.

> «Ах, как я помню эту минуту! Это было после мороженого со смородиновой почкой у японцев. Я тебя люблю, как любил его. Целую и надписываю тебе и Жене.
>
> *твой Б.»*

Дата надписи — 1947 год. Пастернак уже читал нам главы из своего нового романа.

# «Бедный Боря!»

*Один знакомый сказал мне:*
*никогда не осуждайте людей,*
*особенно советских.*

*Из письма О. Фрейденберг*
*Б. Пастернаку (17.11.54)*

Мой дед Николай Ливанов, старый актер, в прошлом провинциальный театральный «лев», как-то подсказал мне забавный актерский способ лучшего распознавания незнакомого человека. Дед советовал представить незнакомца в одежде театральной, любого времени и стиля, органически сливающейся с внешностью незнакомца, и развивать дальнейшие отношения через этот воображаемый костюмированный образ. Эта игра-распознавание оказалась очень увлекательной и, что самое поразительное, почти безошибочно верной при отгадке сути характера.

Мы с дедом начали с проверки правильного понимания нами близко знакомых. И сейчас, вспоминая деда, я лучше всего представляю его себе не иначе как франтом в длинном сером сюртуке и сером цилиндре с тяжелой тростью в сильной руке, обтянутой мягкой лайковой перчаткой, — хотя в таком или похожем наряде в жизни его не знал. Мой отец неотделим для меня от рыцарских лат и т. п.

При первом знакомстве я научился правильно «одевать» людей довольно скоро, но, помню, долго мучился, когда однажды дед указал на хорошо, как потом выяснилось, ему знакомую даму, а мне совершенно неизвестную.

Наконец я признался деду, что не могу подобрать ей никакой наряд, а скорее могу представить ее вообще без всякой одежды.

— Угадал! — захохотал дед.

Мне, помню, было страшно неловко перед дамой, когда я оказался напротив нее за гостевым столом и она пыталась вовлечь меня в какую-то нравоучительную беседу.

…Вчера вечером позвонил Пастернак, сказал, что его давно одолевает какой-то юноша, который пишет стихи, и Борис Леонидович, не в силах отказать, в ответ на нескончаемые мольбы сам просит моих родителей, если найдется место в машине, захватить настырного просителя в Переделкино завтра, в воскресенье.

И вот ранним воскресным солнечным утром той ранней

весны я открыл дверь нашего дома ожидаемому незнакомцу. Передо мной, переминаясь с ноги на ногу, стоял малорослый юноша, сутулый, с головой, пригнутой в угодливом — чего изволите? — полупоклоне. Этот нелепый наклон головы, как я скоро подметил, происходил оттого, что природа забыла наделить юношу шеей — голова вытарчивала вперед, казалось, прямо из впалой груди. Юноша тоже некоторое время рассматривал меня наглыми белесыми глазками, а когда заговорил, то отвел взгляд с притворной застенчивостью.

Ливрея, лакейская ливрея с позументом, нитяные чулки и грубые башмаки с аляповатыми пряжками — вот идеальный наряд для этой фигуры! Ох и хорош бы он был, откидывая подножку золоченой вельможной кареты…

Позже, уже после смерти Пастернака, я видел этого юношу в переполненном зале нового театра «Современник», на каком-то утреннике молодых поэтов, где он в черном свитере, ворот которого наползал ему на подбородок, с гнусавыми подвываниями выкрикивал что-то вроде: «Да здравствуют жопы пошире Европы!» — и имел шумный успех.

Но первое впечатление от знакомства с лакеем не проходило.

Лет через двадцать после нашей первой встречи он, в твидовом английском пиджаке, вылез ко мне на улице из новенького автомобиля с книжицей своих стихов, раскрыв которую тут же стал черкать свой автограф, и я отметил, что теперь то место, где должна быть у человека шея, он обозначает кокетливым цветным платочком, завязанным под подпирающий уши расстегнутый ворот рубахи, и хотя голова по-прежнему пребывает в положении «чего изволите?», зато нижняя губа высокомерно оттопырилась, а весь он погрузнел, обрюзг и больше не годится опускать подножку барской кареты, а вполне подходит для встречи именитых гостей на начищенном паркете у парадной лестницы хозяйского особняка.

А недавно я наблюдал его среди гостевой толкучки на приеме в одном из гостеприимных иностранных посольств. Он прижал в углу какого-то респектабельного господина и что-то неумолчно вещал ему через свою совсем по-старчески отвисшую нижнюю губу. Неизменен был цветной платочек на месте шеи, но белый чесучовый пиджак очень уж заметно горбатился на спине, а сильное поредение волос надо лбом компенсировалось спущенными с затылка длинными седыми космами.

И я подумал, что, возможно, недалек тот день, когда обжитая писательская «людская», где наш лакей отвоевал себе теплое местечко, опустеет и будет стоять с запыленными окнами и запертыми дверями — за ненадобностью литературной прислуги.

В Москве на большой юбилейной выставке «Мир Пастернака» я обратил внимание на знакомую мне фотографию в одном из остекленных стендов, снятую польскими гостями пастернаковской дачи в Переделкино в июле 1957 года.

На первом плане Борис Леонидович, нарядный, в белом костюме. За ним на ступенях террасы две фигуры: смеющаяся женщина в накинутом на плечи платке и улыбающийся юнец. Эти двое — моя мать (не узнаваемая для огромного большинства посетителей выставки) и поэт Андрей Вознесенский (должно быть, узнаваемый этим большинством), фигура Пастернака сдвинута к левому краю кадра. Изображение стоящего еще левее, рядом с Борисом Леонидовичем, человека аккуратно отрезано: виден лишь локоть и край пиджака. На всей выставке, торжественно разрекламированной прессой и телевидением как самое емкое и полное отображение жизни и творчества поэта, посетители не увидели не только лица близкого друга Пастернака, прославленного актера Бориса Ливанова, но не смогли прочесть ни одной строчки, адресованной ему поэтом. Случайность ли? Упущение устроителей выставки? Или просто не осталось никаких наглядных свидетельств этой дружеской близости поэта и актера — многолетней, творческой?

Ни то, ни другое, ни третье.

В 1972 году (год смерти Бориса Ливанова) на Западе была опубликована книга Ольги Ивинской — любовницы Пастернака в последний период его жизни. О. Ивинская вынесла в заглавие пастернаковскую строчку «у времени в плену» и, очевидно, как бывший литературный редактор, эту строчку отредактировала: «В плену у времени» — так озаглавлены ее воспоминания. Из этой книги западные читатели и даже литературоведы черпали «правду» о Пастернаке-поэте, о его жизни в обществе и в семье, о его друзьях и врагах.

И черпали, и толковали, и распространяли эту «правду» о поэте, поскольку в России, даже после посмертной публикации пастернаковских стихов, никаких воспоминаний о нем не появлялось. Да и не могло появиться: роман «Доктор Живаго», объявленный державными и литературными властями «антисоветским», оставался под цензурным запретом, и до 85-го года никому не могло прийти в голову, что Россия беременна «гласностью». Не подозревал об этом и А. Вознесенский. Но, удачно назначенный в брежневское правление «левым» поэтом, он, среди немногих советских литераторов, имел возможность часто выезжать за границу, где быстро разнюхал конъюнктуру, сложившуюся вокруг книги О. Ивинской. Шустрый «выездной» поэт сообразил, что сможет освежить на Западе давно увядший

интерес к своей персоне, стоит только привязать себя потуже к мировой славе Нобелевского лауреата. Поскольку собственные воспоминания А. Вознесенского о Пастернаке не отличались богатством оттенков, такие оттенки следовало выдумать, а главное, эти выдумки теперь должны обязательно совпадать с оценками людей и ситуаций «по Ивинской». Этими «совпадениями» можно сфальсифицировать правдоподобие «близости» Вознесенского к миру Пастернака. А покуда сведущие люди разберутся… да и когда-то еще это будет? И будет ли вообще?

Есть разные пути самоутверждения. Но самый неправедный путь — утверждаться за счет унижения других. И человек, употребивший такой способ возноситься, уж непременно выберет для унижения личность покрупнее, повиднее, поталантливее, поблагороднее. А так как предпочитающий такой путь самоутверждения еще обязательно и трус, то заранее постарается оберечься от возможного риска быть схваченным за руку в мошеннической проделке. Обозначился и «моськин комплекс» по бессмертной басне Крылова.

Вознесенский, заглянув в книгу Ивинской, решил остановиться для подходящего «совпадения» на отношении поэта к личности Бориса Ливанова, наиболее заметной в кругу Пастернака. Необходимо разобраться, чем же Борис Ливанов, близкий друг Пастернака, так Ивинской не «угодил», что она осмелилась его печатно оболгать. Но к этому разбору я вернусь позже, а сейчас хочу покончить с околопастернаковским самозванством ее последователя. Замечу, иллюзия близости к Пастернаку удалась Вознесенскому и в немалой степени способствовала его возникновению в роли председателя комиссии по литературному наследию Бориса Леонидовича.

Каков же первый шаг Вознесенского на последнем пастернаковском «поле сражения»? А вот какой: по его инициативе мертвый Борис Пастернак заново зачислен в Союз писателей СССР, тот самый, с проклятиями исторгший в свое время живого поэта из своей среды.

Теперь Пастернак «прощен», его имя снова поставлено в один ряд с именами его хулителей, гонителей-убийц. Так, бессовестно спекулируя памятью прошлого, Вознесенский постарался «реабилитировать» не Пастернака, конечно, — Борис Леонидович в этом не нуждается — а Союз писателей, которому, в отличие от Пастернака, Вознесенский обязан многими благами.

В 1984 году наконец вышла книга «Борис Ливанов», часть которой составили воспоминания моей матери Евгении Ливановой. Как я теперь понимаю, Ивинская, а за ней

Вознесенский должны были неприятно разволноваться, узнав о появлении воспоминаний о Пастернаке, написанных женой Бориса Ливанова, тоже входящей в узкий круг близких друзей поэта. Но, прочтя усеченные цензурой страницы, никак не затрагивающие распространяемую этим тандемом ложь о Борисе Ливанове, успокоились. Они, очевидно, пришли к выводу, что раз Евг. Ливанова не воспользовалась возможностью вступиться за честь своего мужа, то, значит, в ливановском архиве нет убедительных, документальных доказательств, способных разоблачить лгунов.

И вот Вознесенский, когда-то скачущий под ногами Пастернака зеленым лягушонком, на наших глазах принялся раздуваться в вола.

В популярном литературном журнале появились его «мемуары» под названием «Мне 14 лет». Дальше я предоставлю читателю возможность сравнить оценки Бориса Ливанова у Ивинской с тем, что состряпал о нем Вознесенский. А пока сравним Вознесенского с Вознесенским. Если при жизни Бориса Леонидовича Вознесенский поэтически восклицал: «Громовый Ливанов, ну где ваш несыгранный Гамлет?» — то теперь грозовые раскаты не делали нужной Вознесенскому погоды, и Ливанов представал как «эдакий рубаха-барин».

Если раньше, встретившись с Ливановым в доме Пастернака, Вознесенский преподнес ему свою книжицу с надписью: «Гениальному Борису Николаевичу Ливанову — единственному», то теперь он же тщился представить его просто-напросто… самоваром с медалями в пастернаковском застолье, которое окрестил «сборищем».

Но кто есть кто, по Вознесенскому, в этом «сборище» у Пастернака? Вот они, наперечет: С. Чиковани, П. Чагин, Ливанов, Асеев, Ахматова, Вс. Иванов, Рихтер, Нейгауз, Асмус, Ир. Андроников, Рубен Симонов.

И что бы вы думали? Для чего и для кого собрались здесь все эти люди?

«Он (Пастернак. — *В. Л.)* щедро дарил моему взору великолепие своих собратьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый, карий, заговорщицкий взгляд, адресованный мне (уж мы-то — надо читать, — Андрюша, знаем всем им настоящую цену! — *В. Л.)*, сообщающий нечто, понятное нам обоим». И все это, по замыслу «мемуариста», должно было происходить в те времена, когда Николай Асеев иначе не произносил фамилию Вознесенский, как «Важнощенский». Кстати, о юных щенках и взрослых пустобрехах, которые из них порой вырастают:

«Он (Пастернак. — *В. Л.)*, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку…»

И здесь Вознесенский далек от правды. Известно, что у борзой очень плохое чутье, отличительные ее достоинства — острое зрение и скорость. Впрочем, о чем я? Добросовестность и точность у Вознесенского — как нюх у борзой. Теперь обратимся к воспоминаниям Ивинской:

«Актер МХАТа Борис Ливанов исподволь, но достаточно определенно пытался внушить Б. Л., что тот прежде всего — лирический поэт, и потому неразумно уделять столько времени и сил роману. А тем более отстаивать право на его существование».

Читатель теперь понимает, насколько умышленно огрублено и примитивизировано Ивинской отношение моего отца к проблемам, возникшим вокруг пастернаковского романа. Но Ивинская продолжает:

«Тринадцатого сентября 59 г. во время воскресного обеда на большой даче Ливанов снова начал что-то говорить о “Докторе Живаго”, Боря (имеется в виду Пастернак. — *В. Л.)* не выдержал и попросил его замолчать.

— Ты хотел играть Гамлета, с какими средствами ты хотел его играть?

Между тем о роли Гамлета Ливанов мечтал всю жизнь и рассказывал, что на приеме в Кремле даже у самого Сталина просил совета — как лучше сыграть эту роль. Сталин ответил, что с этим вопросом лучше обратиться к Немировичу-Данченко, но что лично он играть Гамлета не стал бы, ибо эта пьеса пессимистичная и реакционная. На этом попытка Ливанова завершилась, но мечта о Гамлете осталась. И Боря (Пастернак. — *В. Л.)* на нее невежливо наступил».

У Вознесенского:

«Несыгранный Гамлет был его трагедией, боль эту он заглушал гаерством и куражами буффона». Так создается совпадение в том, что о роли Гамлета Ливанов мечтал всю жизнь, а выдумывая, будто Ливанов «заглушал боль» пустым шутовством, Вознесенский стремился оглупить и принизить друга Пастернака, чтобы утвердить образ человека, способного «просить совета у Сталина — как сыграть эту роль». К этому целенаправленному оглуплению относятся все другие характеристики Б. Ливанова, состряпанные Вознесенским.

Однако о разговоре со Сталиным Вознесенский помалкивает. Здесь ему слишком опасно лгать, ведь он публикуется в России, где правда об этом разговоре известна многим, как, впрочем, известна она и самому Вознесенскому.

Сделавшись председателем комиссии по литературному наследию Б. Л. Пастернака, Вознесенский на страницах «Литературной газеты» спешит сообщить: «Дни общения с Б. Л. Пастернаком я описал в своих воспоминаниях “Мне 14 лет”, публикация которых была в хмурые времена остановлена, и редакции “Нового мира” с трудом удалось отстоять их».

Позволю себе усомниться в «трудностях» публикации А. Вознесенского, которому в «хмурые времена» была вручена Государственная премия СССР той же самой компанией, что преподнесла Ленинскую премию Л. И. Брежневу за успехи в литературе. А честную книгу Н. Вильмонта «О Борисе Пастернаке» и воспоминания Евг. Ливановой тогда не публиковали.

В «воспоминаниях» О. Ивинской каждое слово — ложь, и особенно наглая потому, что умышленная. Начнем с того, что в указанный день Ивинская «на большой даче» не присутствовала (она, впрочем, никогда там не присутствовала при жизни Пастернака, ей даже запрещалось появляться на дороге, ведущей к дачной калитке). О происходящем она узнала, как можно предположить из ее дальнейших воспоминаний, «в понедельник утром» от Пастернака. Мы теперь знаем, что именно Ливанов мог говорить Пастернаку о романе «Доктор Живаго», и даже если допустить, что Пастернак попросил его замолчать, то никогда уж не мог произнести такой идиотской фразы:

«…с какими средствами ты хотел его (Гамлета) играть?..» Речь о деньгах, что ли?

Но Ивинская не выбирает для Пастернака выражений, ее цель — оклеветать Ливанова, представить большого художника, определенного Пастернаком как «мятежник», на которого всякие начальники советского искусства давно навесили ярлык «неуправляемый», — послушным сталинским холопом, человеком случайным в пастернаковском окружении.

Ивинская пишет: «Ливанов рассказывал, что в свое время на приеме в Кремле…» Да, рассказывал, но не Ивинской. А сам Пастернак прекрасно знал историю разговора своего друга со Сталиным о Гамлете, и если пересказывал его своей любовнице, то, естественно, со слов друга, впоследствии точно записанных Евгенией Ливановой. Точность ее записи я свидетельствую, так как сам слышал этот рассказ от отца, который он неоднократно повторял для своих друзей и гостей, и не раз — по просьбе Бориса Пастернака.

Читаем у Евг. Ливановой:

«Из воспоминаний Борис Николаевич (Ливанов. — *В. Л.)* многое не написал. Он часто рассказывал. И теперь пишу то, что

отчетливо запомнилось.

…Прием в Кремле первых лауреатов Сталинской премии. Год — 1940-й. Один стол для членов правительства, в центре — Сталин. Столы для приглашенных стояли к правительственному торцами.

В конце приема ко мне подошел офицер, попросил “пройти за ним”.

— Куда мы идем?

Он ничего не ответил.

Полуосвещенные залы Кремля. Мы движемся из одного в другой. Наконец остановились у закрытой двери. Он постучал. Открыл Ворошилов.

— Здравствуйте, проходите.

Среди знакомых лиц много артистов.

Жданов играет на рояле Чайковского.

Вошел Сталин и, с приветственным жестом обращаясь к каждому, называл по фамилии. Поздоровавшись, спросил:

— Может быть, посмотрим фильм? Какой фильм будем смотреть? “Если завтра война” — посмотрим?

В фильме были кадры гитлеровской военной хроники. Потом предложил посмотреть “Волга-Волга”. Когда просмотр кончился, официанты стали разносить вина, кофе, фрукты.

Переходя от одной группы гостей к другой, Сталин оказался около меня. Сел на стул и предложил мне сесть на стоящий рядом. Начал разговор о Художественном театре. Между прочим сказал:

— Вы не вовремя поставили “Три сестры”. Чехов расслабляет. А сейчас такое время, когда люди должны верить в свои силы.

— Это прекрасный спектакль!

— Тем более, — сказал Сталин.

Потом спросил о “Гамлете”, который театр в это время репетировал. Я стал рассказывать о замысле нашего спектакля. Сталин внимательно слушал, иногда задавал вопросы, требующие точного, недвусмысленного ответа. Время от времени он чуть подымал руку, и напротив нас раздвигалась часть стены, выходил человек, неся на подносе две рюмки с коньяком: маленькую для Сталина, довольно большую — для меня. Сталин предлагал мне выпить и выпивал сам. Через некоторое время я заметил военного, появившегося у меня за спиной. Я понимал, что засиделся рядом со Сталиным. Но что он хочет, этот военный? Чтобы я прервал разговор и, извинившись, ушел? Вдруг военный больно нажал мне на плечо. Я рефлекторно хлопнул его по руке.

— В чем дело? — повернувшись к военному, спросил Сталин. — Мы вам мешаем?

Того как ветром сдуло.

Заканчивая разговор, Сталин спросил:

— Ваш Гамлет — сильный человек?

— Да.

— Это хорошо, потому что слабых бьют, — сказал Сталин.

Я посмотрел на часы: семь утра.

— Отчего вы забеспокоились?

— Что думает моя жена. Ушел на прием в семь вечера, а сейчас…

— Как зовут вашу жену?

— Евгения Казимировна.

— Передайте Евгении Казимировне привет от товарища Сталина.

Сталин поднялся и подвел меня к большой группе гостей. Предложил тост за актеров. Неожиданно спросил:

— А почему вы не в партии, товарищ Ливанов?

— Товарищ Сталин, я очень люблю свои недостатки.

Несколько секунд напряженной тишины, и Сталин расхохотался. Все потянулись к нему чокаться.

В это же утро я позвонил Леонтьеву — директору Большого театра. Он ведал в Кремле концертами.

— Знаешь…

— Я буду в Кремле сегодня. Постараюсь узнать. Позвони мне в четыре часа.

— …Боря, не волнуйся! Товарищ Сталин сказал: приятно было поговорить с мыслящим артистом. Начались звонки из газет:

— Борис Николаевич, вы долго разговаривали с товарищем Сталиным. Дайте интервью.

— Обратитесь к товарищу Сталину. Если он согласен — дам.

Второй раз не перезванивали» [28].

Значит, снова Ивинская целенаправленно клевещет, причем невозможно без смеха читать якобы сталинские слова: «Я бы не стал играть Гамлета» и проч.

Да, Ливанов мечтал когда-то, как мы уже знаем, играть Гамлета. Но не «всю жизнь» и, как мы тоже знаем, уже в начале пятидесятых безуспешно пытался воплотить на сцене МХАТа шекспировского «Лира» в переводе Пастернака и умер с мечтой об этой работе. Да и странно было бы для 5 5-летнего актера все «мечтать» сыграть Гамлета, «со средствами» или без.

Думаю, что боль за неосуществленную мечту о «Гамлете» во МХАТе, в постановке Немировича-Данченко, в прекрасных декорациях Вл. Дмитриева, с замечательным актерским составом, «всю жизнь» оставалась у самого Пастернака, так и не

увидевшего, после репетиций «Гамлета» во МХАТе, другого театрального воплощения, достойного Шекспира и его переводчика. Но пойдем дальше, к приводимому Ивинской письму Пастернака Ливанову от 14 сентября 59-го года.

> «Дорогой Борис, тогда, когда мы поговорили с тобой по поводу Погодина и Анны Никандровны, у нас не было разрыва, а теперь он есть и будет. Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница, а вчера после того, что ты побывал у нас, я места себе не находил от отвращения к жизни и самому себе, и двойная порция снотворной отравы не дала мне сна. И дело не в вине [29] и твоих отступлениях от правил приличия, а в том, что я давно оторвался и ушел от серого, постылого, занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощение и напоминание. Я давно просил тебя не произносить мне здравиц. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих величаний. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Левитана. Тому, что безусловно, не надо родословной. И не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечивания. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, может быть, привык к преувеличениям, а я не лягушка, не надо меня раздувать в вола. Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить дым и обман, которым дышишь ты.
>
> Я часто бывал свидетелем того, как ты языком отплачивал тем, кто порывали с тобой, Ивановым, Погодиным, Капицам, прочим. Да поможет тебе Бог. Ничего не случилось. Ты кругом прав передо мной.
>
> Наоборот, я несправедлив к тебе, я не верю в тебя. И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной, без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил бы и говорил впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А конечно, охотнее всего я бы всех вас перевешал.
>
> *Твой Борис».*

Несправедливые упреки — прием всего письма, выбранный с целью побольнее задеть адресата. Ведь нет ничего обидней, чем незаслуженный упрек, исходящий от близкого человека. Пастернак всегда восхищался ливановскими застольными «здравицами» и писал моей матери весной того года:

«Милая Женя, 3-го мая 1959 г., когда я тебе надписывал эту книжку, опять все было хорошо, незаслуженно и невероятно: ты сияла сказочной красотой, а Борис поражал нас титанической высотой своего дара и остроумия. Неужели мы будем еще долго радоваться так и встретимся все вместе еще раз среди такого счастья, хохота и блеска?»

А в письме вдруг: «Ты этого не умеешь…»

И эта зарифмованная фраза: «Тому, что безусловно, не надо родословной…» Вот уж истинно: «…так проклятая рифма толкает всегда говорить совершенно не то». Ведь, даря новое издание «Воскресения» Л. Толстого с иллюстрациями своего отца Л. Пастернака, Борис Леонидович написал: «Дорогой Жене — самое дорогое».

Способность Ливанова «отплачивать языком», выставить тех, с кем он поссорился, в уморительно-смешном свете, рассказывая о ссоре, и неспособность принести никакого реального вреда людям, его обидевшим, — черта, не раз отмеченная Пастернаком как «добрая», вдруг выворачивается в контексте письма в недостаток. Впрочем, Борис Леонидович, как и многие, побаивался ливановских острот, моментально становившихся достоянием городского фольклора. Поэт не забыл слова Гамлета об актерах: «Лучше иметь скверную надпись на гробнице, нежели дурной их отзыв при жизни». Нужно сказать, что в это время Ливанов был одержим планами постановки и ролью «Лира» в пастернаковском переводе. Общий замысел и все новые и новые детали задуманного спектакля бурно обсуждались с Пастернаком при каждой встрече. Борис Леонидович высказывал сомнения по поводу возможности вынесения на сцену МХАТа его имени в связи со сложившейся ситуацией, а Ливанов горячо утверждал, что именно сейчас необходимо добиваться воплощения этой работы, и рассказывал в лицах, где и с кем из «запретителей» имел он на эту тему беседы, споры и столкновения. Для моего отца эта намеченная работа была особенно дорога. В его представлении она явилась бы продолжением и — он верил — победным осуществлением гамлетовских трудов и надежд обоих Борисов.

Когда Пастернак пишет: «И не надо мне твоей влиятельной поддержки в делах увековечивания», — он имеет в виду усилия Ливанова для сценического воплощения пастернаковского перевода во МХАТе и, конечно, сознает, какую рану безжалостно бередит. А как сочетается: «…я давно… ушел от серого, постылого, занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощение и напоминание» — с недавним признанием Ливанову: «Спасибо тебе за годы,

проведенные вместе. Они много мне дали. От тебя всегда веяло манящим, замысловатым, драматическим духом искусства. Ты был его выразителем, его воплощением»? И со многими другими признаниями?

И, не скрывая, что «я несправедлив к тебе», тем не менее утверждает: «…а теперь он (разрыв. — *В. Л.)* есть и будет».

И нам важно сегодня понять — почему?

До этого письма, в марте 59-го, Пастернак писал отцу, просил достать книги по истории русского театра XVIII века для работы над «Спящей красавицей». В этом письме есть строчки: «Жаль — Вася уехал, а то бы я тебя не беспокоил…»

Сентябрьское письмо Пастернака пришло в наш дом в мое отсутствие. Когда я 6 ноября вернулся из долгой таежной киноэкспедиции, первое, что я услышал от мамы, было о проклятом этом письме. Мама просила, чтобы я не говорил о Пастернаке с отцом, который очень тяжело переживает оскорбление и разрыв. Смысл письма мне мама пересказала, она помнила отдельные фразы — Пастернак, оказывается, забрал письмо себе. Вот как это происходило. Пастернак появился у нас в доме ранним утром на следующий день после получения родителями его письма, умолял простить его и забыть письмо.

Но отец уперся. Сказал, что не может простить предательства их многолетней мужской дружбы, что ему отвратителен выбранный для разрыва «бабий способ писания оскорбительных писем».

— После этого не удивлюсь, если ты сейчас начнешь здесь рыдать и падать на колени.

Пастернак действительно заплакал и встал на колени. Он просил отца вернуть письмо, говоря, что, если это письмо останется у нас в доме, отцу захочется его перечитать…

— Не захочется!

— …а тогда ты меня никогда не простишь…

Вся эта сцена разыгрывалась в прихожей. Отец попросил маму вернуть Пастернаку письмо, повернулся и вышел. Маму, когда она отдавала письмо, Борис Леонидович уверял, что ему необходимо самому перечитать это письмо, что он его плохо помнит, так как писал в «невменяемом состоянии», и что письмо это он обязательно уничтожит.

— Бедный Боря, — повторяла мама с Зининой интонацией. Но я тогда страшно оскорбился за отца и встал на его сторону. Я знал, что «не надо дорожить архивом» — это только благое намерение, и минутное настроение Пастернака будет иметь самые неожиданные последствия, если письмо это попадет в чьи-нибудь нечистые руки. Так и случилось.

«22 окт. 1959 г.

Дорогие Боря и Женя, завтра я рано утром попытаюсь зайти к вам. У меня будет очень много дел в городе и, если я вас застану вставшими, это будет только на минуту, чтобы успеть сказать то, что я оставлю здесь в записке, если вы еще будете спать. Если можно перешагнуть через то письмо и забыть его, сделайте нам радость, приезжайте к Зине на именины в 3 часа в воскресенье двадцать пятого. Если это еще невозможно, переждем некоторое время и попытаемся восстановить все спустя более продолжительный промежуток. Я ни на минуту не переставал любить вас.

*Боря».*

Сравните у Ивинской: «Конечно, сердиться долго он (Пастернак. — *В. Л.)* ни на кого не мог, вскоре сам позвонил Ливанову и пригласил на дачу, “если, конечно, ты можешь перешагнуть через мое письмо”». Какова?

Теперь я жалею, что меня не было в Москве, когда родители получили злополучное письмо, жалею, что не смог его прочесть, пока Борис Леонидович был жив. Это сожаление я испытываю не оттого, что отец вернул письмо и им, для удовлетворения своего мелочного самолюбия, воспользовалась впоследствии Ивинская.

Мне кажется сейчас, что если бы тогда я знал это письмо, то смог бы убедить отца «перешагнуть» через случившееся. Я, конечно же, не верю, что Пастернак писал свое письмо в «невменяемом» состоянии, но уверен: Борис Леонидович не представлял, какое смятение чувств будет переживать после разрыва отношений с Борисом Ливановым.

В глубине души чувствуя правоту своих близких друзей, крайне встревоженных за его жизнь в связи с непрекращающейся травлей романа и его автора, Пастернак был обречен «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья» под дамокловым мечом мрачных своих предчувствий самых внезапных, непредсказуемых, может быть, трагических перемен в своей судьбе. Состояние, столь — увы! — свойственное советскому интеллигенту, осмелившемуся высказать личное мнение, противоречащее официальной, а значит, обязательной для всех точке зрения.

Ведь Борис Леонидович прекрасно понимал, что Евграф Живаго из его романа решительно отличается от «Евграфа Живаго» в действительности.

Тревога друзей, их попытки предотвратить беду, опекать поэта не только больно задевали его гордость, но — и это главное

— усугубляли глубоко припрятанный испуг. Одно дело красиво провозгласить: «Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть», и совсем другое — почувствовать, как горделивая словесная поза начинает обретать грубые жизненные черты. Пастернаку померещилось, что стоит только избавиться в этой ситуации от постоянно встревоженных друзей, мешающих ему жить в так замечательно выдуманном им спасительном мире, где «все сбылось», где он, Борис Пастернак, — автор гениального (никто не должен усомниться) романа, где у него, примерного христианина, какие-то совершенно особые нравственные права жить счастливым мужем сразу в двух семьях, где он — на равных с Богом, — конечно же, со временем выступит высшим судьей всех и вся, — стоит только избавиться от этих сомневающихся, и он сразу же освободится от унизительного, мучающего его страха.

Это он, Борис Пастернак, — «безусловный без родословной», а не его друг Борис Ливанов, — перечеркивая прошлое и обрывая корни, стремится укрыться от самого себя в дыму мирской славы и самообмана.

Каким страшным бессилием перед жизнью полно его яростное признание: «Я говорил бы и говорил впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А конечно, охотнее всего я бы всех вас перевешал», — особенно жалко это звучит в сочетании с подписью «твой Борис».

Права была Зинаида Николаевна: «Бедный Боря!» Ему, так безмерно себя любящему, никак не давалась даже поза гордого самоотречения. Ведь если бы Пастернак действительно был способен всерьез самоотречься — не потребовалось бы рвать с друзьями, писать оскорбительные письма, изобретать, как бы ударить близких побольнее.

Вместо объявленного образцового самоотречения во имя писательского долга последовало отчаянное отречение от самых преданных друзей, а потом — обвалом — и от самого романа!

Итог подвел Александр Солженицын: «Я мерил его (Пастернака. — *В. Л.)* своими целями, своими мерками — и корчился от стыда за него, как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих “ошибках и заблуждениях”, “собственной вине”, вложенной в роман, — от собственных мыслей, от своего духа отрекаться — только бы не выслали? И “славное настоящее”, и гордость “за время, в которое живу”, и, конечно, “светлая вера в общее будущее”, и это не в провинциальном университете профессора секут, но — на весь мир наш нобелевский лауреат?»

Случилась самая страшная беда, которую друзья, не отринь

их Пастернак, не допустили бы, — потеря лица, бессмысленное самоунижение, равносильное самоубийству Осмысливая самоубийство В. Маяковского, Б. Пастернак писал:

«Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти, поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нетерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания…»

Записанное Борисом Леонидовичем о Маяковском, как мне представляется, объясняет многое о самом Пастернаке в последние месяцы его жизни.

И в этой беде не лучшую роль сыграла Ивинская.

Ольгу Ивинскую, как говорится, «по-житейски» понять можно. Конечно, Борис Леонидович никому, даже самому себе, ни за что бы не признался в том, о чем весело-цинично распевал блестящий Александр Вертинский в те поры: «Мне не нужно женщины, мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем прозвучал напев. Я могу из падали создавать поэмы, я люблю из горничных делать королев!»

Поэтому та, которая поэтом была «создана как бы вчерне, как строчка из другого цикла», не допускалась в чистовик его жизни, пребывала на вторых ролях, где достаточно было время от времени «плащ в ширину под собой расстилать» и «сбрасывать платье, как роща сбрасывает листья».

«…Я упрямо твердила:

— Нет, это я, именно я. Я живая женщина, а не выдумка твоя!» — такое признание вырывается у Ивинской.

Но что бы она ни твердила, с годами для нее в этих отношениях ничего не менялось.

Характерен рассказ Ивинской о том, что, когда она вышла из тюрьмы, Пастернак послал к ней ее подругу с поручением передать, что их любовная связь кончена. Как выяснилось впоследствии, поэт опасался, что любовница «постарела» в заключении, но, воочию убедившись, что только «слегка похудела», возобновил роман.

«Простимся, бездне унижений бросающая вызов женщина, я — поле твоего сраженья!»

А Ивинская не хочет быть «полем сраженья» и откровенно сетует, что Пастернак не сделал ее своей женой и поэтому не уберег от «неприятностей», последовавших за попыткой — «чтобы обеспечить свое существование» — контрабандного присвоения

денег, по праву принадлежащих семье умершего поэта.

Итак, сознавая ложное и жалкое свое положение рядом с Пастернаком, Ивинская поначалу надеялась вызвать у близких друзей Пастернака — прежде всего Ливанова, Нейгауза и Асмуса — если не расположение к себе, то хотя бы сочувствие. Увы, безрезультатно. Друзья оставались верны не только Пастернаку, но и Зинаиде Николаевне.

Любовную связь Бориса Леонидовича в этом дружеском кругу не только не романтизировали, но справедливо считали очередной прихотью стареющего поэта.

Насколько для Ивинской было желаемо, чтобы о ней хотя бы говорили в этом кругу, свидетельствует строчка из письма к ней Пастернака: «О тебе несколько слов вскользь и тайком, с симпатией к тебе сказала Ливанова…»

В контексте коротенького письма это сообщение выглядит как событие, наравне с отъездом Пастернака в Грузию!

…И настало время, когда Борис Леонидович стал жаловаться Ивинской на своих друзей, не одобряющих так прекрасно выдуманный им мир его безусловной правоты во всем. Зная, как упрямо Пастернак цепляется за свои иллюзии, Ивинская поняла, что настал ее час — наконец-то она сможет изменить отведенную ей при Пастернаке роль, причем без особых усилий. Стоит лишь начать говорить Пастернаку именно то, что он желал бы услышать, но так и не услышал от своих близких друзей. И действительно, Пастернак очень скоро стал обнаруживать в своей «привязанности» высокий светлый ум и здравые суждения о гениальности многострадального романа «Доктор Живаго» и безусловной правоте его автора во всем, что бы он ни предпринимал или ни задумывал предпринять.

Не кто иной, как Ивинская утвердила Пастернака в усугубившей его личную трагедию мысли о том, что близкие друзья только мешают ему чувствовать себя счастливым. А особенно Борис Ливанов, решительно и давно не пожелавший ни под каким видом даже обсуждать с другом присутствие в его жизни ее, «привязанности». Ливанова Ивинская, естественно, возненавидела, так как боялась его прямого влияния на Пастернака. Именно этой нескрываемой ливановской осадой пастернаковского «воздушного замка» воспользовалась, как могла, Ивинская.

Не могу утверждать, но, скорее всего, ни Г. Нейгауз, ни Асмус не получали оскорбительных писем. Они были просто занесены в список предназначенных к «повешению», как близкие друзья. Что касается Нейгауза, то такое «послабление» было проявлено к нему, вероятно, благодаря случаю, описанному Ивинской, когда

Генрих Густавович однажды посетил ситцевое гнездышко, свитое Ивинской для Пастернака прямо напротив знаменитого переделкинского «шалмана», и был с хозяйкой очень мил.

И неудивительно. Переделкинские мужчины, независимо от возраста и положения, и их гости — а Нейгауз подолгу гостил в Переделкино — нет-нет да и наведывались в голубой «шалман», и Нейгауз отнюдь не был исключением. Подвыпив, Генрих Густавович становился необыкновенно покладист и общителен. Застав его в таком настроении, ничего не стоило завлечь великого музыканта в любую обещавшую приятное времяпрепровождение компанию. Иногда его даже приходилось разыскивать. При этом не надо забывать, что Пастернак «увел» от Нейгауза Зинаиду Николаевну, мать двоих его сыновей, и скандальная связь поэта с Ивинской воспринималась Генрихом Густавовичем по-своему.

Уж чем «тишайший Асмус» заслужил пощаду от Ивинской, не знаю. Очевидно, тем, что оставался «тишайшим» и в отношении к ней.

Торжествуя такую желанную, еще недавно казавшуюся ей невозможной «победу» над близкими друзьями Пастернака и самонадеянно считая, что она сама вместе с дочерью Ирочкой и озабоченными книжным бизнесом иностранцами, столь милыми ее сердцу, вполне заменят поэту многолетнее благотворное дружеское и творческое общение с замечательными актером, музыкантом и философом, Ивинская заключает свои вымыслы о друзьях Пастернака выдающимся по пошлости резюме:

«Когда вспоминаю последний год его (Пастернака. — *В. Л.)* жизни, мне кажется, что ребенок (очевидно, Ирочка. — *В. Л.)* или какой-нибудь Кузьмич (до этого описанный Ивинской как тупоумный алкоголик. — *В. Л.)* был Боре роднее маститых посетителей его большой дачи».

Бедный Боря!

В 1988 году, когда о Борисе Пастернаке уже стали говорить и писать все кому не лень, Ивинская попросила одну мою знакомую соединить ее со мной по телефону. После пустой болтовни эта знакомая загадочно объявила, что со мной хочет побеседовать «одна дама».

— Меня зовут Ольга Всеволодовна Ивинская, — услышал я в трубке незнакомый голос. Судя по интонации, эти имя, отчество и фамилию я должен был воспринять как подарок.

— Я вас слушаю.

После длительной паузы я получил еще один подарок:

— Я к вам очень хорошо отношусь.

Пришлось ответить, что мне совершенно безразлично, как ко

мне относится звонившая, и посоветовать ей забыть номер моего телефона. Не думаю, что Ивинскую на старости лет совесть «заела». Очевидно, прослышала, что я не собираюсь не замечать клеветы на моего отца, лучшего друга Пастернака.

Ну что ж, буду надеяться, что Ивинская и иже с ней растревожились не напрасно.

Отход Пастернака от круга близких друзей стал особенно заметен после отказа от Нобелевской премии. Я не знаю точно реакции Нейгауза и Асмуса на этот поступок Пастернака, на его дальнейшие обращения к Хрущеву и в газету «Правда». Но думаю, что их реакция была сходна с ливановской. А Борис Ливанов отнесся к этому резко отрицательно. И, никогда не скрывая своих чувств, однажды назвал покаянные письма Пастернака «окаянными».

Может быть, он знал, может быть, догадывался, что «поступки» Пастернака определяет теперь Ивинская, позже в путаных оправданиях простодушно признавшаяся на страницах своей книжки, что составляла вместе с хрущевскими чиновниками письма от имени нобелевского лауреата, стараясь имитировать его стиль, а Борис Леонидович только поправлял стилистические погрешности и переписывал, подписывал. Но хрущевские «ребята» крепко держали в руках самозваную «Лару» и действовали через нее. Лишившись литературных заработков, она еще могла бы безбедно существовать на средства Пастернака, хотя его телеграмма: «Дайте работу Ивинской, я отказался от премии», — говорит о том, что его мучило чувство вины перед стареющей любовницей, которую он никогда не хотел бы видеть своей официальной женой.

Но когда Пастернаку пригрозили высылкой, Ивинскую охватила паника. Грозивший отъезд Пастернака за границу превращал ее в ничто. Этого она не могла допустить, пусть ценой сотрудничества с гонителями поэта.

«В лета, как ваши, живут не бурями, а головой», — Ивинская точно последовала гамлетовскому совету, а голова «без сердечных бурь» рассудила, что лучше униженный Пастернак здесь, чем опальный нобелевский лауреат где-то там. Вряд ли Ивинская понимала, что приготовленное с ее помощью самоунижение для поэта смертельно, — для этого ее личность была слишком мелка, слишком цинична, а ее самомнение слишком раздуто самим Пастернаком [30].

Незваный сентябрьский приезд Ливанова к другу был вызван желанием напомнить поэту, погибающему в самоунижении, о его истоках, о преемственности его творчества. Но Пастернак уже разрушил и продолжал рушить все живые связи. Он, еще не

сознавая этого, умирал.

И все-таки до конца своих дней (а их уже оставалось немного) Пастернак пытался вернуть оскорбленного им Бориса Ливанова, долгими телефонными беседами с моей мамой и письмами старался заполнить зияющий в его мироощущении провал после разрыва с «лучшим» и «самым близким» [31] другом. Может быть, предчувствуя свою кончину, он хотел сказать последнее «прости».

«6 янв. 1960 г.

С днем ангела тебя, дорогая Женя! [32]

Помнишь, как следовали из года в год вечера твоих зимних именин, озаренных звездочками елочных огоньков, свечками сочельника?

Благодаря им на весь год ваш дом становился и оставался зимней и праздничной городской достопримечательностью.

Эти вечера в продолжение многих лет были отдельными ступенями лестницы, по которой все мы постепенно подымались ко все более упрощающемуся пониманию жизни, ко все более прямому и смелому распоряжению ею, к тому, что всегда так требуется и чего так недостает в молодости. Еще свежа и так бодра была твоя мама, и Чагины, и Ивановы сидели вокруг стола, когда я за этим столом задумал и тут же начал сочинять про себя “Рождественскую звезду”».

И еще в этом же письме:

«Я целую Борю впрок, из недалекого будущего, когда все объяснится не губами и словами, а общими переменами, которые к тому времени совершатся…»

Родители больше не ездили по воскресеньям к Пастернакам в Переделкино. В середине мая я услышал в телефонной трубке голос Зинаиды Николаевны. Она попросила позвать маму, сказала, что болезнь Бориса Леонидовича, очевидно, смертельна, что Пастернак зовет Ливановых приехать к нему.

Мы поехали в тот же день. Зинаида Николаевна, увидев нас в окно, вышла навстречу:

— Борис, он просит тебя одного. Иди.

Примерно через полчаса отец с Зинаидой Николаевной вышли к нам из дома.

Помню, когда прощались, Зинаида Николаевна, обычно очень сдержанная, подняв руки, обхватила отца за шею и спрятала лицо у него на груди. Так они простояли некоторое время молча.

«Моим большим и любимым друзьям Ливановым с пожеланием чаще приезжать ко мне. — З. Пастернак», — напишет она, даря сборник «Стихотворения и поэмы», изданный через пять

лет после кончины Бориса Леонидовича.

А то последнее письмо Пастернак сопроводил литографией работы Л. О. Пастернака «Лев Толстой за рабочим столом». Внизу литографского листа:

> «Дорогим друзьям Борису Николаевичу и Евгении Казимировне Ливановым с благодарностью за дружно разделенный долгий нешуточный путь, такой счастливый, несмотря на иногда разыгрывающиеся бури и загадки, и не полностью разрешенные.
>
> *Б. Пастернак, 6 января 1960 г.»*

Когда я спросил отца, о чем был их последний разговор с Борисом Леонидовичем, он мне ответил:

— Мы сказали друг другу: «До свидания».

# Эпилог

*Ты — вечности заложник*
*У времени в плену.*

*Б. Пастернак. Ночь*

Евгения Ливанова вспоминала:

«Борис Николаевич привез мне после гастролей из Таллина кожаный альбом, зеленый, с тисненым рисунком. Подарил и сказал:

— Пусть это будет твой альбом для друзей, когда они у нас бывают дома. Если кто захочет — напишет.

Я попросила Пастернака начать его».

И вот что Борис Леонидович написал в альбоме:

«Об этом альбоме

Какое обилие чистых неисписанных страниц, бесподобно переплетенных! Их хватило бы на целую Божественную комедию. Вот и надо наконец начать ее писать, трудами многих рук, сборно, явочно.

Кому, однако, давать эти листы для любезного заполнения? Только, конечно, не носителям громких имен. Этого сейчас слишком много. Мы видели, как они рождались, как их получали, все это было на наших глазах. Знаменитость — самое заурядное современное явление.

Но пусть ставят тут свои подписи имена негромкие, люди, не способные спугнуть своей пошлостью чистоты Вселенной, люди труда, ранних вставаний, люди, стоящие на короткой ноге с жизнью, будущим и природой, люди ясной и определенной судьбы, люди, — каждый со своей драгоценной, лишь после смерти открывающейся тайной, люди, почти сейчас не существующие, люди свободные.

Пусть альбом начнет собой подбор новой исторической породы.

На освящение ливановской дачи Новый дом, как обновленное тело. Новые глаза, новые руки, новые уши. Святится, святится новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Смотрите же на мир новыми, выздоровевшими окнами, полнее и вольнее дышите

широкой грудью двери. Есть чудные, без кощунства, не для смеха, слова о сошествии Св. духа на апостолов в Пятидесятницу, когда присутствующие, не понимавшие того, что с ними делалось, “изменение язык пианства быть мняху”, а на самом деле “собранным учеником Христовым бысть шум, якоже носиму дыханию бурну, и исполни дом, идете беху седяще, и вси начата глаголати странными глаголы” и т. д. и т. д. Это в высшем смысле как нарочно для Бориса и наших, разной степени людности, встреч в честь и во имя твое, Женичка.

С новоселием, в час добрый.

*Б. Пастернак 1955 г.»*

Шел 1957 год.

Помню, как по возвращении из Переделкино от Пастернаков мама почему-то шепотом сообщила мне:

— Борис Леонидович сказал, что этот роман («Доктор Живаго». — *В. Л.)* дороже ему его физической жизни… какой ужас!..

Лицо у нее было перепуганное, страдающее.

Дремучее невежество Хрущева в вопросах искусства было уже хорошо известно. Вокруг освободителя народа от «культа личности» уже роилась компания всяческих проходимцев, старающихся нагреть руки на новой конъюнктуре. Кем-то из этой компании роман Пастернака был представлен Хрущеву как «нож в спину» его гуманистической политике. При болезненном самолюбии бывшего соратника Сталина этого оказалось вполне достаточно. Хрущев — что для него естественно — романа сам не читал. Да и зачем? «Верные люди» вовремя дали «сигнал», и — размахнись, рука, раззудись, плечо! Любителя народных пословиц и поговорок теперь могла остановить только смерть обидчика. Все это понимали близкие друзья Бориса Леонидовича, но их усилия отвести от Пастернака удар пропали даром.

Не могу не сказать еще об одном обстоятельстве, прямо связанном с характером Бориса Леонидовича.

Отказ от Нобелевской премии в смысле психологическом, глубоко личном — это, в сущности, та же история со злополучным архитектором. Став лауреатом Нобелевской премии, Борис Леонидович к своим восхвалителям вне родины уже не чувствовал живого интереса. Его душевные силы сосредоточились на желании скорейшего признания на его родине. Он возжаждал чудесного обращения в свою веру прежде всего тех, кого — и он это знал — можно было заставить «обольститься» Пастернаком только по постановлению партии и

правительства. Но чем страшнее была травля, тем больше его душа жаждала чуда признания от никогда не уважаемых и не ценимых людей.

Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Так неужели, в конце концов, и эти «межеумки» не заплачут? Без этой «победы» он не мог чувствовать себя счастливым.

В одно из воскресений снежной зимы 58-го года мы, Ливановы, приехали в Переделкино. Я готовился к первой своей роли в кино и отращивал усы.

Мы шли по дорожке между высокими сугробами. Светило зимнее, яркое и холодное солнце.

Борис Леонидович встречал нас, стоя на обледенелом крыльце. На нем была старая меховая безрукавка, у ног крутились две лохматые собаки.

— Вася! Боже мой… это теперь не Давид Копперфильд, а какой-то… князь Трубецкой!

В этот день Пастернак читал нам «Вакханалию». В середине чтения Зинаида Николаевна резко поднялась и вышла из комнаты.

— Ну Зи-на! — загудел ей вслед Борис Леонидович. — Это же не имеет отношения… это же стихи!

Больше мне не суждено было увидеть Пастернака.

*1990*

*Москва — Николина Гора*

# Пьесы для драматического театра

# Мой любимый клоун
# Мелодрама в двух актах, девяти картинах

Спектакль по инсценировке повести «Мой любимый клоун» поставил в 1982 году в Малом театре Виталий Соломин. Он же сыграл главную роль.

Герои моей повести впервые ожили, обретя живую плоть и голоса. Очень важно, что на сцене встретились сразу три поколения актеров: была видна традиционная для Малого театра творческая преемственность, создающая единый исполнительский ансамбль. Играли В. Хохряков и В. Овчинникова, В. Соломин и В. Павлов, А Евдокимова и Н. Валькина, И. Лях и В. Хабаров, другие замечательные исполнители, увлеченные темой пьесы и режиссерским видением Соломина.

Хорошо, что Виталий снял телевизионный вариант спектакля. Может быть, наши внуки смогут увидеть, что когда-то играли их деды и бабушки в декорациях талантливой художницы К. Шимановской.

## Действующие лица

**Димдимыч,** *инспектор манежа, или шпрехшталмейстер.*
**Сергей Синицын,** *белый клоун.*
**Роман Самоновский,** *рыжий клоун.*
**Алиса Польди,** *воздушная гимнастка, жена Романа.*
**Полина Челубеева,** *артистка цирка.*
**Баттербардт Владимир Карлович,** *академик.*
**Мальва Николаевна,** *его жена.*
**Мать Мария,** *соседка Синицына.*
**Врач неотложной помощи.**
**Дежурный врач.**
**Воспитательница в детдоме.**
Михаил Николаевич, по прозвищу **Царь Леонид,** *метрдотель.*
**Грузчик.**
**Ванька,** *маленький мальчик.*
**Санитары.**
**Официант.**
Действие происходит в Москве, наши дни.

## Акт первый

## Картина первая

Цирк, рабочее помещение за форгангом.

**Полина.** Красивая… Леся Баттербардт.

Интересно, почему она его фамилию взять не захотела? Была бы Леся Синицына. Леся — это, наверное, Ольга… Ольга Синицына. Красивая! И познакомилась с Сережей, как и я, в цирке. Только она из публики, а я на манеже работала. Летом, в Саратове. Это теперь так объявляют: «Соло-клоуны Сергей Синицын и Роман Самоновский!» А тогда он опилки глотал один, без Ромашки. В афише писали: «Весь вечер на манеже клоун Сережа».

После первого представления попали в гостинице за один стол. Он как раз напротив. И все на меня поглядывает. Я ему сказала: «Не гляди, все равно не разглядишь меня». А мои сестрички забавляются. Акробатическая группа сестры Челубеевы! Пять девчонок подобралось, а Челубеева-то по-настоящему я одна. В цирке так случается.

Не помню, кто из сестричек тогда предложил: «Пусть нас коверный Сережа шампанским рассмешит». Он купил шампанское. Поднялись к нам, в наш просторный номер. Сережа был, что называется, в кураже. Смешил нас до слез.

Я почему-то чувствовала, что это он для меня старается. А потом меня попросил спеть. И я пела. Вспомнилось что-то грустное, давно забытое. Только для него одного пела, для Сережи. И мне казалось, что он это понял. Несколько раз приходила коридорная, требовала тишины и наконец разогнала всю компанию.

Сережа пошел к себе. Его номер был в самом конце длинного коридора, на том же этаже.

Он потом говорил, что стал уже задремывать, когда услышал стук в окно. Сначала он и не понял — ведь третий этаж. Когда распахнул окно, я спрыгнула к нему с подоконника. Да еще в руке держала непочатую бутылку шампанского. По карнизу с ней прошла. Сказала ему: «Если не нравлюсь, гони меня, дуру, Сережа».

Он взял у меня из рук бутылку, попробовал прямо из горлышка: «Теплое…» И еще я ему тогда сказала: «Если не разлюблю тебя, Сережа, беда будет. Моя беда». Сколько лет тому, пять? Нет, семь. Неужели семь?

Появляется **Димдимыч,** деликатно кашляет.

**Димдимыч.** Полина, мне ваш выход скоро объявлять. Вы готовы?

**Полина.** Готова. Димдимыч, правда, что Сережа… что Синицын… в общем, что они задумали ребенка брать из детдома?

**Димдимыч.** Насколько мне известно, да.

**Полина.** Вы только ему не говорите… Синицыну.

**Димдимыч.** Что не говорить?

**Полина.** Ну, что я интересовалась.

**Димдимыч.** Не скажу.

Из-за форганга доносится смех и аплодисменты публики. Влетает **Роман,** он в клоунском костюме.

**Роман.** Откривлялся, как выражается силовой жонглер Валерий Муромов. Кстати, угадайте, почему мозг клоуна стоит десять копеек за килограмм, а мозг силового жонглера десять тысяч за один только грамм? За что такая несправедливость?

**Димдимыч.** Не знаем, сдаемся.

**Роман.** Потому, что мозг силовых жонглеров — это дэфецит. Поняли?

Появляется **Сергей Синицын,** тоже в клоунском костюме.

**Полина.** Здравствуй, птичка-синичка. **Синицын.** Привет и ауфидерзейн.

**Полина** уходит.

**Синицын.** Ромашка, я опять плечо вывернул.

**Роман.** А я тебе сколько раз говорил: рано идешь в кульбит. Так, Птица, без крыльев недолго остаться! Давай! *(Берет руку Синицына.)* Приготовились! Расслабься! Ап!

**Синицын.** Уй-а! Кажется, все в порядке. Ай да Роман!

**Димдимыч.** Тьфу! Тьфу! Тьфу! Вы должны друг друга беречь к предстоящим гастролям.

**Роман.** А какие будут гастроли? Куда?

**Димдимыч.** Не кудахтай. Много будешь знать, скоро состаришься, как я, так-то, дорогой мой товарищ.

**Роман.** Гусь свинье не товарищ.

**Димдимыч.** Улетаю, улетаю. *(Уходит.)*

**Синицын.** Нарвался? Не груби старшим.

**Роман.** Ого! Что я слышу? Это в тебе будущий родитель заговорил. Когда малыша поедете забирать?

**Синицын.** Договорились на завтра. Я еще не все справки собрал.

**Роман.** А что Леся? Волнуется?

**Синицын.** А ты как думаешь?

**Роман.** Она его сама выбирала?

**Синицын.** Нет, я. Она сказала: «Выбери, потом мне покажешь».

**Роман.** Она его уже видела?

**Синицын.** Видела, конечно. На прогулке. Он в песочнице, грузовичок себе отвоевывал. Смешной, ей понравился. Такой, как мы хотели.

**Роман.** А как звать?

**Синицын.** Ванька.

**Роман.** Значит, будет Иван Сергеевич Синицын.

**Синицын.** А ты думал, Иван Сергеевич Тургенев?

**Роман.** Тургенев, между прочим, тоже совсем неплохо. Написал бы «Отцы и дети». А я бы для него специально удочерил какую-нибудь Полину Виардо…

**Синицын.** Ты это про Полину… нарочно?

**Роман.** Случайно, честное слово, случайно получилось. Бешеный ты все-таки, Птица. Чуть что, готов налететь, как коршун.

**Синицын.** Вот поедем за Ванькой, и сам убедишься, что я не коршун, а нормальный аист — приношу в дом детей.

## Картина вторая

Квартира Баттербардтов.

**Мальва Николаевна.** Алло, это цирк? Неостроумно. Мне действительно нужен цирк. Ну, так бы и говорили. *(Вешает трубку и снова набирает номер.)* Будьте любезны Синицына, клоуна. Уже ушел? А вы ему передали… что? Неостроумно… Да, чтобы он срочно зашел к родителям жены. Нет, ничего не случилось, просто ждем обедать. Спасибо, спасибо. *(Вешает трубку.)*

Входит **Владимир Карлович Баттербардт.**

Ну что же Леся? Все уже остыло.

**Баттербардт** …Просит, чтобы мы, хотя бы сегодня, сейчас, оставили ее в покое… Она такое говорит о своем муже, о мужчинах вообще… Я — отец, тоже мужчина, в конце концов… Можно поссориться, даже разойтись… но зачем же так? Не понимаю… Ревет… Нос распух — на себя не похожа… Кричит, обвиняет… Разве… в конце концов… не понимаю. Обедать она не пойдет. Не хочет.

**Мальва Николаевна.** Не хочет обедать? На ней лица нет! Я с самого начала знала, что это хорошо не кончится. Когда он…

**Баттербардт.** Успокойся. Они любят друг друга.

**Мальва Николаевна.** Любят? Что значит любят? Любят! Ты это считаешь любовью? Если бы они любили друг друга, им вовсе не понадобился бы кто-то третий. Когда она…

**Баттербардт.** Кого ты называешь третьим? Ребенка?

**Мальва Николаевна.** Да, ребенка, и в данном случае — чужого ребенка. Совершенно им чужого ребенка. Ты отдаешь отчет, что это значит, чужой ребенок? Что сейчас — война, и они усыновляют сироту, у которого погибли родители? Это можно было бы понять. Но сегодня для них — какая необходимость? Ну, был бы он сын каких-то родственников, друзей, знакомых, в конце концов, мало ли что могло случиться, — а то ни с того ни с сего брать в семью чужого ребенка. Из приюта. Совсем чужого. Неизвестно, кто родители, вообще ничего не известно… Просто безумие какое-то…

**Баттербардт.** Но ты же теперь знаешь, чем это вызвано.

**Мальва Николаевна.** Тем, что Леся не может иметь детей? Ну и что? Мы с тобой знаем массу счастливых семейств, которые проживают всю жизнь без детей. И это лучше, чем воспитывать ребенка, вкладывая в него душевные силы, годы жизни, а он вырастает неизвестно кем, каким-нибудь монстром. Или ты вообще отрицаешь всякую наследственность?

**Баттербардт.** Такой мрачный прогноз необязателен.

**Мальва Николаевна.** Необязателен, но вероятность, что из него получится замечательный человек, — ничтожна. Уже одно то, что его мамаша отказалась от своего ребенка, говорит о многом, если не обо всем.

**Баттербардт.** Я не считаю, что мы вправе так категорически противиться их решению. В конце концов, они — самостоятельная семья, живут отдельно…

**Мальва Николаевна.** А я считаю, что наш долг удержать их от безответственного шага. Пока не поздно. Потом они сами начнут нас обвинять в том, что мы, старшие и более опытные, вовремя не вмешались. Ты хочешь, чтобы тебе преподнесли дефективного внука?

**Баттербардт.** А что ты предлагаешь, конкретно?

**Мальва Николаевна.** Конкретно? Им надо расстаться!

**Баттербардт.** Мальва!

**Мальва Николаевна.** На время расстаться, на время. Я не утверждаю, что они должны разойтись. Но сейчас они оба травмированы тем, что у них не может быть детей, это им представляется чем-то ужасным, какой-то катастрофой. Пройдет время, они отдохнут друг от друга, да в их положении это очень полезно, — все спокойно обдумают… и, поверь моему женскому сердцу, если они любят друг друга, как ты считаешь, все будет хорошо.

**Баттербардт.** Завидую твоей уверенности.

**Мальва Николаевна.** Лесе необходимо уехать, отвлечься. Я уже говорила в иностранном отделе Академии, ее оформят твоим

переводчиком в Канаду.

**Баттербардт.** Зачем мне переводчик? Как ты могла?..

**Мальва Николаевна.** Я твоя жена. Я мать. Это моя дочь. Наша дочь. Не чужая, родная. Ей надо помочь, она в ужасном состоянии. Я никогда тебя ни о чем не просила, но сейчас прошу, умоляю, требую, если хочешь… И прости, что я звонила в Академию без твоего разрешения. Я считала, я была уверена, что ты…

Звонок в прихожей.

Это он.

**Баттербардт.** Кто?

**Мальва Николаевна.** Наш зять. Клоун.

**Баттербардт.** Ты все-таки… зачем?

**Мальва Николаевна.** Я звонила в цирк и просила его прийти к нам. Я считаю, что необходимо объясниться. Поставить все точки над «и». Когда он…

**Баттербардт.** Но Леся…

**Мальва Николаевна.** При чем тут Леся? Она еще ребенок.

Владимир Карлович пожимает плечами и идет к двери в кабинет.

Ты что, не считаешь нужным участвовать в разговоре? **Баттербардт.** Не считаю. Прости.

Звонок в дверь. **Баттербардт** скрывается в кабинете.

**Мальва Николаевна.** Глаша! Откройте дверь! Вы что, не слышите — звонят.

Входят **Синицын** и **Роман.**

**Синицын.** Мальва Николаевна, что-нибудь случилось?

**Мальва Николаевна.** Случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Сейчас… Я, знаете ли, хотела с вами поговорить… *(Роману.)* Нам тут необходимо поговорить по семейным делам, а вы пройдите, пожалуйста, на кухню, вас там Глаша напоит чаем.

**Роман.** Мерси, гранд мерси… *(Пятясь в дверь.)* Пардон, оревуар… блан манже, мон плезир…

**Мальва Николаевна** *(Синицыну)*. Садитесь. Я считаю, что должна быть с вами совершенно откровенна, Сергей Демьянович.

**Синицын.** Дементьевич.

**Мальва Николаевна.** Простите. И Владимир Карлович так считает. Я все знаю. Вы от нас это скрывали, но врачи-специалисты, к которым вы обращались, считали нужным поставить Владимира Карловича в известность. Теперь я хочу от вас услышать ваше мнение. Только откровенно.

**Синицын.** Откровенно? Я считаю, что вы с Лесей очень

похожи. И в старости, если, конечно, доживу, я буду любоваться Лесей и ко всем ревновать.

**Мальва Николаевна.** Неостроумно. На вашем месте я бы не острила.

**Синицын.** На моем месте нельзя не острить. Меня тогда выгонят с работы.

**Мальва Николаевна.** Вы, очевидно, вообще несерьезный человек.

**Синицын.** Я клоун.

**Мальва Николаевна.** Вы взрослый человек. Мы с вами взрослые люди. Взрослые. А Леся, согласитесь, еще совсем, по существу, ребенок. Когда вы, Сергей Данилович…

**Синицын.** Дементьевич. Моего отца звали Дементий Алексеевич.

**Мальва Николаевна.** Ну, простите. Нравится вам это или нет, я никогда не скрывала, что не одобряю ваш брак с нашей дочерью. А теперь, когда вы… Как вам могло прийти в голову брать из приюта какого-то ребенка? Вы подумали, что этот ребенок может оказаться с патологической наследственностью: алкоголик или… вообще дебил какой-нибудь? Нет, вы — несерьезный человек. Несерьезный. И Владимир Карлович так считает. Хорошую жизнь вы уготовили Лесе, нечего сказать. Бедная девочка! А еще считаете, что любите ее.

**Синицын.** Мальва Николаевна, поймите же нас, постарайтесь понять. Леся, мы оба мечтали о ребенке. И вдруг выясняется, что она не может родить. Никогда, понимаете — никогда! Боль этого «никогда», против которого она бессильна, останется с ней на всю жизнь. И невольно — а как же иначе? — будет связана со мной. Леся будет думать, что я втайне виню ее. Да, да! Что бы ни говорил, что бы ни делал, как бы ни вел себя — все равно будет думать так. А это — несчастье. Понимаете, несчастье! И это несчастье я стану разделять с ней. Мы оба будем несчастны.

**Мальва Николаевна.** Но по-моему, все зависит от вас, от мужа. Если вы будете сдержанный, внимательный…

**Синицын.** Ах, Мальва Николаевна! Сдержанный, внимательный, веселый, нежный… И вдруг поссорились, и я нагрубил сгоряча — ужас!

**Мальва Николаевна.** Что угодно, только не приютский ребенок.

**Синицын.** Как вы не хотите понять? У нас обязательно должен быть ребенок, иначе конец нашей любви.

**Мальва Николаевна.** Вы вправе не доверять мне, тем более что я… Но Владимир Карлович! Надеюсь, ему вы доверяете? Владимир Карлович, серьезный человек…

Входят **Роман** и **Баттербардт.** Роман в кембриджской мантии.

**Баттербардт.** Дорогая, он… он… ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

**Мальва Николаевна** *(Роману).* Сейчас же, сию минуту снимите! Владимир Карлович не для того заслужил кембриджскую мантию, чтобы в ней клоунствовали всякие… всякий…

**Синицын.** Всякое. Я вас правильно понял?

**Мальва Николаевна.** Ничего вы не поняли! Леся сама позвонила нам. Владимир Карлович привез ее от вас в ужасном состоянии. Она измотана, измучена, никого не хочет видеть. Даже меня, свою мать.

**Синицын.** Но она же была согласна… Она же сама… Мы выбирали…

**Мальва Николаевна.** Мы с Владимиром Карловичем считаем, что вам с Лесей надо на время расстаться. Лесе необходимо переменить обстановку. На днях Владимир Карлович уезжает на симпозиум ЮНЕСКО в Канаду и берет Лесю с собой, Владимиру Карловичу полагается личный переводчик, и на это место в Академии оформят Лесю. У вас будет время все спокойно обдумать.

**Синицын.** Мне можно поговорить с Лесей?

**Мальва Николаевна.** Сейчас это не нужно. Невозможно. Поймите меня правильно, Сергей… э-э-э…

**Баттербардт.** Дементьевич.

**Синицын** уходит, **Баттербардт** идет за ним.

**Роман.** Извините.

**Мальва Николаевна.** Должна вам сказать, что я бы на вашем месте…

**Роман.** Если бы вы стали на мое место, я бы оказался женой академика Баттербардта. А меня это не устраивает. До свидания. *(Уходит.)*

## Картина третья

Зал ресторана. Входят **Синицын** и **Роман.**

**Голос.** Сережа, Ромашка, здорово!

Появляется **Царь Леонид.**

**Царь Леонид.** Где пропадаете, балбесы?

**Роман.** Ты заметил, Птица, что кодовое название «балбес» применяется им ко всем без исключения лицам мужского пола и имеет множество оттенков от похвалы до смертного приговора?

**Синицын.** А женщины у него проходят под кодом «пупсик».

**Царь Леонид.** Вот теперь мне ясно.

**Роман.** Что тебе ясно?

**Царь Леонид.** Что я о вас соскучился. Сережа, тебе надо фирменную оправу для очков? Тут один балбес предлагает. Фифти.

**Синицын.** Тогда не надо.

**Царь Леонид.** Дорого, конечно. *(Роману)* Вы в завязке?

**Роман.** Нихт, майн либер фрейнд.

**Царь Леонид.** Уловил. Сережа, ты пеший или на тачке?

**Синицын.** На ней.

**Царь Леонид.** А-а, еще не развалилась! Давай сюда ключи, утром заберешь.

Синицын отдает ключи.

Все путем. Сейчас распоряжусь.

Проходит **Официант.** Царь Леонид что-то тихо говорит ему. Официант кивает и отходит от столика.

**Царь Леонид** *(вслед официанту)*. И учти, не клиенты, не гости, а друзья.

**Синицын.** Присядешь, Царь?

**Царь Леонид.** Можно. Рабочий день кончен. Отдыхаем. А вы что сегодня холостые?

**Роман.** Алиса на гастролях в Латинской Америке.

**Царь Леонид** *(Синицыну)*. А твой пупсик?

Появляется **Официант.**

**Роман.** О, помидорчики!

**Царь Леонид.** За встречу. Поехали. Роман, ты мне все обещаешь рассказать, как тогда с Алисой произошло в этой… в Варшаве, да?

**Роман.** Угу. Ты трапецию себе представляешь? Так вот, нижняя штанга — это пустая алюминиевая трубка, в которую продевается стальной трос.

**Царь Леонид.** Уловил. Значит, трос оборвался?

**Роман.** В том-то и дело, что никакого троса не было. Забыли продеть. И когда Алиса закрутила свою знаменитую мельницу, штанга оборвалась. Кусок алюминиевой трубки остался у нее в руках. Алису выбросило в сторону из-под купола. Она — сальто, еще сальто, только бы не упасть в ряды…

**Царь Леонид.** Конец света!

**Роман.** Среди польских униформистов оказался старик, на счастье бывший гимнаст. Многолетний опыт не подвел, сработал как надо. Старик рванулся на манеж и успел отпасировать Алисочку точным толчком с обеих рук, изменив отвесный угол падения.

**Царь Леонид.** Ну, балбес!

**Роман.** Она ударилась в барьер, вскочила — комплимент — и убежала за форганг. Публика не успела ничего понять, аплодисменты, овации. А она прямо за форгангом потеряла сознание. Три перелома — два правой руки и ключицы. И тяжелое сотрясение мозга. Меня сразу вызвали в Варшаву. И знаешь, что она мне сказала? «Можешь быть уверен, Роман, ты еще увидишь воздушную гимнастку Алису. Даю тебе честное слово». Как видишь, свое слово сдержала.

**Царь Леонид.** За ее здоровье!

**Синицын.** Царь, можно от тебя позвонить?

**Царь Леонид.** Иди, открыто.

**Синицын** уходит.

Что это Сережа не в своей тарелке?

**Роман.** Ты знаешь, они решили брать ребенка?

**Царь Леонид.** Знаю. Хотели не очень маленького, лет пяти, чтоб виден был характер.

**Роман.** Так вот, Леся ему говорит: выбери сам, а потом мне покажешь. Только, говорит, чтоб был щекастый и деловитый, и смешной, как Сережа, и умный, как она.

**Царь Леонид.** Заказ по всему меню. Она умная?

**Роман.** Погоди. Ему с мальчишкой повезло. Нашел такого, как она хотела, щекастого, деловитого, смешного. Привел Лесю смотреть, когда малыши были на прогулке. Ванька — так зовут мальчишку — Лесе тоже понравился. А когда стали дома обсуждать, как устроят, где будет стоять кроватка и прочее, Леся вдруг в слезы. Почему, говорит, я должна делить тебя с кем-то? Мне хватит и твоего цирка. А сегодня…

Вернулся **Синицын.**

**Роман** *(Синицыну).* Ну что?

**Синицын.** Ничего. Теща берет трубку: алло, алло.

**Царь Леонид.** А почему пупсик не подходит? Ведь не заперли же ее на замок.

**Синицын** *(Роману).* Уже протрепался?

**Царь Леонид.** Пьете вы отвратительно, а закусываете еще хуже. Кто может предложить тост?

**Синицын.** Давайте выпьем за моего отца, Дементия Алексеевича. Его памяти.

**Царь Леонид** *(Роману).* Чокаться нельзя.

**Роман.** Без тебя знаю, Царь. Кстати, откуда у тебя такое прозвище?

**Царь Леонид.** Это целая история. Он давно умер, твой отец?

**Синицын.** Он погиб в сорок пятом, в мае. Его часть уже вышла из боев. Стояли на берегу Вислы, ждали победы. Утром

десятого мая пошел с молодыми бойцами обезвреживать обнаруженную ими немецкую мину. Он был сапером, гвардии капитаном. Бойцы обступили яму. Мина лежала с краю. Бойцы, сказал он, чтобы обезвредить данную мину, рукоятку взрывателя следует повернуть вот так — повернул — и ни в коем случае не так, и повернул еще раз… Молодых бойцов контузило, они чудом уцелели, а нам пришла похоронка и письмо от командира части: «Погиб смертью храбрых, выражаем глубокое соболезнование и поздравляем с победой»…

**Царь Леонид.** Встали. *(Поднялись молча, выпили.)*

**Роман.** А я своих родителей не помню, я, как «колобок», рос у дедушки и бабушки. А потом от них ушел, покатился, покатился… и попал на носок к лисе Алисе. Она меня ам! — и съела.

**Синицын.** Странно. Одни люди рожают детей, даже не понимая, не ведая, что творят. А другие — вот как мы с Лесей, стоят за чужими детьми в очереди, как стояли во время войны за куском хлеба. Почему моя мать одинокая тянула, не оставила меня, годовалого, каким-нибудь людям? Растила в муках, не выходила замуж из-за меня. Может быть, боялась, что мужик бессовестный попадется. Бессовестные мужики — они страшней войны, от них лучше подальше или стрелять их, как бешеных собак.

**Роман.** Но населенье тогда сильно поубавится.

**Царь Леонид.** Спокойно. Без кровопролития. *(Поет.)*

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд…»

**Роман.** Стоит без запасных частей!

**Царь Леонид.** Ну, балбес… Ослабеваю. Предлагаю тост за меня. Ослабевшего. Пользуйтесь.

**Роман.** Не устанем пить за Царя Леонида! Откуда все-таки у тебя это прозвище?

**Царь Леонид.** Это целая история. Сережа, о чем задумался?

**Синицын.** О божественном. Знаешь, Мария — Матерь Божья, — если разобраться хорошенько, тоже была матерью-одиночкой.

**Роман.** Таким женщинам, как Мария, не обязательно иметь под рукой старого плотника. Им пророка родить обязательно.

**Синицын.** Есть у клоунов такой испытанный прием: неожиданно, ни с того ни с сего, прервать на манеже действие и, будто бы вдруг забыв о партнере, уставиться на кого-нибудь из публики, на кого-нибудь из первого ряда. Самое верное — уставиться на женщину: они быстрее и легче конфузятся, а ты,

клоун, все глядишь как завороженный — женщина начинает без толку суетиться, хихикать, цирк веселится от души, а если еще рукой махнет эдак: «уйди, дурак», тогда все просто в восторге. А ты тут начинаешь играть, что влюбился с первого взгляда, по уши влип, ног под собой не чуешь…

**Роман.** Вот так два года тому назад уставился он на белокурую девушку из первого ряда и погиб. Он влюбился сразу, с первого взгляда, и по уши влип, и ног под собой не чуял.

**Синицын.** Хорошо, Ромашка выручил. Оттащил на середину манежа. Еле репризу довели до конца.

**Роман.** А потом, кое-как содрав грим, бежали вдвоем через двор, высматривали ее среди валившей из цирка публики.

**Синицын.** Я тогда брюки прямо на клоунский костюм натянул и плащ застегнул под самое горло. Дурацкий вид.

**Роман.** А может быть, это к лучшему было: клоун ведь.

**Синицын.** Лесины родители были категорически против. Я-то их понимал, вернее, старался понять. Дочь известного академика Баттербардта замужем за клоуном. Если бы у меня было мировое имя, ну, скажем, как у Олега Попова. А то — Сергей Синицын.

**Роман.** Да, до недавнего времени директор цирка здоровался с нами через раз: «Извините, не узнал». И наконец, успех! Долгожданный, выстраданный.

**Синицын.** Но даже если успех, Лесе двадцать два года. Она только что окончила иняз с отличием, а мне жизнь уже успела влепить две троечки.

**Роман.** И фамилию Синицына Леся брать не захотела. Объяснила, что папе будет неприятно, если единственная обожаемая дочь откажется от своей фамилии Баттербардт. В цирке его стали называть «академик Бутерброд».

**Синицын** *(Роману)*. Ты придумал?

**Роман.** Честное слово, не я.

**Синицын.** А раньше у меня было прозвище Птица.

Пауза. Роман и Синицын сидят задумавшись.

**Царь Леонид.** Что задумались, балбесы…

**Синицын.** Царь, ты все знаешь. Что мне делать, скажи.

**Царь Леонид.** С тобой, Сережа, не соскучишься.

**Синицын.** Это все?

**Царь Леонид.** Почему все? Еще кофе будем пить. По-турецки.

## Картина четвертая

На авансцене **Синицын** и **Роман.**

**Роман.** А я тебе говорю, что ты идешь ночевать ко мне.

**Синицын.** А почему не ты ко мне?

**Роман.** Потому что я — не Буратино.

**Синицын.** При чем тут Буратино?

**Роман.** Помнишь, он попал в страну дураков? Так вот: твое Орехово-Борисово — это и есть страна дураков.

**Синицын.** Это как понимать?

**Роман.** Очень просто. Когда в Москве мороз, в Орехово-Борисово — оттепель. В Москве солнце сияет, в Орехово-Борисово — проливной дождь. В Москве академики живут, а в Орехово-Борисово — клоун Синицын.

**Синицын.** Трепач.

**Роман.** Я не трепач. Во мне умирает великий клоун. Такой грустный-грустный клоун. Выхожу на манеж, плачу, и все рыдают. Это мой идеал.

**Синицын.** Ты просто пьян.

**Роман.** Не важно. Главное, не промахнуться мимо своего подъезда. Знаешь, как я представляю себе рай? Сплошной подъезд вроде моего. Лифт, конечно, не работает. Ступеньки, которым требуется зубной врач. Полоумные кошки шмыгают. Постоянный запах кислой капусты, иногда для разнообразия паленой резиной пахнет, а иногда арбузами. На первом этаже какая-то подозрительная лужа — это обязательно! А я гуляю по лестнице и звоню в любую дверь. И за каждой дверью — Алиса!

**Синицын.** А я?

**Роман.** Ты, как друг, таскаешься по лестницам за мной. Разве не ясно?

**Синицын.** Ясно. Только я в аду.

**Роман.** А какой у тебя ад?

**Синицын.** Такой же, как у тебя рай. Только я звоню во все двери, а мне не открывают.

**Роман.** Брр! *(Уходят.)*

Появляется **Димдимыч.** Он во фраке.

**Димдимыч.** Народная артистка СССР Алиса Польди!

Появляется **Алиса.** Она в дорожном плаще.

В цирке ее объявляют особенно. Убегали клоуны, уходили униформисты, молчал оркестр, и свет прожекторов медленно угасал. Только под самым куполом высвечивалась тонкая серебряная трапеция. Трапеция тихо покачивалась, казалось, от дыхания многих людей. Она деловитой походкой выходила на манеж и, ухватив тонкими руками конец свободно висящего каната, быстро взбиралась вверх под самый купол. Зал отвечал приветственным ревом и сразу же смолкал. Это Алиса начинала свой номер.

**Алиса.** Алиса Польди беспрестанно усложняла свой номер и довела его до степени непревзойденного совершенства.

**Димдимыч.** Да!.. Ни одни большие зарубежные гастроли нашего цирка не обходились без нее.

**Алиса.** Известные иностранные антрепренеры затевали друг против друга рискованную игру, когда ставкой был беспроигрышный номер этой советской гимнастки.

**Димдимыч.** Она никогда не пользуется ни лонжей, ни страховочной сеткой. Это допускается правилами: ведь она работает без отрыва от снаряда, как говорят в цирке. Но даже не очень слабонервные в публике нет-нет, а зажмуривают глаза. Зал вскрикивает, стонет, вздрагивает рукоплесканиями.

И вдруг Алиса Польди срывается с трапеции головой вниз и — ах — повисает, сильно раскачиваясь в ужасающей вышине, зацепившись маленькой ступней за угол снаряда. Упавшие волосы заколыхались, как приспущенный флаг.

Но вот она подняла, нет, опустила руки, поправила прическу, сложила руки на груди, закинула ногу на ногу, словно сидит в мягком кресле, и, выгнувшись, раскачиваясь все медленнее, смотрит на публику с улыбкой.

**Алиса.** «Что, здорово испугались? Любите свою Алису?»

**Димдимыч.** «Лю-бим, лю-бим, лю-бим», — скандированно бьют аплодисменты.

**Алиса.** А народная артистка, соскользнув по канату, раскланивается, и цирк сияет ей всеми огнями.

**Димдимыч.** Я обычно загораживал ей путь с манежа: «Побудь еще немного с нами, Алиса Польди». И она возвращается в центр манежа и снова посылает во все стороны воздушные поцелуи.

**Алиса.** «И я люблю вас, люблю, люблю».

**Димдимыч.** Воздушные поцелуи воздушной гимнастки. *(Уходит.)*

**Алиса** входит на сцену, где освещается обстановка домашней кухни. Снимает плащ. Появляются **Роман** и **Синицын.**

**Роман** *(церемонно кланяясь).* Скажите, пожалуйста, здесь живет народная артистка Алиса Польди?

**Алиса.** Нет. Здесь живет великий клоун Роман Самоновский. Только он не может сейчас вас принять. Он, простите, совершенно пьян.

**Роман.** Алисочка, любовь моя! *(Обнимает Алису.)*

**Алиса.** Здравствуй, Сережа. Вы тут без меня каждый вечер так проводите?

**Роман.** Ну что ты, Алисочка!

**Синицын.** Алиса, можно от вас позвонить?

**Алиса.** Что за вопрос?

**Синицын** уходит.

**Роман.** Прекрасно выглядишь. Как прошли гастроли?

**Алиса.** Соскучился?

**Роман.** Ах, Алисочка… У нас с тобой день, считай, за год. Хорошо, два месяца в году видимся. За десять лет едва наберется года три совместной жизни… Ты вон где, а я — вот — коверный…

**Алиса.** Роман, а что с Сережей? Неприятности?

**Роман.** Понимаешь… *(Шепчутся.)*

Возвращается **Синицын.**

**Синицын.** Никто не берет трубку. Гудки, гудки… *(Алисе.)* Ты мое письмо получила? **Алиса.** Получила. Сережа, я прочла твое письмо внимательно, и не раз. Я все поняла, насколько может понять женщина, у которой никогда не было детей. И по-моему, нам, цирковым, лучше, честнее, что ли, оставаться бездетными. Как это ни грустно. Я теперь часто думаю об этом. Ведь я сама из цирковой фамилии. Но прошли те времена моих родителей, когда дети росли прямо в цирке под ногами у взрослых и цирк был для них домом, и школой, и всем на свете. Теперь цирковому артисту подчас приходится выбирать: его искусство или его ребенок. Если артист хочет остаться в полном цирковом смысле этого слова, а не просто остаться в цирке. Не для таких, как ты, Сережа, рассказывать, какое подвижничество наша работа. А ваш успех, я знаю, читала, слышала, — это только начало ваших настоящих мук, Сережа. Пейте кофе…

Во время разговора Алиса успела поставить на стол чашки, бокалы. Роман открыл бутылку вина.

**Синицын.** Спасибо. Мы уже пили у Царя Леонида.

**Алиса.** Странное прозвище: Царь Леонид.

**Роман.** Это целая история.

**Алиса.** Как жалко, что меня не было с вами сегодня. Я бы произнесла прекрасный тост.

**Роман.** В чем же дело? Произнеси сейчас *(Разливает вино по бокалам.)*

**Алиса** *(встает).* Клоуны! Дорогие мои клоуны… Сегодня мы навсегда прощаемся с замечательной, да, замечательной — мы все трое это знаем, — замечательной цирковой артисткой Алисой Энриковной Польди!

**Роман.** Алисочка…

**Алиса.** Прошу встать! Ромашка, милый… Мальчики… Если б вы видели… вчера в первый раз за свою жизнь… на публике… в первый раз я пристегнула лонжу.

**Роман.** Алисочка, любовь моя… Ну, что ты, Алисочка… Ты же гениальная… займешься дрессурой, будешь дама с собачками… Алисочка…

**Алиса.** Не надо, мой хороший… Всему когда-то приходит конец.

**Алиса** выходит, **Роман** за ней. **Синицын** один.

**Синицын.** Вот, Ванька, милый человек. Не гожусь я тебе в родители. Никудышный я отец. Несерьезный, безответственный тип. Ни в чем не понимаю, ничего толком не знаю. Не знаю даже, откуда это прозвище такое странное: Царь Леонид?

## Картина пятая

Детдом. Входят **Синицын** и **Роман.**

**Воспитательница.** Добрый день.

**Синицын.** Здравствуйте.

**Воспитательница.** Обождите, товарищ…

**Синицын.** Синицын.

**Воспитательница.** Я помню. Обождите немного, у нас обеденный перерыв. *(Уходит.)*

**Синицын.** Знаешь, я заметил, что вызываю у людей зверский аппетит. Стоит мне где-нибудь появиться, тут же объявляется обеденный перерыв. Это происходит постоянно: в магазинах, на почте, в милиции — везде.

**Роман.** А в цирке?

**Синицын.** В цирке то же самое. Стоит мне выйти на манеж в первом отделении, как публика ждет не дождется антракта, чтобы вломиться в буфет. И все — из-за меня.

**Роман.** А вот когда «закрыто на учет» или «лифт на ремонте» — это из-за кого?

**Синицын.** А это, наверное, из-за тебя. Или моя теща приглашает: приходите обедать. Нет чтобы сказать: приходите, поговорим по душам. Как увидит меня — сразу обедать.

**Роман.** Ну тебя к черту! Действительно, есть захотелось.

На столе звонит телефон.

Вот он никогда не хочет обедать. Он хочет разговаривать. Он все вытерпит, дай ему только поговорить. Видишь — красный. По нему, видно, такое говорят, что ему стыдно. А бывают телефоны, по которым ведут только служебные разговоры. Они зеленые. От скуки. А бывают белые. По ним очень хорошо спрашивать: «Катя, вы за меня выйдете замуж?» А Катя по черному отвечает: «Ни в коем случае».

Телефон звонит снова.

*(Берет трубку.)* Детский дом. Сейчас у нас обеденный перерыв. Я… Алисочка! А как ты… ну конечно, со мной, то есть я с ним. Слушаю. Так. Так. Нет, ты серьезно? Ну прости. Так. Так. Так. Гениально! Да, да! Обязательно? *(Кладет трубку.)* Птица! Сейчас Алисе звонили из Управления цирков. Решено гастрольное турне. Большая сборная программа. Три наших

лучших антре включены. Это точно. Все уже подписано высшим начальством.

**Синицын.** Алиса подписала?

**Роман.** Фи! Турне начнется через две недели и пройдет по четырем странам. Угадай, какая первая?

**Синицын.** Остров Пасхи.

**Роман.** Идиот! Канада!!! Представляешь, в Монреаль приезжает советский цирк. Повсюду афиши, Леся видит наши имена и мчится к нам в отель. Но нас нет. Мы будем прятаться от нее в цирке. Конечно, все советские, которые сейчас в Монреале, приходят на представление. Леся в первом ряду. Два антре прошли, мы ее не замечаем. И только в третьем… Это будет грандиозно!

**Синицын.** А что же будет с Ванькой?

**Роман.** Ванька во время гастролей будет жить у нас. Алиса сама предложила. Ведь моя-то идея по поводу дамы с собачками все-таки ей запала. Она берет творческий отпуск на год. Летай, Птица!

Входит **Воспитательница.**

**Синицын.** Извините.

**Роман.** Маленькая репетиция большого счастья.

**Воспитательница.** Сергей Дементьевич?

**Синицын.** Правильно.

**Воспитательница.** Вы вот в этой графе ничего не написали. У вас еще дети есть?

**Синицын.** Есть. Четверо. Три девочки, остальные пятеро — мальчики. И все, само собой, — близнецы.

**Воспитательница.** Будете брать?

**Синицын.** Будем брать! А вы сказали ему, о чем я вас просил? Ну, что я — клоун?

**Воспитательница.** Ах, это… Да, сказала.

**Синицын.** Ну и как он? Ничего? Не расспрашивал?

**Воспитательница.** Он очень смеялся и, по-моему, не поверил.

**Синицын.** А он когда-нибудь видел клоунов?

**Воспитательница.** Они были в цирке на новогодней елке. И на картинках видел, конечно. Знаете, как обычно рисуют: красноносых таких, в колпачках.

**Роман.** Во-во! Очень хорошо.

**Воспитательница.** Его там собирают. Знаете, что он меня спросил? «Я теперь где буду жить, в цирке?» Как вам нравится?

**Роман.** Наш человек! *(Воспитательница уходит.)*

**Синицын** *(достает записку)*. Вот послушай. Дома лежала, на столе в кухне. Сам читай. Можешь все читать.

**Роман.** «Сережа… Я умолила папу заехать перед отлетом в Канаду. Тебя нет дома, ждать мы не можем. Самолетом из Шереметьева… Ну, не важно. Почему ты не звонил? Ведь ты знал, что я сегодня улетаю. Если будет с кем переслать письмо — напишу. Где ты все время пропадаешь? Я ненавижу твой цирк. Убегаю, целую 1000, Леся».

**Синицын.** И ни слова о Ваньке, ни слова!

**Роман.** А что ты скажешь Ваньке, если спросит, где его мать?

**Синицын.** Скажу, уехала, скоро приедет.

**Воспитательница** выводит мальчишку.

Клоуны смотрят на Ваньку, он на них.

*Конец первого акта.*

## Акт второй

Между первым и вторым актами проходит десять дней.

### Картина шестая

Лестничная площадка жилого дома.

Две двери напротив. Одна приоткрыта.

**Синицын** жмет на звонок у закрытой двери.

**Голос из-за двери.** Кто там? **Синицын.** Это я, ваш сосед Синицын. У меня очень плохо с ребенком. Откройте, пожалуйста.

**Соседка** выходит на площадку.

**Соседка.** Что случилось? **Синицын.** Кашляет ужасно, как будто лает. Задыхается.

**Соседка** вместе с **Синицыным** поспешно скрывается за дверью его квартиры. Вскоре снова выходят на площадку.

**Соседка.** «Неотложку» надо. Я сейчас, только возьму монетки. Телефон-автомат в соседнем подъезде. *(Уходит и возвращается в шубе)* Я сейчас. Вы не пугайтесь. Ничего. Идите к нему. Господи, господи… *(Уходит)*

Появляется **Полина Челубеева.** Вернее, возникает на сцене.

**Полина.** Здравствуй, птичка-синичка. Ну, как живешь со своими бутербродами?

**Синицын.** А тебе-то, Челубеева, что за дело?.. Полина, почему, когда мне плохо, я думаю о тебе?

**Полина.** Помнишь, ты сказал, что я знаю о тебе все? Может быть, даже то, что ты сам не знаешь?

**Синицын.** А помнишь, как ты сказала, что, если не разлюбишь меня, беда будет. Твоя беда. Да, ты так говорила. Ты так говорила?

Полина молчит.

А помнишь, как мы познакомились? Я тогда манежные опилки глотал один, без Ромашки. «В паузах клоун Сережа». Сколько лет тому — пять? Семь? И встречались с тобой как-то странно, словно запоями. Разъезды, разъезды… Так и не мог понять, кто ты для меня: друг не друг, жена не жена. Просто Полина Челубеева.

**Полина.** Просто Полина Челубеева.

**Синицын.** А потом приехал из ГДР этот дрессировщик Зигфрид Вольф со смешанной группой хищников. И потянулась сплетня, что ты с этим немцем. И там-то вас видели вместе, и там-то. Как я тогда бесился! Встретил бы, отколотил, как бубен. А потом меня замотало по Союзу, и я совсем забыл тебя. Постарался забыть. И какое у меня право на твою любовь? Никакого. После встретил тебя и не поздоровался.

**Полина.** Здравствуй, птичка-синичка.

**Синицын.** Вот и кантуйся со своим белобрысым дружком, дрейн унд цванцих, фир унд зибцих! Ауфидерзейн!

**Полина** уходит, вернее, исчезает.

**Синицын.** Когда Ваньку привезли, я Лесину фотографию снял со стены и спрятал за холодильник. А он спрашивает: какая наша мама? А я говорю: приедет, сам увидишь.

Свет гаснет. Когда сцена снова освещается, у двери квартиры Синицына стоит он сам, **Соседка** и **Женщина врач.**

**Врач** *(Соседке)* Всё запомнили, бабушка?

**Соседка.** Я ихняя соседка.

**Врач.** Тогда проинформируем еще раз отца. ОРЗ — значит острое респираторное заболевание. Ложный круп — это отек в горле. Форма легкая. Но может осложниться. Тогда мальчика заберут в больницу. Прислушивайтесь к нему внимательно. Да, лекарств у вас сейчас, конечно, нет. Я вам оставлю немного олететрина. Вы ведь клоун, верно? Вы ведь знаете, я ведь сама… У меня даже находили большой талант. Еще в школе. Одилия Львовна Миджераки, не слыхали?

**Синицын.** Нет, не приходилось.

**Врач.** Она была певица. Известная. Еще до революции. Так вот, она со мной занималась. *(Поет.)* «У любви, как у пташки, крылья…» — это из «Кармен». Я сегодня не в голосе…

**Соседка.** Вы в самодеятельности поете?

**Врач.** Да нет, некогда, знаете. И муж против. Так, для себя иногда… *(Поет.)* «Ах, зачем я люблю тебя, ночь?» Или вот это: «Он уехал, ненаглядный».

**Соседка.** Ванечку разбудите.

**Врач.** Я ему дала димедрол. Он должен хорошо заснуть. Если опять повторятся хрипы — содовый пар, вот как я делала.

Кажется, все, до свидания. *(Уходит.)*

**Голос врача.** «Арлекино, Арлекино, есть одна надежда — смех».

**Синицын.** Спасибо вам… Как это вы с Ванькой ловко…

**Соседка.** Мне не привыкать. Знаете, сколько я своих детей вырастила? Девять душ.

**Синицын.** Девятерых? Да вы же мать-героиня!

**Соседка.** До героини не дотянула. Но все в люди вышли.

**Синицын.** Простите, я даже ваше имя-отчество не знаю.

**Соседка.** Зовите просто Мария. Отчество у меня трудное.

**Синицын.** У меня тоже. Дементьевич.

**Соседка.** Разве это трудное? С моим не сравнить. Вот у меня так уж отчество: Евтихиановна! Прощайте пока. Уж утро на дворе. *(Уходит.)*

Появляются **Роман** и **Димдимыч.**

**Димдимыч.** С добрым утром!

**Роман.** Что стряслось, Птица! Почему ты не явился на репетицию?

**Синицын.** Тише ты… Ванька заболел. Сейчас была «неотложка». Сказали — ложный круп. Если Ванька скоро не выздоровеет, поедешь в Канаду один. Начинайте репетировать с Димдимычем. Вы же можете подавать Ромашке мои реплики? Репризы, конечно, проиграют… Но для тех, кто не видел наш номер… В конце концов, Рыжий в старом цирке обычно выходил под шпрехшталмейстера. Это нормально.

**Димдимыч.** Кого ты пытаешься убедить, Сергей? Нас или себя?

**Роман.** И по канату Димдимыч тоже быстренько пройдется, и стойку на одной руке — ему это раз чихнуть! Послушай, есть какой-нибудь Айболит, который Ваньку быстро подымет на ноги? Из-под земли достану.

**Димдимыч.** Я по опыту знаю, родительскому конечно, что при Ванькином заболевании Айболит бесполезен. Форсировать здесь нельзя. Все пройдет, я не сомневаюсь, но не сегодня и не завтра. И даже не послезавтра. А до отъезда остается три дня. Мы с Романом, конечно, попробуем порепетировать, посмотрим, что получится. Верно, Роман?

**Синицын.** Что мы на площадке стоим? Зайдите.

**Роман.** Оставь меня в покое!

**Димдимыч.** Но ты, Сергей, должен нам пообещать, что, если твой сын через два дня наладится, ты поедешь. А Алиса Польди, она…

**Роман.** Да Алиса будет беречь Ваньку пуще глаза своего! Она его в ассистенты в собачий номер хочет взять.

**Синицын.** Быстро же ты своего Айболита забыл.

**Роман.**

Тита-дрита, тита-дрита,
ширфандаза-ширванда!
Мы родного Айболита
Не забудем никогда!

## Картина седьмая

Кухня в доме **Романа** и **Алисы.**

В гостях у них — **Синицын.**

**Роман.** Как тебе вырваться удалось? Ванька как, какая температура?

**Синицын.** Почти нормальная. Ваньку соседка стережет.

**Роман.** Святая мать Мария! Так, значит, все в порядке? Завтра Алисочка его забирает, а мы с тобой…

**Алиса** *(Синицыну).* От Леси есть что-нибудь новое?

**Синицын.** Ничего. Телефона у нас нет, переслать письмо мог случай не представиться, а по почте из Канады письма небось целый месяц идут.

**Роман.** А может быть, Леся звонила матери и просила передать что-нибудь для тебя?

**Синицын.** Позвонить советуешь? И услышать: «Нет, не звонила. А вы знаете, Сергей Димедролович, сколько долларов стоит телефонный разговор из Монреаля?» Нет, к чертям! Знаете, Ванька стал какой-то вялый, скучный. Лечится послушно, а сегодня никак не мог заглотнуть свой олететрин. Лекарство, говорит, противное. И даже сказки мои слушать не захотел.

**Роман.** Представляешь, Алисочка, он ему сам сказки сочиняет. Я одну слышал: там людоед по имени Фома положил зубы на полку и радостно поступил продавцом в кондитерский магазин.

**Синицын.** Погоди. Вот я тут написал.

**Роман.** Что это? Новая сказка?

**Синицын.** Это в наше Управление. Я тут объяснил, как умел. Прочтите.

**Алиса.** Поужинаешь с нами, Сережа?

**Синицын.** Нет, спасибо. Мне надо возвращаться к Ваньке.

**Роман.** Да, свалял ты Ваньку…

**Алиса.** Сережа, ты хочешь, чтобы мы передали твою объяснительную в Управление? Я завтра передам. Может, все-таки выпьешь чаю?

**Синицын.** Спасибо, не хочется. Роман, скажи, как прошла сегодня репетиция с Димдимычем. Что, получается?

**Роман.** Замечательно получается! Великолепно! Уж во всяком случае, лучше, чем с тобой.

**Синицын.** Я так и думал. Желаю счастливых гастролей.

**Алиса.** Боже мой! Как с вами трудно. Когда вы оба станете взрослыми?

**Синицын.** Я — прямо сейчас.

**Роман.** Ах, Птица. Нелепые мы с тобой люди. Одно слово — клоуны.

**Синицын.** Давайте чай пить.

**Роман.** Я придумал, как объяснить Лесе, что ты не приехал на гастроли. В последний момент вывихнул на репетиции ногу. Производственная травма. А что?

**Синицын.** Ври что хочешь. Только про Ваньку пока ничего не говори. Он все время спрашивает, когда мама приедет? И какая она.

**Роман.** Ты ему фотографию показывал?

**Синицын.** Нет. Даю словесный портрет, так, в общих чертах.

**Алиса.** А ты письмо ей написал? Отдай Роману.

**Синицын.** А о чем писать? Что люблю ее? Она и так это знает.

**Роман.** Я скажу, что в спешке забыл твое письмо. Я за тебя, Птица, ей такое письмо сочиню!

**Алиса.** Вот и сочини. Даже если бы Сережа тебе такое письмо передал, ты бы его обязательно забыл.

**Роман.** Это почему?

**Алиса.** Потому. Забыл, и все. И Сережа на тебя не обиделся бы.

**Роман.** Не на меня, а на тебя. Мне бы он просто плюх навешал. Правда, Птица?

**Синицын.** Не знаю. Ничего не знаю.

## Картина восьмая

Дома у **Синицына.**

**Соседка** разгружает хозяйственную сумку.

**Соседка.** Вот лимоны и молоко. Боржоми я не достала.

**Синицын.** Спасибо вам, Мария Евтихиановна.

**Соседка.** Запомнили. Друг ваш уехал?

**Синицын.** Улетел. Парит сейчас над Европой. Небось затевает уморительные беседы с бортпроводницей: Соло-клоун Роман Самоновский! А моя фамилия теперь с афиш на рецепты переехала. Вот Синицын — олететрин, Синицын — димедрол,

ацетилсалициловая кислота — тоже Синицын.

**Соседка.** Не расстраивайтесь. От супруги вашей какие вести?

**Синицын.** Никаких.

**Соседка.** Это, наверное, почта виновата. У них там такие задержки бывают, неразбериха. Вот когда мой старший Паша… Павел Алексеевич женился, так во дворце бракосочетаний фотограф со всех сторон молодых снимал… и щелкал, и вспыхивал этой… пятнадцать рублей заплатили, ждали, а потом по почте получают целый пакет фотографий. Обрадовались, разрывают, а там совсем другие жених и невеста… почта перегружена. А друг ваш ей все там разъяснит.

**Синицын.** У Ваньки сегодня, как назло, нормальная температура.

**Соседка.** Слава богу! Врач была, что сказала?

**Синицын.** Продолжайте намеченный курс лечения и спела арию: «И вот я умираю…»

**Соседка** *(заглядывает в дверь соседней комнаты).* Спит мальчонка. Ну, это к лучшему. Как похудел-то… Ну, я пошла, пока тесто не поднимется. Такие пироги напеку! И плита у вас хорошая, и лампочка в духовке. Я у вас тут одну книжечку взяла почитать, не возражаете?

**Синицын.** Берите, берите. О. Бальзак «Блеск и нищета куртизанок». Подходяще!

**Соседка** уходит. Звонок. Входит **Царь Леонид.**

**Царь Леонид.** Вот, это тебе боржом. Мои балбесы посылают. Что нового в жизни артиста?

Звонок. **Синицын** возвращается с телеграммой.

**Синицын.** Телеграмма. Международная.

**Царь Леонид.** От Романа?

**Синицын.** «Задерживаюсь три месяца переводчиком советской выставки, люблю, целую. Ольга Баттербардт».

**Царь Леонид** *(забирает телеграмму).* Канадский вариант. Грубый прессинг по всему полю. Все пупсики одинаковые.

**Синицын.** Дай сюда!

**Царь Леонид.** Застекли, вставь в рамку и повесь над кроватью. А куда ты ее фотопортрет девал?

**Синицын.** Спрятал.

**Царь Леонид.** Помогает?

**Синицын.** Не хочу, чтобы Ванька… Понятно?

**Царь Леонид.** Уловил. Покажи своего балбесика.

**Синицын.** Он спит, не буди.

**Царь Леонид** проходит в соседнюю комнату.

**Царь Леонид** *(вернувшись).* На тебя не похож, но будет похож. Мы его воспитаем настоящим мужчиной. Ну, я пошел.

Если что, знаешь, как меня найти. Я теперь по четным.

**Синицын.** Скажи, Михаил Николаевич, откуда у тебя это прозвище: Царь Леонид?

**Царь Леонид.** Ну, слушай. Это целая история… Ой, ведь меня такси ждет! Туристов сегодня невпроворот. Чао! *(Убегает.)*

Звонок в дверь.

**Синицын.** Прямо день открытых дверей!

Идет открывать. Возвращается с **Грузчиком.**

**Синицын.** Я вам говорю, что это какое-то недоразумение!

**Грузчик.** Зачем недоразумение? Вот квитанция *(читает):* товарищ Синицын Сергей…

**Синицын.** Дементьевич.

**Грузчик.** Точно. И адресок.

**Синицын.** Уплачено…

**Грузчик.** Ваш адресок?

**Синицын.** Мой… Чудеса какие-то!

**Грузчик.** Еще не то бывает. Заноси!

**Двое грузчиков** вносят платяной шкаф.

**Грузчик.** Куда ставить будем?

**Синицын.** Черт его знает!

**Грузчик.** Ну, вы тут с чертями посоветуйтесь, а нам пора. Вот вам ключики.

**Синицын.** Погодите, сейчас…

**Грузчик.** Ничего не надо. Чудеса так чудеса.

**Грузчик** и уходят. Синицын отпирает шкаф. Из шкафа выходит **Роман.**

**Роман.** Нравится? Это подарок!

**Синицын** *(заглядывая в шкаф).* А накурил-то!

**Роман.** Кончай там слезу пускать, а то я возгоржусь. А я тут ни при чем, честное слово.

**Синицын.** Ромашка…

**Роман.** Я тут ни при чем. Это все Димдимыч. Просто мне не спалось после твоего посещения, и я ни свет ни заря поехал к Димдимычу. Димдимыч ничуть не удивился моему раннему появлению, а когда я ему все свои сомнения выложил, он потребовал у жены свой парадный пиджак с боевыми орденами и медалями и повез меня в Управление госцирков. Там произошел неприятный разговор. В общем, смысл его заключается в том, что артист Роман Самоновский — безответственный гражданин, который хочет сорвать зарубежные гастроли советского цирка.

**Синицын.** А что Димдимыч?

**Роман.** Я Димдимыча таким никогда не видел. Вот тебе и говорящая статуя! Я даже испугался, честное слово. И по-моему, все там малость струхнули. Димдимыч побелел, рубанул

кулачищем по столу, так что подпрыгнули все, какие там есть, телефоны, и страшным голосом, каким, наверное, командовал: «Батальон, в атаку, за мной!» — закричал, что не позволит извращать честный поступок советского артиста. «Любой ценой, — кричит, — хотите галочку поставить, а того не понимаете, что топчете дружбу двух наших артистов, ломаете их партнерство, нужное для советского цирка, для наших зрителей».

А потом опустился на стул и тихо так говорит: «Если бы не святая дружба мужская, никаких этих гастролей сейчас бы не было, и цирка нашего не было, и нас с вами, товарищи дорогие… это понимать надо».

И все Димдимыча поняли. Созвонились, посовещались и решили, что гастрольная программа и так блестящая, и без коверного на этот раз можно обойтись.

**Синицын.** Ай да вы с Димдимычем!

**Роман.** Я расцеловал его от нас обоих в обе щеки и помчался домой к Алисе.

**Синицын.** А что Алиса сказала?

**Роман.** Погнала меня в магазин… А когда вернулся, хвалила так, будто я в космос слетал. Который час? Ну и здоровы мы трепаться. Мастера разговорного жанра. То-то я чувствую, у меня живот подвело.

**Синицын.** Я сейчас ужин сочиню… Мать Мария меня всем обеспечила. Молока свежего полный холодильник.

**Роман.** Теперь тебе, Птица, только кисельных берегов не хватает.

**Синицын.** Молочные реки, кисельные берега — с детства не люблю этот пейзаж. Представляешь, ноги в киселе вязнут, приходишь к речке, а она прокисла.

**Роман.** Молоко может быть можайское, а кисель из диетстоловой. Знаешь, сверху пленка такая толстая, резиновая, как батут. Слона выдержит.

**Синицын.** И ты по этому киселю скачешь верхом на сером волке. Беззубом, конечно.

**Роман.** Почему беззубом?

**Синицын.** У оптимистов все волки — беззубые.

**Роман.** А сам-то, а сам? Ты же в каждой лягушке подозреваешь прекрасную царевну. Ну, скажи, что я не прав.

**Синицын.** Буди Ваньку. Он целый день спит. И глаза у него пожелтели, как у кота.

**Роман.** Не беспокойся, Птица. Это он за меня отсыпается.

**Синицын.** Вот появился у меня сын Ванька, и я уже не тот Сергей Синицын, каким был раньше. Синицын плюс еще что-то. Только что это такое, я понять не могу. Только это не Ванька.

Ванька сам по себе, я сам по себе. А вот то, что мы вместе, это и есть это что-то. Но что это такое?

Он мне говорит: я, говорит, когда вырасту большой, тоже буду клоуном. А я ему говорю, что он уже клоун. Мой любимый клоун.

**Роман.** А я?

**Синицын.** И ты, конечно!

**Роман** идет в комнату.

**Голос Романа.** Ванька! Ванька-встанька!

**Роман** выскакивает из комнаты.

**Роман.** Птица! Он без сознания!

**Синицын** и **Роман** бросаются в комнату.

**Голос Синицына.** Ванька, сыночек, ну скажи мне что-нибудь, Ванька… Роман, «неотложку»!

Свет на сцене гаснет. Когда сцена освещается, у двери в комнату стоит **Соседка.**

**Голос Синицына** *(из комнаты).* Поднимите ему голову повыше, так… так… дайте подушку. Ваня, Ванечка… **Голос врача.** Расстегните ему пижаму. Дайте, я сам. Держите лампу повыше. Готовьте адреналин. Ну-ка, товарищ папа, не надо нам мешать, дорогой.

Пауза. Появляются **Врач** и **Синицын.**

**Врач.** Слушайте меня внимательно, товарищ папа. Мы забираем вашего мальчика в больницу. Ему необходимо сделать переливание крови, срочно.

**Синицын.** Да, переливание, я понимаю.

**Врач.** Вот и прекрасно. У нас в машине места для вас — увы — нет. Придется добираться самим. Это недалеко.

Входит **Алиса Польди.**

**Алиса.** У нас есть машина!

**Врач.** Тогда — полный вперед!

## Картина девятая

Больница. В комнате дежурного врача **Врач, Алиса, Синицын** и **Роман.**

**Дежурный врач** *(в трубку телефона).* Я же вам говорю — гемолиз. Да, реакция на олететрин. Желтушный, желтушный белок. Все признаки. Гемоглобин тридцать шесть единиц. Ну, в том-то и дело. Конечно, поздно уже. Донора уже ищут, но группа крови редкая. Если что-нибудь придумаете, звоните.

**Синицын.** Что — поздно?

**Дежурный врач.** Вы кто, родители? Родители Вани Синицына?

**Алиса.** Да.

**Дежурный врач.** Что-то вас больно много, родителей. Я сказал: поздно — первый час. У вашего Вани редкая группа крови: первая, резус отрицательный. На пункте переливания такой крови сейчас нет. Хорошо, что вы здесь: такая кровь передается по наследству.

**Синицын.** У меня вторая группа.

**Алиса.** У меня просто первая, без этого…

**Дежурный врач.** Так не может быть. Ведь Ваня Синицын — ваш сын?

**Синицын.** Мой. Но он приемный, из детдома.

**Дежурный врач.** Сейчас донора ищут с нужной группой крови. Но переливание нужно сделать срочно, как можно скорее. Постарайтесь вспомнить, нет ли у вас друзей с кровью: группа первая, резус отрицательный.

**Роман.** У меня вторая.

**Алиса.** Доктор, я вспомнила! Этот самый резус отрицательный у Полинки Челубеевой. Мы с ней вместе медкомиссию проходили перед поездкой в Индию.

**Дежурный врач.** Где эта ваша Челубеева? Она в Москве?

**Синицын.** Можно от вас позвонить?

**Дежурный врач.** Нужно!

**Синицын.** Попросите, пожалуйста, Полину Никитичну. Да, я знаю, который час, но очень нужно, пожалуйста… Полина, это я, Синицын. Нет, и не пьяный. Полина, Ванька умирает… Полина… *(Врачу.)* Какой адрес?

**Дежурный врач.** Дегтярный переулок, девять, вход со двора.

**Синицын.** Дегтярный переулок, девять, вход со двора. Да, больница. Она сказала: я — быстро. Она — быстро. *(Врачу.)* У вас не найдется закурить?

**Алиса.** И мне.

**Дежурный врач.** И вам. И вам обязательно.

Молча курят. Врач, сидя на стуле, рассматривает свой ботинок.

Вот ботинок у меня какой-то… тупорылый. И носок отстрочен. Фасон смешной… Мальчиковый фасон. Я уже седой человек, с бородой, а жена мне всегда какие-то мальчиковые ботинки покупает. А самому купить некогда. Я обувь быстро изнашиваю. Очень быстро. Это у меня с детства. В детстве меня ох как наказывали за то, что обувь не берегу. Так и не научился. Сразу носки обдираю. Вот хоть и чищеный ботинок, а видно, что носок уже обшарпан, содран, как у малышей обычно. И шнурки завязывать не умею. Бантики какие-то длинные получаются, висят по бокам. А вообще-то ничего себе ботинок… прочный. В таком

ботинке, наверное, можно в поход идти. По родному краю. Рант вон какой широкий, не скоро промокнет. Нет, совсем неплохой ботинок, только фасон какой-то… смешной…

Входит **Полина.**

**Полина.** Здравствуйте!

**Синицын.** Это она, Полина.

**Дежурный врач** *(Синицыну).* Вам повезло. *(Полине.)* Идите со мной. *(Выходит.)* А вы подождите в коридоре.

**Синицын.** Полина…

**Полина.** Ауфидерзейн, дурак…

**Синицын.** Сама дура…

Свет на сцене гаснет. Только Полина остается на авансцене в луче света.

**Полина.** Кровати тесно были сдвинуты, и я боялась пошевельнуться, чтобы не сломать чего-нибудь в сложном переплетении прозрачных трубок, тянущихся от меня к мальчику, к Ваньке. Врач поправил мне подушку и ушел, пообещав скоро вернуться.

Я и не заметила, как задремала. А во сне мне показалось, что кто-то тронул меня за плечо. Я проснулась. Глаза мальчика были широко раскрыты. Он глядел в потолок без всякого выражения. Потом светлые брови его нахмурились, он перевел взгляд на переплетение трубок, охваченных тут и там зажимами, долго глядел на капельницу, где, мерно стуча, падала моя кровь.

Щека его дернулась и поползла вбок. Он повернул голову и теперь смотрел мне прямо в глаза и улыбался мне щеками, губами, круглыми, ожившими глазами.

И я услышала его слабый, тихий голос:

— Мама, это ты? Ты приехала?

Я не знала, что отвечать, и, уткнувшись в подушку, заплакала. Когда я решилась снова посмотреть на него, он спал, сохраняя на лице улыбку, и ровно, глубоко дышал.

Сейчас под окном палаты разговаривают Сергей, Алиса и Роман. Я слышу их голоса. Но слов не могу разобрать.

*Конец пьесы*

# Исполнитель
# Трагифарс в двух актах, восьми картинах, с прологом и эпилогом

Спектаклем «Исполнитель» в 1988 году открылся театр «Детектив». Нам с моим соавтором Владимиром Валуцким «компетентные органы» дали возможность ознакомиться с «Делом Берии». Госархив предоставил уникальные фотоматериалы. Знание жизненной правды недавней истории позволило авторам чувствовать себя творчески свободными в стремлении к образной правде искусства. Думается, что исполнение Сергеем Шакуровым роли Берии — одна из вершин в творчестве этого выдающегося артиста.

Тамара Семина, которая известна и любима как киноактриса, блеснула театральным мастерством. Сегодня Алексей Гуськов и Лидия Вележева — популярные актерские имена. А в те годы они были молодыми премьерами театра. И конечно, общение с такими опытными партнерами, как С. Шакуров, Т. Семина, В. Смирнитский, М. Струнова, дало начинающим актерам хорошую профессиональную школу. Да и я уделял им много режиссерского внимания.

Намечалась постановка в моей инсценировке романа Грэма Грина «Человеческий фактор». Режиссером должен был стать Питер Устинов — оба, автор и режиссер, — друзья театра «Детектив». Не сбылось.

## Действующие лица

**Нестеров Егор Иванович,** *полковник, впоследствии сотрудник МВД.*

**Берия Лаврентий Павлович,** *маршал, министр МВД.*

**Кобулов Богдан Захарович,** *генерал полковник, его заместитель.*

**Момулов,** *его личный телохранитель.*

**Балдис Янис,** *доверенное лицо министра.*

**Вера Викентьевна,** *сотрудник архива МВД.*

**Строков,** *полковник, начальник УВД Львовской области.*

**Санчес Анита.**

**Щеглова Зоя,** *ее подруга.*

**Солдаты, полковник, танкист, связист.**

Действие происходит в мае — июне 1953 года.

Сюжет и действующие лица пьесы — это во многом свободное

художественное осмысление фактов и имен, рожденное объективной исторической Правдой.

## Пролог

В темноте, высоко над сценой, высвечивается бюст человека, как бы высеченный из черного гранита, но это не каменное изваяние, а живой солидный мужчина в низко надвинутой черной шляпе с широкими полями, под которыми в световом луче выступает вперед крупный нос и поблескивают стеклышки пенсне. Подбородок прикрыт черным шелковым шарфом.

Звучит речь: «…Враги Советского государства рассчитывают, что понесенная нами тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах.

Но напрасны их расчеты. Их ждет жестокое разочарование. Кто не слеп, тот видит, что в эти скорбные дни все народы Советского Союза в братском единении с великим русским народом еще теснее сплотились вокруг Советского правительства и Центрального комитета Коммунистической партии».

Свет на сцене гаснет. Голос говорившего звучит тише, как бы отдаляясь. Но можно разобрать — про нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства, про братскую дружбу народов и дальнейшее укрепление экономического и военного могущества страны.

А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и предать врагам.

*М. Волошин*

## Акт первый

### Картина первая

Вместе с этими словами на сцене загорается настольная лампа и постепенно высвечиваются письменный стол, кресла и весь кабинет, куда входит Берия, одетый так же, как на трибуне. Не снимая шляпы и пальто, он подходит к радиоприемнику и усиливает звук своей речи. Снова отчетливо звучит:

«Великий Сталин воспитал и сплотил вокруг себя когорту испытанных в боях руководителей, овладевших ленинско-

сталинским мастерством руководства, на плечи которых пала историческая ответственность — довести до конца великое дело, начатое Лениным и успешно продолженное Сталиным. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия и Правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранять стальное единство рядов партии и ее руководства…»

Мягко ступая, к Берии подходит человек с выбритой головой, в белом бешмете и черной черкеске с газырями и разукрашенным кинжалом на поясе. Это **Момулов,** начальник личной охраны. Ловко и бесшумно Момулов помогает Берии раздеться. Уже сняты пальто, пиджак, брюки, а голос из радиоприемника предохраняет:

«…Крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, крепить могущество Советского государства, неизменно хранить верность идеям марксизма-ленинизма и, следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну социализма к коммунизму».

К этому моменту речи Берия стоит в белоснежном шелковом белье. **Момулов** уходит с одеждой, Берия дослушивает:

«…Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю великому Сталину!»

Берия выключает радио и ставит на ту же радиолу пластинку. В глубине кабинета появляется и останавливается у него за спиной **Богдан Кобулов,** генерал-полковник и первый заместитель. В руках у него папка. С пластинки звучит популярная песня «Руки» в исполнении И. Юрьевой. Входит **Момулов** с мундиром и брюками и начинает облачать хозяина в маршальскую форму. Берия с удовольствием слушает, подпевает.

**Берия.** А все-таки тиран был прав: «Жить стало лучше, жить стало веселее».

**Кобулов.** Да, Сталин…

**Берия.** При чем тут Сталин? Это первым Лысенко сказал, а Сталин себе присвоил. Академики!

Кобулов и Момулов смеются. Один во весь голос, другой беззвучно.

Что-то мы много смеемся последнее время. Ну что, он уже в приемной?

**Кобулов.** Пока ведут, Лаврентий Павлович, наш любимый артист уже второй час сидит с ним в ресторане…

**Берия.** В каком ресторане?

**Кобулов.** ЦДРИ, конечно.

**Берия.** Вы бы его еще в Коктейль-холл повели. Почему не в «Арагви»?

**Кобулов.** В «Арагви» сегодня работают с иностранцами.

**Берия.** Кто возглавляет твою группу? **Кобулов.** Гагулия.

Берия одобрительно кивает. Звонок. Берия делает знак Кобулову.

**Кобулов** *(снимает трубку).* Аппарат маршала Берии слушает. Мешик, ты? *(Вопросительно смотрит на Берию. Тот продолжает одеваться.)* Маршал в ЦК, говори. *(Некото рое время внимательно слушает.)* Подожди, меня по Кремлевке. *(Закрывает ладонью мембрану, говорит Берии.)* Опять этот Строков. Его вызвал Никита, велел поднять списки арестованных по Львовской области. А о чем говорили у Никиты — неизвестно. Подслушка опять не сработала. Мешик подозревает, что это строковские штучки. Просит, чтобы вы сами позвонили Никите.

**Берия** *(решительно берет трубку).* Мешик, ты по каждому поводу будешь в штаны мочить? Скоро своей тени начнешь бояться. Ты что, сам не можешь справиться с этим говенным милиционером? Ты подписывал приказ о назначении Строкова начальником Львовского УВД — ты и разберись. Почему я должен звонить Никите? Чтобы хитрый хохол понял, что ты не чисто работаешь? А ты что, не знаешь, как это делается? Опять — дурак! Это всегда успеется. Придумай этому веселому милиционеру невыполненное задание — пусть занимается униатской церковью, не поспит ночами, помотается по всей Украине, а потом спросишь с него униатского бога и спустишь семь шкур. И еще девку ему подложите, такую, чтобы съела его, как жука богомола. Это во-первых. Во-вторых, всю дополнительную подслушку у Никиты сменить, поставить трофейную из моего личного НЗ. Сегодня же вышлю с Мильштейном. Все. Что? Бог простит. *(Вешает трубку.)* Хороший парень Мешик, но слишком нерешительный, характер женский.

**Кобулов.** А я вам говорил, Лаврентий Павлович.

**Берия.** Что-то ты вообще много говорить стал, Богдан Захарович.

**Кобулов.** Молчу, товарищ маршал.

**Берия.** А вот сейчас как раз надо говорить, товарищ Кобулов.

**Кобулов.** О чем?

**Берия.** Не знаешь? Тогда зачем пришел?

Кобулов постепенно открывает папку.

Со своими бумажками подожди. Владимир Ильич сказал: «Нет страшнее врага для революции чем…» что?

**Кобулов.** Международный империализм.

**Берия.** Нет, птенчик мой, бюрократия. Учиться тебе, учиться и учиться.

**Кобулов** *(радостно).* Это Ленин сказал!

**Берия.** К сожалению, не я. *(Вздыхает.)* Ну что там в твоих бумажках? *(Кобулов подкладывает исписанный лист.)* Слушай,

ведь этот Можжевельников инженер, а не писатель… шестое письмо!.. Читай, я его почерка уже видеть не могу.

**Кобулов** *(читает).* «В Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза…»

**Берия.** Главное читай.

**Кобулов** *(читает).* «Но я продолжаю верить, что наши органы безопасности, руководимые любимым сталинским соколом Лаврентием Павловичем Берией, исправят трагическое недоразумение…»

**Берия.** Все, все, можешь дальше не читать. Что он несет, какой я ему сокол? Хотя крылья за спиной я теперь как никогда чувствую.

**Кобулов.** Вы — Орел!

Берия молча на него смотрит.

Правильно. Орел — это был Сталин, а вы — Лев! **Берия.** Кобулов, птенчик, остановись. Крылья. Посадить бы тебя с этим инженером — вот бы наговорились! Я не птица, я человек! А Лев — это Израельсон. Но для тебя он — Лев Аркадьевич. Кстати, пусть он и занимается перепиской этого Можжевельникова.

Берет письмо и накладывает резолюцию.

Кобулов подкладывает бумаги, Берия просматривает, подписывает.

Вдруг поднимает листок, трясет им.

**Берия** *(тихо, с яростью).* Никогда, понял? Никогда не держи таких бумаг в делах!

**Кобулов.** А где их держать? В сейфе?

**Берия.** Здесь! *(Тычет пальцем в лоб Кобулова.)* Это теперь твой сейф… *(Берия продолжает.)* Заруби себе на носу: отныне я категорически запрещаю какие бы то ни было попытки ликвидировать Жукова в его среде! Это технически неосуществимо, а любая передача грозит нам провалом. Последний агент, внедренный Мешиком, погиб во время весенних маневров при странных обстоятельствах… Надо делать одну ставку, но крупную, ва-банк, и всех — сразу! Лев тоже так считает — у нас слишком мало времени.

**Кобулов.** Понял, понял, Лаврентий Павлович, виноват…

**Берия.** Копии делал?

**Кобулов.** Делал, но только для Мешика и его людей.

**Берия.** Найти, изъять, уничтожить!

**Кобулов.** Людей?

**Берия.** Бумаги. *(Рвет документ.)* Даю трое суток. Мне доложишь.

Звонит телефон. Кобулов смотрит на Берию и после кивка берет трубку.

**Кобулов.** Кобулов слушает. Уже готов? Фингал не забыли поставить? Что, и Гагулия получил? *(Хохочет.)* Стареет наш мальчик. Передай, что бюллетень я ему брать не разрешаю. Ну, не надо преувеличивать… Артиста домой отправили? Нет, не нужен, пусть отдыхает. А сколько наш подопечный успел выпить? *(Крутит головой.)* Крепкий парень. Везите его сюда. Как, уже? Лаврентий Павлович, они от Гагулии говорят, а подопечный — уже в приемной. Разрешите приступать?

**Берия.** Острые приемы можешь применять, но не сразу, и ни в коем случае — не унижать!

**Кобулов** *(обиженно)*. Что я, Момулов?..

**Берия** выходит. Кобулов садится за стол, нажимает кнопку селектора.

Введите.

Входит полковник **Нестеров.** Китель его сильно помят, под глазом заметный синяк. Мокрые волосы растрепаны. Увидев сидящего за столом генерал-полковника, вытягивается по стойке смирно. Оба молчат.

**Нестеров.** Товарищ генерал-полковник, разрешите обратиться.

Кобулов не отвечает.

Виноват, товарищ генерал-полковник. Я оказал сопротивление, так как ваши сотрудники были в штатском — и документов не предъявляли. Я их принял за хулиганов.

**Кобулов.** На кого похожи? Позорите мундир, звание полковника!

**Нестеров.** Товарищ генерал-полковник, прошу запросить обо мне командование Одесского военного округа… Они вам подтвердят, что такое со мной случилось в первый раз в жизни.

**Кобулов.** И в последний.

**Нестеров.** И в последний, конечно. Слово офицера, товарищ генерал-полковник!

**Кобулов.** Какого офицера: советского, немецкого?

**Нестеров.** Виноват, не понял…

**Кобулов.** А разве ты у них не успел до офицера дослужиться?

**Нестеров.** У кого… «у них»?

**Кобулов.** У немецко-фашистской сволочи!

**Нестеров.** Товарищ генерал-полковник…

**Кобулов.** Я тебе, гитлеровская мразь, не товарищ. Фамилия?

**Нестеров.** Нестеров.

**Кобулов.** Имя, отчество?

**Нестеров.** Егор Иванович.

**Кобулов.** Кличка?

Нестеров молчит.

Молчишь, гад! Где находился с десятого по восемнадцатое октября тысяча девятьсот сорок первого года?

**Нестеров.** В действующей армии.

**Кобулов.** В чьей?

**Нестеров.** В нашей.

**Кобулов.** В вашей? Я так и думал.

**Нестеров.** Товарищ…

**Кобулов** *(орет)*. Молчать! *(Глядя в бумаги.)* Десятого октября тысяча девятьсот сорок первого года под Вязьмой сорок пятая кавдивизия была почти полностью уничтожена в результате атаки специального мотокорпуса армии Гудериана, а оставшиеся части укрылись в лесах и попали в немецкое окружение. Вот с этого момента и началась твоя вторая жизнь, как тебя там…

**Нестеров.** Что значит «вторая жизнь»?

**Кобулов.** Жизнь предателя Родины. Будешь отрицать, что был в окружении?

**Нестеров.** Нет, не буду.

**Кобулов.** Как это не будешь? Ты не верти.

**Нестеров.** Я не верчу.

**Кобулов.** А почему в анкете ты этот факт утаил?

**Нестеров.** Това… Послушайте… Это была неделя непрерывных боев. Люди засыпали на марше… Мы уничтожали гитлеровцев, где только могли, жили одним — скорее соединиться со своими. Мы потеряли счет времени, не понимали, где день, где ночь… Сколько замечательных ребят погибло в этом аду, командиров, комиссаров… И свою роту, я тогда ротным был, вывел почти без потерь, мне это до сих пор чудом кажется. Мы только потом ведь узнали, что были в плотном кольце окружения, нам казалось, что немец только вклинился, рассек армию… А когда после Сталинграда я был прикомандирован к штабу Жукова и заполнял анкету, Георгий Константинович разрешил всем вяземцам из сорок пятой дивизии не указывать, что были в окружении.

**Кобулов.** Есть подтверждающие документы?

**Нестеров.** Какие документы? Слово командующего! Сказал: потом это за вами потащится — не отмоетесь. Как в воду глядел!

**Кобулов.** Убедительно… знаешь, убедительно, но меня ты не убедил. В народе знаешь как говорят: двое спорят, третий рассудит.

Кобулов нажимает кнопку и говорит в селектор.

Введите свидетеля.

Входит, держа руки за спиной, **белобрысый человек** в тюремной одежде. Его сопровождает конвоир с автоматом.

Подойдите сюда.

Белобрысый подходит к столу.

**Кобулов** *(Нестерову).* Ты его знаешь?

**Нестеров** *(вглядывается).* Нет.

**Кобулов.** Сейчас познакомитесь. *(Белобрысому.)* Фамилия? Имя?

**Белобрысый.** Краузе Эрих Вальтер.

**Кобулов.** Национальность?

**Белобрысый.** Немец.

**Кобулов.** Где выучили русский язык?

**Белобрысый.** В разведшколе Мюнхена. И два года стажировался в Ленинградском университете.

**Кобулов.** Где находились в октябре тысяча девятьсот сорок первого года?

**Краузе.** В действующей армии.

**Кобулов.** В чьей?

**Краузе.** Вермахта.

**Кобулов.** А поточнее?

**Краузе.** Специальная группа СС при штабе командующего армии «Мертвая голова».

**Кобулов.** Чем занимались?

**Краузе.** Вербовка агентурной сети среди советских военнопленных.

**Кобулов.** Вам знаком этот человек?

**Краузе** *(внимательно вглядевшись).* Кажется, знаком.

**Кобулов.** Кажется или знаком?

**Краузе.** Знаком.

**Кобулов.** Можете назвать фамилию?

**Краузе.** Фамилию не помню. Кличку могу сказать: Фольциер. Впрочем, фамилия, кажется, Назаров… Нет, Нестеренко…

**Кобулов.** Может, Нестеров?

**Краузе.** Да, Нестеров.

**Кобулов** *(протягивает Краузе лист бумаги).* Ваша подпись?

**Краузе.** Моя.

**Кобулов.** Увести.

**Конвойный** уводит **Краузе.**

А теперь почитаем старые показания штандартенфюрера Краузе. «Я, бывший штандартенфюрер Краузе Эрих Вальтер, завербованный в тысяча девятьсот сорок шестом году на территории Германии разведкой США, имел задание восстановить связи с ранее завербованными мною и ныне находящимися в СССР бывшими советскими военнопленными… Жуком, Бородатым, Дукером…» — вот тут и твоя кличка: «Фольциер» — «…восстановить связи с завербованными бывшими военнопленными… с целью сбора разведывательных данных,

касающихся Красной армии…»

**Нестеров** *(тихо).* Ах ты гнида тыловая… Немецкого шпиона нашел? Плевать я хотел, что ты генерал-полковник! Ты немцев-то только под конвоем видел. Я до Праги дошел, я дважды тяжело ранен и возвращался в строй… Я войну полковником закончил, меня сам Георгий Константинович…

**Кобулов.** Молчать! *(Расстегивает кобуру и достает пистолет.)* Встать!

**Нестеров** *(продолжая сидеть).* Не балуйся с оружием, выстрелит…

**Кобулов.** Встать!

Нестеров вскакивает, хватает Кобулова одной рукой за волосы, а второй рукой перехватывает пистолет. В то же мгновение рядом с дерущимися возникает **Момулов** и легко скручивает Нестерова.

**Нестеров** *(делая попытки вырваться).* А, гады, думаете, Сталин умер, так на вас управы нет? Подождите, маршал Жуков узнает, он спросит с вас!.. **Берия** *(входя).* Зачем беспокоить Георгия Константиновича? Вам нужен маршал? Маршал здесь.

Немая сцена.

Момулов, зачем человеку больно делаешь? *(Момулов отступает в сторону.)* Это же — настоящий герой! Мир от фашистской чумы спас, дважды тяжело ранен, дважды! А ты, Момулов, ему опять больно сделал. И ты, Богдан Захарович, я вижу, немного погорячился. Проверка проверкой, но чекист обязан иметь чувство меры. Мы не имеем права ошибаться. Даже одна наша ошибка может слишком дорого стоить народу. Извините нас, Егор Иванович, но мы должны были окончательно убедиться в вашей абсолютной искренности. Вообще, я привык верить людям и своим подчиненным прививаю эту веру. Лично я был и раньше убежден в вашей невиновности. Такие люди, как вы, даже в плену, даже под фашистской пыткой — Родину не предают. Но, как говорил еще Дзержинский: долг службы!

Все стоят. Берия подходит к столу, выдвигает и достает газету.

Подойдите, пожалуйста, товарищ Нестеров.

Нестеров подходит. Берия показывает ему что-то в газете.

Сколько лет вам на этой фотографии?

**Нестеров** *(осипшим голосом).* Десять.

**Берия.** Вы мало переменились, как ни странно. Такое же честное, открытое лицо. «Пионеры Страны Советов шлют пламенный салют герою-пионеру Егору Нестерову, повторившему подвиг Павлика Морозова». Сколько лет было тогда вашему отцу?

**Нестеров.** Тридцать три. *(Мрачнеет.)*

**Берия.** Столько же, сколько и вам сейчас. Я знаю, что вы от него не отказались. И правильно сделали. Сын за отца не ответчик, и ваша жизнь — лучшее тому подтверждение. А если вы по скромности в этом до сих пор сомневались, у меня есть золотой аргумент, который подтвердит мою правоту.

Берия достает из стола красную коробку. Оглядывает всех.

Как член Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик я уполномочен за исключительный героизм, проявленный при исполнении воинского долга в особо тяжелых условиях окружения превосходящими силами противника, присвоить полковнику Нестерову Егору Ивановичу высшую награду Родины — звание Героя Советского Союза.

Берия вынимает из коробочки Золотую Звезду, подходит к Нестерову и прикрепляет награду ему на грудь.

Награда нашла героя! Долго она вас догоняла, от самой Вязьмы, с той осени сорок первого.

Кобулов и Момулов аплодируют. Берия, отступив на шаг, любуется звездой и тоже хлопает в ладоши.

**Нестеров.** Служу Советскому Союзу.

Ноги его подкашиваются, он теряет равновесие, делает неловкий шаг в сторону, Кобулов его подхватывает.

**Берия.** Ничего, ничего, он сам справится. От радости еще никто не умирал. Момулов!

М омулов исчезает и моментально возвращается с бутылкой коньяка и тремя фужерами на серебряном подносе. Берия сам разливает коньяк. Нестеров уже оправился.

**Нестеров.** Извините, товарищ маршал, разволновался. **Берия.** Все понимаю. Разве герои не люди? *(Поднимает бокал.)* За справедливость! За высшую справедливость. *(Все пригубили.)* Ну, с кем приятней пить: с нами или с артистом в ЦДРИ?

Нестеров смеется.

А на Момулова, Егор Иванович, вы не сердитесь. Он, может, был с вами немножко жесток, зато к врагам он беспощаден. Когда весь его народ, к счастью очень небольшой, оказался предателем, он был один из немногих, кто нашел в себе силы перерезать пуповину узконационалистических интересов.

**Кобулов.** Товарищ маршал, разрешите обратиться к Герою Советского Союза?

**Берия.** Обращайтесь.

**Кобулов** *(быстро разлив коньяк по фужерам)*. Егор Иванович, мы с вами уже столько раз называли друг друга на «ты» как враги — выпьем на «ты» как друзья!

Кобулов и Нестеров пьют на брудершафт.

*Конец первой картины.*

## Интермедия первая

Свет гаснет. В темноте далекий раскат грома. Нарастающий шум дождя. На просцениум, накрытые одним плащом, выбегают две девушки. Одна из них — **Анита** — бережно прячет под плащом гитару. В руках у другой снятые с ног туфли.

Это **Зоя.**

**Зоя.** Ой, Анита, кошмар, у меня ресницы потекли.

Девушки забиваются в будку телефона-автомата.

**Анита.** У тебя есть сухой платок? Дай.

Зоя достает из сумки платок, Анита вытирает ей щеки.

**Зоя.** Тебе хорошо, вот ты такая яркая, а я, если не покрашусь, похожа на привидение.

**Анита.** Что ты на себя наговариваешь? Привидения мрачные, грустные, а ты у нас веселая и соблазнительная.

**Зоя.** Ты говоришь прямо как мой Богдыханчик. Ой, он уже, наверное, с ума сходит. Мы на целый час опаздываем.

**Анита.** Гитара намокла. *(Платком вытирает гитару.)*

Вот скажи, зачем я с тобой потащилась?

**Зоя.** Ну и сидела бы дома, как дура. Что у тебя за характер?

**Анита.** Нормальный, испанский. Мы, испанки, — домоседки.

**Зоя.** Да, домоседки? А чего вас тогда всегда на балконах рисуют?

**Анита.** Балкон — это тоже дом. Ведь у нас всегда тепло, не то что у вас.

## Картина вторая

Комната в новой квартире Нестерова. Слева дверь на кухню, справа выход в прихожую, видна дверь с лестничной площадки. Большое окно, застекленная дверь на балкон. Окно и дверь открыты. **Нестеров** стоит на балконе, разглядывая улицу. Доносятся шумы улицы, автомобильные гудки.

**Нестеров** *(облокотившись на подоконник, говорит в комнату).* Значит, это вы мне вызов в Москву организовали?

**Голос Кобулова** *(из кухни).* Мы, конечно, служба ЛПБ.

**Нестеров.** ЛПБ — это что же такое? Политическая безопасность, а буква «эл» впереди?

**Кобулов.** Тут — все буквы впереди *(Кобулов выходит из кухни, на нем хозяйственный фартук, рукава засучены),* и «Л», и «П», и «Б» — Лаврентий Павлович Берия, — вот ты на какой

теперь службе. Когда-нибудь я тебе расскажу, почему этот ЛПБ мне дороже родного отца. Где же девочки?

**Нестеров.** Это тебе лучше знать, твои знакомые.

**Кобулов.** Эх, лук забыл положить! *(Уходит.)*

Нестеров остается. Грохочет гром, шум дождя.

**Нестеров.** Никак не могу привыкнуть к этому генеральскому блиндажу. Из одесского полуподвала — в самый центр столицы!

**Голос Кобулова.** ЛПБ! *(Страшный грохот посуды.)*

**Кобулов** *(выходит)*. Смотри, какую супницу разбил, идиот.

**Нестеров.** А посуда казенная?

**Кобулов.** Что ты заладил: казенная, казенная… Здесь все твое! А за супницу не беспокойся, я тебе такую подарю — настоящий Майсон, трофейный, из личной посуды Геринга.

**Нестеров.** Да ну, не надо Геринга…

**Кобулов.** Почему не надо? Он, конечно, людоед был, но в посуде понимал. Не отказывайся, Гоша, у меня их штук тридцать… А-а-а! Мясо горит! *(Убегает.)*

**Нестеров.** Никогда не думал, что архивная работа такая тяжелая. Первые ночи никак заснуть не мог. Глаза закрою — строчки бегут, бегут… Знаешь, Богдан Захарович, я не уверен, что смогу принести пользу в этом деле. За неделю работы всего несколько знакомых по фронту фамилий — и никаких противоречий в документации… Может, я чего-то недопонимаю, ведь я боевой офицер, непривычное это для меня занятие…

**Кобулов.** А старушка тебе хорошо помогает?

**Нестеров.** Вера Викентьевна? Очень хорошо помогает. И чай заваривает замечательный. Я после него прямо оживаю.

**Кобулов.** Ты с ней не церемонься. Она в архивах сто лет работает, она даже и не человек уже, а архивная мышка. Безотказный винтик, как говорил товарищ Сталин. Ты Сталина любишь? *(Грохот посуды.)* Я тоже обожаю.

**Нестеров.** А этот немец тоже ваш безотказный винтик?

**Кобулов** *(входит с дымящимся блюдом)*. Зачем все время напоминаешь? Обиду держишь? Вот это не надо. Я тебя за волосы, между прочим, не хватал. *(Ставит блюдо на стол.)* Где девочки? Ты не забыл, что, когда девочки придут, я тебе не генерал-полковник, твой начальник, а инженер-нефтяник, Богдан Кобулов, твой бывший однополчанин.

**Нестеров.** ЛПБ.

**Кобулов.** О! С тобой можно работать.

Звонок в дверь.

*(Нестерову.)* Девочки! Иди открывай.

**Нестеров.** Почему я?

**Кобулов.** Я фартук должен снять? Ну что я, твоя

домработница?

Звонок. **Кобулов** скрывается на кухню, **Нестеров** идет, открывает дверь. На пороге стоят мокрые Зоя и Анита с гитарой.

**Зоя.** Мы, наверное, ошиблись квартирой, извините.

**Голос Кобулова.** Зоечка, козочка моя, ты никогда не ошибаешься! *(Выходя из кухни.)* В День Победы не можешь не опоздать!

**Зоя.** А ты не назначай мне свидания каждый раз в новом месте.

**Кобулов.** Что делать, бездомная жизнь командировочного инженера. Какие вы красивые, когда мокрые! Сейчас мы с моим другом вас высушим и согреем. Знакомьтесь: Гоша, Зоя.

**Анита.** Анита.

**Зоя.** Богдыханчик, закрой окно, мы простудимся.

**Кобулов.** Я этого не допущу. Снимай скорей платье, все снимай…

**Зоя.** Ты с ума сошел…

**Кобулов.** Я давно с ума сошел, как только тебя встретил. Что ты боишься, тебя что, изнасилуют здесь?

**Анита.** А нам во что переодеться?

**Кобулов** *(Нестерову)*. Вот это разумный товарищ. Конечно, найдем. *(Стягивает с себя свитер, дает Зое.)* Давай все, что есть, халат-шмалат…

**Нестеров.** Посмотрите там, в шкафу в комнате. Может, что-нибудь подойдет.

Девушки уходят, гитара Аниты остается на стуле.

**Кобулов.** Слушай, какая подруга у Зои! Первый раз вижу, тебе нравится?

**Нестеров** *(трогает струны гитары)*. Сон мой московский продолжается…

**Кобулов.** Что, у тебя тоже любовь с первого взгляда?

**Нестеров.** Не в этом дело…

**Кобулов.** Что случилось?

**Нестеров.** Пока все в порядке.

**Кобулов** *(пробуя из блюда)*. Остывают хинкали! Девочки, что так долго, вам помочь? *(Подходит к двери.)* Ку-ку! Вы что, спать легли? Почему без меня?

После некоторой паузы дверь открывается, и девушки выходят. На Зое наброшен мундир с наградами Нестерова, на ногах туфли на высоких каблуках. Анита в свитере Кобулова и замотана клетчатым пледом.

**Зоя.** Смирно!

Кобулов вытягивается в струну.

Я же вчера в «Огоньке» ваш портрет видела, а в жизни не

узнала.

**Кобулов.** Правда, в жизни он еще лучше?

**Анита.** Лучше не бывает.

**Кобулов.** О, Зоя, по-моему, мы скоро здесь будем лишние! А пока прошу всех к столу.

Все рассаживаются за столом.

**Зоя.** Ну, какой аромат! Мы с Аниткой голодные, как волчицы.

**Нестеров.** Сейчас покормим вас.

**Кобулов** …напоим, рассмешим и спать уложим!

**Зоя.** У тебя, Богдыханчик, какой-то спальный репертуар…

**Кобулов.** Это потому, что мы с Гошей как во сне живем. Правда, Гоша?

**Нестеров** *(глядя на Аниту).* Что? Правда…

**Зоя.** Анита, я забыла рассказать: у нас одну девочку с параллельного потока вызвали в деканат, а там вместе с деканом сидел майор МВД и с ним какой-то дядька в штатском, и этот майор спрашивает: «Вы не хотите помочь МВД?..»

**Кобулов.** Зоечка, козочка моя! Зачем такие ужасы рассказываешь? *(Встает с бокалам.)* Дорогие женщины, девушки, друзья мои! Старики говорят: победителей не судят. Так, прошу, не осуждайте нас в День нашей Победы. Пусть это и ваша Победа. Мы с Гошей победили врагов, а вы победили нас, так выпьем за общую победу во всех смыслах жизни — ура!

**Анита.** И за здоровье нашего дорогого хозяина!

**Кобулов.** До дна, до дна! Если бы вы знали Гошу так, как я его знаю, вы бы влюбились в него, как безумные. Он мне жизнь спас! Что ты на меня смотришь? Скромный — сиди молчи, я буду рассказывать. Было много случаев, я один только расскажу. Получаем задание — осуществить диверсию в тылу врага. Летим ночью. Видим, внизу костер, наши дают ориентир. Прыгаем. Я первый, парашют раскрылся, иду на приземление… Вдруг — страшный удар — теряю сознание. Потом — не знаю, сколько времени прошло, — открываю глаза: Гоша меня обнял и шепчет прямо в ухо: «Держись, Богдан, ты ведь джигит». Я спрашиваю: «Где мы?» И представляете, мы летим под одним парашютом, двое! Я говорю: «Что случилось?» А Гоша говорит спокойно: «Извини, Богдан, у меня парашют не раскрылся…» Хорошо, за дерево зацепились, а то бы все ноги переломали.

**Нестеров.** Да…

**Зоя.** Что-то я не поняла, Богдыханчик, кто же из вас кого спас?

**Кобулов.** Какая разница? Оба живы остались. Сегодня я его, завтра он меня спас. Еще был один случай…

**Нестеров.** Да ладно, хватит случаев. За вас, девушки.

*(Пьют.)*

**Зоя.** Ой, вкусно как! Богдыханчик, ты гений!

**Кобулов.** Гений умер. Великий гений. А я какой гений? Обыкновенный, уже не слишком молодой мужчина. Что такое?.. День Победы, а такие нахлынули грустные воспоминания… *(Берет гитару, неумело извлекает из нее звуки, поет.)* «Деньги советские толстыми пачками с полки смотрели на нас…» Жаль, не умею.

**Нестеров** *(Аните)*. Можно?

**Анита.** Можно.

Нестеров берет гитару, настраивает, не спуская глаз с Аниты, думает минуту, проигрывает вначале вступление «Офицерского вальса» и поет.

**Нестеров.**

…Хоть я с вами совсем не знаком
И далеко отсюда мой дом,
Но мне кажется — снова,
Возле дома родного…

Анита тоже смотрит на Нестерова, Зойка подпевает, Кобулов сидит неподвижно. Вдруг Анита поднимается, берет у Нестерова гитару и как бы в ответ поет Нестерову что-то по-испански, лирическое и явно про любовь. Когда Анита заканчивает, Нестеров, как эстафету, в свою очередь берет у нее гитару и, словно перечеркивая грусть, исполняет лихую цыганскую плясовую. В ответ на это Анита, схватив гитару, вскакивает на стул. Зойка очень оживляется.

**Зоя.** Аня, Лорку, Лорку! Мою любимую! Богдыханчик! Сейчас мы тебя оживим!

Анита на стуле отбивает чечетку, потом, подстукивая себе каблучком, начинает петь.

**Анита.**

…Тому, кто слывет мужчиной,
нескромничать не пристало.
И я повторять не стану
слова, что она шептала.
В песчинках и поцелуях
она ушла на рассвете.
Кинжалы трефовых лилий
вдогонку рубили ветер…

Кобулов неожиданно срывается с места и начинает яростно отплясывать вокруг стола лезгинку.

**Зоя.** А я русскую спляшу — и будет полный интернационал!

Пляшет. Нестеров протягивает руки, чтобы помочь Аните сойти со стула. В это время за окнами — оглушительный залп, и комната озаряется отблеском фейерверка.

**Анита.** Салют, ура!

Выбегает на балкон, **Нестеров** за ней, в комнате остаются Зойка и Кобулов. Кобулов пытается поцеловать Зою.

**Зоя** *(увиливая).* Богдыханчик, Богдыханчик, без рук! Ты мне еще даже не объяснялся.

**Кобулов.** Зоя, выходи за меня замуж!

**Зоя.** Это предложение, а не объяснение.

**Кобулов.** Обожаю, клянусь!

**Зоя.** Для влюбленного ты слишком решительный.

**Кобулов.** А у тебя много таких влюбленных, как я?

**Зоя.** Ну, много не много… А кое-какие жертвы имеются.

**Кобулов.** Жертвы? Какие жертвы?

**Зоя.** Ты не поверишь, скажешь, я хвастунья.

**Кобулов.** Поверю, уже верю, уже ревную.

**Зоя.** Ревновать пока нечего. Просто, понимаешь, иду я сегодня по улице Герцена, мимо университета, и вдруг замечаю, что за мной едет большая черная машина. Медленно едет, близко так от тротуара. Я решила проверить — за мной все-таки или не за мной. Остановилась, будто афишу рассматриваю, и она остановилась, пошла быстрее — и она быстрее. Представляешь?

**Кобулов.** Ну?

**Зоя.** Ой, Богдыханчик, ты правда ревнуешь, у тебя даже губы побелели. Да ничего особенного, честное слово. Я когда до Никитских дошла, из машины какой-то белобрысый мужик… Очень вежливый, назвал меня по имени-отчеству — откуда он знает — и дал записочку с номером телефона…

**Кобулов.** Покажи записку.

**Зоя** *(роется в сумочке).* Если я ее не выкинула… Вот! *(Дает Кобулову записку.)* Сказал, что моего звонка очень-очень будет ждать один большой человек. Может, врет, но машина правда была очень большая.

**Кобулов.** Когда он велел позвонить?

**Зоя.** Почему велел? Просил… в десять часов, сегодня. Богдыханчик, что с тобой?!. Да я не собираюсь никуда звонить, ведь ты мне, кажется, уже сделал предложение?

**Кобулов** *(посмотрев мельком на часы, идет к столу и наливает полный стакан вина).* Зоя, ты со мной была откровенна, и я с тобой должен быть откровенным.

**Зоя.** Я вся внимание.

**Кобулов.** Извини, Зоя, я тебя обманывал, как последний подлец. Я женат, давно… У меня трое детей в Баку.

**Зоя** *(подходя)*. Ты ее любишь?

**Кобулов.** Кого?

**Зоя.** Жену?

**Кобулов** *(очень грустно)*. Обожаю.

**Зоя.** Тогда вот она тебе просила передать.

Зоя влепляет Кобулову пощечину, сбрасывает мундир и, прихватив свои вещи, убегает. Хлопает дверь. С балкона входит **Анита.**

**Анита.** Куда это Зойка побежала? **Кобулов.** За паспортом. Хочет за меня замуж выходить.

**Анита** устремляется вслед за Зойкой.

**Кобулов.** Куда? **Анита.** Вернусь.

Кобулов снова смотрит на часы и выпивает стакан до дна.

**Нестеров** *(входит)*. А где Анита? **Кобулов.** Сиди, я сейчас догоню. *(Быстро уходит.)*

Нестеров один. Звонит телефон.

**Нестеров** *(взяв трубку)*. Слушаю… Зою Серафимовну?.. Вы ошиблись номером, здесь таких нет. *(Повесил трубку. Снова звонок)* Да. Я же вам говорю… Ах, Зою! Есть, есть… то есть была, а теперь ушла. Вот только что. А кто спрашивает? Алло, алло!

Пожав плечами, кладет трубку. Проходит по комнате, выглядывает на балкон, возвращается, берет свой мундир, повисший на спинке стула. Уходит в другую комнату. Звонок в дверь. Нестеров проходит к двери, открывает. В дверях — **Анита.**

**Анита.** Я гитару забыла…

Смотрят друг на друга, потом Анита делает шаг вперед и, положив руки Нестерову на плечи, целует его в губы.

*Конец второй картины.*

## Интермедия вторая

Навстречу друг другу идут Белобрысый в форме полковника МВД и **Вера Викентьевна,** аккуратная сухощавая старушка — архивная мышка.

**Белобрысый** *(передает две папки)*. Информация 3 и 3-А. *(Открывает и протягивает канцелярскую книгу.)*

Вера Викентьевна со знанием дела расписывается в двух местах.

Ну, как успехи?

**Вера Викентьевна.** Докладываю: объект входит в тему. Начал проявлять интерес, задает вопросы, пока робкие.

**Белобрысый.** Ничего, после этого *(стучит пальцем по папкам)* осмелеет. Да, не разговаривайте с ним через стеллаж — портится качество записи.

**Вера Викентьевна.** Хорошо, товарищ Балдис.

**Белобрысый.** Вы не устаете? Может, вас подменить?

**Вера Викентьевна.** Как сочтете нужным, товарищ Балдис.

**Балдис.** Это шутка. Вы у нас, Вера Викентьевна, человек незаменимый.

Расходятся.

## Картина третья

Угол комнаты в архиве. Стеллаж, стол, лампа. У стола Нестеров делает гимнастические упражнения. Входит **Вера Викентьевна**, кладет на стол обе папки.

**Нестеров.** Ой-ой-ой, укатают Егорку крутые горки.

**Вера Викентьевна** *(смеется)*. Ничего, Егор Иванович, вы мужчина крепкий, молодой. А в этих папках, может, и найдется что-нибудь любопытное. Чайку свеженького пора?

**Нестеров.** Спасибо, самое время.

Вера Викентьевна берет со стола чайник и уходит за стеллаж. Нестеров открывает папку, ворошит документы, задумывается.

Вера Викентьевна, наверное, я все-таки и в самом деле чего-то недопонимаю. Вот смотрите: оперативные сводки повышенной секретности…

**Вера Викентьевна.** Подождите, я вас отсюда плохо слышу. *(Выходит.)* Что вы сказали?

**Нестеров.** Сводка повышенной секретности. Приезд на фронт члена Государственного комитета обороны. Прослежены все мелочи: пункты и время передвижения, контакты, темы бесед, даже смены настроений… подробное описание, что на завтрак ел, что на обед… что и сколько выпил за ужином… Понимаю, член Государственного комитета обороны — фигура историческая, слава богу, враги его не отравили, жив-здоров до сих пор. Но читать, что он тогда ел и пил, по-моему, просто глупо.

**Вера Викентьевна.** Пейте чай.

**Нестеров.** Чего же вы туда кладете?

**Вера Викентьевна.** Тут и жасмин, и липовый цвет… *(Наливает Нестерову и себе.)* Сама в отпуске собираю и сушу.

**Нестеров.** Очень вкусно. *(Разворачивает сверток, раскладывает еду.)* Угощайтесь.

**Вера Викентьевна.** О, у вас сегодня почти полный обед. *(Пробует.)* Рискну утверждать, что это не вы готовили.

**Нестеров.** Почему — не я?

**Вера Викентьевна.** Потому что я никогда в жизни не видела мужчину, у которого хватило бы терпения тушить мясо. Если он, конечно, не повар. И в ресторанах так не готовят, это *(тщательно пробует)* не наша привычная кухня… очень острая… не восточный, скорее, французский рецепт.

**Нестеров** *(расплывается в довольной улыбке).* Испанский.

**Вера Викентьевна.** Ваша жена готовила?

**Нестеров.** Нет, моя жена погибла в сорок третьем.

**Вера Викентьевна.** Простите, я не знала.

**Нестеров.** Ничего, ничего. Но вообще, вы знаете, такие странные в жизни происходят вещи… Со мной последнее время творится что-то невероятное. Знаете, вы угадали: это действительно готовила женщина. Но не это невероятно. А то, что эта женщина как две капли воды похожа на мою жену, только — испанка.

**Вера Викентьевна.** Действительно, невероятно. *(Улыбаясь.)* А как зовут вашу испанку — уж не Кармен ли?

**Нестеров.** Не верите? Я сам себе не верю. А зовут ее не Кармен — Анита.

**Вера Викентьевна.** Из республиканских детей?

**Нестеров.** В университете учится, филолог. Анита Санчес. Правда звучит красиво?

**Вера Викентьевна.** Конечно, очень красиво. И девушка красивая?

**Нестеров.** Очень.

Пауза. Едят.

**Вера Викентьевна.** Список продуктов члена ГКО и военного совета фронта читать, конечно, очень скучно. Но давайте попробуем преодолеть эту скуку вместе. *(Убирает папки.)* Если в дело группой наблюдения включены одновременно реестр продуктового рациона члена Государственного комитета и список того, что было у него на столе, — я бы сразу же сравнила эти два документа. **Нестеров.** Давайте.

Оба склоняются над папкой, Вера Викентьевна водит рукой по списку.

Совпадает, совпадает… тоже совпадает… А это откуда?

**Вера Викентьевна.** Что вы имеете в виду?

**Нестеров.** Вот. Второй день за ужином — напиток «Виски» английского производства. А в реестре, кроме водки, ничего не указано. Проглядели?

**Вера Викентьевна.** Исключено. Может быть, трофейное?

**Нестеров.** Исключено. Наши части вышли на рубеж за пять дней до этого, и в соприкосновение с немцами не входили. Я и без документов прекрасно помню обстановку. И союзников в

частях не было, мы их до открытия второго фронта в глаза не видели.

**Вера Викентьевна.** Кто не видел, а кто, может, и видел.

**Нестеров.** Ага… Значит, из-за этой мелочи нужно заново теперь отрабатывать все контакты?

**Вера Викентьевна.** А вы — способный! Лаврентий Павлович вас правильно выбрал.

**Нестеров.** Ну, вы мои способности не преувеличивайте. Просто я один из немногих живых свидетелей этих событий. Начальник дивизионной разведки как-никак!

**Вера Викентьевна.** Тогда — счастливого улова.

**Нестеров.** Вы меня, как рыбака, напутствуете.

Вера Викентьевна достает с полки брошюру, открывает заложенную страничку.

**Вера Викентьевна** *(читает).* «…Я позволю себе сравнить работу агентурно-оперативной сети с сетью рыболова. Десять раз закинет он сеть — на одиннадцатый поймает щуку. И чем больше сеть и мельче клетка, тем больше улов. Этот принцип как принцип никем, нигде и ничем не опорочен».

**Нестеров.** Сталин?

**Вера Викентьевна.** ЛПБ.

**Нестеров.** Тоже здорово.

Вновь склоняется над папкой.

*Конец третьей картины.*

## Интермедия третья

**Момулов** в белой черкеске и черном бешмете со знанием дела начищает маршальский штиблет. Появляется **Кобулов.**

**Кобулов.** Здравствуй, трудовая пчелка!

Момулов будто не слышит приветствия.

*(Подходя.)* Слушай, Джафар, я тебе деньги должен был сегодня вернуть. Извини, не получается… Но мамой клянусь, через неделю получишь все до копейки вместе с процентами. Договорились?

Протягивает Момулову руку. Момулов жмет ее медленно, с такой силой, что Кобулов складывается пополам.

Отпусти, ты с ума сошел! Больно!

**Момулов** убирает второй штиблет и уходит.

*(Глядя вслед и поглаживая пальцы, тихо.)* Говночист!.. *(Уходит.)*

## Картина четвертая

Гостиная в доме Берии. Ковры и оружие на стенах, кальян, китайские фонарики и черная лаковая ширма с драконами. У зеркала в шелковом халате Берия. В руках у него пачка скрепленных листков. В глубине сцены — безмолвный Кобулов.

**Берия** *(глядя в зеркало, гневно, сначала вполголоса).* Как ты посмел… Как ты смог… Как тебе позволила твоя черная совесть… *(Поворачивается к Кобулову, громко.)* Как ты посмел предположить, неблагодарная свинья!.. Нет, что-то не то… *(Задумывается, шепчет про себя.)*

**Кобулов.** Может быть, так: как ты посмел обмануть мое доверие!

**Берия.** Доверие — это годится. *(Громко.)* Как ты посмел обмануть мое доверие, мерзавец, шпана, сопляк, — нет, слабо, слабо. Кобулов. Может быть: мудак? Нет, это не из моего лексикона. Собачий сын… Щенок… Щенок! Это классика. *(Кричит.)* Как ты посмел обмануть мое доверие, щенок!

**Кобулов.** Папа лучше, чем у Тарзана! *(Хохочет.)*

**Берия.** Папа, папа… Между прочим, по части папы. Что ты там за историю наплел своему новому закадычному дружку про нашу с тобой педагогическую поэму? Э? Момулов! *(Входит Момулов.)* Ты знаешь, как судьба свела нас с Богданом Захаровичем?

Момулов кивает.

Нет, ты не знаешь, Момулов, последнюю версию. Оказывается, маленький мальчик Богдаша Кобулов был беспризорником в Кутаиси и жил в паровозном котле.

**Кобулов.** Я не говорил, что в паровозном!

**Берия.** Не мешай. Когда этот чумазый цветок жизни сидел однажды в котле, совсем несчастный, мимо, на его счастье, проходил молодой добрый чекист Лаврентий Берия. Он увидел мальчика, заплакал…

**Кобулов.** Я не говорил, что заплакал!

**Берия.** Тебе пленку прокрутить? Или лучше я сам расскажу, как уголовник Богдан Кобулов был приговорен в Махачкале к высшей мере наказания и так рыдал и клялся родной любимой мамой, которую сам свел в могилу…

**Кобулов.** Папа, прости!.. Что я такого плохого сказал?

**Берия.** Про себя можешь плести все, что хочешь, — сам ответишь. А из меня не надо Деда Мороза делать, я не Никита Хрущев, меня сам Сталин уважал и, если хочешь знать, боялся!

**Кобулов** *(виновато).* Я знаю, папа.

**Момулов** уходит.

**Берия** *(Кобулову).* Огорчился, птенчик? И напрасно. Радоваться надо. *(Ворошит пачки листов.)* Я еще раз прочитал

докладную нашего героя и скажу тебе честно: сам не ожидал от него такой прыти. Он не просто идет нам навстречу, он опережает наши желания. Со временем это можно будет издать как квалифицированную военно-историческую экспертизу. *(Трижды плюет через плечо.)* Ты помнишь его разработку на основе бутылки виски?

**Кобулов.** Я это место три раза прочитал.

**Берия.** В нашем скромном полковнике умирает военный сыщик-любитель. Шерлок Холмс, Нат Пинкертон.

**Кобулов.** Поп Гапон.

**Берия.** Типун тебе на язык, Кобулов. При чем тут Гапон? Он был провокатор.

**Кобулов.** Прости, папа.

Входит **Момулов** с венгеркой на плечиках и со штиблетами.

**Берия.** Уже привезли? *(Кобулову.)* Ты что, за ним посылал реактивный истребитель? **Кобулов.** Нет, Гогулию.

Берия, переодетый, жестом удаляет Кобулова. Тот уходит. Берия, посмотревшись в зеркало, подходит к столу, кладет перед собой скрепленные листы, склоняется над ними и бросает через плечо Момулову:

**Берия.** Давай.

**Момулов** выходит. Берия неподвижно стоит, склонившись к столу, спиной ко входу. Нестеров входит и замирает у двери, не решаясь нарушить занятий маршала.

*(Бормочет, перелистывая страницы.)* Как он посмел обмануть мое доверие… Как совесть позволила… мерзавец неблагодарный, щенок…

**Нестеров.** Здравия желаю, товарищ маршал.

**Берия** *(медленно и тяжело обернувшись, тихо).* Добрый вечер, Егор Иванович… Извините, но я по-домашнему. Немножко нездоровится. Что делать — годы, сердце пошаливает. Вот вы, наверное, даже не знаете, с какой стороны у вас сердце… проходите, присаживайтесь.

Нестеров проходит и садится на край кресла.

Может, вы слышали, есть такая старая народная сказка: один юноша, тоже такой молодой, здоровый, как вы, захотел быть первым человеком у своего царя. Царь сказал ему: «Я тебе дам самую высокую награду, но ты за это принесешь мне сердце родной матери». Юноша пошел, убил мать, вырвал сердце и понес царю. Но по дороге споткнулся об камень и упал. И вдруг слышит, сердце спрашивает его голосом матери: «Ты не ушибся, сынок?» *(Последние слова Берия произносит сквозь слезы.)* Я почему-то вспомнил эту сказку вчера вечером, когда читал вашу докладную.

**Нестеров.** Я не совсем понимаю, товарищ маршал…

**Берия.** И я не понимаю, вот что самое страшное. Зачем вам это понадобилось?

**Нестеров.** Виноват, что именно?

**Берия.** Именно? Безжалостно заронить в мое сердце такие подозрения, от которых я не спал всю ночь, не могу нормально работать, нормально жить, дышать…

**Нестеров.** Товарищ маршал, выслушайте меня, пожалуйста. Для меня — это просто личная катастрофа. Ведь если то, что обнаружилось, — правда, то… Ведь я там был, я участник событий, я столько раз читал документы, зашифрованные личным кодом командующего, и ничего не видел, не замечал… Вообще очень странно, что никто до сих пор не обращал внимания на факты, которые лежали на поверхности. Я не прибавил от себя ни слова, только сопоставил документальные данные… Я только немножко копнул…

**Берия.** Кого вы копнули? Вы соображаете, на каких людей вы замахнулись, кого взяли под подозрение?

**Нестеров.** Товарищ маршал, это мой долг — доложить вам… Как бы вы поступили на моем месте?

**Берия.** Вы требуете, чтобы и я перед вами отчитывался?

**Нестеров.** Я — никак нет, этого я не требую. Но если после смерти товарища Сталина я случайно в архивах военного времени обнаруживаю нити давнего заговора против него, я обязан доложить об этом министру внутренних дел. Даже если сам я в душе не могу поверить в участие командующего в этом страшном деле.

**Берия.** Сердце болит, сердце…

**Нестеров.** Я позову кого-нибудь?

**Берия.** Не надо. Вы понимаете, что речь идет о моих старых товарищах по партии — да при чем здесь мои чувства? — речь идет о членах Президиума ЦК, о выдающемся военачальнике… Спасшем Родину, Европу, мир… спасшем вас, тогда юного лейтенанта, из трудной ситуации…

**Нестеров.** Я понимаю, на что пошел. Но от моей личной воли уже ничего не зависело. Факты сильнее меня.

**Берия.** Если вы действительно понимаете, к чему вы прикоснулись, вы должны отдать себе отчет в том, что вам грозит в случае ошибки. Еще вчера я назначил компетентную комиссию экспертов для детальной проверки ваших выводов. Если комиссия выводов не подтвердит — трибунал и расстрел. И даже я не смогу и не захочу вас спасти. Сейчас единственное, что я могу для вас сделать, — это заменить одиночную камеру домашним арестом. В знак уважения к вашим боевым заслугам. И еще потому, что я чисто по-человечески виноват, что засадил вас в архивы, может

быть, на вашу беду. Сдайте оружие.

Нестеров снимает пояс с пистолетом и отдает Берии. Молча стоит перед ним.

Вас проводят до машины, Егор Иванович. Там вас ждут и отведут домой. Ваше новое положение вам подробно объяснит Гагулия. **Нестеров.** Разрешите идти?

Берия машет рукой. **Нестеров** уходит. Берия берет скрепленные листы, тщательно рвет их на мелкие кусочки и бросает в корзинку для бумаг.

**Берия.** Момулов!

Входит **Момулов.**

Мне сегодня принесли сводку новых анекдотов. Есть смешные. Например: Берия обходит Лубянку. Охранник сидит и читает книжку. Берия ему говорит: «Ах, Момулов, Момулов, все аварские сказки читаешь, а академик Белобородов третий день голодный сидит». Ты думаешь, моя фамилия Белобородов?

**Момулов,** склонившись, выходит. Берия подходит к дивану и ставит любимую пластинку. **Момулов** и **Кобулов** вкатывают сервировочный столик. Берия, стоя, начинает закусывать.

Когда дорога жизни выводит тебя на перевал, где на каждом шагу подстерегают пропасти и обвалы, приятно сознавать, что за тобой идут друзья. Это не каждому дано. У тебя, например, Кобулов, каждый встречный — друг, пока ты его к стенке не поставишь.

**Кобулов.** Работа такая.

**Берия.** При чем тут работа? Мои друзья со мной всю жизнь работают, а с ними хоть сейчас можно луну с неба достать, Москву с землей сровнять и заново построить, реки вспять повернуть… Сева Меркулов, Володя Деканозов, Левушка Израельсон… Знаете, дети мои, я сегодня решил, мне не нужна эта неуклюжая беспокойная империя, шестая часть планеты, наследие проклятого прошлого, тюрьма народов. Я не царь, Берии хватит одной России… На Украине пусть хозяйничают Пашка Мешик и Мильштейн. Пусть кушают свои вишни. Прибалтику подарю Янису Балдису — он аккуратный мальчик. Кобулов!

**Кобулов.** А?

**Берия.** Возьмешь Грузию?

**Кобулов** *(после паузы).* А как же Гоглидзе?

**Берия.** Поделите по-братски. *(Смотрит на Кобулова.)*

Момулов, смотри, какое у него лицо глупое стало.

**Кобулов.** Что вы ко мне целый день цепляетесь, Лаврентий Павлович? То молодец Кобулов, то дурак Кобулов. Что вы со мной, как кошка с мышкой, играете? Что я вам — Зойка? Я вам не Зойка…

**Берия.** О, ревнуешь? Мне это очень приятно.

**Кобулов.** Правда, папа… Ну что, в Москве блондинок мало? Как мне только какая-нибудь девушка понравится, вы сразу подъезжаете. Обидно просто.

**Берия.** Потому что ты девушкам головы морочишь. Я, по крайней мере, жениться не обещаю.

**Кобулов.** Потому что вы женаты.

**Берия.** А ты не женат? Я твоей жене пожалуюсь.

**Кобулов.** А я вашей пожалуюсь.

**Берия.** Посмотри, как ты Момулова насмешил. Просто умрет сейчас от смеха. Эх, птенчик мой, ничему тебя жизнь не учит. И жить торопишься, и чувствовать спешишь. Кто это сказал?

**Кобулов.** К сожалению, не я.

**Берия.** Сердишься, когда не нужно. Ты знаешь, какой ты занудой станешь в моем возрасте? Посмотри на меня, я почти в два раза старше тебя. А девушки предпочитают меня. Почему? Ты видел, чтобы я когда-нибудь напивался пьяным? Врал, что я прыгал с парашютом в тыл врага? Да, я не умею готовить хинкали, зато я читаю книжки. А ты, работая у нас столько лет, имеешь возможность читать прекрасных поэтов — Мандельштама, Гумилева, Цветаеву, да мало ли? А ты даже Лермонтова не знаешь.

**Кобулов.** Знаю я вашего Лермонтова. Зачем он грузин обидел?

**Берия.** Что значит — обидел?

**Кобулов.** Зачем он написал: «Бежали робкие грузины»?

Пауза.

**Берия.** Вот видишь, Кобулов, незнание рождает незрелые выводы. Ты столько лет говоришь на великом русском языке и не улавливаешь интонаций. А чекисту это необходимо — интонация выражает смысл. Лермонтов действительно написал такую фразу. Но как? Ты думаешь: «Бежали робкие грузины»? Нет! «Бежали робкие грузины»! А смелые, конечно, не бежали. Это был великий поэт. Разве ты сможешь объяснить это девушке?

**Кобулов.** А малолетке, которую к вам Момулов заманил, вы про какого поэта объясняли? Про Чуковского?

**Берия** *(переглянувшись с Момуловым)*. Знаешь, как ты кончишь свою жизнь, Кобулов? Однажды все девушки и женщины, которых ты обманул, соберутся со всех концов страны и устроят грандиозный процесс над тобой. И блондинка Зоя выступит на этом процессе прокурором и спросит: «Как случилось, что ты, подсудимый Кобулов, не выполнил своих клятв и не женился на всех нас хотя бы по очереди?» Что ты скажешь тогда в свое оправдание, преступник Кобулов?

**Кобулов.** Я знаю, что скажу! *(Падает на колени, вдохновенно, со злостью.)* Уважаемые граждане судьи! Воспользовавшись моим доверием, Лаврентий Павлович Берия обвел меня, как щенка, вокруг пальца… Я хотел счастья для всех и вовремя не раскусил…

**Берия** *(кричит)*. Хватит! Пошел вон! Вон!

**Кобулов** *(испуганно)*. Папа, мы шутим, я пошутил… *(Пытается обнять колени Бериа. Тот отталкивает Кобулова ногой.)*

**Берия** *(хрипит)*. Вон отсюда!

**Кобулов** убегает.

*(Момулову.)* Ты слышал, ты слышал? Ведь если провал, он так и скажет… Именно так и скажет… Ему поверят, а мне нет! *(Хохочет в истерике.)* Это смешно! Я единственный человек в стране, нет, в мире, для кого смерть Сталина — это трагедия, страшная трагедия… Зачем он оставил мне жизнь? Почему я один должен за всех расплачиваться? Разве это справедливо? Я хочу жить… хочу… У меня нет выхода: они думают, что я за все отвечу, я, Лаврентий Берия! Вот — им! *(Делает похабный жест.)* *Я* их заставлю песок кушать! Я хочу жить… жить… Ты ведь не оставишь меня, Джафар?

Берия припадает головой к плечу Момулова и рыдает. Момулов гладит его по голове.

*Конец первого акта.*

## Акт второй

### Картина пятая

Рабочий кабинет Берии, тот же, что и в первой картине. Берия в элегантном штатском костюме, при галстуке, разговаривает по телефону.

**Берия.** Нет, Климент Ефремович, Хрущев и компания настаивает на пересмотре. Но вы же… Да, это другое дело. Это нормальный акт гуманности, люди поймут и будут признательны, да. Да, при Сталине это было бы невозможно. Но нужно отделять эмоции от существа вопроса. Мы, конечно, и дальше будем работать в этом направлении, но ведь меня не посадили, вас не посадили, Хрущева не посадили… Значит, было не за что. Согласен, при таком большом объеме работы неизбежны недоразумения, но здесь не надо торопиться, чтобы не наделать новых ошибок, вернее, не сделать больше ни одной ошибки… Ну вот видите, а я вам что говорю: в народе укрепилось мнение — мы зря не сажаем. Да, Абакумов горяч, не спорю, но преданный сотрудник… Я думаю, прежде всего — партии, а потом уж мне

лично. Мне докладывают, что по Москве пустили шутку, что Берия — новый советский миллионер — уже освободил миллион человек. Вот когда так шутят — сердце радуется. Есть готовить документацию на следующий этап амнистии! Нет, нет, Климент Ефремович, я только исполнитель — ворошиловской амнистии. Будьте здоровы, до встречи. *(Кладет трубку.)* Старый дурак! *(Нажимает кнопку селектора.)* Кобулова ко мне.

Через небольшую паузу входит **Кобулов.**

*(Кобулову.)* Ворошилова я успокоил. Нужно ускорить освобождение амнистированных уголовников и строжайший учет каждого на местах — пошевеливайтесь, бюрократы. Собирайте в кучу лагерную пыль. Когда начнется гражданская заварушка — мой миллион нас отблагодарит. Срочно готовьте новые списки.

Кобулов кивает.

Ты почему ничего не записываешь?

**Кобулов.** У меня все в сейфе. *(Тычет себя в лоб.)*

**Берия** *(хмыкнув).* Сейчас меня беспокоит отсутствие контроля над прессой.

**Кобулов.** Центральной?

**Берия.** За центральную прессу я всегда спокоен. Подозрительно оживлены иностранцы. Правда, Лева поговорил с Лазарем, тот берет это на себя, но я ему не слишком доверяю. Проследи. Что докладывает Мешик?

**Кобулов.** Ваше приказание выполнено. Агент от Жукова отозван.

**Берия.** А документ с моим шифром?

**Кобулов.** Документация, которая вас тревожила, уничтожена Мешиком лично. Да, и Строков командирован по области.

**Берия.** Какой еще Строков?

**Кобулов.** К Никите бегал.

**Берия.** А! *(Отмахивается.)* Обеспечена глухая блокировка связи Кремля с московским гарнизоном?

**Кобулов.** Все в состоянии боевой готовности.

**Берия.** В новом «сейфе» есть еще место?

**Кобулов.** Немножко есть.

**Берия.** Подготовь шифровку для всех наших друзей вне Москвы; сигналом о том, что операция прошла удачно, будет передача по радио моей любимой песни по заявке… ну, скажем… одного инженера-нефтяника из Баку.

**Кобулов.** Папа, ты все знаешь! Спасибо за доверие.

**Берия.** А теперь займемся нашим исполнителем.

**Кобулов.** Исполнитель здесь.

**Берия.** Зови.

**Кобулов** *(нажимает кнопку селектора).* Введите

арестованного.

Входит, держа руки за спиной, **Нестеров.** Останавливается, глядя на Берию и Кобулова, деловито просматривающих какие-то бумаги у стола.

**Нестеров.** З… з… Здравствуйте.

**Берия.** Здравствуйте, Егор Иванович. Проходите, садитесь. Товарищ Кобулов, верните гвардии полковнику его личное оружие.

**Нестеров.** Товарищ маршал…

**Берия.** С этой минуты вы можете обращаться ко мне по имени-отчеству: Лаврентий Павлович.

**Нестеров** *(взяв оружие из рук Кобулова).* Лаврентий Павлович…

**Берия.** У нас нет времени на сантименты…

**Нестеров.** Товарищи, я…

**Берия.** Товарищи все понимают, Егор Иванович. Подтвердилось не только то, что открыли вы, но и то, что давно-давно…

**Кобулов.** С тридцать девятого года!

**Берия.** И даже раньше подозревали мы, чекисты, но ваше открытие явилось последней соломинкой, которая переломила спину верблюда. Страшно сознавать, но мы не смогли вовремя раскрыть и предотвратить самое ужасное преступление в истории человечества.

**Нестеров.** Какое преступление?

**Берия.** Подлое убийство великого вождя.

**Нестеров.** Сталин был убит?

Берия кивает трагически.

Кем?

**Берия.** Это мы обязаны выяснить и доказать. Здесь мало одних подозрений. За последние годы заговор безмерно разросся. Нам стали известны конечные цели заговорщиков: представить строительство социализма в СССР как неудавшийся опыт, возложив вину за историческую неудачу на Сталина и ближайших его соратников, поставить партию над народом в целях ликвидации рабоче-крестьянского строя, восстановления капитализма и господства буржуазии. Разрушить традиционную дружбу народов нашей страны, вызвав распад нашего многонационального государства. Сложность контрреволюционной ситуации заключается в том, что в качестве заговорщиков выступают некоторые члены Президиума ЦК и Правительства в сговоре с отдельными военачальниками. Некоторых нам удалось выявить и взять под контроль, но мы уверены, что это не главные заговорщики. Перерожденцы,

составляющие ядро заговора, до сих пор скрыты под масками. У нас, призванных охранять безопасность народа, государства и Революции, нет иного выхода, как одновременный арест всей партийно-государственной и военной верхушки. Только изолировав людей друг от друга, мы сможем безошибочно отделить злаки от плевел, честных коммунистов от продажной сволочи, друзей от врагов. И это надо делать немедленно. Как говорил Ленин: промедление смерти подобно.

**Нестеров.** Лаврентий Павлович, товарищ маршал, приказывайте!

**Берия** *(останавливает его жестом)*. Мы не сомневаемся, что вы готовы выполнить любое наше приказание. Вы уже нам очень помогли, и миссия, которую мы вам определили, может считаться с успехом законченной.

**Нестеров.** Товарищ маршал, разрешите доказать, что я способен на большее.

**Берия.** Да, в жизни всегда есть место подвигу… А вы ведь и начали свою жизнь, повторив подвиг Павлика Морозова. *(Задумывается.)*

**Кобулов.** Разрешите обратиться, товарищ маршал.

**Берия.** Слушаю вас.

**Кобулов.** Я три месяца провел бок о бок с полковником Нестеровым и думаю, что лучшего кандидата нам не следует искать.

**Берия.** Я тоже об этом думаю. Скажите, Егор Иванович, вы сильно переволновались во время домашнего ареста? Мне очень важен ваш искренний ответ.

**Нестеров.** Честно говоря, да.

**Берия.** А что вас больше всего беспокоило: трибунал, страх расстрела?

**Нестеров.** Лаврентий Павлович, смерти я не боюсь. У меня были возможности в этом убедиться за четыре года войны.

**Берия.** Но все-таки, что же вас беспокоило?

**Нестеров.** После того, что я узнал сейчас, как-то стыдно и не ко времени признаваться…

**Берия.** В чем?

**Нестеров.** Это очень личное, Лаврентий Павлович.

Берия молчит.

Но от вас и Богдана у меня секретов быть не должно.

**Кобулов.** Неужели все-таки влюбился?

**Нестеров.** Влюбился. По уши. Вы не поверите, я с ума сходил, что, может быть, больше никогда ее не увижу. Ведь она ни пройти ко мне не могла, ни позвонить. Что она обо мне думает? Куда я пропал? Сбежал, обманул?.. Мучился, что не признался ей, не

сказал прямо, что люблю ее… да я сам этого не понимал, пока снова смерти в глаза не заглянул. Ведь я думал, что в жизни больше полюбить не смогу… Моя жена погибла в сорок третьем году, и так нелепо: умерла от родов… Вот судьба-индейка! На фронте столько раненых из-под огня вытащила — ни царапинки, а здесь… дочка осталась, Люська… с моей матерью живут в деревне.

**Кобулов.** Слушай, Гоша, а правда Аня на твою жену похожа — или так тебе сначала померещилось?

**Нестеров.** Померещилось и до сих пор мерещится. Она с Катей как две родные сестры… У меня вся жалость, вся боль за жену и любовь к Аните слились в одно… словно Катя ко мне вернулась, и такой прекрасной, какой я ее никогда не знал. *(Замолкает, закрыв лицо ладонями.)* Извините, товарищ маршал.

**Берия** *(после паузы)*. Вам можно доверить судьбу страны. Вы убедили меня, и, как ни странно, не своими геройскими подвигами, не тем, как защищали свое достоинство во время испытаний здесь, у нас, а тем, с какой силой вы способны любить! Да! Ибо только человек, способный сильно любить, может сильно ненавидеть. Так думал великий Сталин. Слушайте меня внимательно: двадцать седьмого июня, то есть послезавтра, в девятнадцать тридцать, в Большом театре состоится премьера новой оперы «Декабристы», на которой предполагается присутствие всех членов правительства и главных военачальников. Лучшего случая нельзя представить. Я не могу лично руководить арестом заговорщиков — враги нашей страны за рубежом моментально преподнесут это как дворцовый переворот. Арест должен осуществлять человек из народа, воспитанный народом, проливший кровь за народ, известный в народе, любимый народом. От имени народа и партии, именем революции это сделает Герой Советского Союза, гвардии полковник Егор Иванович Нестеров!

**Нестеров** *(встает)*. Служу Советскому Союзу!

**Берия.** В ваше единоличное распоряжение выделяется специально подготовленная группа автоматчиков. Вы отчитываетесь только передо мной.

**Нестеров.** Слушаюсь, товарищ маршал.

**Берия** *(Кобулову)*. Товарищ Кобулов, познакомьте спецгруппу с их командиром и лично проводите полковника домой. Внешнюю охрану не снимать. *(Нестерову.)* Но теперь они не стерегут вас, а охраняют. Конечно, не от вашей любимой. Для нее вход и выход всегда свободен. С деталями операции вас познакомит Богдан Захарович.

**Нестеров.** Разрешите идти?

**Берия.** Идите.

Кобулов и Нестеров идут к выходу. Берия смотрит им вслед и окликает.

Егор Иванович, когда победим, на свадьбу пригласите?

**Нестеров** *(очень взволнованно).* Лаврентий Павлович, у меня отца… вы знаете, нет. Вы мне теперь как отец.

**Берия.** Удачи тебе, сын мой.

**Берия** и **Нестеров** уходят.

*(Набрав номер телефона.)* Балдис, отмотай пленку на последнюю фразу Кобулова. Да, включусь сам.

Кладет трубку. Звонок другого телефона.

*(Долго слушает.)* Нет, я категорически против. Не разрешаю. Да, отменяю все ранее намеченные мероприятия. Правительство тоже имеет право на отдых. Хорошее самочувствие членов правительства — это тоже дело государственной безопасности. Да, можете действовать от моего имени. Извините, я занят. *(Вешает трубку. Нажимает кнопку селектора.)* Сотрудник из девятого отдела в приемной?

**Голос из селектора.** Так точно, товарищ маршал.

**Берия.** Жду.

Входит **Анита.** На ней форма лейтенанта МВД.

**Анита.** Товарищ маршал, лейтенант Санчес по вашему приказанию явилась.

**Берия** *(долго рассматривает стоящую по стойке смирно Аниту).* Вот вы какая, агент Кармен… Вольно, прошу! *(Предлагает сесть в кресло. Сам садится напротив.)* И скажите мне ваше настоящее имя, потому что мне предстоит разговор не только с хорошим агентом, но и с очень красивой женщиной.

**Анита.** Анита.

**Берия.** Анита… Богдан Захарович говорил мне, что ваша мечта хоть одним глазком взглянуть на родной дом. Вы где родились?

**Анита.** В Барселоне.

**Берия.** У вас там, если я не ошибаюсь, остались тетя и старшая сестра?

**Анита.** Так точно.

**Берия.** К сожалению, пока в Испании хозяйничают фашисты и осуществить вашу мечту невозможно.

**Анита.** Я понимаю, товарищ маршал.

**Берия.** Но мы все-таки попытаемся сделать невозможное — возможным. *(Значительно глядит на Аниту.)* К этому разговору мы еще вернемся после завершения порученной вам операции. Я прочитал ваши отчеты. С работой вы справляетесь хорошо. Но у меня возник один деликатный вопрос. Я задаю его вам не как

мужчина красивой женщине, а как чекист чекисту. Вы с ним спите?

**Анита.** В этом пока не было оперативной необходимости, товарищ маршал.

**Берия.** Странно, что у него не возникло такой необходимости. По нашим данным, он мужчина полноценный. *(Пауза.)* Вы хорошо помните его голос?

**Анита.** Конечно.

Берия встает, подходит к столу и включает запись. Голос Нестерова звучит на всю сцену: «Влюбился. По уши. Вы не поверите, я с ума сходил, что, может быть, больше никогда ее не увижу… Что она обо мне думает?.. Сбежал?.. Обманул? Мучился, что не признался ей, не сказал прямо, что люблю ее… да я сам этого не понимал, пока снова смерти в глаза не заглянул… Ведь я думал, что никогда больше полюбить не смогу…» Берия выключает запись. Анита сидит не шевелясь.

**Берия.** Вашему подопечному доверено дело исключительной государственной важности. Выполнение порученного ему задания равносильно подвигу и сопряжено со смертельным риском. Во всяком случае, вы его больше не увидите. Он очень храбрый человек, но нервы его напряжены до предела. Вы слушаете меня, Анита?

**Анита.** Я слушаю, товарищ маршал.

**Берия.** Сейчас он ждет вас. Вы пойдете к нему и сделаете все от вас зависящее, чтоб он успокоился, обрел уверенность в вашей взаимности, чтобы у него крылья за спиной раскрылись перед выполнением задания. Вы меня поняли?

**Анита** *(встает)*. Поняла, товарищ маршал.

Берия берет Аниту за локоть и не спеша ведет к выходу.

**Берия.** В вашем распоряжении сутки. Подопечный должен будет остаться один завтра вечером. Насколько мне подсказывает опыт, он сам предложит вам завтра вечером прервать свидание. Уходя, дайте ему хорошо понять, что расстаетесь ненадолго.

**Анита.** Есть, товарищ маршал.

**Берия.** Анита Санчес, если бы ваши родители, герои-республиканцы, могли бы вас сейчас видеть, они бы гордились своей дочерью… Вы еще не стали говорить по-испански с русским акцентом?

**Анита.** Но, киаро. Мучас грасиас пор тодо, камарада маршал.

**Берия.** Аста маньяна, камарада Кармен.

Анита, повернувшись по-военному, идет к выходу.

**Берия** *(вслед Аните)*. Ваша задушевная подружка, кажется, Зоя? Она не догадывается ни о чем?

**Анита.** Зоя вчера покончила с собой.

**Берия.** Как?! Причины известны?

**Анита** *(глядя ему прямо в глаза).* Нет. Никто ничего не знает.

**Берия** *(помолчав).* Идите.

**Анита** уходит.

Берия некоторое время задумавшись стоит посреди сцены, потом кричит:

Момулов!

Появляется **Момулов.**

Зойка покончила с собой! Накажи меня, Джафар!

Момулов выдвигает ящик стола и достает плетку. Берия срывает с себя пиджак, падает на колени, закрывает локтями лицо. Момулов сильно стегает его плетью раз, другой, третий — Берия стонет и кричит. Момулов кладет плеть на кресло.

*(Вставая с колен, надевает пиджак, деловито.)* Немедленно начать следствие, найти насильника и расстрелять.

**Момулов** кланяется и выходит.

*(Берет трубку, накручивает диск.)* Добрый вечер, Николай Александрович, может маршал Берия пожаловаться маршалу Булганину? Я очень огорчен. Мне столько стоило сил собрать всех наших на эту премьеру в Большой театр, чтобы наконец мы все вместе отдохнули, послушали хорошую музыку… Шапорин двадцать пять лет работал, и тема прекрасная — «декабристы»… Ну конечно, звоню сам каждому, подтверждаю приглашение — и вдруг мне говорят, что ваш заместитель Жуков загрипповал! Одесса, море, тепло — как это может быть? Да, вторую неделю. Нет, ничего пока не подозреваю, но надо его привезти в Москву. Да, дома стены, конечно, лечат, но кремлевские стены лечат еще лучше… Очень на тебя рассчитываю. Если два маршала не могут уговорить третьего, то какие это маршалы?..

*Конец пятой картины.*

## Интермедия четвертая

**Голос** *(объявляет).* Товарищ Ткаченко, Львов заказывали? Пройдите во вторую кабину.

**Человек с портфелем,** одетый в украинскую рубашку под пиджаком, в соломенной шляпе, надвинутой на глаза, — явно командировочный, — проходит в телефонную будку.

**Человек.** Сашко, это я, Строков. А что, у тебя много Строковых? Проснулся? Слушай и запоминай: в Управлении я сегодня не появлюсь, и завтра меня не жди. И дома не ищи! Нет, не заболел, не загулял и не умер. Но ты ври что хочешь, врать ты умеешь здорово? Как Штепсель и Тарапунька… Из Одессы. У тебя дома еще не прослушивается, трофейные из личного московского

НЗ еще на складе. А пока Мильштейн раскачается… Сейчас в Киеве вишня пошла, а он вареники с вишней обожает, пока не «зъист» — можем не опасаться. Так вот: если Москва хватится кобуловского документика, ты знаешь какого, доложишь, что уничтожили, что ты по моему приказанию сжег лично и копий не имеем. Если велят меня разыскать, ищи старательно до послезавтра. А послезавтра ты так или иначе обо мне услышишь. Нет, Сашко, друг сердечный, пока даже тебе не могу.

Из громкоговорителя доносится объявление: «Заканчивается посадка на рейс триста пять Одесса — Москва, пассажиров просят пройти на летное поле».

Все, действуй. Ладно, ладно, сам знаю, пока.

## Картина шестая

Комната в квартире Нестерова. Раннее утро. На постели, укрытая простыней, спит **Анита.** В прихожую входит **Нестеров.** В руках у него огромный букет цветов. Под мышкой у него журнал в яркой обложке. Тихонько прикрывает за собой дверь. Подходит на цыпочках к постели. Анита все еще спит. Нестеров кладет развернутый журнал в ноги на постель. Берет со стола кувшин, уходит на кухню. Через некоторое время из кухни слышен грохот посуды. Анита просыпается, садится на постели, смотрит в сторону кухни, смеется, обращает внимание на журнал, берет его в руки, рассматривает. Входит Нестеров с букетом цветов в кувшине.

**Нестеров.** Анита, проснулась? А я супницу разбил. Подарок Богдана.

**Анита.** Поздравляю. А откуда здесь взялся этот журнал?

**Нестеров.** А почему ты не спрашиваешь, откуда здесь эти цветы?

**Анита.** Откуда цветы — понятно. *(Целует Нестерова.)* А как попала в «Огонек» наша с тобой фотография?

**Нестеров.** Как? Сняли и напечатали.

**Анита.** Ну, допустим, когда на Ленинских горах гуляли, кто-то незаметно мог нас щелкнуть. Но почему такая смешная подпись? «Студентка Московского университета Анита Санчес помогает Герою Советского Союза Егору Нестерову изучать испанский язык»?

**Нестеров.** А ты разве мне не помогаешь? Мучас грасиас, аста маньяна, пор фабор, мучача, аморе…

**Анита.** Я и не подозревала, что у тебя уже такие познания в испанском. Тогда, значит, все правильно: пресса продолжает освещать личную жизнь известного героя…

**Нестеров.** Не мою жизнь, а уже — нашу. Можешь считать, что это наш с тобой свадебный подарок.

**Анита.** От кого?

**Нестеров.** От одного человека. Очень хорошего. Замечательного. Этот человек стал мне как родной.

**Анита.** Ближе меня?

**Нестеров.** Ближе тебя у меня никакого человека нет. *(Целуются.)*

**Анита.** Что с твоим отцом сейчас?

**Нестеров** *(встает, ходит по комнате).* Я узнавал. Ответили, что он жив. Ему сейчас пятьдесят пять… нет, пятьдесят шесть. Если ничего не случится, в следующем году должны освободить…

**Анита.** Как же вы встретитесь? Ты думал когда-нибудь об этом?

**Нестеров.** Конечно, думал, еще бы не думать. В общем-то, я его не предавал, это как-то случайно вышло. Я его очень любил и повсюду за ним таскался. И в тот вечер мы с ним вместе были. А когда эти, из района, меня спросили, кто снял замок с амбара, я сказал — отец. Ведь я дал честное пионерское, что правду буду говорить.

**Анита.** Какой замок с амбара?

**Нестеров.** Куда наших мужиков загнали, пятерых.

**Анита.** Кулаков?

**Нестеров.** Отец говорил, никакие они не кулаки, орал на районного. А потом замок снял и всех выпустил. Он упрямый был.

**Анита.** Так он был прав, ты так считаешь?

**Нестеров** *(помолчав).* Не знаю. Никак я тогда не считал. Меня сразу в Артек отправили: герой-пионер, часами наградили. Я совсем от этого голову потерял…

**Анита.** А когда нашел?

**Нестеров.** Аня, страшно, конечно, так думать про отца, но у нас, сама должна знать, зря не сажают. Значит, была его вина, а не моя. Я сделал тогда, как мне мать велела, и не отрекся от отца, а кем он меня считает — увидим.

**Анита.** Я встаю, отвернись.

Нестеров взял гитару, перебирает струны. Анита, закутавшись в простыню, прошла за его спиной. Остановилась.

**Нестеров.** Аня, я давно хочу спросить: у тебя в Испании кто-нибудь остался?

**Анита** *(помолчав).* Нет, я одна.

**Нестеров.** Теперь ты не одна, теперь ты — Нестерова, жизнь наша только начинается. И у тебя сразу — большая семья: муж, свекровь, дочь Люська, и, представляешь, никто не скажет, что не

твоя: на Катю похожа, значит, и на тебя. А мама моя тебя сразу полюбит как родную: она в Кате души не чаяла… Я уж не говорю, что у тебя родни — вся деревня, все — Нестеровы. Хоть и многих война повыбила… Вот закончу сейчас одно важное дело — и рванем к нам на Урал. У тебя как раз сессия кончится… И с этого дня не будем расставаться, обещай мне!..

Анита вдруг начинает плакать, закрыв лицо краем простыни. Плачет, как ребенок, громко, навзрыд.

**Нестеров** *(вскочив, обнимает ее, успокаивает).* Аня, Анита, что ты? Что с тобой? Не плачь, не надо… Я тебя люблю. Все будет хорошо. Знаешь, как в сказке: они сразу полюбили друг друга, жили долго и счастливо и умерли в один день…

*Конец шестой картины.*

## Интермедия пятая

**Кобулов** и **Балдис.**

**Кобулов.** Слушай, Янис, что суетишься? Подходящую девочку найти не можешь?

**Балдис.** Девушку нашел. Старушка пропала.

**Кобулов.** Ты уже на старушек перешел? Какая старушка, если не секрет?

**Балдис.** Нужная. Из архива. Трое суток не выходит на работу, врача не вызывала, дома нет.

**Кобулов.** Пропащих старушек, знаешь, где надо искать? В морге, а еще лучше — на кладбище.

**Балдис.** Ты все шутишь, а это была очень ценная старушка.

**Кобулов.** Я тебе ценных старушек целый эшелон пригоню. Они тебе весь архив перекопают.

**Балдис.** Спасибо, Богдан, что надоумил. Надо пойти проверить секретную документацию в ее секторе.

Расходятся.

## Картина седьмая

Комната Аниты. На столе букет цветов, подаренный Нестеровым. У стола стоит **Анита.** На стуле, загородив выход, сидит **Вера Викентьевна.** Внешне она сильно отличается от «архивной мышки» в третьей картине первого акта: одета элегантно, на коленях большая дамская сумка. Поля летней шляпки бросают тень на лицо.

**Анита.** Это просто невероятно. Вы меня потрясли. Трудно поверить.

Пауза. Вера Викентьевна молча смотрит и ждет.

Но я вам верю, верю!.. У меня нет оснований не верить — вы же предъявляли такое убедительное удостоверение… Я, правда, не очень понимаю, почему вам понадобилось все это говорить мне… Именно мне… Я действительно близко знакома с Нестеровым, нас даже в «Огоньке» вместе напечатали, но Егор никогда не говорил мне, что он ваш сотрудник. Все это так странно… Извините, я пойду поставлю чайник… *(Движется к выходу.)*

**Вера Викентьевна.** Никуда вы не пойдете.

**Анита.** То есть как это — не пойду?.. Почему?

**Вера Викентьевна.** Потому что инструкции я знаю не хуже вас. Так вот: согласно инструкции «тридцать восемь дробь два» при попытке шантажа с невыясненными целями вы обязаны немедленно доложить своему старшему, по возможности обманув, обезвредив или изолировав шантажиста. А чаю я с удовольствием выпью, когда мы доведем дело до конца. Вот так, милая студентка, личный агент Кобулова, сексот по кличке Кармен!

**Анита.** Какие глупости вы говорите!..

Отворачивается от Веры Викентьевны и, быстро развернувшись, замахивается для удара. Но у сидящей на стуле Веры Викентьевны в руке оказывается пистолет.

**Вера Викентьевна.** В чем преуспели за эти годы, так это в обороне без оружия. Я этим новшествам не обучена, боюсь их, поэтому при следующей попытке вынуждена буду вас просто шлепнуть. А я не для этого сюда пришла.

**Анита.** А для чего?

**Вера Викентьевна.** Садитесь. Терпеть не могу, когда собеседник стоит. Знаете, в ЛПБ есть такая пытка для подследственных — стойка. А я не следователь.

Анита медленно опускается на стул.

Не будем тратить времени на рассказы о том, откуда я знаю, что ваша кличка Кармен, что вы лейтенант службы ЛПБ, что ваше задание — опекать полковника Нестерова. Я работаю в архивах той же самой службы и ежедневно имела контакт с Егором Ивановичем. Но в отличие от него, я работаю в архивах с тысяча девятьсот тридцать первого года и кое о чем знаю больше, чем даже сам Лаврентий Павлович Берия.

**Анита** *(иронически)*. Очень интересно! Значит, насколько я поняла, готовится заговор против советского правительства, и полковник Нестеров обманом назначен на роль палача?

**Вера Викентьевна.** Только не палача. Палачей у Берии достаточно. Исполнителя.

**Анита.** А какая разница?

**Вера Викентьевна.** Палачей обычно не убивают. Это уважаемая профессия. А исполнитель — это винтик одноразового использования.

**Анита.** Интересно, кто же будет его палачом?

**Вера Викентьевна.** Вы.

**Анита.** Значит, я приобрету уважаемую профессию?

**Вера Викентьевна.** Не успеете. Вам тоже определено быть винтиком. Вы будете только исполнять роль палача. Вам не доверят такого почетного дела. Но после того, как это случится…

**Анита.** Что случится?

**Вера Викентьевна.** Убийство героя-полковника из глупой ревности — очень много людей узнает, что убийца — студентка Московского университета, еще недавно обучавшая свою будущую жертву испанскому языку, темпераментная девушка Анита Хосе Санчес. О том, чтобы это стало известно и у нас, и за рубежом, — позаботится тот же «Огонек». И спецслужбы прессы.

**Анита.** А я буду в тюрьме?

**Вера Викентьевна.** А вы надеетесь, что уже будете в Испании, как вам обещали? Нет, всего за одну ночь до справедливого суда вы в тюрьме покончите с собой, как ваша подруга Зоя Щеглова.

Анита, потрясенная словами Веры Викентьевны, молчит. Вера Викентьевна убирает пистолет в сумку. Анита видит это.

**Анита.** Откуда вы все это знаете и почему я вам должна верить?

Вера Викентьевна встает и, волоча за собой стул, подходит к Аните и садится около нее.

**Вера Викентьевна.** Документальных доказательств моего прогноза я вам, к сожалению, предъявить не могу. Единственное мое доказательство — это моя тридцатипятилетняя, с тысяча девятьсот девятнадцатого года, работа в ЧК. Но если верность, любовь и ненависть для вас равносильны документу, я вам расскажу, зачем я здесь. *(Анита кивает.)* Я ровесница века. Это не очень оригинальная характеристика, но что же делать? В шестнадцатом году мне, соответственно, исполнилось шестнадцать. Но тогда взрослели раньше и влюблялись серьезнее. Я проводила лето в Грузии, в семье моей подруги, в богатом черноморском имении. Там жил старик-садовник, а в то лето к нему приехал племянник Ладо. Эта встреча решила всю мою судьбу. Ладо уже тогда считался старым подпольщиком. Старым!.. Ему было двадцать три года… В семнадцать лет я ушла из дома, исчезла для родных и друзей. Я переменила много имен и фамилий, но постоянной оставалась моя подпольная кличка —

Куница… В восемнадцатом году в Москве мы получили личное, строго секретное задание от Феликса Эдмундовича и переехали в Баку. К тому времени мы с Ладо поженились. Тогда в Азербайджане были у власти мусаватисты — была такая буржуазно-националистическая партия с очень агрессивной программой. Их политические расчеты опирались на вооруженную поддержку англичан. Коммунисты работали в подполье. Через Ладо и через меня шла связь с центром. Мы совершенно вошли в свои новые роли — богатых грузинских аристократов, решивших вложить средства в нефтяные предприятия. Ладо был очень красив, остроумен, умел располагать к себе людей. Женщины сходили по нему с ума, и хотя я понимала, что все это — лишь вынужденная игра, но тоже иногда чуть не сходила с ума от ревности.

О том, кто мы такие, на самом деле знал только один человек в Баку — наш связной. И вдруг — Ладо арестовывают. У нас дома, у меня на глазах… Меня не тронули. Я бросилась к нашему связному, сообщила ему о случившемся. Связной предложил план спасения Ладо. У него был приятель в английской контрразведке. Связной был уверен, что, если англичанину предложить взятку, — он сможет устроить Ладо побег. На мое имя в бакинском банке лежала крупная сумма партийных денег. Но это был единственный шанс. Мы поехали в банк, я беспрепятственно получила деньги и передала их связному. Он посоветовал мне вернуться домой и спокойно ждать. Я так и поступила, но в тот же вечер меня арестовали… В английской контрразведке я попала на допрос к знакомому офицеру, частому гостю в нашем доме, моему поклоннику. Он сказал, что Ладо уже расстрелян и что меня, вероятно, как это ни горько, ожидает та же участь, и он ничем не может мне помочь. Я не хотела ему верить: у них не могло быть против нас никаких серьезных улик. Я прямо спросила, что послужило поводом для нашего ареста. Англичанин также прямо ответил мне, что с нами давно работал агент по кличке Оборотень. Я нашла в себе силы засмеяться. Моя вера в то, что Ладо не расстрелян, что наш арест — провокация и все еще может кончиться благополучно, окрепла. Я сказала, что не верю ни в привидения, ни в оборотней. Тогда он открыл дверь и поманил кого-то из коридора. И тут вошел наш связной. Англичанин спросил, знаю ли я этого человека. «Нет», — ответила я. «Зато я тебя знаю, Куница», — сказал наш связной и ухмыльнулся…

**Анита.** Вас спас англичанин?

**Вера Викентьевна.** Нет, помог случай. Но об этом в другой раз, если доживем, — у нас очень мало времени. Короче, я

оказалась в Иране, без малейших средств к существованию, без связей. Вопреки логике я продолжала верить, что Ладо жив, — и только это придавало мне силы. Удалось перебраться в Турцию. Там уже были русские беженцы, эмигранты. Я растворилась в их среде, не гнушалась никакой работы… Четырнадцать месяцев надежды — и через потайные горные тропы я вернулась в Грузию, уже советскую. Под охраной сотрудника ОГПУ меня привезли в Москву. Я подробно рассказала Феликсу Эдмундовичу про историю с Оборотнем. Через месяц Дзержинский вызвал меня и сказал, что следы Оборотня удалось проследить до границы: он, видимо, бежал вместе с англичанами за пределы страны. Вскоре я получила новое задание Феликса Эдмундовича и отбыла на Дальний Восток. В тридцать первом году, когда я просматривала газеты, мне попался на глаза портрет нового Первого секретаря Закавказского крайкома партии Лаврентия Павловича Берии. Серая, неясная газетная печать, расплывчатые черты… У меня кольнуло сердце и перехватило дыхание… Но как ни гнала от себя чудовищное подозрение, оно все больше одолевало меня.

Я просматривала все газеты, журналы, какие только могла достать, — но он больше не появлялся на фотографиях, даже на коллективных. Тогда руководители снимались часто, а он?.. И мое подозрение начало становиться уже уверенностью: Техник — так была кличка связного — и Лаврентий Берия — одно лицо. Конечно, он пополнел, залысины стали больше, появилось пенсне. Но так ухмыляться, как на фотографии, мог только один человек на свете. Которого я знала под другой кличкой — Оборотень!

Не стану тратить время на рассказ о том, как навсегда исчезли из жизни и документов следы старой подпольщицы Куницы, как в Баку, в архивах ОГПУ, появилась скромная сотрудница — одинокая женщина, имя и отчество которой скоро забылось, потому что все обходились прозвищем Архивная мышка. И когда в тридцать восьмом году Берия, дорвавшись до поста Нарковнудела СССР, затребовал в Москву вожделенные архивы мусаватистской разведки, которые были связаны в подвалах ЧК, вместе с этими бумагами в Москву, как это часто бывает, перевезли Архивную мышку…

Вера Викентьевна достает из сумки пухлый пакет и кладет на стол перед Анитой. Анита вопросительно на нее смотрит.

Вот здесь — итог моих многолетних поисков, бессонных ночей, каторжного труда, вся моя любовь к Ладо, вся моя ненависть и моя месть. Это документы из архивов мусавата и английской контрразведки, неопровержимо доказывающие, что Оборотень — Берия — всю свою жизнь обманывал народ и партию. Берия думает, что эти документы ему удалось

уничтожить. Но не знает, что уничтожены только искусно подделанные копии.

**Анита.** Это сделали вы?

**Вера Викентьевна.** Да, я. А довести до конца дело всей моей жизни я доверяю вам. У меня нет другого выхода, меня ищут. А между тем мой час, которого я ждала тридцать пять лет, вот-вот пробьет.

**Анита.** Ищут? Как же вы решились прийти ко мне?

**Вера Викентьевна.** Девочка, лист прячут в лесу. Искать меня у вас не придет в голову даже Кобулову. А тем более не заподозрят Нестерова, которому вы сейчас отнесете и передадите этот пакет.

**Анита.** Нестерову? Зачем?

**Вера Викентьевна.** Раньше Нестерова никто из нас не может увидеть членов правительства. Вместо того чтобы совершить преступление, задуманное Берией, Нестеров передаст этот пакет.

**Анита.** А почему вы думаете, что Нестеров мне поверит?

**Вера Викентьевна.** Если вы поверите мне, то Нестеров не сможет не поверить вам — он любит вас. А что такое любовь — я знаю.

Анита нерешительно берет пакет. Думает несколько секунд.

**Анита.** И неужели за все эти годы Берия не распознал вас? Вы что, с ним никогда не встречались?

**Вера Викентьевна.** Во-первых, годы страданий так изменили меня, что вряд ли меня сейчас узнал бы даже мой Ладо. А потом… кто это разглядывает винтики, которые исправно несут свою службу где-то в глубине отлаженного механизма? У Оборотня, правда, есть страстишка — знакомиться с сотрудниками, предназначенными на убой. Но до меня очередь не доходила.

**Анита.** А до меня, значит, дошла.

Вера Викентьевна внимательно на нее смотрит и достает из сумки пистолет. Анита инстинктивно отстраняется.

**Вера Викентьевна.** Не бойтесь, я многое знаю, могу довольно верно предполагать, но никто из нас не узнает будущего. Это единственное, чем я могу обезопасить вас, Анита. *(Читает на рукояти пистолета.)* «Бесстрашной Кунице на счастье, Феликс Дзержинский».

Протягивает оружие Аните. Та не сразу, но берет пистолет.

*Конец седьмой картины.*

## Интермедия шестая

**Кобулов** *(в шинели).* Шифровка от Мешика! Строков исчез!

**Берия.** Чем ты занимаешься? Ты что, хочешь, чтобы мы все бросили и гонялись за этим милиционером?

**Кобулов.** Строкова видели в Москве.

**Берия.** Найти и застрелить, как собаку! Где спецгруппа автоматчиков?

**Кобулов.** Уже на объекте.

**Берия.** Исполнитель?

**Кобулов.** На месте, под охраной Гогулии.

**Берия.** Поезжай сам, будь с ним неотлучно. И в театр его доставить лично. Головой отвечаешь! *(Кобулов идет, Берия его окликает.)* Стой! И запомни, птенчик, «жить стало лучше, жить стало веселей» — первым сказал Берия, а Сталин только присвоил! Как и многое другое, за что его возвели в гении!

**Кобулов.** Кто этого не знает, папа? *(Уходит.)*

Оставшись один, Берия, глядя в зал, медленно надевает перчатки.

## Картина восьмая

Квартира Нестерова. В комнате — **Нестеров** и **Анита.**

Оба крайне взволнованы.

**Анита.** И об этом я ее спрашивала. Она объясняет, что именно потому, что помогала тебе разбирать документы, она и поняла, с какой целью Берия засадил тебя за эту работу!

**Нестеров.** Откуда ты знаешь, что в этом конверте? Ты его вскрывала?

**Анита.** Этот конверт не для меня и не для тебя, а для правительства твоей Родины!

**Нестеров.** Нет, нет… я не могу поверить.

**Анита.** Почему, когда тебе говорят, что предатель и заговорщик — всего один человек, ты не хочешь поверить, а когда этот человек говорит тебе, что предатели — все правительство, все ваши полководцы — ты веришь?! Гоша, милый, когда мой отец дрался за Республику, он это делал по собственной воле… ты, когда воевал, — ты же не был слепым исполнителем! Почему же теперь…

**Нестеров.** Но я же изучал документы!

**Анита.** Ты что — специалист по документам? Историк, архивариус? Гоша, очнись!

**Нестеров.** Хорошо, дай сюда конверт. *(Берет конверт, держит его в руках.)* Нет, я не верю! Не может он меня обманывать. Он меня наградил Золотой Звездой!

В квартиру, не замеченный спорщиками, тихо входит **Кобулов.** Он слышит последние слова Нестерова,

останавливается.

**Анита.** Винтик! Ты — винтик, позолоченный винтик! Гоша!.. Пусть я была подосланная, гадина, сука… но ведь ты любишь меня, любишь? Отвечай!

Нестеров молчит.

Отвечай!

**Нестеров.** Люблю.

**Анита.** И я… и я бы могла полюбить тебя, Гоша! Если бы только раз, только один-единственный раз я убедилась…

Кобулов стреляет Аните в спину. Она оборачивается на выстрел, Кобулов стреляет еще раз. Анита падает.

**Кобулов.** Смерть провокаторам! **Нестеров** *(кричит)*. Что ты сделал? Что ты сделал?

Бросается к Аните, падает возле нее на колени, приподнимает голову.

Анита… я верю тебе… я люблю тебя! Анита, ты слышишь?

Анита мертва. Кобулов с пистолетом стоит над ними.

Издали, с улицы, слышен приближающийся грохот танковых гусениц.

Кобулов выбегает на балкон. Грохот танков все нарастает.

**Кобулов** *(глядя вниз)*. Гогулия! Куда? Куда вы, сволочи! *(Вбегает в комнату, Нестерову)* Слушай, он башню разворачивает! Сейчас разнесет здесь все, к чертовой матери! Предатели!.. *(Выбегает из квартиры.)*

Нестеров продолжает стоять на коленях и держит голову Аниты в руках. Доносится несколько пистолетных выстрелов, затем — автоматная очередь. Полная тишина. **Кобулов** с пистолетом вбегает обратно в квартиру. За ним — появляются **Строков** в полевой форме офицера, танкист с автоматом.

**Строков** *(Кобулову, подняв пистолет)*. Руки вверх! Бросай оружие! Ну!

**Кобулов.** Меня… как щенка… Берия… вокруг пальца… воспользовавшись моим доверием… вовремя не раскусил… Я хотел счастья для всех!!

**Строков.** Вы арестованы. Встать! Увести!

Танкист, подталкивая дулом автомата, выводит Кобулова. Строков оборачивается к Нестерову.

Полковник Нестеров, сдать оружие. **Нестеров.** Я безоружен.

Строков подходит к Нестерову, быстро ощупывает его.

Кто эта девушка?

Нестеров молчит. Вбегает **связист,** волоча за собой полевой телефон.

**Связист.** Товарищ полковник, товарищ маршал на проводе. **Строков** *(берет трубку)*. Полковник Строков у аппарата. Есть,

докладываю. Кобулов арестован. Да, оказал сопротивление. Исполнитель на месте. Внешняя охрана разбежалась… Да, слушаюсь, товарищ маршал…

Слушает в трубку. Нестеров тем временем достает из кармана куртки Аниты пистолет, некоторое время смотрит на него. Поднимает глаза на Строкова. Строков и связист стоят к нему спиной.

**Строков** *(продолжает говорить).* Есть… есть… Есть, товарищ маршал. Все будет исполнено, Георгий Константинович…

Нестеров вкладывает дуло в рот. Выстрел. Строков и связист бросаются к нему. Нестеров мертв. Строков поднимается. В руках у него пакет, который так и не смог передать правительству полковник Нестеров.

*Конец восьмой картины*

## эпилог

Звучит уличный репродуктор. Диктор дежурно-бодрым тоном рассказывает об энтузиазме, который по всей стране проявляют труженики наших сел на уборке царицы полей — кукурузы. Через сцену медленно проходит **Вера Викентьевна.**

В руках у нее — авоська, в которой видны консервные банки, бутылка кефира. Начинает накрапывать дождь.

Вера Викентьевна, остановившись, открывает зонтик.

**Диктор.** По многочисленным просьбам тружеников полей передаем популярную лирическую песню «Руки» в исполнении Изабеллы Юрьевой.

Звучит вступление. **Вера Викентьевна** некоторое время, задумавшись, слушает песню. Уходит. Песня продолжает звучать.

*Конец пьесы*

# Елена — имя женское
# Комедия с трагическим финалом

У Геродота — отца истории — говорится, что великий поэт Гомер, создавая свою «Илиаду», знал, что царицы Елены Прекрасной не было в Трое, она пребывала у правителя Египта Протея. Но Гомер сознательно пренебрег историческими знаниями. Целью его поэмы было прославление воинского мужества греков и их победы над троянцами.

Это замечание Геродота подсказало сюжет пьесы, созвучной с нашим временем. Работа увлекла меня, я даже нарисовал эскизы костюмов главных действующих лиц.

Война и мир, любовь и ненависть, ложь и правда — вот что во все времена волновало человечество и являлось предметом искусства. А у искусства свои права на историю.

## Действующие лица

**Менелай Атрид,** *царь Спарты.*
**Елена,** *жена Менелая.*
**Агамемнон,** *брат Менелая, царь Микен.*
**Эфра,** *рабыня Елены.*
**Приам,** *царь Трои.*
**Парис,** *сын Приама.*
**Гектор,** *сын Приама.*
**Елена Рыжая.**
**Подруга Елены Рыжей.**
**Протей,** *повелитель Египта.*
**Фонис,** *«око повелителя».*
**Одиссей.**
**Ахилл.**
**Эней.**
**Кормчий.**
**1-й музыкант.**
**2-й музыкант.**
**3-й музыкант.**
**Мальчики,** *сыновья Протея.*
**Слуги, воины, горожане, женщины.**

## Акт первый

### Картина первая

Спарта. Берег моря. Грот в скалах над морем. Перед гротом ровная каменная терраса. На расстеленном ковре, среди узкогорлых амфор, чаш, блюд с остатками трапезы, спят, накрытые медвежьей шкурой, двое — мужчина и женщина. Из грота, кутаясь в легкий плащ, появляется рыжекудрая молодая женщина. Сонно потягивается, зевает, поправляет прическу и закалывает ее гребнем.

**Рыжая** *(зовет негромко).* Подруга!.. Эй, подруга!..

**Подруга.** Тише ты… *(Выбирается из под шкуры, тщательно оправляет складки туники.)* Знаешь, с кем из богов я бы с удовольствием провела ночь?

**Рыжая.** С Аидом, в царстве теней. Этим все кончают, даже порядочные.

**Подруга.** Типун тебе на язык! Я еще мало похожа на тень. Нет, с Гипносом — богом сна.

**Рыжая.** Он бы тебя озолотил, а проснулась — опять нищая.

**Подруга.** Гребень есть?

Рыжая вынимает гребень из прически. Протягивает подруге.

О! Поздравляю. *(Берет гребень, рассматривает.)* Хорошая вещь и дорогая. **Рыжая.** Дорога как память. Но царь мог сделать подарочек и подороже. Не очень-то щедр этот Атрид. А что твой?

**Подруга** *(вглядываясь в спящего мужчину).* Спит непробудным сном. Замучил меня совсем. Навалился, как медведь. Ужасно груб.

**Рыжая.** Зато красив как бог. О моем этого не скажешь. Что он тебе подарил?

**Подруга.** Ты не поверишь. Ничего! Он сказал, что у него ничего нет.

**Рыжая.** И ты… дура! Вот нахал, медведь, дубина. *(Подруге.)* Эй, погоди, да уж не влюбилась ли ты?

**Подруга.** Пойдем купаться. Море — как зеркало.

**Рыжая.** Нет, скажи, влюбилась?

**Подруга.** Да ну тебя. *(Убегает.)*

**Рыжая.** Влюбилась! Влюбилась! *(Бежит за ней.)*

Мужчина под шкурой приподнимается на локте и смотрит вслед подругам. Это Парис.

**Парис.** Красив как бог, говоришь? Значит, мы с тобой неплохая парочка — баран да ярочка. Проснись я сейчас дома, в Трое, у меня бы нашлось кое-что получше твоего гребешка!

Голос из грота зовет: «Парис! Парис!» Парис задумчиво смотрит вслед женщинам. Из грота выходит **Менелай.**

**Менелай.** Ты уже проснулся? Привет тебе, мой благородный гость. Да будут боги благосклонны к тебе.

**Парис.** А чего им на меня сердиться? Я им ничего плохого не

сделал.

**Менелай.** Не очень-то ты приветлив. Ворчишь, как медведь. А где же наши нимфы?

**Парис.** Девки пошли купаться.

**Менелай.** Как тебе спалось?

**Парис.** Отвык я на камнях. Сыро. Простыл.

**Менелай** *(самодовольно).* А эта Рыжая не давала мне остыть всю ночь. Ай да Рыжая! Я сделал вчера неплохой выбор.

**Парис.** Да, ты не промахнулся. Я бы дорого дал, чтоб иметь такую Рыжую козочку в своем стаде.

**Менелай.** Прости, Парис, гость мой, но иногда ты удивляешь мой слух. Ты представился мне как сын царя, а выражаешься, как какой-нибудь пастух. Удивительно…

**Парис.** Нечему тут удивляться. Меня вырастили наши пастухи, и я совсем недавно узнал своих благородных родителей.

**Менелай.** Ах вот оно что! Это должно быть забавно. Надеюсь, ты подаришь мне свою историю?

**Парис.** Если бы я мог тебе ее продать… *(Менелай пожимает плечами.)* Не обижайся, шучу.

**Менелай.** Надеюсь. Ну, я слушаю тебя, царственный пастух.

**Парис.** Подожди. Что за разговоры на пустой желудок. *(Поднимается и встряхивает амфоры.)* Хвала Дионису! В этой еще что-то осталось. Будешь?

**Менелай.** Я с утра не могу.

**Парис.** Я тебя не спрашиваю — можешь ты или не можешь. Я спрашиваю — будешь?

**Менелай.** С утра пить вредно. *(Пьет.)* Знаешь, что случилось с Клеоменом?

**Парис.** Кто это — Клеомен?

**Менелай.** Давний царь в Спарте. Он затеял торговать со скифами и подружился с этими варварами.

**Парис.** Ты закусывай, закусывай.

**Менелай.** Да. И каждый раз они устраивали возлияния в честь прибыльной торговли.

**Парис.** У варваров это называется «обмыть покупку».

**Менелай.** Клеомен пировал с ними по вечерам, а потом они приучили его пить с утра.

**Парис.** Кто выпил с утра, тот весь день свободен.

**Менелай.** Заметь себе, пили они неразбавленное вино.

**Парис.** Скифы всегда пьют неразбавленное.

**Менелай.** Короче говоря, Клеомен пристрастился. Жена Клеомена потребовала, чтоб он отказался от утренних возлияний. Два дня он воздерживался. А на третье утро сошел с ума.

**Парис.** А что же скифы?

**Менелай.** Ничего. Сели на коней и уехали к себе в степи, хохоча, как дети.

**Парис.** Скифы говорят: кто пьет с утра, никогда не бывает старым.

**Менелай.** Это почему?

**Парис.** Умирают молодыми.

**Менелай.** Мы отвлеклись. Итак, я слушаю твою историю.

**Парис.** Перед тем как мне, значит, родиться, моей мамаше Гекабе привиделся сон. Будто родила она факел.

**Менелай.** Ха-ха! Ты выдумываешь.

**Парис.** Честно. И будто от этого факела загорелся весь город. Мамаша перепугалась и велела занести меня, новорожденного, в горы и бросить там. Хороша у меня мамаша, нечего сказать. Будто до меня в городе не было пожаров. Слава богам, пастухи нашли меня и подобрали.

**Менелай.** А как же ты, бедоносный, вернулся под отчий кров?

**Парис.** Видно, родителей под старость совесть замучила. Стали справки наводить. Тут пастухи и открылись: жив, мол, ваш Парис. Ну, все и перевернулось. А до этого я ни ухом ни рылом ничего не чуял. А тут откуда-то царские пеленки мои достали, пошли охи да ахи…

**Менелай.** Потрясающе, клянусь… А что же привело тебя к нам в Элладу? Поведай мне как другу, если не секрет.

**Парис.** Дед мой, царь Лаомедонт, был, оказывается, врун, каких мало. То ли боги на него разгневались, то ли еще что, но дочь его Гесиону — тетку мою, значит, обрекли на съедение чудовищу. Уж не знаю какому. Дед возьми и пообещай тому, кто ее спасет, отдать своих коней. А кони у него были — звери и красивы, что твои лебеди. Так рассказывают. Ну, Геракл тогда спас мою тетку, а дед ему коней не отдал, зажал. Геракл на него войной, на деда-то. Отбил Гесиону и подарил своему другу Теламону. А папашу моего — я уже говорил — под старость совесть гложет. Видно, в молодости ее недокармливал. Вот он и просит меня: «Плыви, Парис, в Элладу и выкупи Гесиону, пусть доживает дома в покое». Я и погреб. Нашел ее, старушку. Так, говорю, и так. А она ни в какую. Слюбилась, видно, с Теламоном за целую-то жизнь. Родила ему сына Аякса. Хорошо, что я его не застал.

**Менелай.** Ты что, поссорился с Теламоном?

**Парис.** Тряхнул я малость старичка Теламона. Дал он мне за тетку отступные. Хорошие деньги! Только я эти деньги не то что до дома, до тебя не довез. А то бы неизвестно еще, с кем бы из нас Рыжая сны смотрела!

**Менелай.** Кстати, что они так долго? Пойду потороплю. *(Встает.)*

**Парис.** Брось, что за спешка.

**Менелай.** Сегодня домой из храма Артемиды возвращается Елена. Надо их спровадить пораньше.

**Парис.** Царь, а жены боишься, как простой пастух.

**Менелай.** Я ее не боюсь, но связан клятвой. Я пообещал Тиндарею, ее покойному отцу, никогда не путаться с гетерами и не заводить наложниц. Только с этим условием я получил Спартанское царство, а мой брат Агамемнон — престол в Микенах. Теперь понял?

**Парис.** Ну и дела! По мне, лучше умереть вольным пастухом, чем всю жизнь нервничать на царстве!

**Менелай** *(раздраженно)*. А кто тебе сказал, что я нервничаю? Было бы от чего нервничать.

Уходит. До Париса доносится: «Выдумал тоже, нервничаю. Ничего я не нервничаю. Нервного нашел!» Парис беззвучно смеется. **Менелай** возвращается.

**Менелай.** Надеюсь, все это *(делает широкий жест)* останется между нами.

**Парис.** Можешь на меня положиться. Я умею хранить секреты. Я — целый склад всяких секретов.

**Менелай.** Склады часто разворовывают. *(Уходит.)*

Парис подходит к обрыву. Смотрит в море.

**Парис.** Хоть бы одним глазком увидеть, как из пены родится эта Рыжая Афродита. *(Вглядывается в даль.)*

На площадку у грота выходит **Елена.** Она в дорожном плаще. В руках — бич. Парис стоит к ней спиной.

**Елена** *(неуверенно)*. Менелай…

**Парис** *(оборачиваясь)*. Я за него.

**Елена.** Значит, ты — мой супруг, лживый изменник, и этот кнут предназначается тебе!

Замахивается бичом.

**Парис.** Постой! Уж больно ты быстра на расправу. Шуток не понимаешь.

**Елена.** Если Менелай — мой муж в шутку, мне не смешно.

**Парис.** Стало быть, ты — Елена?

**Елена.** Это так же верно, как то, что ты — Парис, троянец, многостранствующий гость нашего дома. *(Парис кивает.)* Кем угощает тебя мой радушный супруг?

**Парис.** Как это — кем? Я не циклоп — пожиратель людей. Мы здесь пьем вино и беседуем. Беседуем и пьем вино. Чем еще заниматься двум друзьям на досуге?

**Елена.** Вас двое, а на ковре четыре кубка. Менелай — самая

настоящая гидра, но ведь не трехголовая.

**Парис** *(мнется в нерешительности).* Эти кубки… Кубки эти…

**Елена.** Ну? Ну?

**Парис.** Не нукай, не зануздала еще. Эти кубки… Вообще так. Хочешь верь, хочешь — нет. Вчера в полночь к нам на огонек завернули два странника.

**Елена.** Или две странницы?

**Парис.** Э, не поймаешь. Два странника, я сказал. Ты знаешь, боги часто приходят к людям в обличье странников. Их двое и нас двое. Всего четыре. Четыре кубка.

**Елена.** И что же дальше?

**Парис.** Дальше я не помню. Я сразу охмелел и заснул. Ничего не помню. Хочешь верь, хочешь — нет.

За спиной Париса на площадку вступают подруги, вернувшиеся с купания. Парис их не видит.

**Елена.** Хочешь знать, что было дальше?

**Парис.** А ты-то откуда знаешь?

**Елена.** Боги послали мне видение. Это все-таки были странницы, и они вернулись, чтоб уличить тебя во вранье.

Парис оборачивается и застывает с раскрытым ртом.

**Подруги.** Что это с ним?

**Рыжая.** Он еще не проснулся. Поднять его подняли, а разбудить забыли. *(Парису.)* Закрой рот.

**Подруги.** Гляди-ка, а он пользуется успехом.

**Рыжая** *(Елене).* Не очень-то зарься на него, девушка. Он даром что красавчик — ни драхмы за душой.

Елена молчит.

*(Подруге).* Она, должно быть, пригнала за царем колесницу. Видишь — бич. Эй, ты царская рабыня?

Елена молчит.

**Подруги.** Ты что — немая?

**Елена.** Вы обе угадали. Я — рабыня царя. Немая рабыня. Но царю этого мало. Он хочет, чтобы я ослепла. *(Рыжей.)* Чтобы я не могла разглядеть вас и назвать по имени.

**Рыжая.** Тебе наши имена неизвестны.

**Елена.** Ты так думаешь? Твое имя нетрудно угадать. Его можно пересыпать, как горстку монет. Оно остается горьким осадком на дне кубков, валяется в любовном поту чужих постелей. У тебя есть, было и будет только одно имя. И клянусь, ты на него откликнешься. Шлюха! Шлюха! Шлюха!

**Рыжая.** Ах ты ехидна! *(Бросается на Елену.)*

Елена наотмашь хлещет ее бичом. Еще раз, еще. Рыжая визжит.

**Парис.** Остановись, царица! Хватит… *(Вырывает у Елены*

*бич.)* Пусть она такая, как ты говоришь, но шкурка-то у нее нежная, как у тебя…

Рыжая рыдает, сидя на земле. Елена, придя в себя, смотрит на Рыжую и вдруг разражается слезами. Обе плачут в голос. Подруга Рыжей не выдерживает и вступает с басистым ревом.

Вот так спелись! Ну будет, будет. Не огорчайте Эхо.

Женщины замолкают, и вдруг за сценой слышен чей-то одинокий плач, потом крик «Госпожа! Госпожа моя!». На площадку перед гротом выбегает **Эфра** — рабыня Елены, уже немолодая женщина.

**Эфра** *(Елене).* Госпожа моя… Беда! Беда ворвалась в твой дом!

**Елена.** Ты поздно спохватилась, Эфра. Об этом надо было кричать раньше.

**Эфра.** О чем ты, госпожа? Раньше я никак не могла успеть. Я бежала изо всех сил, клянусь крылоногим Гермесом — посланцем богов…

**Елена.** От какой же беды ты уносила ноги, моя верная Эфра?

**Эфра.** Я боялась, что этот мужчина погонится за мной.

**Подруга** *(Эфре).* Ты что-то путаешь. Верно, это мужчина улепетывал от тебя.

**Эфра** *(Подруге).* Ах, бесстыдница! Надо же сказать такое? Мужчина от меня улепетывал. Да за мной, если хочешь знать, вся Эллада бегала…

**Рыжая.** Ну и что? Так и не догнали?

**Эфра.** Тебя это не касается. Кому надо, тот догнал. Еще как догнал-то… А сейчас я бежала за госпожой. *(Елене.)* Ведь только я тебе сказала, госпожа, что наш господин еще с вечера уехал отдохнуть с этим юношей *(указывает на Париса),* как ты, даже не умывшись с дальней дороги, вскочила на колесницу и умчалась. А вода для твоего умывания, госпожа, совсем простыла…

**Елена.** Если в этом все несчастье, то можешь бежать обратно и греть воду.

**Эфра.** Ах нет же, госпожа. Дай мне докончить, я только начала.

**Елена.** Тогда начни прямо с конца.

**Эфра.** Слушаюсь, госпожа моя. *(Кричит.)* Говори, старая дура, где этот бараний поводырь — Парис, которого пригрели в вашем доме!

**Елена.** Ты сошла с ума!

**Эфра.** Не я, не я, госпожа, а тот мужчина, который явился к нам прямо следом за тобой.

**Елена.** Какой еще мужчина? Ты бредишь…

Из-за камней грота выступает **Менелай.**

**Менелай.** Так-то, моя милая женушка! Пока твой муж показывает гостю окрестные виды, ты позволяешь каким-то мужчинам преследовать тебя по пятам и врываться в мой царский дворец?

**Елена.** О боги! Какая наглость!

**Менелай.** Отвечай, Эфра! Знаешь ты этого мужчину?

**Эфра.** Я никогда его не видела раньше, господин мой…

**Менелай.** Нам все ясно: раньше он ложно прятался где-нибудь поблизости, пока совсем не потерял голову от любви…

**Елена.** О, негодяй…

**Менелай.** Отвечай, Эфра, а вы все будете свидетелями, как зовут этого любовника моей любезной женушки?

**Эфра.** Аякс Теламонид, так он кричал…

**Парис.** Аякс? Этот здоровенный дурак Аякс, сын старого Теламона и тетушки Гесионы?

**Менелай.** Ты с ним хорошо знаком?

**Парис.** Нет, я его не знаю и знать не хочу.

**Эфра.** А он очень желает повидать именно вас, а вовсе не нашу госпожу.

**Менелай.** Что ему нужно от нашего гостя?

**Эфра** *(Парису).* Он сказал, что ему нужно свернуть вам шею, выпустить кишки, выдернуть нога и еще что-то… только я забыла.

**Парис.** С меня хватит и того, что ты запомнила.

**Менелай** *(Эфре).* Ты оставила его во дворце?

**Эфра.** Да, мой господин. Он как раз закончил ломать мебель и перешел сокрушать колонны в большом зале.

**Менелай.** Как? Он смеет бесчинствовать в моем доме?

**Эфра.** Да, господин. И клянется всеми богами, что постарается не оставить камня на камне от вашего дома, а потом доберется до вас и *(к Парису)* обязательно до вас.

**Парис.** Уж он не простит мне визита к своим старичкам, а главное — выкупа. Отделает по-родственному. Чует мое сердце.

**Менелай.** Надо спешить. Я срочно еду домой! *(Елене.)* Кони в ущелье? Дай сюда бич! *(Отбирает бич у Париса.)* Парис! Ты мой гость, и я не дам тебя в обиду! Жди здесь. Сюда я пришлю за тобой корабль. Ты тайно отплывешь в Микены, к моему брату Агамемнону. Аякс не посмеет туда сунуться. Я его задержу у себя. Прощайте!

**Менелай** убегает. Остаются Парис, Елена, подруги и Эфра.

**Подруга.** Прощай, Парис! Счастливого тебе плаванья.

**Рыжая.** И попутного ветра.

**Парис** *(Рыжей).* Погоди, козочка. *(Отводит ее в сторону.)* Сейчас сюда придет корабль. Я тебе скажу попросту: хочешь отвалить со мной? А? Ты не смотри, что я сейчас вроде как

стриженый баран. Дома, в родной моей Трое, я — царский сын. Соображаешь? Да я для тебя не то что такой гребешок, я… да я…

**Рыжая.** Врешь ты все, обманешь…

**Парис.** Клянусь подземным царством, у меня в мыслях этого нет, насчет обмана. Я… да я… Я женюсь на тебе! Я тебя царицей сделаю троянской…

Парис обнимает Рыжую за плечи и что-то горячо нашептывает ей на ухо. Елена внимательно прислушивается к их разговору.

**Эфра** *(Елене)*. Госпожа моя…

**Елена.** Что тебе, Эфра?

**Эфра** *(понизив голос)*. Госпожа, не подумай, что я хотела тебя обокрасть. Не гневайся на меня, глупую, Елена…

**Елена.** О чем ты, Эфра? Я тебя не понимаю…

**Эфра.** Когда этот Аякс — мужчина здоровенный — стал все громить, что под руку попадется, я решилась взять твои сокровища.

**Елена.** Мои сокровища? Где они?

**Эфра.** Не тревожься, голубка. Все тут, при мне. *(Эфра распахивает свой плащ и похлопывает по тугим кожаным мешочкам, подвешенным к поясу.)* Все тут, все четыре…

**Елена.** Хвала богам! Вовремя они тебя надоумили.

**Эфра.** Ох и страху я натерпелась, когда их спасала…

**Елена.** Ты не сокровища спасала, ты меня спасла сейчас. Молодец, Эфра. Ты даже не знаешь, как хорошо ты сделала.

**Рыжая** *(смеется)*. Я тебе все равно не верю, красавчик. Вот если б ты мне дал что-нибудь в залог, я бы, может быть, еще подумала…

**Парис.** Да я бы тебе все отдал! Все! Но у меня ничего при себе нет…

**Елена.** Парис!

**Парис.** Погоди, царица, не встревай…

**Елена.** Я невольно подслушала ваш разговор. У меня есть к тебе предложение. *(Рыжей.)* А ты не спеши. Тебя это тоже касается.

Парис подходит к Елене, а подруги о чем-то оживленно перешептываются.

**Парис.** Ну, скорей говори, царица.

**Елена.** Я хочу сделать тебе подарок. Очень дорогой. Тебе будет что предложить в залог этой Рыжей. Можешь поверить моему женскому сердцу, она не откажется.

**Парис.** Да ну? Уж не знаю, как мне тебя отдарить, царица…

**Елена.** Нет ничего проще. Ты должен взять меня с собой в Микены к Агамемнону.

**Парис.** Все вы тут, в Спарте, тронутые! Да ты что, погубить

меня хочешь? За что? Я перед тобой ни в чем не виноват, видят боги. Разбирайся сама со своим Менелаем. У вас своя компания, а у меня — своя. Да и зачем тебе на корабль?

**Елена.** Я много претерпела от Менелая. Больше не хочу. Я поеду к Агамемнону, буду просить его защиты. А добром меня Менелай никогда не отпустит в Микены. Парис, сжалься хоть ты надо мной.

**Парис.** Нет, дудки-дудочки! Ни за что, ни за какие коврижки. Да меня обвинят в похищении чужой жены, что я оскорбил гостеприимца. Знаешь ты, бабьи твои мозги, что за это бывает? Не желаю!

**Елена** *(гневно)*. Не желаешь? Эфра! Пошли.

**Парис.** Постой, куда ты?

**Елена.** Я сейчас же все открою Аяксу Теламониду.

**Парис.** Совести у тебя нет! Ну, зачем, зачем тебе со мной на корабль?

**Елена.** Пойми, это мне необходимо, как воздух. Я хочу уважать себя. Женщине достаточно сделать хоть один, всего только один самостоятельный, решительный поступок, чтоб потом уважать себя всю жизнь.

**Парис.** Уговорила. Вот заварится каша!

**Елена.** Эфра, подойди.

**Парис.** Козочка, подойди и ты, не пожалеешь.

Рыжая и Эфра подходят к Елене и Парису. Подруга Рыжей наблюдает со стороны.

**Елена** *(отстегивает мешок от пояса Эфры и передает его Парису)*. За эти драгоценности тебя никто не осудит, Парис. Я вольна ими распоряжаться. Они — из моего приданого.

**Парис** *(открывает мешок и осыпает Рыжую драгоценностями)*. Вот такой дождик ждет тебя в моей родной Трое.

**Елена** *(Рыжей)*. Богатство не принесло мне счастья. Может, тебе больше повезет.

Подруги ползают по площадке и собирают просыпанное золото.

**Рыжая** *(Подруге)*. Э-э-э, подруга, ты что это сунула себе за щеку? Ну-ка, выкладывай…

**Подруга** *(всхлипывая)*. Всего одну маленькую безделушку на память…

**Рыжая.** Я тебе сейчас эту память отшибу.

Толкает подругу и вырывает у нее краденое.

**Елена.** Не ссорьтесь. *(Подруге.)* Вот, возьми на память обо мне. *(Передает Подруге второй кошелек)*

**Подруга.** Да сопутствует тебе счастье в любви, царица.

*(Прячет подарок под тунику.)*

**Елена** *(Парису)*. А это тебе — плата за проезд. *(Отдает ему третий кошелек.)* А это тебе, моя верная Эфра. Ты заслужила.

**Парис.** Ты щедра, как богиня. Скажи, Елена, это правда, что люди болтают, будто ты дочь Леды и самого Зевса?

**Елена** *(улыбаясь)*. Моя мать хотела покрепче привязать к себе отца и нарочно распустила слух о том, что по ночам в отсутствие Тиндарея ее посещает сам Зевс в образе лебедя.

**Парис.** А что же Тиндарей?

**Елена.** Отец, как об этом услышал, хорошенько поколотил мать, а лебедя, который прилетал на наш водоем, велел зажарить и съел.

**Рыжая.** Моя бабка говорила: мужик что козел. Короткую привязь рвет и уходит. А на длинной всю жизнь бегает и радуется: я свободен! Я свободен!

**Эфра.** Корабль, корабль! Я вижу парус!

**Рыжая** *(Подруге)*. Ну, прощай, подружка. Если тебя занесет в Трою, навести по старой памяти.

**Подруга.** Прощай, храни тебя Афродита.

**Парис** *(Рыжей)*. Дай-ка сюда! *(Вынимает из ее прически гребень, подаренный Менелаем.)* Не желаю, чтоб ты его носила. Понятно? *(Подруге.)* Вот, возьми. *(Отдает гребень.)* Не поминай меня лихом.

**Подруга** *(в сторону)*. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Прощайте. *(Елене.)* Прощай, царица, будь счастлива.

**Елена.** Прощай, девушка. У тебя под ногами родная земля…

**Парис.** Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь.

Все, кроме Подруги, уходят.

**Подруга** *(машет им вслед)*. Прощайте, прощайте! О, если б я догадалась, что этот красавчик Парис втюрился в Рыжую, я бы заставила его поплясать. Все они, красавчики, одинаковы. И что он в ней такого нашел? Я понимаю — Менелай. Ему все равно, лишь бы не с женой. А царица тоже хороша, изображает из себя девственную Артемиду. Как будто никто не знает, что ее еще девчонкой украл Тесей, сыночек этой старухи Эфры, и держал у себя в Афинах. Если бы ее тогда не отбили, неизвестно, кто бы кому стал рабыней: Эфра ей или она Эфре. Старуха должна ее ненавидеть. Уж больно суетится: госпожа да госпожа моя… Пойти, что ли, рассказать Менелаю, что жена сбежала…

Появляется Менелай.

**Менелай.** Ты одна? А где же…

**Подруга.** Ты хочешь спросить, где твоя жена, так я скажу тебе: уплыла вместе с Парисом. Да и Рыжая согласилась проветриться с ним до Микен.

**Менелай.** Ты шутишь…

**Подруга.** Что же ты не смеешься? Радуйся. Во всяком случае, ты хотя бы на время избавишься от жены, а любовницы тем и хороши, что их можно часто менять. *(Вертится перед Менелаем.)*

**Менелай.** А ты совсем не глупа… да и не дурна!

**Подруга.** Видишь, как быстро я тебя утешила.

**Менелай.** Пойдем. Сегодня вечером я задаю Аяксу Теламониду роскошный пир. В знак нашего полного примирения. Ты будешь украшением праздника.

**Подруга.** Увы-увы! Мне совсем нечего надеть в такой торжественный вечер…

**Менелай.** Об этом я позабочусь.

**Подруга.** Ты все-таки очень мил. А то говорили, что Менелай Атрид такой скупой… Я никогда этому не верила.

**Менелай.** Кто говорил?

**Подруга.** Одна подруга.

**Менелай.** Скажи мне, а как зовут твою подругу?

**Подруга.** Какую? У меня их много.

**Менелай.** Ну, эту… Рыжую.

**Подруга.** Ах Рыжую… Так же, как твою жену, Елена.

## Картина вторая

Египет. Дворец Протея. Тронная зала во дворце повелителя Египта Протея. Сам **Протей** в простой белой хламиде слушает трио музыкантов. Тихонько, на цыпочках, входит **Фонис** — «око повелителя». Почтительно замирает недалеко от Протея. Протей резко хлопает несколько раз в ладоши. Музыканты, сбившись, замолкают.

**Протей** *(музыкантам)*. Плохо. Ужасно плохо. Просто скверно. Отвратительно.

**Старший музыкант.** Но мы берем верные ноты, наш повелитель. И темп…

**Протей.** Темп! Чтобы играть верно, мало брать верные ноты. Одними нотами музыки не изобразишь. Здесь нужно понимание, любовь. У осла — вы знаете — уши больше и чувствительнее людских, но осел почему-то не музыкант. Догадываетесь?

**Старший музыкант.** Как тебе будет угодно, повелитель. Но мы стараемся, мы стараемся.

**Протей.** Вы стараетесь угадать, хорошо ли я вам заплачу за вашу музыку. *(Протягивает руки в сторону Старшего музыканта.)* Скажи мне, если бы ты получил богатое наследство, ты бы продолжал играть?

**Старший музыкант.** Но мне неоткуда ждать наследства,

повелитель.

**Протей.** А если бы?

**Старший музыкант.** Я затрудняюсь…

**2-й музыкант.** Он мечтает скопить деньги и открыть торговлю чесноком, мой повелитель.

**Протей** *(смеясь).* Отлично. *(Протягивает руку в сторону 2-го музыканта.)* А ты?

**2-й музыкант** *(горячась).* Зачем мне чеснок, повелитель? Неужели для этого я вынес в детстве жестокие побои, когда разучивал нотную грамоту. Неужели для этого я таскаюсь по дорогам с тяжелой кифарой и отказываю себе во всем? Какой тут может быть чеснок! Я считаю, что гораздо выгоднее завести сыроварню…

**Протей** *(хохочет).* Превосходно! Я велю выдавать вам по три монеты из своей казны ежедневно, но с условием, что вы никогда больше не притронетесь к музыкальным инструментам.

**Старший музыкант.** Вот привалило-то! Прямо творческая удача!

**2-й музыкант.** А в музыкальные критики идти можно?

**Протей.** И в критики нельзя.

**Старший музыкант.** О, повелитель! *(Падает на колени, увлекая за собой товарища.)* Да мы эту музыку совсем забудем! *(Отбрасывает свой музыкальный инструмент. 2-й следует его примеру)*

**3-й музыкант** *(Протею).* О повелитель! Не гони нас. Позволь, мы сыграем тебе еще раз. Может быть…

**Протей.** Убирайтесь, не то я прикажу отрубить вам уши.

**Старший музыкант.** Славься в веках!

**2-й музыкант.** Ты — истинный ценитель искусства!

**Оба музыканта** убегают. 3-й остается. Фонис делает несколько шагов к Протею.

**Протей** *(в сторону Фониса).* Это ты, мое недремлющее око?

**Фонис.** Я, мой повелитель. Мне необходимо поговорить с тобой наедине.

**Протей.** Разве здесь кто-то есть, кроме нас?

**Фонис.** Один из музыкантов остался.

**Протей.** Музыкант, что тебе нужно, говори.

**Музыкант.** Мне ничего не нужно, повелитель. Мне не нужно золота. Я не хочу торговать ни чесноком, ни сыром. Не отнимай у меня мою флейту. Без музыки я умру.

**Протей.** Фонис, расскажи мне, как выглядит этот человек?

**Фонис.** Он не кажется ни юным, ни старым. Страшно худ, оборван.

**Протей.** Он отбросил свой инструмент, как те, другие?

**Фонис.** Нет, он прижимает флейту к груди. Км-км. Он плачет, мой повелитель.

**Протей.** Фонис! Пусть его хорошенько накормят и оденут. *(В сторону музыканта.)* Отныне ты мой желанный гость. Приходи, когда захочешь. Буду счастлив послушать твою флейту.

Фонис передает музыканта слугам, отдает им какие-то распоряжения и возвращается к Протею.

*(Выходя из глубокой задумчивости.)* Вот видишь, мой Фонис, талантливый человек поест у власти, попьет, возьмет необходимую одежду и снова уйдет к людям, вольный, как ветер. А бездари будут кормиться из казны всю жизнь, да еще ворчать, что их недооценили.

**Фонис.** Мой Протей, оставим сейчас беседу о нашем древнем египетском искусстве. У меня важное дело.

**Протей.** Как только повелитель задумается об искусстве, тут же находятся дела поважнее. Я тебя слушаю, мой Фонис.

**Фонис.** Вчера в устье Нила во время бури занесло чужеземный корабль и прибило к берегу прямо против храма Геракла. А поутру жрецы обнаружили в храме старую женщину. Она спала, обняв жертвенник в центре храма. Она оказалась чужестранкой и, по ее словам, бежала с корабля. Говорит, что хочет сообщить нечто очень важное самому повелителю Египта.

**Протей.** Где она?

**Фонис.** Ждет за дверьми.

**Протей.** Пусть войдет.

**Фонис.** Мой Протей, ты повелитель Египта, и чужестранка должна понять это с первого взгляда.

**Протей.** Хорошо.

Протей дает Фонису руку, и тот помогает ему подняться по ступенькам и сесть на высокий раззолоченный трон под золотую яйцевидную тиару.

Ты уверен, мой Фонис, что тот, кто выше сидит, всегда ближе к истине? **Фонис.** Я уже стар, мой Протей, и твердо знаю одно: когда сидишь наверху, опасно думать, что истина стоит на коленях в начале лестницы.

Фонис хлопает в ладоши. Личная охрана Повелителя — черные эфиопские воины, одетые в леопардовые шкуры, становятся по бокам трона, опираясь на копья.

**Фонис** *(громко)*. Введите чужестранку!

Входит **Эфра** в сопровождении **воина эфиопа.**

Чужестранка! Твое желание исполнилось. Ты перед лицом повелителя над всем Египтом.

Эфра падает на колени перед Протеем.

**Протей** *(Фонису)*. Пусть говорит.

**Фонис.** Говори! Повелитель внимает тебе.

**Эфра.** Я все открою повелителю. Все, все, как есть. Ничего не утаю. Вы не смотрите, что я простая рабыня. Я женщина честная и раньше сама была домохозяйкой. У меня у самой был свой дом и рабы… А как же? И я…

**Протей.** Если ты рабыня, скажи, кто твой господин и откуда он родом?

**Эфра.** У меня не господин, а госпожа. Госпожу мою зовут Елена. Она супруга царя спартанского Менелая и дочь Тиндарея, старого царя. Может, слыхали? Очень озорной был покойник. Я-то, молодая, привлекательная была, а он однажды и говорит: «Эфра!» Меня Эфра зовут. Эф-ра!

**Фонис.** Послушай, Эфра…

**Протей.** Не останавливай ее. *(Эфре.)* Так что же говорил тебе в молодости озорной покойник Тиндарей?

**Эфра.** Тиндарей? Ах да! Эфра, говорит, ты женщина привлекательная, и я мужчина привлекательный, ты в теле, и я полон сил. Так вот, говорит, смотрю я на тебя, Эфра, и думаю, а что, если ты сейчас же… уберешься с глаз моих куда подальше!

Протей и Фонис смеются. Эфра, глядя на них, тоже смеется.

Уж очень у него жена была ревнивая.

**Фонис.** Это и есть то важное сообщение, которое ты хотела сделать повелителю над всем Египтом?

**Эфра.** Ох, простите меня, глупую, заболталась совсем. Вам-то уже, наверное, и без меня все известно.

**Фонис.** Ничто не может укрыться от повелителя над всем Египтом.

**Эфра.** Только я хочу, чтобы вы знали, что она ни в чем не виновата. И не соблазнял он ее вовсе. Она сама к ним на корабль напросилась. А уж он в то время успел с той, другой Еленой, сговориться. И плыли-то мы не к нему в Трою, а в Микены, а тут нас буря и захватила и давай трепать, давай трепать…

**Протей.** Помолчи, Эфра.

**Эфра.** Я чистую правду говорю, клянусь Афиной-заступницей. Сама-то я родом из Афин.

**Фонис.** Эфра! Повелитель приказывает тебе замолчать.

**Эфра.** Замолчать так замолчать. Дело нехитрое. Только когда она его уговаривала…

**Фонис.** Молчать!

**Эфра.** Молчу. Слово — серебро, а молчание — золото. Она ему золото свое отдала…

**Фонис.** Уведите чужестранку. Пусть ждет, пока не позовут. Эфра *(сопровождающему ее)*. Очень сердитый старичок. Я бы ни за что за такого замуж не пошла.

**Эфру** уводят.

**Протей.** Если все, что она тут наговорила, насыпать в сито и хорошенько потрясти, что же останется?

**Фонис.** Из этой шелухи можно отсеять лишь два зернышка. Первое: неизвестный мужчина соблазнил царицу Спарты, и преданная рабыня торопится выручить свою госпожу.

**Протей.** Тогда мы обязаны вернуть царицу супругу, а соблазнителя — казнить без суда, как того требует закон.

**Фонис.** Второе зернышко: царица Елена бежала от супруга, напросившись за плату на корабль. И действительно плыла до Микен.

**Протей.** Рабыня не лжет?

**Фонис.** Возможно, не лжет. В Микенах правит Атрид Агамемнон, брат Менелая, родня Елены.

**Протей.** Тогда мы вправе отпустить их всех с миром.

**Фонис.** Но у обеих женщин одно имя — Елена. Это меня смущает.

**Протей** *(смеется)*. Елена — имя женское. К тому же рабыня сразу опознает свою госпожу.

**Фонис.** Это зависит от того, в каком из зерен — правда.

**Протей.** Фонис, доставь чужестранцев сюда, в Мемфис. Что-то они сами скажут?

Входит **глашатай.**

**Глашатай.** Чужеземцы, занесенные бурей в устье Нила, ждут милости повелителя. **Протей** *(Фонису)*. Что это значит?

**Фонис.** Я еще не разучился предугадывать твои желания, мой Протей.

**Протей.** Тогда начнем. Пусть сначала войдет мужчина.

Трубы за сценой. Входит **Парис.**

**Фонис.** Чужеземец! Знаешь ли ты, где находишься?

**Парис.** Я не слепой. *(Опускается на колени.)*

**Протей.** Назови себя.

**Парис.** А к чему мне скрываться? Люди зовут меня Парисом, сыном Приама, царя Троянского.

**Протей.** Куда ты держишь путь?

**Парис.** Если бы не буря, я бы уже был в Микенах, у Агамемнона. Верно говорят моряки: бабы на море не к добру!

**Протей.** Назови женщин, которые плывут с тобой.

**Парис** *(в сторону)*. Пропал я. *(Громко.)* Одну зовут Елена и другую Елена. Одни Елены.

**Фонис.** Везет тебе на это имя. Значит, одни Елены.

**Парис** *(в сторону)*. До чего въедливый старикашка! *(Громко.)* Была еще старушка одна, рабыня. Да, видно, во время бури ее смыло в море.

**Протей.** Кем тебе доводятся эти женщины?

**Парис.** Одна вроде как жена, а другая… а вторая… так… попутчица до Микен. Напросилась на корабль: подвези, мол, я заплачу.

**Фонис.** Зачем ты плывешь в Микены? Царь Агамемнон твой друг или родня?

**Парис.** А вам-то это зачем?

**Фонис.** Здесь спрашиваем мы — ты только отвечаешь.

**Парис.** Да я Агамемнона никогда не видел. Меня Менелай попросил: отвези, мол, брату, это… гостинец.

**Протей.** Ты был гостем Менелая в Спарте?

**Парис.** Гостил, будь он неладен.

**Фонис.** Вы расстались друзьями? Отвечай.

**Парис.** Что ты ко мне, старичок, привязался, как овод к теленку?

Фонис и Протей тихонько совещаются.

*(Про себя.)* Бабы на судне всегда не к добру… Ох, Елена… **Фонис.** Чужеземец! Пойди вспомни все хорошенько. От этого зависит твоя жизнь.

Два воина-эфиопа подталкивают Париса к выходу.

**Парис.** Полегче, полегче, ребята. У меня и без вас в глазах темно.

**Парис** а уводят.

**Протей.** Пусть пригласят обеих женщин.

Трубы за сценой. Входят **Елена** и **Рыжая.**

**Фонис.** Мир вам, прекрасные чужестранки! Протей, правитель над всем Египтом, приветствует вас.

**Елена.** Много лет повелителю Протею! Да будут благословенны дни его правления.

**Рыжая.** Так и плаваю по течению от царя к царю. Где-то пристану?

**Фонис.** По древнему обычаю Египта, прежде чем сообщить неприятное известие, я должен выразить вам свое сожаление и вознести молитву…

**Рыжая** *(Елене)*. Старичок, а туда же. Старички, они самые жалостливые. Один такой мою подружку очень жалел. И такая-то она необразованная, нищая, заблудшая. Все жалелжалел, жалелжалел… и помер. Прямо на ней.

**Фонис.** Парис, сын Приама Троянского, признался нам, что соблазнил Елену, жену своего гостеприимца Менелая, царя Спарты.

**Рыжая.** Врет он, врет он все, наговаривает на себя! Где он, куда вы его спрятали?

**Фонис.** Он взят под стражу. И будет казнен.

**Рыжая.** Нельзя его казнить! Нельзя! Это он меня, меня из Спарты увез, золотом осыпал, обещал жениться… *(Рыдает.)*

**Протей** *(Рыжей).* Ты — Елена Спартанская?

**Рыжая.** Не я! Не я! Она! *(Указывает на Елену.)* Вот она, все из-за нее. Что же ты молчишь, царица?!

**Елена.** Повелитель Протей! Дай мне слово! Клянусь великими богами Олимпа — я скажу правду.

Фонис хлопает в ладоши. Входит **Эфра.**

Эфра! Мы думали, ты погибла! Вот счастье, сейчас ты подтвердишь мои слова.

**Рыжая** *(рыдая).* Отмените казнь! Отмените казнь!

**Эфра** *(Елене).* Знать тебя не хочу, шлюха! Вот моя госпожа *(указывает на Рыжую).*

**Елена.** Боги! Эфра, ты обезумела.

**Рыжая.** Ты что, свихнулась, старая сандалия? Оставь меня в покое!

**Эфра.** Ты видишь, повелитель. Так разговаривать может только истинная хозяйка.

**Елена.** Эфра, ты бредишь, тебя укачало…

**Эфра.** Эта женщина *(указывает на Рыжую)* — неверная жена царя Менелая, соблазненная Парисом. А это *(на Елену)* — просто гулящая девица, слишком хорошо известная всей Спарте и поэтому напросившаяся на корабль, чтобы попытать счастья в другой земле. Правитель! С Парисом и этой Рыжей, моей госпожой, ты волен делать что хочешь, а эту *(на Елену)* надо отпустить на все четыре стороны.

**Фонис.** Повелитель сам решит, что надо и чего не надо.

**Протей** *(посоветовавшись с Фонисом и начальником охраны).* Данной мне властью повелеваю: женщину по имени Елена, коварно и подло выдававшую себя за царицу Спарты и ложной клятвой оскорбившую сонм олимпийских богов, предать немедленной смерти. Исполняйте!

**Рыжая** *(Эфре).* Будь проклята, старая карга!

**Елена.** От судьбы не уйдешь. Кто знает, может быть, это лучшая смерть. Умираю невинно.

Начальник охраны хватает Елену и замахивается мечом.

**Эфра.** Нет! Нет! Елена, госпожа моя! Прости, прости! Я хотела спасти тебя от позора. Остановитесь!

Закрывает собой Елену.

**Протей.** Довольно!

Все расходятся по местам. Эфра рыдает, обнимая ноги Елены.

**Эфра.** Ты ведь не подумала, что я это из мести, скажи мне, Елена, скажи.

**Елена.** Я не умею лгать, Эфра. Да, подумала. Мне

вспомнились горящие Афины, и Кастор, и Полидевк, милые мои братья. Вспомнилось, как я защищаю тебя от их мечей, тебя — мать Тесея, моего оскорбителя.

**Эфра.** Елена, я всегда помню, что обязана тебе жизнью.

**Елена.** Люди часто мирятся со злом, но редко прощают добро. Я рада убедиться, что ты не из таких, Эфра.

**Эфра.** Когда корабль вынесло на берег, я очнулась первая. Вижу невдалеке — храм. Я побежала звать на помощь и вдруг поняла, что мы не в Микенах, а совсем в чужой земле. Я испугалась за тебя, Елена, и решила опередить опасность. Но, видно, ложь — плохая помощница правде. Не ты, а я достойна смерти.

**Елена.** Что ты! Нельзя карать за ложь во спасение людей!

**Эфра.** Это ты так думаешь. А здесь теперь не найдется человека, который бы мне поверил.

**Протей.** Найдется. Этот человек — я.

**Фонис.** И я, пожалуй.

**Рыжая.** Где Парис? Где мой Парис?

Входит **Парис.** Рыжая подбегает к нему. Обнимаются.

**Парис** *(Эфре)*. Э-э-э, бабуся. Вот где ты вынырнула!

**Эфра.** Выныривай и ты.

**Парис.** Я бы с радостью. Ухватиться не за что. Не протянешь ли соломинку?

**Протей.** Вот тебе соломинка. На одном ее конце Микены, на другом — Троя.

**Парис.** А я хватаюсь как раз посередине, у тебя в Мемфисе.

**Протей.** Где же правда?

**Парис.** Моя правда в Трое, а ее *(к Елене)* в Микенах. Меня ждет свадьба, а ее, похоже, развод.

**Протей.** А для Мемфиса ты ничего не оставил?

**Парис.** Не обижайся, повелитель. Я тебе чуть-чуть свою голову не оставил.

**Протей.** Парис, сын Приама! Ты получишь новый корабль, который доставит тебя и твою подругу в Трою. Ты, Елена, царица, отправишься в Микены или куда тебе будет угодно на другом корабле, прекрасно оснащенном и с почетной охраной. Как жаль, что я не смогу сопровождать тебя. Прости, что нам пришлось так жестоко тебя испытывать.

**Елена.** Пусть боги простят тебя и меня.

**Протей** *(после паузы)*. Скажи мне еще что-нибудь на прощанье. Меня несказанно волнует твой голос.

**Елена.** Протей, повелитель. Боги дали тебе мужественную внешность и властный голос. Но самый ценный дар богов — твое зрение.

Протей рывком поднимается из трона.

Ничто не может укрыться от твоего зоркого взгляда, Протей. Твои прекрасные глаза различают то, что скрыто под обманчивой маской. Твой взор жадно ищет истину. Ты умеешь читать в человеческих сердцах. И это не лесть. Ты видишь, как краска заливает мне лицо, как дрожат мои руки. Это волнение, благородное волнение, вызванное встречей с тобой, Протей.

**Протей.** Елена! Я хочу видеть тебя! Какая ты?

**Елена** *(растерянно)*. Я перед тобой, повелитель…

Протей спускается к Елене и, протянув руки, дотрагивается до ее лица.

Что ты делаешь? О боги! Ты… ты слепой?

**Протей.** Да. *(Опускает руки.)*

**Елена** *(сквозь слезы)*. Какая несправедливость! Какая чудовищная несправедливость!

**Протей.** Послушай меня, Елена. Много лет назад мне выпало прорицание оракула, что срок моей слепоты истечет и я прозрею, стоит мне промыть глаза слезами женщины, которая, кроме своего мужа, не знала других мужчин. Я был женат тогда и промыл глаза слезами жены. Потом многие женщины плакали над моей слепотой, но их слезы не помогли мне, и я отчаялся.

**Рыжая.** Ох эти женские слезы…

**Елена.** Если прорицание оракула верно — вот мой платок. Он совсем мокрый от слез.

Елена подносит свой платок к лицу Протея и проводит ему по глазам.

**Протей.** Хватит! Оставь меня! Мне больно! Больно! Я умираю! *(Падает.)* **Фонис** *(Елене)*. Что ты сделала, несчастная?!

Охрана окружает Протея, Фонис поднимает и поддерживает его голову.

**Протей** *(очнувшись, с закрытыми глазами)*. Как странно… Я, кажется, вдруг уснул. *(Открывает глаза, медленно обводит всех взглядом. Смотрит на Елену.)* Елена, это ты? Я узнал тебя сразу. Опусти скорее руки, я хочу видеть твое лицо.

**Елена** *(опустив руки)*. Я — некрасивая.

**Протей.** Ты прекрасна, Елена. Ты — прекрасна, Елена Прекрасная.

**Эфра** *(разглядывая Фониса)*. А все-таки этот старик — противный. Ни за что бы за него не пошла.

## Картина третья

Корабль в море. Ночь. Звездное небо. На корме корабля **Парис** и **Рыжая** наблюдают за действиями кормчего.

**Рыжая.** Посмотри, мой пастушок, какая кругом красота. Тихо, ни ветерка.

**Парис.** Вот это-то плохо, козочка. Парус не колыхнется, повис, как не знаю что. Гребцы выбиваются из сил. Эй, кормчий, скоро ли мы будем в Трое?

**Кормчий.** Если бог Посейдон пошлет к утру попутный ветер, если ветер не нагонит буревые тучи, если тучи…

**Парис.** Слишком много если…

**Кормчий.** Наберись терпения, чужеземец. Мы в море, а не в постели.

**Парис.** Пойди отдохни. Я сменю тебя у руля.

**Кормчий.** Вот это морской разговор. Старайся держать вон на ту яркую звезду. *(Уходит.)*

Рыжая и Парис у руля.

**Рыжая.** Послушай, Парис.

**Парис.** Я только и делаю, что тебя слушаю.

**Рыжая.** Не только. Елена осталась у Протея и, по всему видно, задержится там надолго, если не навсегда. Вот я и подумала…

**Парис.** И ты тоже подумала об этом, козочка?

**Рыжая.** О чем?

**Парис.** О том, что ты для моих благородных троянских родственников можешь сойти за спартанскую царицу. Даже имя менять не придется.

**Рыжая.** А ты догадлив, мой пастушок. Значит, одобряешь?

**Парис.** Одобряю. Я, честно сказать, все время думал, как бы тебя представить в нашем царском семействе… э-э-э… подостойнее. Чтоб не лезли с расспросами.

**Рыжая.** А пусть полезут. У меня есть что им порассказать о Менелае. Ну, ладно, не дуйся, пастушок, скажи, что ты меня любишь.

Ласкается к нему. Парис отпускает кормило и обнимает Рыжую. Голос кормчего за сценой: «Ветер, ветер! Гребцам сушить весла!»

**Кормчий** *(появляясь)*. Эй, чужеземец. Мы отклонились от курса. Я же сказал: держать вон на ту звезду. **Парис.** У каждого своя звезда, кормчий.

Уходит с **Рыжей.**

**Кормчий** *(кричит)*. Всех наверх, крепить парус! Живо, живо! Бог Посейдон проснулся!

## Картина четвертая

Спарта. Зала в доме Менелая. Стены увешаны оружием. Зала

полна женщин. Одни вышивают кайму, другие плетут корзинки, кто-то спит, кто-то закусывает. Женщины хором поют по-бабьи жалостливо что-то вроде:

Ему сказала Афродита:
Зачем тобой я позабыта?
А у него одна забота —
С друзьями по лесам охота.
Адонис мне волнует кровь,
Меня замучила любовь.

Появляются Агамемнон, Одиссей и Ахилл. Останавливаются в дверях. Женщины, увлеченные пением, их не замечают.

**Агамемнон.** Похоже, что это не дом спартанского царя, а этот… как его…

**Ахилл.** Женская баня.

**Агамемнон.** Именно женская баня.

**Одиссей.** Только закаленному спартанцу под силу париться в таком обществе.

**Агамемнон** *(ударяя мечом о щит)*. А ну, брысь отсюда, мокрохвостые!

Женщины, заметив вооруженных воинов, с визгом разбегаются. За сценой раздаются трубные звуки охотничьего рога. Входит **Менелай,** вооруженный луком и колчаном со стрелами. За ним слуга несет на плечах тушу рогатого оленя.

**Менелай.** Ба-ба-ба! Кого я вижу! Агамемнон, брат мой!

Следуют объятия.

**Агамемнон.** Позволь тебе представить моих друзей — Одиссей Лаэртид, царь Итаки.

**Менелай.** Много слышал о вас, хитроумный Одиссей.

**Одиссей.** Это ничто в сравнении с тем, что я слышал о вас, особенно за последнее время.

**Менелай.** В последнее время мне везет. Вот и сегодня была удачная охота. Едва рассвело…

Менелай что-то негромко, но с увлечением рассказывает Агамемнону и Одиссею. Ахилл, закончив разглядывать оружие на стенах, обращается к слуге.

**Ахилл.** Говорят, в Спарте самые крупные олени.

**Слуга** *(убежденно)*. Самые крупные.

**Ахилл.** Но я раз подстрелил оленя на Родосе. Он был значительно крупнее этого.

**Слуга.** На Родосе олени значительно крупнее.

**Ахилл.** А в Фессалии олени во много раз превосходят родосских.

**Слуга.** Во много раз превосходят.

**Ахилл** *(недоуменно).* А говорят, что в Спарте олени самые крупные.

**Слуга** *(с прежней убежденностью).* Самые крупные.

**Ахилл** *(смерив слугу взглядом).* А тебе не кажется, что ты со мной разговариваешь, как с идиотом?

**Слуга.** Что вы, ваша милость. Я не смею с вами разговаривать. Это вы сами с собой разговариваете. А я у вас вроде зеркала. Кто же сердится на зеркало?

**Ахилл.** Идиот.

**Слуга.** Правильно. Только идиот.

**Ахилл.** Ты — идиот! Убирайся отсюда, пока цел!

**Слуга.** Бить зеркало — дурная примета.

Оставляет оленя и уходит.

**Агамемнон** *(указывая на Ахилла).* А это Ахилл. Ахилл, подойди поздоровайся с моим братом.

**Ахилл** подходит, хромая. Здороваются.

**Менелай.** Почему вы хромаете?

**Ахилл.** Это с детства. Что-то с пяткой.

**Менелай.** Надо съездить в Дельфы, спросить у всезнающей Пифии. Она поможет.

**Ахилл.** Спрашивал. Она ответила, что я должен опасаться пятого числа каждого месяца и не предпринимать никаких дел в пятницу, а то я рискую спятить.

**Агамемнон.** Так и сказала?

**Ахилл.** Слово в слово.

**Агамемнон.** Тут что-то не так. Пифия всегда произносит свои пророчества в стихах. А это, мне кажется, не стихи.

**Одиссей.** Надо чаще бывать в Дельфах, Агамемнон. *(Ко всем.)* Недавно, когда Пифия произнесла очередное свое пророчество в стихах, один философ спросил ее, почему она, всезнающая Пифия, не знает, что сочиняет совершенно бездарные стихи. С тех пор она пророчествует в прозе. Тоже бездарной.

**Агамемнон.** Я не согласен. Раз ее стихи были официально признаны, значит, они не бездарны. *(Декламирует.)*

Лишь когда белизной пристаней засияет софнийской
И когда белой оградой оденется рынок, тогда-то,
Благоразумный, засады древесной
Багряного вестника бойся.

Одиссей пожимает плечами и разводит руками. Ахилл чешет в затылке. Менелай смеется.

**Агамемнон** *(горячо).* Раньше было непонятно, но красиво. А

теперь понятно и… и все!

**Менелай.** Но медноблещущие друзья мои! Что за грозный вид? Эти шлемы, латы… У меня вы можете чувствовать себя в безопасности.

**Агамемнон.** Ха-ха! В безопасности! Ты беспечен, как этот…

**Ахилл.** Птичка.

**Агамемнон.** Да, как птичка. Вся Эллада говорит о позорной измене твоей жены, а ты чем занимаешься?

**Одиссей.** *(Агамемнону).* О какой измене ты говоришь? Разве Елена не у тебя в Микенах?

**Агамемнон.** *(ко всем).* У меня? Нет, это возмутительно! Вся Эллада знает, что его жена с Парисом в Трое, а он хлопает глазами, как этот… этот…

**Ахилл.** Корова.

**Агамемнон.** Да, как корова. Именно как корова.

**Менелай.** Не может быть! На Елену это совсем не похоже.

**Одиссей.** Но может быть, похоже на Париса?

**Менелай** *(спокойно).* Значит, такова воля богов.

**Агамемнон** *(ко всем).* Вы слышали? И это мой брат! *(Менелаю.)* Все, кому не лень, перетряхивают твое бельишко. Мне моя Клитемнестра проходу не дает: подробности ей подавай! Распустили языки!

**Менелай** *(Агамемнону).* Что ты орешь, я тебя спрашиваю? Разорался. Орет и орет, слова не дает сказать. Крикун. Я догадываюсь, почему ты так заступаешься за мою супружескую честь. Проиграл в кости, хочешь отыграться в лапту? Кто этот брюнетик, которого я часто встречал в твоем доме?

**Агамемнон.** Какой брюнетик? Мало ли в Элладе брюнетиков.

**Менелай.** Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Тот самый, который услащает твою жену Клитемнестру игрой на кифаре и обязательно оказывается тут как тут, когда ты собираешься уезжать на охоту или…

**Агамемнон.** Хватит намекать! Я без тебя знаю. Ты имеешь в виду Эгисфа? Ну и что? Что в этом дурного или предосудительного? Да, Клитемнестра скучает, да, они вместе музицируют, прогуливаются, делятся прочитанным. Да, он милый и любезный юноша. Ты знаешь, недавно я даже согласился… то есть я сам… да, да! Именно сам настоял, чтоб он переселился к нам. Да, Клитемнестра привыкла к нему. Эгисф для нее, как этот… этот…

**Ахилл.** Не знаю кто.

**Агамемнон.** Совсем не то, о чем вы все думали. Эгисф очень несчастен. Он совсем ничего не может… ну, не способен как мужчина.

**Менелай.** Откуда ты знаешь?

**Агамемнон.** Он сам мне признался по секрету. Я нарочно рассказал об этом Клитемнестре, и она хохотала над ним до слез.

**Одиссей.** Ты уверен, что над ним?

**Агамемнон.** А над кем же еще? Не надо мной же. Я здоров, как этот… как бык!

**Ахилл.** Именно, как бык.

**Агамемнон.** Кстати, после этого она стала с ним очень нежна, и я оставляю их без всякой опаски. *(Менелаю.)* Вели дать мне что-нибудь попить, в горле пересохло. Да, да, без всякой опаски.

Слуга по знаку Менелая подает Агамемнону кубок. Агамемнон пьет.

*(Орет неожиданно.)* Все, что происходит в моем доме, происходит в моем доме! Все знают, что я спокоен и счастлив! А твое имя трепят по всей Элладе от Спарты до Микен!

**Менелай.** Ты знаешь, мы не ладили с Еленой. Я никогда не любил ее, а она меня.

**Одиссей.** Тем более сейчас самое время кричать на всех перекрестках о вашей любви.

**Менелай.** Зачем? Все знают, что мы с ней жили, как кошка…

**Ахилл.** С мышкой.

**Менелай.** Не подсказывай мне. Я сам.

**Агамемнон.** Сам ты вон до чего довел. Ты тяжко оскорблен!

**Менелай.** Подожди.

**Агамемнон.** Ты сошел с ума от горя!

**Менелай.** Ерунда.

**Агамемнон.** А я говорю: сошел. Ты рвешь и мечешь. Рвешь и мечешь, как этот…

**Ахилл.** Рыба.

**Агамемнон.** Да, как рыба. Как кит-левиофан.

**Одиссей.** Киты ничего не мечут. Они пускают фонтаны.

**Агамемнон.** Ты пустишь фонтан крови и смоешь позор.

**Менелай.** Глупости.

**Одиссей.** Его глупости не так глупы.

**Агамемнон** *(никого вокруг себя не видя, с увлечением)*. Оскорбленный царь воинственной Спарты сумеет отомстить за обиду!

**Одиссей.** Браво, прекрасно сказано! А теперь о деле. *(Менелаю.)* Вы хотите, чтобы жена снова вернулась к вам?

**Менелай.** Ну, если, по-вашему, без этого нельзя теперь обойтись, я конечно же…

**Одиссей.** Да или нет?

**Менелай.** Нет.

**Одиссей.** Превосходно. Надо сделать все, чтобы Елена не захотела возвращаться. Судя по всему, это не трудно. Тогда мы вправе осадить город и взять его штурмом. Троя несказанно богата, обиженных не будет.

Начать войну — значит, приготовить такое блюдо, в котором все решает соус. Без соуса это блюдо становится поперек горла. Нормальные люди отвергнут такое кушанье, и тогда его придется съесть самим поварам. А это часто приводит к завороту кишок.

Другое дело — под соусом. Рецептов не много, но соус должен быть непременно благородного вкуса, сдобренный острыми пряностями всяких специй. Итак, рецепт первый, самый старый, проверенный на пищеварении многих народов. Вам захотелось прогуляться в небольшой компании друзей, человек десять — пятнадцать тысяч. В поисках красивых пейзажей вы заблудились и, совершенно случайно, оказались на чужой территории. И вдруг какие-то безумцы набрасываются на вас с явной целью вас уничтожить. Совершенно неожиданно вы обнаруживаете, что вооружены до зубов и, естественно, начинаете обороняться. Этот соус хорош, но ему недостает вкусовых тонкостей.

Другой рецепт. Разбирая старый хлам на чердаке, вы находите древний папирус, договор, где черным по белому написано, что правители соседних государств навечно предоставляют свои природные богатства в полное распоряжение вашего пра-пра-пра-пра-пра. Все подписи, кроме росчерка прародителя, разобрать невозможно — увы! — губительное действие неумолимого времени. Копии древнего договора вы немедленно рассылаете правителям указанных стран и как гарантию подлинности вашего документа переводите войска через границу. У этого соуса тоже есть некоторые недостатки — он слишком тонок на вкус.

И наконец, третий рецепт. Среди чужого народа насильно задерживают вашего подданного, лучше, если это ваш друг, ну а если жена — об этом можно только мечтать, поймите меня правильно!

Долг повелителя, земляка, друга, а тем более мужа заставляет вас немедленно спасать жертву чудовищной несправедливости. Этот соус так хорош, что даже при одном упоминании о нем у меня текут слюнки. И поверьте мне, пройдут тысячелетия, но людям с ненасытными желудками вполне хватит этих трех рецептов!

**Агамемнон.** Мы уже обо всем договорились. Я выбран главой похода. Все герои Эллады присоединятся к нам. Аякс Теламонид так и рвется в бой, как этот… этот…

**Ахилл.** Дурак.

**Агамемнон.** Как дурак. Постой, кто это дурак?

**Одиссей.** Тот, кто не воспользуется удачным предлогом. Второго такого случая может нам никогда не представиться.

**Менелай.** Трубите сбор. Я ваш, друзья!

**Агамемнон.** Я узнаю тебя, брат мой! О доле в добыче договоримся позже.

## Картина пятая

Троя. Дворец Приама. Портик и колоннада. Вдали видна гавань Сигея. С разных концов колоннады появляются **Рыжая** и **Парис.** Бегут друг к другу. Сходятся.

**Парис.** Прибыл вестник. Они требуют выдать Елену. Вот потеха!

**Рыжая.** Тебе смех, а мне слезы. Что, если они меня увидят?

**Парис.** Гляди веселей, козочка. Ведь ты-то не Елена. То есть Елена, да не та. *(Смеется.)*

**Рыжая.** Очень весело, ха-ха-ха! Ты что, хочешь, чтобы вся Троя узнала, кто я на самом деле? Предатель!

**Парис.** Ты очень красивая, козочка, но у тебя тут *(показывает на лоб)* немного не хватает. Да если ты сейчас на весь мир станешь кричать, кто ты такая на самом деле, тебе никто не поверит. Ни за что не поверят, хоть умри.

**Рыжая.** Как это?

**Парис.** А так. Стал бы Менелай баламутить всю Элладу из-за своей жены. Елена-то у него ведь не золотая. А он сюда, чует мое сердце, за золотом подгреб.

**Рыжая.** А если я буду стоять на том, что я и есть Елена, то есть царица спартанская, тогда что?

**Парис.** Стой хоть на голове, козочка, уже ничего не изменишь. Видно, придется папаше крупно раскошелиться. Без отступного они не уйдут. *(Оглядывается.)* Вот он, любезный мой папаша. Сюда спешит. *(Рыжей)* Иди к себе.

**Рыжая** убегает. Появляется старый Приам.

**Приам** *(Парису)*. Они не отступятся, сын мой. Море черно от греческих кораблей.

**Парис.** Я им Елену мою не уступлю. Ни за что. Так и знайте.

**Приам.** Я понимаю тебя, Парис, дитя мое. Я сам был молод и шаловлив. Но шалость шалости рознь. Ты видишь, как далеко зашло. Я — государь и не могу подвергать смертельной опасности мой народ.

**Парис.** Гектор говорит, что Троя может выдержать любую осаду.

**Приам** *(внезапно вскипев)*. Гектор! Мало я ему уши драл в свое время. *(Успокаивается.)* Я знаю, что вы, молодежь, не прочь подраться. Вы не думаете о последствиях.

**Парис.** Я люблю ее. Вам, папаша, меня не понять.

**Приам** *(смиренно)*. Я понимаю, очень понимаю. Но подумай о своей старой матери, о соплеменниках, а не только о себе. Да просветят тебя боги!

**Парис.** Богов не тревожьте, папаша. Вам своего кошелька жалко.

**Приам** *(снова вскипев)*. Цыц, молокосос! Пастухом ты был — пастухом и умрешь. Нет в тебе государственного ума. Нечего было красть чужую жену, будто своих девок мало. Выдам я им Елену, так и знай.

**Парис.** Ничего из этого не выйдет.

**Приам.** Вон с глаз моих! *(Парис уходит.)* Эй, кто там? Принять ахейских послов!

Рев боевых труб. Входят **Агамемнон, Менелай, Одиссей.**

Рад, очень рад видеть вас, молодые люди. Извините, я запросто, по-домашнему. Чем могу служить?

**Агамемнон.** Вы знаете наши условия.

**Приам.** Как же, как же. Что-то припоминаю. Который из вас Менелай Атрид?

**Одиссей.** Вот он, этот доблестный муж. *(Указывает на Менелая.)*

**Приам.** Очень приятно. *(Менелаю.)* Разрешите дать вам один совет, как сыну, по-стариковски: следить надо за супругой, молодой человек. Да… Уж если женились на красивой, тут глаз да глаз… А вообще-то лучше всего жениться на глупой, уж можете мне поверить. Умная может наделать мужу неприятностей, глупая — только себе.

**Менелай.** Мы пришли сюда не за советами.

**Приам.** Ну, не нравится — как угодно. Я вам же добра желаю. В молодости действуешь, в старости соображаешь. Так чем могу быть полезен?

**Агамемнон.** Мы требуем выдать нам Елену — законную супругу царя Спарты. А вы тут турусы на колесах разводите, как этот… этот… *(Озирается.)*

**Одиссей** *(Агамемнону)*. Почему ты не взял с собой Ахилла?

**Агамемнон** *(Одиссею)*. Сегодня пятое число, и к тому же пятница. Говори лучше ты.

**Одиссей** *(Приаму)*. Итак, почтенный государь, что вы нам ответите на наше первое требование?

**Приам.** А разве у вас этих требований много? Что-то я запамятовал, извините великодушно.

**Агамемнон.** Второе наше требование — выкуп золотом и рабами за причиненный моральный ущерб.

**Приам.** Моральный ущерб — это нечто бесплотное, эфирное. Звук, так сказать, неосязаемый. А золото и рабы — вещи очень даже осязаемые. Неравноценно.

**Одиссей.** Вернемся к первому пункту: согласны вы выдать Елену или нет? Если нет, второй пункт сам собой отпадает.

**Приам.** Как я могу распоряжаться чужеземной царицей, женщиной, да еще и чужой женой? Пусть она сама за себя решает. А там посмотрим сообразно обстоятельствам. *(Слугам.)* Пригласите сюда госпожу Елену.

Входит **Гектор,** гремя латами.

Знакомьтесь. Мой старшенький. Гектор. *(Гектору.)* А где же госпожа Елена?

**Гектор.** Одевается к выходу.

**Приам.** Все еще одевается, подумать только! *(Менелаю.)* Она у вас в Спарте тоже так долго прихорашивалась?

**Гектор** *(Приаму)*. Вы хотите узнать, папа, долго ли она одевалась в Спарте, чтобы быстро раздеться в Трое? *(Хохочет, ко всем.)* Ничего, да?

**Менелай** *(хватаясь за меч)*. Я тебя зарублю, негодяй!

**Гектор.** Тебе проще меня забодать. *(Хохочет, ко всем.)* Тоже ничего, да?

**Одиссей** *(Менелаю)*. Спокойно, не горячись. Ответь Гектору ты, Агамемнон. Он, кстати, брюнет, вроде Эгисфа.

**Агамемнон** *(Гектору)*. А ты — кусок падали, меч без клинка, барабанная шкура…

**Гектор.** Слабо, очень слабо. Ты, Агамемнон, просто детская отрыжка.

**Приам** *(внезапно вскипев)*. Прекратить! Что за ругань! Мальчишки! *(Успокаивается.)* Вот в мое время… Как же это? Сейчас… сейчас. Так и вертится на языке!..

Входит **Елена Рыжая.**

**Менелай.** Рыжая, а ты что тут делаешь?

**Рыжая** *(Приаму)*. Он *(указывая на Менелая),* мой бывший муженек, сам придумал мне такое прозвище — Рыжая. Рыжая да Рыжая. Никогда Еленой не назовет. *(Одиссею.)* Здравствуй, Агамемнон.

**Одиссей.** Ты мне льстишь. Я не Агамемнон.

**Рыжая** *(Агамемнону)*. Ой, я тебя в шлеме-то и не узнала. Богатым будешь.

**Агамемнон.** Я и так не бедняк. Ты меня знаешь?

**Рыжая.** Тебе что, голову напекло? Я же твоя свояченица.

**Агамемнон** *(недоумевая, ко всем)*. Кто это?

**Рыжая** *(Приаму)*. Своих не узнает. Как там моя сестрица Клитемнестра?

**Агамемнон** *(ко всем)*. Кто это такая?

**Менелай.** В том-то и дело, что Елена. Елена — имя женское.

**Агамемнон.** Я требую, чтобы сюда явилась Елена, дочь Тиндарея, царица Спарты. А это какая-то Рыжая… Просто возмутительно!

**Рыжая.** Так я, по-твоему, не Елена, не царица? Кто же я по-твоему?

**Агамемнон.** Вот я и спрашиваю: кто?

**Одиссей** *(Приаму)*. Вы уверены, что это царица Спарты?

**Приам.** Вам лучше знать, молодой человек.

**Гектор.** За что купили, за то и продаем.

**Рыжая** *(Одиссею)*. Как вы смеете сомневаться, что я царица? Здесь в Трое никто в этом не сомневается!

**Приам** *(Менелаю)*. Вы узнаете эту женщину? Она ваша?

**Менелай.** Была моя…

**Агамемнон.** Что значит «была»? Что значит «была»?

**Одиссей.** Мне кажется, мы сейчас доберемся до истины, или я не я. Если это Елена Спартанская, изменившая супружескому долгу, царственная гордость не позволит ей вернуться домой, где ее, кстати, ждут одни неприятности… А если это подставное лицо…

**Менелай.** Какая-нибудь глупая простушка неблагородных кровей, обманом проникшая в дом Приама…

**Рыжая** *(Менелаю)*. А тебе уж сомневаться не следует. Ты-то клялся быть верным жене и на других женщин даже не глядеть. Всем известно… Ну что, узнаешь меня, муженек?

**Менелай.** Да, узнаю, кажется…

**Рыжая.** Ах, тебе кажется, а мне не кажется. Я точно знаю, что ты мой бывший супруг. Хотите докажу?

**Агамемнон.** Попробуй докажи!

**Рыжая.** Тут и пробовать нечего. *(Менелаю.)* У тебя есть родимое пятно, маленькое, похожее на дубовый листочек?

**Агамемнон.** Где у него такое пятно? *(Менелаю.)* Где у тебя такое пятно? Где?

**Менелай.** Ну, есть пятно, есть…

**Агамемнон.** Почему я не знаю? Я брат.

**Одиссей.** Брат, но ведь не жена.

**Агамемнон.** А я не верю. Не верю, и все! *(Менелаю.)* Где у тебя такое пятно? Покажи!

**Менелай** *(Агамемнону)*. Неудобно. Неудобно!

**Гектор** *(указывая на Агамемнона)*. Дуб хочет посмотреть, не его ли это листочек. *(Хохочет.)*

**Агамемнон** *(Гектору)*. Повтори, что ты сказал!!!

**Одиссей.** Успокойся, Агамемнон. Перед нами Елена Спартанская. Теперь это всем ясно.

**Агамемнон.** Она на Елену похожа, как я на этот… на барана.

**Гектор.** Значит, она — Елена. Ты же вылитый баран.

**Агамемнон.** Я баран? Я?!

**Приам.** Гектор! Смир-но!

Гектор вытягивается и замирает.

**Одиссей.** Перестань, Агамемнон. Ты срываешь переговоры. Нет ничего удивительного в том, что ты не узнал свою свояченицу. Боги вольны изменять внешность любого смертного. Тому много примеров: охотник Актеон превратился в оленя, ткачиха Арахна в паука… *(Агамемнону.)* Ты что-нибудь имеешь против богов?

**Агамемнон.** Я? Нет, помилуй, боги… но…

**Одиссей.** Никаких «но». Ведь Менелай узнал ее сразу. Мы все — свидетели.

**Рыжая** *(Одиссею)*. Верно, верно. Ты угадал. Боги изменили мою внешность. Конечно. Ох ты и догадливый! Как тебя зовут?

**Одиссей.** Одиссей.

**Рыжая.** Одиссей? Ты — Одиссей! Люди недаром прозвали тебя хитроумным. Ты мне нравишься.

**Гектор.** Сначала Тесей, потом Менелай, за ним — Парис, теперь Одиссей. Кто последний, я за вами. *(Хохочет.)* Ничего, да?

**Рыжая** *(Гектору)*. Все Парису скажу. Нахал!

**Приам** *(будто очнувшись)*. Ах я старый дурак! Тупой трезубец!

**Гектор.** Папа, папа! Мы не одни.

**Одиссей** *(Приаму)*. Вы что-то хотели сказать, почтенный Приам?

**Приам.** Нет, ничего. Теперь ничего. Совсем ничего.

**Одиссей.** Елена, дочь Тиндарея, отвечай: хочешь ты вернуться в Спарту?

**Рыжая.** Что я там забыла? Мне и здесь хорошо.

**Одиссей.** Я думаю, уговаривать царицу бесполезно. Да и невежливо. *(Менелаю.)* Крепись, мой бедный оскорбленный друг.

**Приам.** Факел! Факел! Сбывается сон моей Гекабы!

**Одиссей** *(читает по папирусу)*. Приам, сын Лаомедонта, государь Трои! Елена Спартанская, при сем присутствующая, жена Менелая Атрида, царя Спарты, при сем присутствующего, похищенная вашим сыном Парисом, при сем явиться не пожелавшим, тяжко оскорбившим своего гостеприимца в лице царя Спарты…

**Приам.** Подождите, молодой человек! Я согласен на любой

выкуп!

**Гектор.** Папа, не унижайтесь перед этими. *(Показывает рожки.)* Мы им рога пообломаем!

**Агамемнон** *(Гектору)*. *Я* тебе дам детскую отрыжку! Война объявлена!

## Акт второй

Между первым и вторым актами проходит десять лет.

### Картина шестая

Египет. Зала в доме Протея. Мебель перевернута вверх дном. Из нее образовано что-то вроде крепостного вала. Двое мальчиков — 9 и 7 лет — гоняются друг за другом и сражаются на бамбуковых палках. **Старший** загоняет младшего за «вал».

**Старший** *(останавливается и трубит в воображаемую трубу)*. Тру-ру-ру! Ту-ту! Вызываю тебя на бой. Отдавай мою жену Елену. **Младший** *(вылезает из за мебели)*. Я так не играю. Мне надоело быть Парисом. Я хочу быть Менелаем.

**Старший.** Это не честно! Мы так не договаривались.

**Младший.** А вот и честно! Вот и честно!

**Старший.** Ах так? Тогда — вот тебе!

С треском хлопает младшего палкой по голове.

**Младший** *(кричит)*. Мама! Мамочка! *(Громко ревет.)*

Входит **Елена.**

**Елена.** Дети, что у вас происходит?

**Старший.** Мама, мама, мы играем в осаду Трои. Я Менелай, а он — Парис.

**Елена.** Сейчас же перестаньте и поставьте все на место. Какая отвратительная игра!

**Младший.** Мама, он меня ударил.

**Елена.** Ты знаешь, я не люблю ябедников. И не реви.

Появляется старый **Фонис.**

**Фонис.** Прости, Елена. Страже нужно пройти через покои.

Через сцену пробегают вооруженные копьями **эфиопы.**

Лучше увести отсюда детей. **Елена.** Хорошо. *(Зовет.)* Эфра! Эфра!

Входит **Эфра.**

Уведи детей во внутренние покои.

**Эфра.** Пойдемте, вояки. Я приготовила вам такую дыню… *(Уходит с детьми.)*

**Елена.** Ты меня напугал, Фонис. Что-нибудь случилось?

**Фонис.** Пока ничего особенного, Елена. Стража ловит одного

подозрительного человека. Он появился сегодня утром в Мемфисе. Расспрашивал людей о доме Протея, а вечером добрался сюда и допытывался у слуг, что они знают о тебе.

**Елена.** Обо мне?

**Фонис.** Да. Стража видела, как он перелез через ограду и теперь прячется где-то в саду.

**Елена.** Великие боги! Как выглядит этот человек?

**Фонис.** Это нищий бродяга. Носит плащ с капюшоном, под которым прячет лицо. Будет лучше, если ты уйдешь к детям, Елена.

**Елена.** Хорошо, мой Фонис. Сейчас я уйду.

**Фонис.** А я предупрежу Протея, чтобы зря не подвергал себя опасности. Неизвестно, кто этот нищий и что у него на уме. *(Уходит.)*

**Елена.** Что же это я так перепугалась? Сердце готово выпрыгнуть.

Неожиданно в комнату через окно вскакивает какой-то человек. На нем длинный оборванный плащ, широкий капюшон скрывает лицо. Елена, вскрикнув, отступает, загораживаясь локтями. Заметив Елену, неизвестный выхватывает из-под плаща кинжал.

**Неизвестный.** Закричишь — отправлю к Харону. Показывай, где здесь выход. **Елена** *(опускает руки).* Менелай!

Бродяга отбрасывает за плечи капюшон. Это Менелай.

**Менелай.** Елена!

**Елена.** Что тебе здесь нужно?

**Менелай.** Я не могу с тобой разговаривать, за мной гонятся.

**Елена.** Здесь тебя никто не посмеет тронуть. Менелай. Ты меня не обманываешь?

**Елена.** И это спрашиваешь у меня ты? Ты?

**Менелай.** Прости. Я отвык от тебя.

**Елена.** Что все-таки тебе здесь нужно?

**Менелай.** Осада Трои идет уже десятый год. Эллины истекают кровью.

**Елена.** Здесь нет моей вины.

**Менелай.** Я знаю. Но мы будем драться до победы.

**Елена.** Еще бы! Победителей не судят. Но ты не ответил на мой вопрос: зачем ты здесь?

**Менелай.** Я буду откровенен. Мы опасаемся, что ты объявишь себя, а это может быть… э… э… неверно понято в войсках.

**Елена.** Кто это — мы?

**Менелай.** Мы, военачальники. Многие, кто посвящен, настаивают на твоей смерти.

**Елена.** И ты вызвался быть моим тайным убийцей. Логично.

**Менелай.** Елена, может быть, я виноват перед тобой, но такое — никогда! Я вызвался разведать все о тебе и, если удастся, взять с тебя слово, что ты никогда не покинешь пределы Египта и забудешь, кем ты была раньше. Тебя не тронут. Не доводи до крайности, Елена, не вынуждай нас к этому шагу. Если такое случится… Я не трус, Елена, ты знаешь, но теперь я боюсь… я стал бояться возмездия…

**Елена.** Боги справедливы. Я стала твоей женой, а ты пренебрегал мной. Не Парис, а ты оскорбил мою честь. Ты любил власть и то, что она давала тебе. А теперь твоя власть заставляет тебя сражаться за любовь ко мне и, может быть, отдать за это жизнь. Это возмездие, Менелай.

**Менелай.** Как бы то ни было, дай мне слово, прошу.

**Елена.** Я знаю, что, если я попытаюсь помешать этой чудовищной бойне, я ничего не достигну. О, как бы я хотела вам помешать!

**Менелай.** Но ты все-таки спартанка, Елена.

**Елена.** Родина женщины там, где ее любовь. Я счастлива с Протеем. Здесь я стала матерью, здесь родила моих сыновей. Родина женщины в той земле, где царит мир. Кто не понимает это — тот страшнее убийцы и беднее нищего. Спрячь кинжал, Менелай. Я знаю, ты не задумываясь убил бы меня, если бы я не дала тебе слова. Боги! Даже если я сейчас объявлю себя, мне уже никто не поверит. *(Менелаю.)* Я даю тебе слово.

**Менелай.** Как мне выбраться отсюда?

**Елена** *(приоткрыв маленькую, скрытую за занавеской дверь).* Иди, все время держась правой стены. Ход выведет тебя за пределы сада, к реке.

**Менелай.** Прощай, Елена. А ты похорошела. Прямо красавица.

**Елена.** Прощай, царь Спарты.

**Менелай** проскальзывает за потайную дверь. Елена задергивает занавеску. Входит **Протей.**

**Протей.** Елена! Почему ты не ушла во внутренние покои? Люди ищут тебя по всему дворцу. Этот нищий бродяга не пойман до сих пор.

**Елена.** Он только что был здесь.

**Протей.** Кто?

**Елена.** Этот нищий.

**Протей.** Эй, стража!

**Елена.** Не надо. Это жалкий безумец, может быть, осталось недолго жить.

**Протей.** А что ему было нужно?

**Елена.** Что нужно нищим? Подаяние.

**Протей.** Как же он выбрался отсюда?

**Елена.** Я показала ему потайной ход к реке.

**Протей.** Сейчас велю заделать этот ход наглухо.

**Елена.** Верно, милый. Я сама хотела просить тебя об этом. А то повадится, испугает детей.

## Картина седьмая

Под Троей. Военный лагерь. На возвышении, покрытом коврами и шкурами, сидят **Менелай** и **Одиссей. Агамемнон** стоит. Невидимая толпа воинов ревет, как штормовое море.

**Агамемнон.** Это возмутительно! Дайте же мне сказать!

Крики со всех сторон: «Снимайте осаду! Опускайте корабли! Домой! Домой!» Агамемнон, безнадежно махнув рукой, садится.

**Менелай** *(вскочив).* Малодушные! *(Гневный ропот тол пы.)* Когда коварный Парис похитил мою жену, вы поклялись отомстить за обиду, пока не будет разрушена Троя. Поклялись вы или нет? Я вас спрашиваю!

Толпа глухо ропщет.

Где ваши клятвы? Вот она перед нами, презренная Троя, — целая и невредимая. А вы уже готовы бросить все и бежать домой. Пусть троянцы смеются над нами. Отныне они могут безнаказанно похищать наших жен и оскорблять нас, потому что мы не мужчины, а жалкие трусы! Трусы! Трусы!

Угрожающий ропот толпы. Менелай садится. На возвышение поднимается простой воин. На нем нет медных лат, шлем кожаный. В руках тяжелое копье.

**Воин** *(почесываясь).* Я говорить не умею, но все-таки скажу.

**Крики из толпы:** «Говори! Пусть говорит!»

**Агамемнон** *(воину).* Назови себя.

**Воин.** Зачем? Для вас мы все на одно лицо.

Возбужденный говор, смех.

**Агамемнон.** Кто это «мы»?

**Воин.** Мы. Простые воины, значит.

**Одиссей** *(Агамемнону).* Пусть говорит.

**Воин** *(Менелаю).* Ты, стало быть, думаешь, что мало мы отомстили за тебя, Атрид Менелай? Это за десять-то лет войны, а?

Оглушающий рев толпы.

Ты хочешь сидеть здесь еще десять лет? *(Обращается к толпе.)* Братья! Ему мало смерти Диомеда, любимца Афин, Патрокла, Аякса Теламонида… да разве всех перечислишь? А теперь погиб Ахилл — храбрейший из нас — от пустячной раны в пятку. Он *(указывая на Менелая)* желает, чтоб все мы сложили

здесь голову за его бабу! **Агамемнон.** Как ты смеешь, простой воин, говорить перед лицом военачальников, как этот… этот…

Пытается столкнуть воина с возвышения, но воин решительно усаживает Агамемнона на место.

**Воин.** Отдохни, царь.

**Одиссей.** Терпение, Агамемнон, терпение.

**Воин.** Вам, царям да начальникам, легко быть терпеливыми. Ваши палатки и корабли полны богатой добычи. О себе вы позаботились куда лучше, чем о нас.

Ропот толпы.

Сначала и мы терпели. Каждая дружина получала столько добычи, что могла менять ее на мясо, на хлеб и вино, сколько ей было нужно. Теперь что? Даже купеческие корабли перестали заходить сюда, в гавань Сигея. Нет у нас больше надежды на падение Трои. Нет, поняли? Двенадцать городов на суше и одиннадцать с моря взяли мы, пока троянцы отсиживались за своими стенами. Тебе мало, Менелай?

Чужой кровью сыт не будешь. Ты говоришь, наших баб порастащат? И верно, порастащат, пока мы здесь за твою умираем. Кончай эту войну! Спускай корабли — и домой! Домой!

Толпа шумит. Поднимается Одиссей. Кладет воину руку на плечо.

**Одиссей.** Друг мой, ты женат?

**Воин.** Женат.

**Одиссей.** Значит, должен знать, что иной раз от жены не то что под Трою, на край света сбежать хочется.

Смех.

**Воин.** Бывает, Одиссей. **Одиссей.** А у Менелая, представь себе, такая жена, что он сам за ней на край света прибежал, да еще и нас за собой увлек. Да я хоть двадцать лет готов здесь пробыть, чтобы хоть одним глазком взглянуть на такую невиданную жену.

Дружный хохот.

Друзья мои! Доверяете ли вы мне, Одиссею?

**Крики:** «Доверяем!»

Десять лет не покорялась нам Троя. Дайте мне еще десять дней, и победа будет за нами. Решайте.

Возбужденный говор толпы.

**Воин.** Ну что, братья? Поверим в последний раз хитроумному Одиссею?

**Крики:** «Поверим! Поверим!»

Ну, Одиссей, десять дней твои. А там — домой!

**Воин** уходит. Шум толпы постепенно затихает.

**Менелай** *(Одиссею)*. Ты обманул их или в самом деле

придумал какую-нибудь хитрость?

**Одиссей.** Кажется, придумал. Мы построим деревянного коня, такого большого, чтобы вы смогли влезть ему в брюхо и сидеть тихо, как мыши.

**Агамемнон.** Ха-ха! Как мыши! Это здорово — как мыши. Что-то я ничего не понимаю.

**Одиссей.** Это не беда. Главное, чтобы троянцы ничего не поняли.

## Картина восьмая

Троя. Дворец Приама. Те же портик и колоннада. Раннее утро. Вбегает **Парис.** Срывает шлем и кидает его о землю.

**Парис.** Обломали мы им рога! Слава богам-покровителям! Трубачи! Трубите так, чтоб мой братец Гектор встал из могилы и порадовался вместе с нами.

Оглушительные фанфары. Вбегает Приам.

**Приам.** Что случилось, сын мой? Враг ворвался в город?

**Парис** *(торжествующе)*. Взгляните на море, папаша. Берег чист, как глаза обманщика. Ночью греки подняли паруса и, поджав хвосты, отгребли в свою Элладу.

**Приам.** Быть не может! *(Смотрит на море, всплескивает руками.)* Слава богам! Слава богам! Слава богам!

Шум за сценой.

Что там за шум? **Парис.** Греки зачем-то оставили на берегу деревянного коня. Здоровенного. Теперь народ бежит посмотреть на это диво.

Входит **троянский воин.**

**Воин** *(Приаму)*. Государь! Только что наши люди схватили в тростниках на берегу подозрительного человека. **Парис** *(Воину)*. Тащи его сюда.

Два воина втаскивают **Одиссея.** Его трудно узнать: на нем грязное рубище, волосы всклокочены, борода побрита, лицо перепачкано грязью. Он связан.

**Одиссей** *(подвывая)*. Горе мне! О-о-о! Эллины хотели убить меня, а теперь троянцы угрожают мне смертью! О! О! О!

Воины толкают Одиссея. Он падает на колени перед Приамом. **Приам** *(воинам)*. Развяжите его.

Одиссея освобождают от пут. А теперь развяжите ему язык.

Воин замахивается на Одиссея древком копья.

**Одиссей.** Не бейте меня! Я все равно скажу правду, даже если вы меня потом убьете. Да, я эллин. Меня зовут… Синон. Да, Синон, так меня зовут… Я бежал от эллинов, потому что мне грозила гибель. Долгая война измучила нас. Мы не хотели

больше голодать и умирать под стенами Трои. Я, Синон, выступил на собрании и от имени всех воинов потребовал немедленного возвращения на родину. Военачальники вынуждены были уступить нам.

И тут Одиссей — о, этот Одиссей, лживый Одиссей, коварнейший из людей Одиссей, — он подкупил нашего прорицателя старика Калхаса, и тот… и тот… *(делает вид, что рыдания мешают ему говорить)* и тот — о, Калхас, златолюбивый прорицатель, — он объявил собранию, что все благополучно вернутся на родину, если принесут в жертву богам… меня! Меня, Синона! О, я несчастный!.. *(Опять рыданья.)*

Никто не заступился за меня. Вот и выступай после этого на собраньях! И тогда я бежал. Десять дней я прятался в тростниках на берегу. Они не нашли меня. Ночью они подняли паруса и бесславно отплыли на родину. Милая моя родина! Мне больше никогда не увидеть престарелого отца, любимую жену, моих малых детушек! И за что, за что? За то, что я боролся за мир!

**Приам.** Утешься, злополучный! Забудь отныне своих неблагодарных соотечественников. Мы дадим тебе приют.

Одиссей подползает к Приаму и целует край его одежды.

**Парис.** Скажи-ка, Синон, зачем это грекам понадобилось сооружать деревянного коня на берегу?

**Одиссей.** Они хотели меня убить, и я вправе нарушить клятву и открыть вам их тайну. Конь этот сооружен в дар Афине Воительнице, чтобы она не гневалась на малодушное бегство своих любимцев. Конь нарочно выстроен таким огромным, чтобы его нельзя было протащить в ворота неприступной Трои. *(Понизив голос, доверительно.)* Прорицатель Калхас открыл нам, что, если этот конь будет поставлен у вас в городе, богиня Афина перенесет на троянцев свою благосклонность.

**Парис.** А ты не врешь, Синон? Поклянись.

**Одиссей.** Клянусь! Клянусь самим Зевсом Громовержцем, что это такая же правда, как то, что я — Синон.

**Парис.** Тогда я побегу, скажу нашим, чтобы тащили коня в город. Отныне он будет называться Троянский конь. *(Воинам.)* За мной, ребята!

**Парис** вместе с **воинами** убегает.

**Приам.** Надо отпраздновать счастливое освобождение! *(Одиссею — Синону.)* Встань, миролюбивый! Можешь чувствовать себя как дома.

**Одиссей** *(поднимаясь с колен)*. Благодарю тебя, добрый государь! Сразу трудно привыкнуть, но обещаю, что завтра я уже буду чувствовать себя здесь как дома.

**Приам.** Вот и хорошо. Пойду обрадую женщин. *(Уходит.)*

**Одиссей** *(озираясь, один).* Ну и хитрая гадина, этот Одиссей!

## Картина девятая

Троя. Улица в городе. Багровое зарево пожара. Издали доносятся крики, глухой грохот. Появляются **два троянца** в наспех накинутой одежде.

**1-й троянец.** Смотри, пожар! **2-й троянец.** Перепились небось на радостях и подожгли. Не в первый раз. Пойдем посмотрим?

Идут. Навстречу им выбегает троянский **воин.**

**Воин.** Куда вы, безоружные?

**1-й троянец.** А что?

**Воин.** А то, что, пока мы праздновали всю ночь, греки приплыли назад. А когда все уснули, грекам открыли ворота.

**2-й троянец.** Кто открыл?

**Воин.** Греки же! Деревянный конь был начинен ими, как подсолнух семечками. Мы погибли!

**1-й троянец.** Бежим!

**Все трое** убегают. Появляются **Парис** и **Елена Рыжая.**

Парис, озираясь, увлекает ее за собой, держа за руку. В другой его руке — обнаженный меч. Костюм Париса порван, панцирь помят, голова замотана тряпкой. Рыжая останавливается.

**Рыжая.** Пусти меня. Я дальше не пойду.

**Парис.** Ты что, помешалась? Козочка, козочка моя, давай я понесу тебя на руках.

**Рыжая.** Беги один. Оставь меня здесь.

**Парис.** Ах ты дрянь! *(Дает ей пощечину)* Ты думаешь, твои эллины пощадят тебя? Держи карман шире.

**Рыжая.** Сам дрянь, сам держи. Менелаю теперь нужна Елена, живая или мертвая. По мне, так лучше живая.

**Парис.** Очень ты ему нужна!

**Рыжая.** Очень, очень нужна. Он должен, обязан показать воинам, за что они проливали кровь целых десять лет.

**Парис.** Вот теперь-то все и увидят, кто ты на самом деле, дура рыжая.

**Рыжая.** Теперь, красавчик, у тебя самого тут не хватает. *(Показывает на лоб.)* Нет больше рыжей дуры, нет. Нет меня, твоей козочки, была и вся вышла. И Елены Спартанской, той, настоящей, тоже нет и никогда не было. Я теперь Елена Спартанская! Я! Я! Я! Понял, дурак, бараньи твои мозги! *(Бросаясь к Парису.)* Парис, миленький, что ж мы ругаемся на прощанье? Троя твоя погибла… Беги, беги, не попадайся им, они тебя убьют, а со мной ничего не сделают. *(Целует его и отталкивает от*

*себя.)*

**Парис.** Козочка моя, лучше я умру…

**Рыжая.** Если любишь меня, беги…

Громкие яростные крики за сценой, звон оружия.

**Парис.** Я тебя все равно найду! *(Убегает.)*

Появляется Эней. Он, отступая, обороняется от наседающего на него **Менелая.** Оба орудуют мечами. Эней ранит Менелая.

**Менелай** *(отбиваясь от Энея).* Я ранен, на помощь! На помощь!

Вбегает **Одиссей** и устремляется за **Энеем.** Менелай падает. Рыжая, наблюдавшая схватку, подходит к Менелаю.

**Менелай** *(узнав ее).* Наконец-то мы одни, как сказал покойный Гектор покойному Ахиллу.

**Рыжая.** Куда ты ранен? Дай перевяжу.

**Менелай.** Пустяки, царапина. Я просто устал. Послушай, а ты неплохой трофей, если мне не изменяет память.

Вбегают **Эней** и **Одиссей.** Схватываются.

**Одиссей.** Менелай, бей его сзади!

Эней оборачивается. Одиссей, воспользовавшись секундой растерянности, выбивает у Энея оружие и приставляет меч ему к груди. Менелай сидит на земле рядом с Рыжей.

**Эней.** Сдаюсь.

**Одиссей.** Слава богам! Загонял меня совсем.

**Эней.** Ты перехитрил меня, а не осилил.

**Одиссей.** На то я и хитроумный Одиссей.

**Эней.** Ты Одиссей? Мы с тобой какие-то дальние родственники.

**Одиссей.** Это ты решил, потому что мы с тобой десять лет враги?

**Эней.** Может, я ошибся.

**Одиссей.** Нет, не ошибся. Мне расхотелось тебя убивать.

**Агамемнон** *(появляясь).* Тогда я сам добью этого брюнетика.

**Одиссей.** И лишишься единственного свидетеля с троянской стороны.

**Агамемнон.** А зачем он мне?

**Одиссей.** А кто подтвердит войскам, что эта Рыжая и есть жена Менелая, Елена Спартанская?

**Агамемнон** *(Одиссею).* Ты умен, как этот… этот…

**Одиссей.** Как Одиссей. *(Энею.)* Ведь подтвердишь по-родственному? *(Эней согласно кивает.)* Как тебя зовут, троюродный мой пленник?

За сценой рев боевых труб и крики: «Победа, победа!»

**Эней.** Меня зовут Эней — последний из троянцев.

## Картина десятая

Египет. Трапезная в доме Протея. Горят светильники.

За столом **Елена, Протей** и **Эней.**

**Эней.** Да, Парис погиб. Его настигла отравленная стрела, когда он выбегал из горящего города через Северные ворота. Предполагают, что он хотел укрыться в горах у пастухов. Не удалось.

Протей и Елена многозначительно переглядываются.

Вы знали его?

**Протей.** Увы — нет. Но мы кое-что слышали о нем.

**Эней.** Он был грубиян и красавец. Такое сочетание как раз нравится женщинам. Ничего удивительного, что эта рыжая спартанка соблазнилась им. Не знаю, как вы, но я, последний троянец, даже обрадовался, когда ее решили предать смерти.

**Елена.** Рыжую?

**Эней.** Именно.

**Елена.** Кто это решил?

**Эней.** Женщины Спарты. Разрешите, я положу себе еще из этого блюда. Спасибо. Представьте, первый раз пробую мясо антилопы. Хочу войти во вкус. Ни за что не подумал бы, что это такой деликатес.

**Елена.** За что? За что?

**Эней.** Ни за что. Я говорю, ни за что не подумал, что мясо антилопы такое вкусное.

**Протей.** Моя супруга хотела спросить вас, за что приговорили…

**Эней.** Рыжую спартанку? Ах, это так понятно. Она *(продолжает говорить с набитым ртом что-то совершенно неразборчивое, глотает)*… смерти. Вот и все.

**Елена.** Я ничего не поняла. Потрудитесь повторить.

**Протей.** Да, будьте так любезны.

**Эней.** Я сказал, что женщины Спарты обвинили ее в том, что она, удовлетворяя свою женскую прихоть, стала причиной гибели их отцов, мужей и сыновей и за это заслуживает смерти.

**Елена.** Ее казнили?

**Эней.** Как, вы ничего не знаете? Вы отстаете от жизни, мои гостеприимные хозяева. Таким, как вы, необходимо быть в курсе событий. Неужели вы ничего не знаете?

**Елена.** Клянусь, ничего.

**Протей.** Исправьте нашу оплошность, просветите нас.

**Елена.** Да, пожалуйста.

**Эней.** Да об этом трубят на всех перекрестках. Где бы я ни был — а с тех пор, как Одиссей отпустил меня, я только и делаю,

что странствую в поисках спокойного пристанища, — люди обсуждают эту новость. Странно, что вы не знаете.

**Елена.** Прошу вас.

**Протей.** Мы ваши благодарные слушатели.

**Эней.** Хорошо, хорошо. Я согласен. Можете не настаивать. Итак… А вы меня не разыгрываете? Не может быть, чтоб вы ничего не знали.

**Елена.** Ох! Поверьте, не разыгрываем. Говорите же!

**Эней.** Так-таки ничего?

**Протей.** Ни-че-го. Так казнили рыжую царицу или нет?

**Эней.** В том-то и дело, что Рыжая — не Елена. То есть Елена, но не та. Нашлась одна женщина, известная в Элладе гетера, кстати странным образом внезапно разбогатевшая… Какое отличное вино, просто превосходное, редкий букет… Простите, я отвлекся. Итак, о чем я?

**Протей.** Нашлась одна женщина…

**Эней.** Ах да! Одна внезапно разбогатевшая жрица любви, которая опознала рыжую красотку как свою давнюю подругу в любовных похождениях. Эта Рыжая перед лицом смерти проявила завидную энергию и отыскала еще других свидетелей своего далеко не царского прошлого. Короче, личность ее была установлена. Бедный Менелай! Жена обманула его дважды!

**Протей.** Дважды? Каким образом?

**Эней.** Рыжая показала, что была подкуплена настоящей Еленой с тем, чтобы под ее именем отправиться с Парисом в Трою. Чуть было не казнили безвинную. Дальше еще интереснее, но это уже недостоверные слухи, сплетни. Не стоит забивать вам головы всякой ерундой.

**Елена.** Мы, женщины, в основном живем слухами. Не лишайте меня привычного удовольствия.

**Эней** *(Елене)*. Только потому, что просите вы. По слухам, царица Елена, обманув мужа, высадилась… точно не припомню где… чуть ли не у вас в Египте! Но, повторяю, все это только слухи.

**Елена.** А эти слухи дошли до Ме… до царя Спарты?

**Эней.** Увы — дошли. Он ведь до сих пор обожает свою жену, хотя, как говорят, перед тем как сбежать, жена дочиста его ограбила. Но он верен своей любви.

**Протей.** Неужели?

**Эней.** Он доказал это на деле. Десять лет войны — не шутка. Но теперь гнев спартанских женщин перенесся с рыжей девки на самого Менелая. Елена — не та, честь Спарты не восстановлена, а сколько бессмысленных жертв! Теперь ему самому грозит казнь. *(Елене.)* Что вы так побледнели? Простите, я не предполагал, что

вы такая чувствительная. В наш жестокий век это такая редкость. Не волнуйтесь, я надеюсь, его не казнят. Он полон решимости снова отправиться на поиски своей жены и уже повсюду вербует добровольцев. Дело чести.

**Протей.** Это тоже слухи?

**Эней.** Что именно?

**Протей.** Насчет добровольцев?

**Эней.** Насчет добровольцев? Нет. Насчет добровольцев — не слухи. Согласитесь, что лучше потерять голову в чужой земле от любви, чем дома на плахе.

**Протей.** И где же он собирается искать Елену?

**Эней.** Право, не знаю. Да, вот вам и Елена Спартанская! Странно. У меня, последнего троянца, столько связано с этим именем. И надо же, чтобы здесь, в вашем доме, — опять Елена. Это очень странно.

**Елена.** Разве странно? Елена — имя женское.

**Эней.** Уф, я, кажется, объелся. Еще кубок этого превосходного вина, и я стану никудышным собеседником.

**Протей.** Позвольте, я провожу вас отдохнуть. Вам завтра рано в дорогу.

**Эней.** Завтра? Почему завтра… Да… Завтра так завтра…

**Протей** выпроваживает **Энея.** Елена остается одна. Она неподвижно сидит за столом, сосредоточенно глядя прямо перед собой. Немного погодя через залу проходит Протей в сопровождении **Фониса.** Слуги убирают со стола.

Елена сидит, не меняя позы, не двигаясь. **Протей** возвращается.

Подходит к Елене. Она его как будто не замечает.

**Протей.** Что ты задумала, Елена?

**Елена** *(после паузы)*. Протей, сколько отсюда до Спарты?

**Протей.** Если ветер устойчивый, два-три дня пути.

**Елена.** Значит, я успею. Я должна успеть.

**Протей.** Елена, что ты хочешь делать? Это бессмысленно и может… может плохо кончиться.

**Елена.** Как бы это ни кончилось, это не бессмысленно.

**Протей.** У нас сыновья, дети.

**Елена.** Именно поэтому я обязана ехать.

**Протей.** Я не пущу тебя.

Елена молча смотрит на Протея.

Прости. Я люблю тебя, Елена.

**Елена.** И я люблю тебя, мой Протей. Мне надо спешить. Прикажи снарядить корабль.

**Протей.** Я не представляю, что ты им скажешь.

**Елена.** Что я им скажу?

Елена выходит к рампе. Свет на сцене медленно гаснет. Елена стоит одна, окруженная тьмой.

Женщины моей родной Спарты! Вы узнаете меня? Вы непременно должны меня узнать. Сейчас это очень важно и мне, и вам. Узнали? Так вот: не верьте женщине, которая говорит, что ей нужно немногое — быть любимой. Нам, женщинам, нужно гораздо большее — чтобы мы сами любили. Хотя это трудно и даже опасно. Потому что люди, не способные полюбить, пользуются чужой любовью как средством для достижения своих низких целей. Алчность, ненависть, зависть, злобу такие люди наряжают в прекрасные одежды любви.

Из темноты появляется **Эфра.** Она подходит к Елене.

**Эфра.** Пойдем, Елена. Бабы — дуры. Они только мужчинам все прощают, а друг дружке — никогда. Пойдем, а то… а то ты простудишься… *(Плачет.)*

**Елена.** Оставь, Эфра. *(Эфра уходит во тьму.)* Вас обманывают. Разве женщина может стать причиной кровавой войны, где погибают наши отцы, мужья, сыновья, братья? Где погибает любовь женщины? Где может погибнуть тот единственный, еще не встреченный вами, предназначенный вам судьбой? Где погибает Надежда — самый верный защитник женской любви?

Не позволяйте обмануть вас снова!

Из темноты выступает **Агамемнон** в сопровождении **Ахилла.** Оба в полном боевом уборе.

*(Агамемнону)* Как хорошо, что ты здесь. Ты мне сейчас поможешь добраться до правды. **Агамемнон.** Это ты мне говоришь? Ты, Елена, как этот… этот… *(Смотрит на Ахилла.)*

**Ахилл.** Надоело подсказывать.

**Агамемнон.** Короче говоря, меня убили. Дома, в Микенах. Моя жена Клитемнестра вместе с этим брюнетиком… как его… *(Агамемнон смотрит на Ахилла. Тот отворачивается.)*

**Агамемнон.** Ну ладно, не важно. Теперь я только тень.

**Елена.** А я? А я? Я ведь живая… Или я тоже тень?

**Агамемнон.** Не знаю. У нас тут об этом не разговаривают.

**Ахилл** и **Агамемнон** уходят во тьму. **Ахилл** больше не хромает.

**Елена.** Неужели меня казнили? За что? Этого не может быть! Разве смертью можно защитить жизнь? Где Менелай? Протей, любовь моя! Мои дети, мои мальчики… Что будет с ними? Я ничего не понимаю. Кто мне все объяснит, чтобы я поняла, поверила, простила?

Елена замолкает. Издали доносятся звуки флейты. Мелодия вырисовывается все явственней. Музыкант, тот самый флейтист,

который играл Протею, медленно подходит к Елене, не прекращая игры. Он играет, пальцы легко танцуют на флейте, а Елена молча слушает, склонив голову. Постепенно все погружается во тьму, в которой звучит, замирая, голос флейты.

*Конец пьесы*

**notes**

# Примечания

# 1

Подлинное письмо В. И. Ульянова от 1910 года.

## 2

Переехав во Францию, одессит Цитрон поменял фамилию на Ситроен.

# 3

*Г. К. Честертон* (1874–1936) — английский писатель.

## 4

Здесь и далее воспоминания Е. К. Ливановой цитируются по книге: Б. Ливанов. М: Изд-во ВТО, 1984.

*Пастернак Б.* Поэмы. М.: Советский писатель, 1933.

## 6

*Борис* — Ливанов; *Ал. Ник.* — Толстой; *Ал. Тихонов* — критик (не путать с поэтом Ник. Тихоновым).

## 7

Письма Пастернака даются в орфографии и манере автора. — *В. Л.*

## 8

*Ольга Михайловна Фрейденберг* — двоюродная сестра Б. Пастернака, профессор древних языков.

# 9

В Лаврушинском переулке, где жил Пастернак.

# 10

*Храпченко М. Б.* — в 1939–1948 гг. председатель Комитета по делам искусств при Совете министров СССР.

*Сахновский В. Г.* — режиссер МХАТа.

# 12

*Вит. Як.* — Виленкин, помощник Немировича-Данченко по литературной части. Крестик, поставленный Пастернаком около имени-отчества Виленкина, обозначает знак особой осторожности. Немировича-Данченко окружали всякого рода помощники. Некоторые из них фиксировали каждый шаг Немировича-Данченко, записывали каждое слово, так сказать, «для истории». Мхатовские остряки, очевидно, не без оснований злословили, что этими записями постоянно интересуются не только в театральной среде.

## 13

*Ольга Сергеевна Бокшанская* — секретарь Немировича-Данченко, сестра жены М. Булгакова Елены Сергеевны.

# 14

Литература и искусство. 1943. 30 июня.

# 15

Я не стал уточнять фамилию этого человека. Все эти чиновники были на одно лицо — их персонификация не важна. — *В. Л.*

# 16

В феврале 1990 г. газета «Вечерняя Москва» опубликовала фотографию с похорон Б. Пастернака. Б. Ливанов — среди несущих гроб с телом поэта.

# 17

В те годы московские остряки дали Фурцевой прозвище «Никитские ворота».

«Огонек». 1990. № 8.

# 19

В этом плаще и шляпе он нарисован моим отцом в 1943 году. — *В. Л.*

## 20

*Н. Н. Вильмонт* — литературовед, переводчик, друг Б. Пастернака.

## 21

*Женя Пастернак* — первая жена поэта. Зинаида Николаевна в то время была женой Г. Нейгауза, друга поэта.

Особенно это заметно в переписке с О. Фрейденберг. — *В. Л.*

*Вильмонт Ник.* О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. М.: Советский писатель, 1989.

# 24

Стихотворение «Пик» Бараташвили в переводе Б. Пастернака.

# 25

*Пастернак Б.* Люди и положения // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 397.

Там же. С. 398.

# 27

В. Маяковский. «Флейта-позвоночник».

# 28

Моей матери уже не было на свете, когда книга «Борис Ливанов» наконец находилась в гранках. Звонок из редакции: меня просят срочно приехать. Оказывается, из Отдела пропаганды ЦК КПСС обратились в редакцию, сказали, что необходимо снять эпизод разговора Б. Ливанова со Сталиным. Я стал звонить в ЦК по оставленному в редакции номеру. На мой вопрос, почему вдруг возникла такая необходимость, мне очень вежливо ответили, что для того, чтобы включать такой эпизод, его необходимо проверить и уточнить… в Институте марксизма-ленинизма (!). Ответ этот, прикрыв рукой мембрану телефона, я тут же передал редакторам. На меня замахали руками:

— Это еще на десять лет! Во имя выхода книги — соглашайтесь!

Эпизод со Сталиным был вынут из гранок с такой поспешностью, что забыли убрать имя Сталина из списка лиц, упоминаемых в книге. Так и значится Сталин на 71-й странице. Чиновников брежневского партаппарата невозможно заподозрить в инициативе по исключению из книги этого эпизода. Теперь я догадываюсь, кому мешала эта правдивая информация о разговоре Ливанова со Сталиным по поводу «Гамлета». И кто из «вхожих наверх» добивался ее исключения. — *В. Л.*

## 29

Очевидно, имеется в виду вино, а не вина. — *В. Л.*

# 30

В своей книжке О. Ивинская вперемежку с пастернаковскими приводит стихи собственного сочинения, оставляющие впечатление восковой куклы рядом с живым человеком.

# 31

Эпитеты, данные Б. Ливанову Пастернаком в переписке с О. Фрейденберг.

# 32

6 января — именины Евгении.